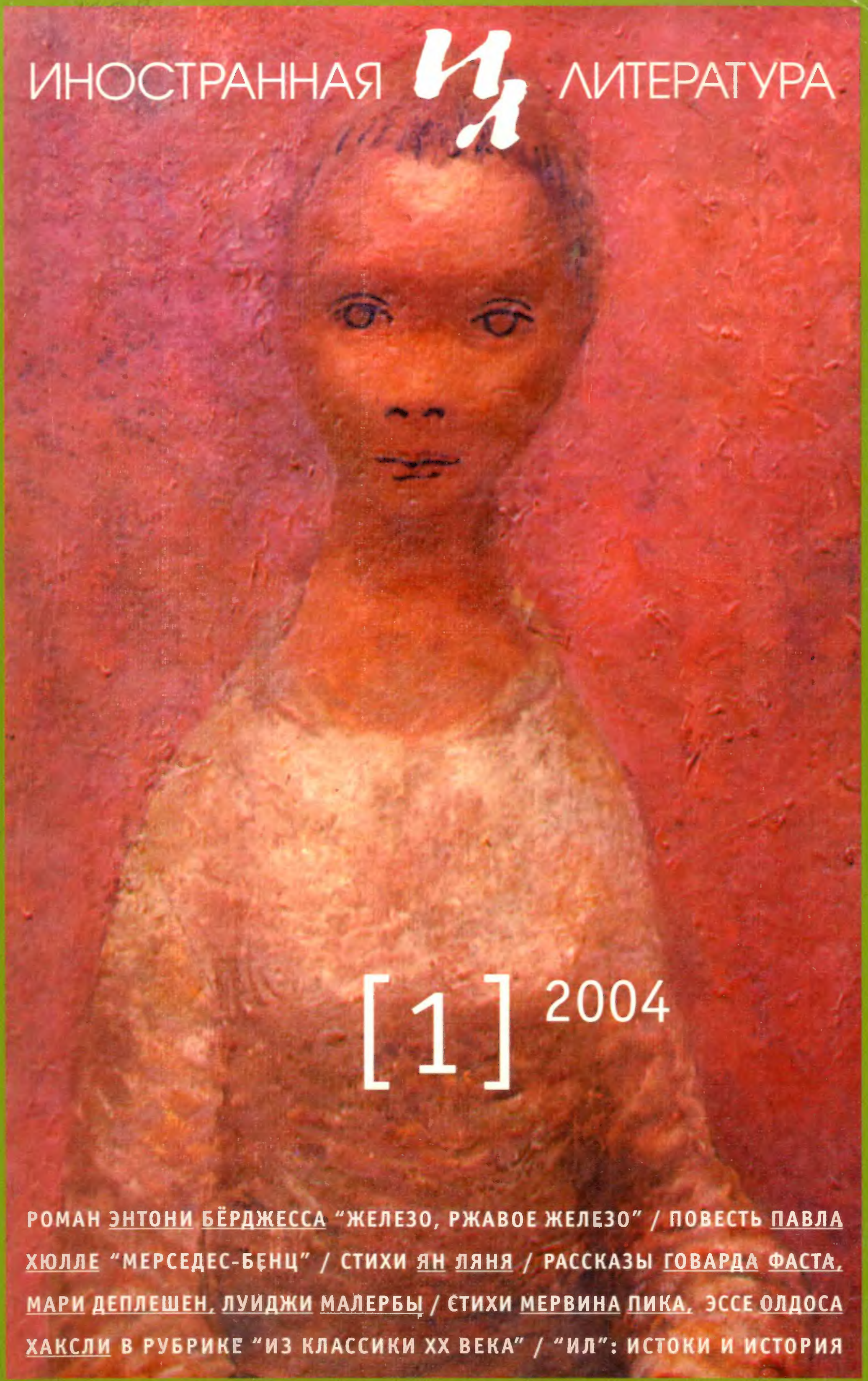
ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



[1] 2004

РОМАН ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА “ЖЕЛЕЗО, РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗО” / ПОВЕСТЬ ПАВЛА ХЮЛЛЕ “МЕРСЕДЕС-БЕНЦ” / СТИХИ ЯН ЛЯНЯ / РАССКАЗЫ ГОВАРДА ФАСТА, МАРИ ДЕПЛЕШЕН, ЛУИДЖИ МАЛЕРБЫ / СТИХИ МЕРВИНА ПИКА, ЭССЕ ОЛДОСА ХАКСЛИ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / “ИЛ”: ИСТОКИ И ИСТОРИЯ

Основан в 1891 году

Редакция “Иностранной литературы”
поздравляет с Новым 2004 годом
всех читателей, авторов, переводчиков,
а также те организации, которые в минувшем году
оказывали журналу поддержку.

Нам помогали:

посольство США в России,
посольство Федеративной Республики Германии,
Культурный форум посольства Австрии в РФ,
фонд “Венгерская книга”,
Датский литературный центр,
Японский фонд,
международное литературное агентство
“Bartolo Cattafi Estate”.

Мы также благодарим зарубежных авторов,
предоставивших нам права
на безвозмездную публикацию
на страницах журнала
в 2003 году.

Свои произведения нам и всем нашим читателям подарили:

Мария Виктория Атенсиа [Испания],
Анхель Гонсалес [Испания],
Тадеуш Конвицкий [Польша],
Катя Ланге-Мюллер [Германия],
Луис Армента Мальпика [Мексика],
Ежи Пильх [Польша],
Абель Поссе [Аргентина],
Джерард Риди [Ирландия],
Саид [Германия],
Рут Фэнлайт [Великобритания],
Стефан Хвин [Польша],
Ханс Магнус Энценсбергер [Германия].

[1]
2004

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Энтони Бёрджесс. *Железо, ржавое железо.* Роман. Перевод с английского А. Пинского и Е. Домбаян

80 Ян Лянь. *Стихи.* Перевод с китайского и вступление Ильи Смирнова

92 Мари Деплешен. *Рассказы.* Перевод с французского Ирины Радченко

118 Павел Хюлле. *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу.* Повесть. Перевод с польского Ирины Адельгейм

186 Луиджи Малерба. *Рассказы.* Перевод с итальянского Ф. Двин

192 Говард Фаст. *Книгоноша.* Рассказ. Перевод с английского М. Лорие. Послесловие И. Бернштейн

Из классики XX века

202 Мервин Пик. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Максима Калинина

210 Олдос Хаксли. *Искренность в искусстве и другие эссе.* Переводы с английского А. Власовой и С. Нещеретова

Зрительный зал

224 Элина Драйтова. *Лицедейство – комедия или трагедия?*

"ИЛ": истоки и история

228 *Вестник иностранной литературы, 1910–1916*

Среди книг

257 Николай Мельников. *Негритюд по-андайковски.* Алексей Балакин. *Писатель и его тень.*

БиблиофИЛ

263 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

265

Авторы номера

269

© "Иностранная литература", 2004

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
*заведующая отделом критики и публицистики*

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

А. Я. Ливергант
*заместитель главного редактора*

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

# Энтони Бёрджесс

## *Железо, ржавое железо*[1]

Роман

*Перевод с английского* А. Пинского и Е. Домбаян

Памяти Ричарда Эллмана (1918–1987)

Eisen, Lumpen, Papier![2]
*(крик араба-старьевщика*
*на улицах Тель-Авива)*

Безумие ниспослано нам за грехи.
Теннисон. *Королевские идиллии*

Прохожий: Мистер Джонс, если не ошибаюсь?
Герцог Веллингтон: Если вы и тут ошибаетесь, то в чем же вы тогда можете быть уверены?

### U$n^3$

СТАЛЬ, как вам, должно быть, известно, сплав железа. Она содержит от 0,1 до 1,7 % углерода, а также небольшие примеси серы, фосфора, марганца, никеля и хрома. Этот сплав отличается твердостью и одновременно ковкостью, что позволяет делать из него мечи.

© Anthony Burgess 1989
© А. Пинский, Е. Домбаян. Перевод, 2004

1. "Железо, ржавое железо" – первая строчка песни, ставшей популярной в Англии в начале 10-х годов прошлого века благодаря исполнителю Гарри Чэмпьону. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Железо, тряпье, бумага (*нем.*).
3. Один (*валл.*).

Воистину, сплав Марса. Единственный его недостаток — неустойчивость к коррозии. Принято считать, что коррозию вызывают кислоты. На самом деле в основе лежит электролитический процесс, причем электролитом может быть не только кислота. Раствор поваренной соли или хлористого аммония также способен разъедать сталь. Я не специалист по металлам, а всего-навсего отставной террорист и учитель философии, но мне понятно, почему знатоки опровергают как заведомый вздор утверждения о том, что меч Экскалибур[1] мог сохраниться до наших дней. Соли, содержащиеся в воде, почве и воздухе, постепенно разъели бы стальную плоть того, которого давным-давно окрестили обжорой. Латинскому названию Экскалибур предшествует валлийское Каледвелч, родственное ирландскому Каладболг, что значит Луженое Брюхо или Всепожирающий.

Невежды в Кардиффе и подобных местечках требуют проведения радиоуглеродного анализа, стремясь доказать, что изрядно проржавевший меч, который они чтут как святыню, принадлежит эпохе короля Артура. Но радиоуглеродный метод непригоден для определения возраста неорганических веществ, к каковым принадлежит сталь. Он позволяет определить возраст дерева, поскольку углерод-14 попадает в живое дерево через листья и затем превращается в азот-14 с периодом полураспада в 5730 лет. Деревянные ножны этого меча, по слухам найденные вместе с ним в подвалах монастыря Монте-Кассино, датированы с помощью этого метода шестым веком нашей эры.

Я никогда не видел этого меча, но знаю, что у него широкое обоюдоострое лезвие. Это простое оружие без символических украшений. Эфес утрачен, острие и края затупились, но меч кое-где еще сохранил гордый блеск и гравировку — латинское А, или греческую альфу. Гравировка неглубокая, скорее всего нанесена с помощью гвоздя и молотка. Видимо, инициал владельца. Вензель украшен листьями бука — их полустертые следы различимы сверху и слева от него. Этот вензель не есть доказательство принадлежности меча королю Артуру, чье существование вызывает сомнения. Скорее всего, мечом владела более грозная историческая личность — предводитель гуннов Аттила. Легенда о том, что один из приближенных Аттилы по имени Скотта нашел этот меч на полях Венгрии, я думаю, хорошо известна. Скотта порезал щиколотку об острие меча, торчавшее из земли, после чего выкопал обидчика, решив, что это легендарный меч Марса, дарующий победу всякому, кто им владеет. Он вручил его Аттиле, тот приказал выгравировать на лезвии свой инициал (язычник владел латынью и греческим). Меч Марса не помог Аттиле покорить Северную Италию, и, перед тем как отступить с потерями за Дунай, Аттила передал его римскому полководцу Аэцию, своему врагу и другу в одном лице. После убийства Аэция по приказу императора, отсиживавшегося в Равенне, меч перешел к Амвросию Аврелиану, королю Британии.

Эта история есть у Гиральдия Камбрийского, который позаимствовал ее у Христиана Пиджера, а тот, в свою очередь, — из документа под названием "Notitia Dignitatum"[2]. Возможно, я и ошибаюсь, ведь я не охотник до развлекательного чтива. То, что у всех владельцев был общий инициал, можно принять за простое совпадение. Я не приемлю идеи Божьего промысла, согласно которой Меч Карающий был вложен в руки

1. Легендарный меч короля Артура.
2. "Заметки о знаменитостях" *(лат.)*.

защитника британских христиан тем, кто называл себя Альфой (впрочем, и Омегой тоже), разрушителем и спасителем одновременно, как водится и в индуистской традиции. Все это кажется маловероятным и даже отдает суеверием.

Вернемся к проблеме спасения меча. Один из ранних биографов Аттилы, Актофор Константинопольский, утверждает, что великий завоеватель желал укрепить восточные рубежи своих владений в Евразии, для чего вознамерился нанести визит китайскому императору и заключить с ним пакт о ненападении. Путешествуя через степи, он увидел то, что Марко Поло описал столетия спустя, — нефтяные скважины. Китайские мудрецы, которым технология глубинного бурения нефти была известна с 330 года до нашей эры, объяснили Аттиле, что это вещество предохраняет металл от ржавчины. Возможно, в период перемирия и в знак возобновления юношеской дружбы Аттила открыл секрет хранения оружия Аэцию. Меч Марса Экскалибур, должно быть, держали в сосуде с нефтью, добытой на территории, ныне называемой Россией. Вряд ли Амвросий Аврелиан прихватил с собой немного нефти из Рима или Равенны, но я допускаю, что в Британии для хранения меча использовалось оливковое или ореховое масло, ведь любое масло препятствует коррозии. И все-таки маловероятно, что меч, которым позднее размахивали самозваные "сыны Артура", — на самом деле Экскалибур. Скорее всего, это ирландский claidheamh mor[1] позднего Средневековья и не столь благородного происхождения. А впрочем, к черту все это. Лично я терроризмом сыт по горло.



История жизни человека, который с большим риском для себя привез Экскалибур из Советской России, столь же неправдоподобна, как и его рассказы о мече. Звали этого человека Реджинальд Морроу Джонс — имя для валлийца невероятное, равно как и история его отца. Я знал Реджа Джонса очень близко, я видел и его отца, и русскую мать. О них я должен рассказать поподробнее.

Дэвид, точнее Дафидд Джонс, был крещен по методистскому обряду в часовне города Тредигар в тогдашнем графстве Монмутшир. Отец его Элис Уин Джонс был не слишком религиозен, в его социалистических взглядах, усвоенных во время перекуров, чувствовалось сильное влияние кальвинистского детерминизма. Он долгое время работал шахтером, два взрыва в шахте потрясли его, после третьего он сломался. Его жена Флоренс Мэри, урожденная Эванс, страдала сердечной болезнью, осложнившейся во время единственной беременности. Родом она была из Карнарвона в Северном Уэльсе и на юге считалась чужой. Сплетни злопыхателей о том, что ее мужу вышибло мозги рухнувшей опорой во время третьего взрыва в шахте, доконали ее. Сердце не выдержало. Элис Уин Джонс горько плакал и проклинал несправедливого Бога.

После этого он стал ежевечерне предаваться обильным возлияниям. Однажды, накачавшись пивом, он жестоко избил юного Дэвида, заставив его онанирующим перед гравюрой, изображавшей пир Валтасара, в семейной Библии. После этого Дэвид сбежал из дому и нанялся матросом на каботажное судно в Кардиффе. Там его определили на камбуз чистить картошку и заваривать чай. А когда корабельного кока, который надры-

1. Большой меч (*ирл.*).

вал глотку, демонстрируя свое ораторское искусство, свалил в Ньюкасле приступ белой горячки, пятнадцатилетний Дэвид сменил его, да так удачно, что команда и не заметила. Бог наградил Дэвида крепким желудком — его не тошнило, даже если приходилось жарить рыбу с луком во время шторма.

Вскоре после бегства сына отцу приснился сон, в котором его собственный папаша прыгал как кенгуру, пытаясь зажечь свечу в золотом подсвечнике. От старика уже давно не было вестей, сыну казалось, что дела его в Австралии идут неплохо, но сон предвещал неладное. Элиса Уина Джонса ничто не удерживало в Старом Южном Уэльсе, поэтому он отправился в Кардифф и купил на скромные сбережения билет в Новый Уэльс. Он не удивился, когда, прибыв в Сидней, нашел старика при смерти. Старый Гайдн Моцарт Джонс (напрочь лишенный музыкального слуха, даром что сын хормейстера, зачавшего его с одной из своих контральто) бросил жену в Бангоре и отправился на поиски золота в Балларат, штат Виктория. Говорят, на старости лет он стал точной копией Карла Маркса, впрочем, то же самое можно сказать о многих жителях Виктории. Он жил полнокровной жизнью колониста и умер в достатке. Получив наследство, Элис Уин Джонс вернулся в Монмутшир и с той поры жил в грехе с девицей из Эббу-Вэйл в доме на Саннибэнк-роуд в Блэквуде. По названиям видно, что мы имеем дело с английской топонимикой, поскольку графство не считалось собственно Южным Уэльсом до тех пор, пока ему не вернули старое валлийское название — Гвент.

В рассказах Дэвида о морских приключениях, хотя и не всегда правдоподобных, романтика прекрасно сочеталась с валлийским духом. Он клялся, что служил коком на сухогрузе "Колокольчик", где старпомом был поляк по фамилии Коженёвский. Иностранца выдавал сильный акцент. Непримиримый морской волк, он говорил, что родился на восемьдесят пятом году порабощения его родины москалями. Этот самый Коженёвский, подписавшись Конрадом, напечатал дурацкий очерк о гибели корабля "Титаник":

"Дабы заручиться покровительством пары тысяч богатых людей (будь пассажирами эмигранты, мы вряд ли погнались бы за тоннажем), мы сооружаем из тонких стальных пластин плавучий отель водоизмещением 45 000 тонн, отделываем его то ли в стиле фараонов, то ли в стиле Людовика XV и, чтобы угодить горстке толстосумов, которые не знают, куда деньги девать, под аплодисменты двух материков спускаем на воду эту махину с двумя тысячами людей на борту, после чего отправляем ее бороздить океан со скоростью двадцать один узел в час. Чем не демонстрация слепой веры современного человека в технику и железо?!"[1]

Дэвид Джонс хранил эту газетную вырезку, пока она не истлела. "Сорок шесть тысяч тонн, если уж быть точным, — любил добавлять он. — Решал бы все Коженёвский, никакого "Титаника" вообще бы не было, но будь он капитаном этого судна, с его опытом навигации в водах южного полушария, он бы на айсберг не напоролся. Коженёвский считал катастрофу чем-то вроде Страшного суда для богатых, но забыл о каютах третьего и четвертого классов, битком набитых бедняками, мечтавшими о лучшей доле за океаном, как забыл и о бесстрашном капитане с командой, о моряках, погибших при исполнении долга". После этих заме-

1. Джозеф Конрад. Размышления, навеянные гибелью "Титаника". Перевод с английского А. Ливерганта ("ИЛ", 1998, № 8).

чаний Дэвид Джонс начинал, слегка фальшивя, насвистывать "Морскую симфонию" Воана Уильямса[1], услышанную однажды в Ньюпорте.

Дэвид Джонс отбыл из Саутгемптона на "Титанике" в полдень 10 апреля 1912 года. Время и дата обозначены верно, что же касается пребывания Дэвида на этом судне, потомкам остается положиться на его честное слово.

— Чертовски повезло мне, парень, — рассказывал он спустя тридцать лет после трагедии, — попасть на этот проклятый корабль, мне, помощнику кока, ведавшему овощной кладовкой, мне, который до той поры только и плавал что на каботажных лоханках вдоль восточного побережья с чертовой дюжиной пассажиров на борту. Но то, что этот поганый "Титаник" обречен, нам, простым матросам, было ясно еще до отплытия, мы ведь иногда заглядывали в наши карманные библии. "Самому Господу Богу не потопить это судно!" — богохульствовал Брюс Исмэй, владелец "Уайт стар"[2]. Вот и накликал беду. Сам посуди, парень. Первый в мире лайнер высотой в одиннадцать этажей, длиной в одну шестую мили и такой, мать твою, непотопляемый, что даже о шлюпках не удосужились позаботиться!

Так вот, варил я, значит, капусту для пассажиров четвертого класса, ирландцы почти все они были, капустники; глазел на всяких миллионщиков, Асторов да Морганов. Ротшильдов, правда, не видал, врать не стану. Помню, была там одна крикливая американская сучка Молли Браун, тоже звала себя Непотопляемой, вся в перьях и брильянтах, а нашего брата как селедок в бочку набили в провонявший блевотиной и соляркой трюм. Один мой приятель, из образованных, звали его Янто Причард, говаривал: "Наблюдайте, братки, международный капитализм в миниатюре".

И вот на пятые сутки среди ночи в открытый иллюминатор дохнуло ледяной стужей, как будто кораблю в морду дали. Тут поняли мы, что плохо наше дело, а Янто мне и говорит: "Судным днем пахнет, браток". Оделись мы, выскочили на палубу и первое, что увидели, — наших капустников. Они зелеными ледышками, отколовшимися от айсберга, гоняли в футбол. Все в кепках и без пальто, пальто они не носили. А потом случилось такое, во что до сих пор не верится, ей-богу. Малыш Янто не переставая орал "Господи Иисусе!". Все было как в сказке: огроменная башня зеленого льда, переливаясь и сверкая в лунном свете, красивая неописуемо, как будто пропела "аллилуйя" Господу Разрушителю жалких трудов человеческих и, проплыв мимо, на прощание срезала ниже ватерлинии кусок борта футов двести длиной. И так чисто это было сработано, что вначале даже все засмеялись. А те, что играли по-крупному в покер в салоне первого класса, усмехнулись только, подумаешь, мол, опоздаем в Нью-Йорк на пару часов, плыть-то оставалось всего часов тридцать шесть, согласно расчетному времени, как принято говорить на флоте.

Когда выяснилось, что мы идем ко дну, а шлюпок на всех не хватает, тут-то капитализм и оскалил свою акулью пасть. Ну, женщин и детей пропустили вперед, здесь никто не спорил, хотя, сейчас я думаю, зря. Не знаю, приснилось мне это или на самом деле все так и было, не могу забыть одного человека, потонувшего вместе с кораблем, несчастного бед-

1. Воан Уильямс (1872—1958) — английский композитор, органист и дирижер.
2. "Уайт стар" — пароходная компания, которой принадлежал "Титаник".

няка из четвертого класса, с виду вроде индуса, а по выговору — валлийца. Он, наверное, прочел все умные книги на свете и еще обладал даром снимать головную и зубную боль одним прикосновением своих длинных немытых пальцев. Так вот, он сохранил человеческое достоинство и пошел с кораблем на дно, а великосветские болваны спаслись, чтобы потом давать званые обеды и делиться впечатлениями о пережитом ужасе.

Порой в ночных кошмарах мне снится лодка, полная матерящихся шлюх, этакий плавучий бордель, а все клиенты остались на борту лайнера, стоят там и ждут, когда перед ними разверзнется водяная могила — даже могильщики не понадобились. Но на борту остались не только клиенты этих шлюх, но и профсоюзные лидеры, и великие музыканты, инженеры и священники с бородами, развевающимися на ветру под его издевательский свист, — там остались полезные обществу люди, и сквозь отходную ветра, под органный аккомпанемент шторма, взрывы котлов и крики ошпаренных можно было расслышать вопрос: где же чертова справедливость?!

Какая уж тут справедливость, когда денежные мешки и их развязные жены совали взятки офицерам команды, отвечавшим за шлюпки: ах, уж пожалуйста, дайте нам места для всей семьи, для всех ротшильдов с ротшильдятами, вот вам чек на два фунта, нет, лучше на две гинеи — эй, посторонись, сволочь, не видишь, последняя шлюпка для благородной публики, — пожалуйте сюда, сударыня.

А эта шотландская скотина офицер Мердок стрелял в ирландцев, опухших от моей переваренной капусты: они сбились в кучу у правого борта, как раз там, где судовой оркестр исполнял гимн англиканской церкви и правящего класса "Ближе к Тебе, Господи", и в отместку, напутствуемые своим добрым пастырем преподобным Байлсом, так его, кажется, звали, затянули "Веру наших отцов"[1].

Я попал в надувную шлюпку с тремя пожарными, брадобреем из четвертого класса, двадцатью семью женщинами с детьми и четырьмя китайцами, прятавшимися под сиденьями от Мердока, который, если бы увидел их, застрелил бы, скотина шотландская, только за то, что они китаезы. В довесок он еще подсадил к нам Исмэя, которого аж колотило, когда он стоял среди женщин из четвертого класса. Большая шишка, ему б на дно вместе с капитаном. Отплыли мы на несколько ярдов. Корабль еще больше погрузился в воду. Потом отошли еще на полмили, и корабль начало затягивать в воронку. Мы видели, как все оставшиеся на борту цеплялись, словно мокрицы, за поручни, кабестаны и лебедки. Последние сто пятьдесят футов кормы какое-то время торчали из воды, точно страшный памятник под звездным небом, — и все, конец. Даже китаезы рыдали. "Титаник" затонул в 2:20 утра, менее чем через три часа после столкновения — у одного китайца были часы, настоящий "Ингерсолл", гордость европейской механики. Около четырех утра нас подобрала "Карпатия", мы карабкались по веревочному трапу на борт, мечтая о кружке горячего чая с ромом, но не отказались бы и от рома без чая.

Когда Дэвид Джонс сошел на берег в Нью-Йорке, он, по его собственным словам, держался очень свободно с представителями прессы, кото-

1. "Вера наших отцов" — гимн пресвитерианской (негосударственной) церкви Великобритании.

рые донимали его вопросом, каково чувствовать себя в безопасности в то время, когда столько людей погибли в пучине. Вопрос поразил его до глубины души, он боролся с собой, как Иаков с Богом, и Бог в этой схватке спрашивал: чем ты воздашь за свое спасение, что ты подаришь миру? Дэвид утверждал, что в журнале "Нью-Йорк юниверсал рекорд", который наверняка никогда не существовал, он видел карикатуру, высмеивающую современную веру во всесилие техники. Там был изображен идущий ко дну корабль под названием "Колосс" с королем Георгом V, королевой Марией, Бернардом Шоу, Киплингом, Арнольдом Беннеттом, Уэллсом, Коженёвским, Асквитом, Ллойд Джорджем, сэром Эдвардом Элгаром и сэром Хьюбертом Парри на борту. А рядом на крохотном плоту стоял заурядный человечек и показывал им всем длинный нос. В мучавших его кошмарных снах Дэвид узнавал в этом человечке себя, заурядного кока из Уэльса.

Он стал поваром на суше, в забегаловке на 35-й улице Вестсайда. Нельзя сказать, чтоб "титаническое" прошлое придавало ему весу. "Как! Вам не нравится яичница, сэр? А знаете ли вы, что ее приготовил бывший шеф-повар 'Титаника'?" На что, как правило, следовал ответ: "Жаль, что он не утонул вместе с яйцами".

Дэвид Джонс снимал угол в полуразвалившемся пансионе на 12-й улице. Это место рекомендовал ему другой валлиец в изгнании, тоже Дэвид, или Дафидд, или Дэй, правда по фамилии Уильямс. Стенной шкаф в комнате Уильямса был забит истрепанными фолиантами по истории Уэльса. Он был приверженцем валлийского национализма, течения непопулярного и толком почти никому в Соединенных Штатах, этой земле великих начинаний, не известного. В отличие от движения фениев[1], оно здесь оказалось неуместным. Чего нельзя сказать об Аргентине, где оно было столь же неуместно, но там курносые индейские женщины учились говорить по-валлийски у белых сожителей и даже забывали свои дикие наречия. Так откуда еще, если не из Латинской Америки, должны поступать деньги в помощь борцам за независимость Уэльса? Дэй Уильямс прочел Дэю Джонсу несколько лекций о бурной древней истории Земли Кимров, которую англосаксы прозвали Страной Чужаков, что на их старом наречии звучало как Уэльс.

— Кельты, мой мальчик, были, черт меня дери, христианами уже через двести лет по смерти Господа нашего Иисуса, да святится Имя Его, и хранили горячий дух веры в то время, когда все прочие племена Британии, по праву принадлежащей кельтам, молились Одину, Тору и прочим деревяшкам. У нас было римское христианство, с римскими банями, белыми шерстяными тогами и мраморными храмами, посвященными единому истинному Богу, пока кровожадные саксы не вторглись и не оттеснили нас в Корнуэлл и Камберленд, где мы укрылись в горах, поэтому считаем их родными. Саксы разрушили римское христианство в Британии, как они разрушили его ранее в святая святых, главном городе империи — если и не они, так их чумазые сородичи. Но восстали из пепла пламенные вожди кимров Кадваллон Долгорукий и сын его Мэлгвин Гвинедд и другой Кадваллон, правнук первого. И сражались они с жестокими выродками, предводительствовал коими боров с отвратительным

1. Фении — члены тайного общества, основанного в Дублине в 1857 г. Боролись за освобождение Ирландии от английской короны и создание независимой республики.

именем Этельфрид, король англов в Нортумбрии, и вследствие жестокого предательства потеряли мы Стратклайд и всю Северную Британию, а потом окончательно были разгромлены в бесславной битве при Честере. И погиб Кадваллон во время последней благородной попытки свергнуть злое иго и вернуть себе корону, и оставил сыну своему Кадваладру страну разоренную и обездоленную. Да будут прокляты иноземные выродки, нагло называвшие валлийцев чужаками на их родной земле. А умер Кадваладр, король Гвинедда, в гневе и унижении в кровавом шестьсот тридцать пятом году по смерти Спасителя душ человеческих.

Дэй Уильямс был родом из Пембрука. Было ему шестьдесят лет, и работал он портным в портняжном квартале, который незадолго до этого стал пристанищем евреев, бежавших от православных христиан. Дэй Уильямс не знал ни валлийского, ни иврита, но однажды какой-то пьяный шарлатан сообщил ему, что эти два языка родственны друг другу и что валлийцы — одно из потерянных колен Израилевых, благодаря чуду или климату превратившееся в высоких светлокожих блондинов. Поэтому Дэй считал, что ашкенази его родичи — братья и сестры, и пытался подвигнуть замученных работой портных и белошвеек на борьбу за их права; но его призывы оставались без внимания. Сам он был сутулый, черноглазый, седобородый коротышка с библейским, по валлийским понятиям, лицом. Со временем он перенял пугливые интонации и некоторые привычки евреев, но оставался холост и пробавлялся главным образом горячей бараньей похлебкой — ей он почти не изменял, по его словам, все тридцать лет добровольного изгнания. Он клялся, что никогда не вернется в Уэльс, погрязший в разврате и лицемерии, но навсегда сохранит в своем сердце память о несправедливостях, причиненных земле его предков, и передаст завет грядущим поколениям, которые однажды непременно восстанут и отомстят сполна за все прошлые обиды.

— И со смертью Кадваладра, мой мальчик, надежда на независимость Северной Британии была потеряна навсегда. Шестьсот лет шла борьба между вождями племен и королями, каждый из которых клялся, что носит корону, дарованную ему самим византийским императором. Среди них был Родри Великий, отразивший вторжение язычников датчан, но подло убитый проклятыми мерсийцами. И Хоуэлл Дда, который провозгласил себя властелином края, а затем признал себя вассалом кровавого узурпатора Ательстана и целовал его вонючие ноги.

В честь Дня святого Давида Дэй Уильямс поил Дэя Джонса шотландским и ирландским виски, горько жалуясь на лицемерных саксонских пропойц, разрушивших древние пивоварни кимров и уничтоживших традицию изготовления огненной, или живой, воды. Затем он воздал хвалу трезвости и мужской силе британских кельтов, качествам, которые выгодно отличали их от шотландских и ирландских сородичей.

— Оуэн Рыжебородый и сын его Дафидд, наш тезка, правившие Гвинеддом, ни разу не осквернили своего чрева даже каплей вина. После битв они утоляли жажду только чистой водой из горных источников, и глаза их сияли здоровьем и пылали страстью, когда они входили к своим наложницам. А потом Генрих II Английский, враг кельтов, решил навсегда усмирить валлийских князей заодно с ирландскими, но ему пришлось считаться с Рисом Гриффитом, владевшим долиной Тоуи. Все же, к стыду нашему, следует признать, что кельты — народ уступчивый, хотя кое-

кто может сказать и по-другому: они, мол, обладают здравым смыслом и умеют трезво оценить ситуацию. Рис Гриффит открыл Ллуэлину Йорвету Великому тайну, будто англичан невозможно победить в честном бою. Поэтому они разработали стратегию проникновения в семью противника: Ллуэлин женился на нелюбимой дочери короля Иоанна Безземельного, горбунье с бородавками на лице, и положил начало позорной сделке, поставившей наш народ на колени. Кончилось это "Актом о воссоединении", по которому валлийские короли могли наследовать британский престол, но назывались теперь англичанами, а в придачу к нему мы получили вероломную сволочь Томаса Кромвеля, запрет на использование валлийского языка в судопроизводстве и новые графства Брекнок, Денби, Монмут, Монтгомери и Раднор вместо удельных владений валлийских лордов. Проклятье нечестивцам и благослови Бог наследников скорби и позора Уэльса.



Тут Дэвид Джонс, допивший седьмую порцию виски, не выдержал:

— Да заткнись же ты наконец!

Дэй Уильямс, никак не ожидавший услышать такое от неблагодарного молокососа, который едва очухался после злоключений в бурной Атлантике и которого он старался расшевелить рассказами о прошлых обидах, нанесенных его родине, и предостеречь от опасностей огромного города, в изумлении отшатнулся:

— Мальчишка! Да ты вдребезину пьян.

— Э, нет... Просто меня тошнит от рассказов об обидах, нанесенных бог знает когда. Все это давно быльем поросло, так почему бы не начать жить по-новому?

Дэй Уильямс снисходительно кивнул.

— Да-да, это в тебе молодость говорит. Ты вне себя от радости, что спасся и у тебя, в отличие от меня, все впереди. Но старые обиды не забываются. Вступая в будущее, всегда несешь на сапогах грязь прошлого, и никаким скребком ее не отодрать.

— Меня океан отмыл добела. Но я больше никогда не выйду в море.

Дэвид знал из газет об ужесточении правил судоходства после катастрофы, читал рапорт Мерси и статью некоего У. П. Думстера про морского червя, который "да не будет марать зеркала, созданные для роскоши" (черт его знает, на что намекал автор), — и твердо решил не плавать.

— Что же, значит, здесь остаешься?

На этот вопрос Дэвид ответа не знал. Его, как жертву "Титаника", моряка, который оставаться таковым больше не желал, иммиграционные власти пока не беспокоили, но предстояло сделать выбор: подавать заявление на постоянное жительство в Штатах, ехать на север в британские колонии или, снова отдавшись на милость стихии, плыть назад на родину предков. На море, как и на суше, правили капиталисты и англосаксы, которые надоели ему хуже горькой редьки, хотя он не забывал, что многие капиталисты и англосаксы пошли ко дну, в то время как он, радикально настроенный кельт, выжил.

Дэй Уильямс, услышав пьяный крик: "Эй, Арт, еще пять кружек", снова затянул свое:

— Что за издевательство! Так изуродовать благороднейшее имя Артур, то есть Арктур — Медведь, красный великан, всем известное священное королевское имя, но его валлийское имя пребудет втайне до конца времен. Он начеку, меч его в ножнах, дай срок — и он вновь заси-

яет в битве. Я уже стар для сражений, мальчик. Это у тебя все еще впереди, так что возвращайся на родину, пока молод и полон сил, а сейчас закажи еще выпить — твоя очередь.



Теперь о русской родне. Дэвид Джонс уже пять дней работал в немецкой забегаловке "У Штайнера", это была его четвертая по счету работа, и после пьянки в честь святого Давида он заявился сюда только к вечеру. На кухне он столкнулся с кривым калабрийцем, похоже нанятым вместо него, — калабриец пытался жарить гамбургеры в едва подогретом масле. После объяснения с хозяином Дэвиду Джонсу пришлось искать пятую работу.

Он отправился в Бруклин и нашел-таки место на Флатбуше. Ресторан назывался "Невский проспект", владел им некий Пит, или Петр Лихутин, русский атеист, в прошлом профессиональный вор, ныне честный предприниматель. Он бежал из Санкт-Петербурга в 1907 году, причем не по политическим причинам и не от бедности, а потому, что, вломившись однажды ночью в ломбард, избил до полусмерти его владелицу. Какой-то тип, смахивающий на шпика, оказался свидетелем этого безобразия, поэтому Петр предпочел поскорее убраться, сел на финский лесовоз вместе с женой и дочкой и причалил в лондонском порту.

В Лондоне он вошел в долю со своим троюродным братом Григорием Петровичем Пришвиным и стал совладельцем расположенного недалеко от Сент-Джайлз-сёркус ресторана "Сутки прочь", который, в соответствии с названием, работал круглосуточно. Однажды в их квартире на Клипстоун-стрит жена Лихутина Соня, гордившаяся своими белоснежными, крепкими зубами, пыталась разгрызть бразильский орех и поперхнулась скорлупой. Дома в этот момент не было никого, кто бы, похлопав Соню по спине, спас ей жизнь. Безутешная родня похоронила ее на Хайгетском кладбище неподалеку от могилы известного бабника и большого оригинала по имени Карл Маркс. Вскоре настал день, когда состоятельный вдовец, владелец как честного, так и бесчестного капитала, с мешком золота и златовласой дочерью погрузился на пароход "Императрица" и прибыл в Нью-Йорк.

В этом великом городе через второго мужа матери его покойной жены он связался с анархистами, но сам был далек от политики и лишь время от времени, в целях совершенствования человеческой породы, участвовал в распространении идей атеизма. Он не был прирожденным преступником — вором Петр стал только потому, что был чудовищно ленив. В 1910 году он открыл ресторан для таких же, как сам, эмигрантов из Восточной Европы. Основной груз работы лег на плечи дочери и наемных работников. Еда была некошерная, но местные евреи-ашкенази, оставив ритуальную щепетильность или вследствие шовинистского убеждения, что русская и польская кухни изобретены ими, признали меню вполне правоверным и с удовольствием ели борщ и блины с красной икрой. Дело Пита Лихутина процветало, и в 1913 году ему потребовался второй повар. На это место и претендовал Дэвид Джонс.

Лихутины происходили от варягов, ширококостных и светловолосых. Когда Дэвид Джонс увидел за стойкой бара хозяина с рюмкой водки бруклинского разлива (производство фирмы "Шолохов" — здорово забирает!), он показался себе маленькой серой козявкой рядом с этим седеющим золотоволосым великаном.

В доисторические времена высокие белокурые кельты отняли земли у малорослых и темных пиктов — крестьян, которые скрылись в подземельях. Там пикты перековали серпы на мечи и в отместку стали похищать белокурых кельтских детей, которых переправляли в Ирландию под видом лилипутов, а кельтам подкидывали младенцев-брюнетов. Смешанные браки между пиктами и кельтами показали, что темные гены сильнее. Они выдержали суровую проверку временем, а их носители превратились в главную рабочую силу Англии, в особенности на механических заводах. Дэвид Джонс явно принадлежал к потомкам пиктов. Он был невысокий, жилистый брюнет, а над ним высился светловолосый варяг с непомерным брюхом, вынужденный большую часть дня просиживать за стойкой бара из-за чудовищной боли в ногах. В день он выкуривал по четыре пачки привозных папирос. Очередной приступ гнева мог оказаться для него роковым.

Вошла дочь, Людмила Петровна, и стала накрывать столы для предстоящего обеда. Дэвид Джонс был сражен наповал. Высокая, полная грудь, подобная куполам русских церквей, золотая коса, как пшеничный сноп благодатной Украины, зеленые, как Балтийское море, глаза...

— Из Англии? — спросил Пит Лихутин.

— Из Уэльса. Валлиец.

— Валяется? Что валяется?

— Ничего не валяется. Из Уэльса, говорю. Хотите, на карте покажу?

— Карта нет, и не нужно. Тут жить, тут умирать. Америка — хорошая страна, — сказал хозяин, имея в виду Бруклин. — На дочь большие глаза не делать. Не смотреть! Если большие глаза — по шее — и вон. Работать на кухню. Принят.

Хозяин, видимо, был слишком занят, чтобы освоить английский.

Дэвид учился русской кухне под руководством угрюмого повара Ивана, по-валлийски Айфана. Когда-то Иван был коком на балтийском торговом судне, потом жарил бифштексы в парижском кафе и во время очередного запоя спалил там кухню. Доконав свою печень, он бросил пить и в бруклинскую пору жизни сохранял трезвость, депрессии переносил всухую, хотя страдал от этого куда больше. Он научил Дэвида готовить и называть традиционные русские блюда на французский манер: суп из рыба́, каша́ смоленски́, рассольни́к з огурзо́м, филе з изюм.

Дэвид пылал неразделенной страстью к дочери хозяина Людмиле — девушку не трогал его кроткий валлийский взгляд, она оставалась надменной и неприступной. По-английски она говорила несколько лучше отца, но Дэвид не слышал от нее ничего, кроме приказов и попреков. Иван был вечно угрюм, его помощник подавлен, а жизнь полна неожиданностей: именно Иван попытался пробить брешь в ледяной стене Людмилиной неприступности и овладеть ею. Случилось это во время обеда, когда ресторан был полон бородатых посетителей в шляпах, а Пит Лихутин, по обыкновению, сидел за стойкой бара, пропуская стопку за стопкой шолоховской водки. Дело было летом, в начале июля 1914 года. Людмила вошла к ним во всей красе и стала кричать, чтобы они поторопились со смоленской кашей, а Иван, не издав ни звука, без малейшего проблеска страсти на угрюмом лице, принялся лапать ее и рвать с плеч муслиновое платье. Пока жертва орала по-русски, Дэвид воспользовался языком силы — огрел Ивана чугунной сковородкой по причинному месту. Людмила была восхитительна: краска гнева заливала ее лицо и

тело, сиявшее сквозь разорванное платье, зеленые глаза горели. Побитый Иван шатался и стонал от боли. Папаше донести еще не успели. Обед продолжался, Дэвид работал один. Иван сидел на табуретке и продолжал стонать, не порываясь, однако, отомстить помощнику. Дэвид налил ему крепкого чаю с абрикосовым вареньем. Позже старику доложили о случившемся. Он тут же выгнал Ивана, замахнувшись на него из-за стойки, потом, задыхаясь от ярости, стал глушить шолоховскую водку прямо из горлышка и вдруг рухнул на пол под громовой звон бутылочного оркестра. "Врача, скорее!" — закричала Людмила, и Дэвид побежал за доктором. Врач-еврей, обедавший в это время, не вынимая из-за воротника салфетки, вызвал карету "скорой помощи", и Пита Лихутина, хрипящего, но еще живого, повезли в ближайшую больницу. На этом неожиданности, которыми полна жизнь, не кончились, поскольку Людмила вдруг сказала Дэвиду: "А теперь поехали ко мне". — "К тебе? Зачем?" Сердце его забилось сильнее. "Там узнаешь, зачем. Ресторан запираем — повесь табличку 'Закрыто'. Сегодня вечером не работаем".

Лихутины занимали два верхних этажа из четырех в кирпичном доме на Бруклинских холмах с видом на Статую Свободы. Дом целиком принадлежал Питу Лихутину, два нижних этажа сдавались приличным надежным жильцам, разумеется евреям. Людмила повернула ключ в двери, и Дэвид увидел русскую мещанскую гостиную: мягкие стулья, обитые красным плюшем, темная позолота. В воздухе стоял неистребимый запах аниса, квашеной капусты и лихутинских папирос. По лестнице, покрытой пурпурно-оранжевым ковром, она повела его наверх, в спальню. "А теперь, — сказала Людмила своим грубым кухонным тоном, — раздевайся, да поживей".

Приземистый Дэвид унаследовал от отца хорошую мускулатуру и поджарый живот. Он был смугл и просолен морем. Он никогда не работал на шахте, и в кожу его не въелась угольная пыль. Ему было стыдно раздеваться перед этими огромными балтийскими очами, потому что член у него стоял выше пупка. Раздевшись, он попытался скрыть степень своего желания, приблизился к совершенно одетой, если не считать оголенного Иваном плеча, Людмиле и обнял ее. Но она оттолкнула Дэвида, приказав ему отвернуться, деловито смерила взглядом его ягодицы, затылок, ключицы и наконец удовлетворенно произнесла по-русски: "Хорошо". Затем скинула туфли и легла одетой в постель. Разделась под простыней, как монахиня, — ее нагота не для глаз Всевидящего Ока. Икон в комнате не было, на стене висела только репродукция в отвратительной раме — стадо оленей, устремивших невинные прозрачные глаза на зрителя, работа американской школы, основанной Тишем, учеником Ландзера. "А теперь иди ко мне, — приказала она, — займемся любовью". "Ничего себе, раскомандовалась", — подумал Дэвид и под пристальным взглядом оленя забрался, как было велено, под одеяло.

Продолжалась эта любовь долго и носила совершенно животный характер. Дважды они прерывались, молча пили крепкий чай с персиковым вареньем из золоченых стаканов с выгравированными на них серафимами и ели холодные блины с копченой семгой и красной икрой. Позже, словно спохватившись, она позвонила в больницу узнать, как там отец. "Да, да", — сказала она, выслушав новости, и снова заключила Дэвида в свои могучие объятия. "Как он?" — "Плох. Сердце. Не дотянет до завтрака". (Она имела в виду до завтра.) — "Как же ты смеешь, как мы

смеем, как тебе это в голову пришло, это же неприлично!" Но жизнь взяла свое и восторжествовала над смертью. Они исполняли танец жизнетворения, заклинающий смерть. Апофеоз брачного союза без объявления о помолвке, условностей и предосторожностей. Большим опытом по женской части Дэвид не располагал, но девушку от женщины отличить мог — Людмила, ради целомудрия которой умирал теперь ее отец, девушкой не была. Ну и что с того? Ресторан еще до завтрака перейдет в ее руки, и ей нужен муж, помощник в деле. Людмила Джонс — по-русски почти Иванова.

Они поженились в начале августа 1914 года, узаконив свой брак только в мэрии, обошлись без священника. Дэвид предложил расширить меню ресторана, включив туда баранью ногу по-валлийски, шахтерскую похлебку с бренди, брюкву, картофельное пюре и седло косули. "Нет, — сказала она, — никакой иностранщины". Дэвид, который в поте лица вкалывал на кухне вместе с престарелым поляком, не способным к покушениям на женскую плоть, чувствовал себя невольником. Деньги были ее, она без конца приказывала, смягчаясь только в постели. Как и многие валлийцы, Дэвид умел ублажать женщин. Между прочим, валлийки считают, что все мужчины неваллийцы, за исключением бенгальцев, любовники никудышные.

Четвертого августа разразилась мировая война, словно вскрылся нарыв на больном теле Европы, — нью-йоркские газеты сообщали о волне патриотизма в Британии. Дэвид терзался угрызениями совести и душой стремился на родину. Он был подданным Британской империи, и хотя это государство, которое отец называл орудием капиталистического подавления, ничем его не облагодетельствовало, он не допускал мысли о принятии американского гражданства. Речь не шла о том, чтобы отомстить немцам за поруганную Бельгию, — его мучило смутное чувство, что он в долгу перед смертью, которой так легко избежал во время катастрофы "Титаника". К тому же благополучная Америка, черт ее дери, уж больно задирала нос перед растерзанной Европой, а Дэвид, хоть и не мог выразить этого словами, ощущал себя европейцем. Жена его тоже из Европы, а Бруклин, хоть и полон европейцами, все же не Европа. Выйти бы белой ночью к Неве. Или послушать, как валлийские шахтеры распевают в четыре голоса, возвращаясь после смены. Поесть как люди, пользуясь ножом и вилкой.

С отцом Дэвид связь не поддерживал, он написал в Тредигар тетке, что женился на совершенно очаровательной русской девушке, что дела его в Америке идут неплохо, что просит передать поклон отцу, которого давно простил за пьяные побои, пусть и отец простит ему побег из дому. Письмо осталось без ответа — ну и бог с ним.

Ответ пришел в конце апреля 1915 года. Ресторан в ту пору процветал, Дэвид немного выучился говорить и читать по-русски, Людмилин английский стал лучше и приобрел характерный певучий валлийский акцент. Несмотря на высокий накал их еженощных соитий, активный сперматозоид пока в цель не попал. Ничего, время еще есть. Ему только двадцать один, а Людмила говорит, что ей вроде бы девятнадцать. Письмо, пришедшее из Тредигара, было от Айрис — тетя Герти грамоте не училась, зато замечательно пекла печенье. Из письма он узнал, что отец тяжело болен — опухоль в легком, — врач сказал, хорошо, если протянет месяца три. Отец ничего не знает, думает, у него бронхит. "Так что при-

езжай скорее, Дэй, в Блэквуд, Саннибэнк-роуд, 2, вместе с женой — надо же, русская, ну и дела".

— Ладно, — сказала Людмила, — поеду, а то ведь изменишь.

Это было признанием его любовных заслуг — такие, как он, естественно, бабники.

— А ресторан? Если ты думаешь, что я вернусь в Америку, ошибаешься, — сказал Дэвид. — Мы не вернемся, и не спорь, теперь я командую, продавай ресторан и дом, а деньги пока отложим. Я пойду в армию, но не во флот, морской воды я нахлебался, а когда война кончится, подумаем о будущем.

Они долго спорили. Наконец Людмила, за день до этого обварившая себя борщом, согласилась продать "Невский проспект" одному ловкачу из Бронкса по имени Келлер и выручила двадцать пять тысяч долларов, очень неплохие по тем временам деньги. Дом она продавать не стала, целиком сдала его, доверив сбор ренты адвокатской конторе "Пейзер, Райх, Кениг и Шарп". Ей снова хотелось в Санкт-Петербург. В Нью-Йорке уж больно много иностранцев.

Дэвид Джонс поехал в манхэттенское бюро путешествий и заказал билеты второго класса на пароход "Лузитания", отбывающий в начале мая. Вечером накануне отплытия Людмилу вдруг свалила страшная боль в животе. Аппендицит. Операция прошла удачно. Крепкая, как молодая кобылка, Людмила быстро поправлялась, но отъезд их откладывался до начала июня. Седьмого мая все газеты вышли с известием о гибели "Лузитании" — число жертв перевалило за тысячу двести человек. У Дэвида волосы стали дыбом. В его везучести ему померещилось что-то дьявольское. Они отбыли в Саутгемптон на пароходе "Монро", не имевшем на борту контрабанды и по всем правилам снабженном шлюпками, а благодаря предостережению президента Вильсона, еще и противоторпедными устройствами.

— Пока твой отец жив, побудем в Англии, потом поедем в Петербург, я так по нему соскучилась.

— О России мы подумаем после войны, детка, и сейчас мы едем ни в какую не в Англию, а в Южный Уэльс.

Как бы не так: административно Монмутшир подчинялся Англии, и в Блэквуде не было более английского адреса, чем Саннибэнк-роуд, 2.

Спальню Элиса Уина Джонса наполняли запахи лекарств и шумное дыхание умирающего. Ему было пятьдесят два, но выглядел он на все восемьдесят — кожа да кости, седая голова пророка, только бороды не хватает. Его сожительницы из Эббу Вэйл давно и след простыл, за стариком ходила платная сиделка из Сефн Форест, которая сейчас любовалась русской красавицей, заваривавшей крепкий чай. Отец попросил у сына закурить, тот протянул ему пачку "Голд флэйк". После приступа кашля сигарета, казалось, облегчила его дыхание.

— Все ждал тебя, сынок, и вот ты здесь, теперь можно и помереть спокойно. Легкие все уголек сожрал. Конец мне, ну да ладно, я свое взял, чего уж. Молодых-то сколько на моих глазах померло — им, бедолагам, и вспомнить нечего!

— Пощади легкие, папа, говори спокойнее.

— Хороша у тебя женушка, больно деловая только, ну ничего. В России-то какие дела творятся, слыхал? За этой страной будущее, вот увидишь. Дай-ка мне еще одну, сынок, вроде как прочищает дыхалку.

Дэвид дал ему "Голд флэйк", но тут отца скрутил приступ мучительного кашля и дрожащей рукой он вернул сыну сигарету.

— Не в жилу, видать.

Он выплюнул сгусток ржавой мокроты в тазик, стоявший у постели.

— Ишь сколько дряни скопилось. Слушай, сынок, открой шкаф. Там на дне сверток в почтовой бумаге, бечевкой перевязан. Имей в виду, он тяжелый. Принеси-ка его сюда.

Удивленный Дэвид принес сверток, с трудом удерживая его двумя руками.

— Слыхал ты когда-нибудь о самородке, названном "Привет", сынок? Найден в Балларате году, кажется, в 1858-м, — у деда твоего он с языка не сходил. Камешек фунтов на двести и стоил в то время почти девять тысяч, подсчитай, сколько это теперь. А в том, что ты сейчас держишь, тридцать восемь фунтов, сам взвешивал.

— Где ты его взял?

— Не волнуйся, твой дед оставил его мне, а я завещаю тебе. Дед умер в Веллингонге, там и похоронен, ничего себе названьице, да? Это возле Сиднея. Жил он там вполне прилично, но просто. Не давал ему покоя самородок, хотя говорил он, что добыл его честно, ну да это долгая история...

Дэвид щупал драгоценный булыжник, лежавший на простыне в ногах у отца. Он был с вкраплениями свинца, меди и железа, но на закате дождливого летнего дня приобрел благородный, даже царственный оттенок.

— Если хочешь, продай его к чертям, Дэй. Я не решался, боялся расспросов — мол, откуда, то да се. Откладывал, откладывал — и вот... Да и деньги водились, а банкам я не доверял. Под водяным бачком найдешь еще триста двадцать пять соверенов. Это твое наследство, мальчик, все честно, по закону, и дом тоже твой. Что ты тогда сбежал, нехорошо, конечно, ты с норовом, зато везучий, с "Титаником" на дно не пошел, а ведь сколько их там, бедолаг, погибло. Ты явно не в тетку Герти и ее родню, что они знают в жизни, кроме тюлевых занавесочек, а этот Джек Проберт ну такой дурак, какого, ей-богу, земля не носила. Тут еще одно дело есть... — И он снова зашелся кашлем, побагровел, к нему прибежала сиделка, что-то на ходу дожевывая.

На следующий день у старика вдруг проснулся невероятный аппетит. Он сказал сыну, что перед смертью хочет поесть бараньей ноги по-валлийски с соусом из бренди и портвейна и велел подать с полной сервировкой, как в благородных домах.

— Забавные вещи вспоминаются иногда, сынок, — добавил он. — На чердаке пылится эта, как ее, энцикла... — забыл, как дальше, от деда осталась. Он купил ее у разносчика на Кингз-кросс в Сиднее, может, теперь это уже ценность. В статье про Уэльс там сказано, что баранина по-валлийски — деликатес. Это слово я навсегда запомнил, хотя и не знаю, верно ли его произношу. Так вот, желаю вкусить деликатеса, прежде чем отправлюсь в лоно Авраамово — невеселое, если вдуматься, путешествие...

Дэвид не позволял себе часто размышлять о своем беспредельном везении — конец ему могла положить немецкая пуля. Он решился идти на войну и дать шанс смерти отыграться. Но всему свой черед, сначала надо похоронить отца на их семейном участке в Бедуэлти. Он пригото-

вил баранью ногу по-валлийски с брюквой, луком и морковью, за пять минут до готовности добавил в блюдо рюмку портвейна, а за минуту — влил рюмку трехзвездочного "Мартеля". Обычный субботний обед в шахтерской семье, где шесть или семь сыновей вкалывают на шахте и, значит, водится лишняя денежка. Бедный старик вспомнил про лоно Авраамово, да-да, все из той же Библии. Пока Дэвид готовил обед, прибыла родня из Тредигара: тетя Герти с мужем Джеком Пробертом, Айрис с мужем Оуэном Дэвисом, которого на сталелитейне, где он работал, прозвали Красавчиком за его уродливую физиономию. Все они жили на Чеффрер-стрит в доме с тюлевыми занавесками.

Надеются получить свою долю, думал Дэвид, сидя с ними в гостиной и читая плохо скрываемую жадность в их темных глазах. Они взглянули на исхудавшего спящего Элиса Уина и теперь, удовлетворенные, ждали, когда Людмила — что за смешное не нашенское имечко — принесет им чай с валлийскими пирожными. Чай она подала на варварский англосаксонский манер, присовокупив блюдо с тяжелым лакомством, которое русские без иронии называют "зефиром". Зелеными балтийскими глазами Людмила с любопытством разглядывала загадочных иностранцев.

— Смешно она по-английски говорит, — отметила в свою очередь тетушка Герти. — В нашей семье никогда чужаков не бывало, не считая твоей матушки — она ведь из Северного Уэльса. Эти пирожные уж больно жесткие, Джеку не по зубам, ему помягче надо. Работы навалом — война, но какой из Джека теперь работник.

— А что с ним? — спросил племянник.

— Сосуды.

— Посуда? Разве есть такая болезнь? — спросила Людмила. Муж объяснил ей, в чем дело.

Тетушка Герти всхлипнула и стала перечислять свои недуги. Получалось, что ей, а не брату, пора уснуть вечным сном. И миссис Эванс все твердит, что у нее спина больная, и доктор Кронин, шотландец, велит принимать розовые пилюли, а у нее дома только белые.

— У нас по части выпечки Айрис искусница. — Тетя Герти с подчеркнутой деликатностью отодвинула остатки зефира. — Доктор Кронин, когда уходил, увидел ее тартинки и спрашивает, кто их приготовил. Дочка моя, говорю. Выглядят замечательно, говорит доктор. Вы попробуйте их, доктор, говорю. Нет-нет, я сейчас спешу, но вот что я вам скажу, миссис: в нашем доме я таких никогда не видел.

Она усмехнулась, довольная, как сытая кошка.

Дэвиду все это страшно надоело. Чертово племя, проклятый Уэльс, кучка придурков, живут, как кроты. Послышался слабый голос отца. Тетушка Герти невольно просияла: никак братец кончается.

— Гони-ка ты их к чертовой матери! Ишь, слетелись, стервятники. Я еще жив. Гони их и неси мне обед, сынок. Я чертовски голоден.

Итак, родственников, несмотря на ливень, спровадили на станцию ждать поезда в Блэквуд, а Людмила принесла Элису Уину обед на подносе, украшенном банкой с живыми гвоздиками. Умирающий ел с аппетитом.

— Недоперчил ты, парень, — сказал он сыну.

— Да ты от перца снова кашлять станешь, папа.

— И то верно, гляди, накаркал.

И словно что-то треснуло у него внутри.

Когда кашель прекратился, Элис Уин дышал из последних сил. Сын сидел у его изголовья всю ночь и слышал, как пели возвращавшиеся со смены шахтеры:

Хлеб у Эвана,
Чай у Томаса,
Пиво у Колльерс Армса...

Старик на минуту очнулся от удушливого забытья, почмокал губами, уверенно произнес: "Хорошо бы сейчас пропустить кружечку" — и умер. Сиделка пришла в полвосьмого утра, закрыла ему глаза, накрыла простыней и ушла в местную богадельню на Кэрдид-авеню присматривать за миссис Кадвалладер.

Дэвид Джонс видел гибель многих людей, но со смертью в собственном доме столкнулся впервые. Она была грязна и безобразна, эта домашняя смерть, и ничуть не напоминала ангельское успение маленькой Евы в фильме "Хижина дяди Тома", который он смотрел в Нью-Йорке. Кишечник и мочевой пузырь покойного напоследок опорожнились, простыни и матрас пришлось сжечь на заднем дворе. Тело, по-скотски извергнувшее нечистоты, теперь само превращалось в гниль — его отвергла душа. Значит, правы попы, она существует все-таки. Этот пригодный лишь для гроба кусок плоти не мог быть его отцом. Теперь он — свободная душа, и кто знает, чем занят там, где нет ни пива, ни баранины по-валлийски. Легионы душ в это же самое время покидали тела на полях Франции, и, возможно, он сам, живущий пока на земле сын и наследник, скоро последует за ними. Лучше там, думал Дэвид, чем в постели, изгаженной телом, которое бросила душа. Смерть на море тоже чище, но, уходя в землю, человек удобряет почву своим прахом, а в море труп идет на корм рыбам — за последние годы они здорово отъелись. Душа и плоть извечно противостоят друг другу.

— Ну что ж, детка, — сказал он Людмиле наутро после похорон, — завтра я еду в Ньюпорт записываться в армию. Ты тут не пропадешь. Одной, конечно, нелегко, но соседей хватает, помогут. Будешь получать солдатскую пенсию, и доллары есть на счете, если в фунтах, тысячи четыре. — Он не упомянул про самородок и золотые монеты, которые сдал на хранение в банк. У каждого мужчины должна быть заначка. — Не вечно же воевать, да и отпуск нашему брату дают.

— Я в Петербург поеду.

— Господь с тобой, — Дэвид не на шутку расстроился. — Да ты спятила! Там тоже война, немцы лютуют, я с ума сойду. Сиди дома, поддерживай огонь в очаге.

— Сейчас тепло. Топить не надо.

— Ну, это просто так говорится. Лучше оставайся и учи английский, а то соседи смеются.

— Они сами не англичане.

— Будет тебе. — Он вздохнул. — Дался тебе этот Петербург!

Он посмотрел на жену, на холодный камин, затхлую гостиную, которой пользовались только на Рождество да на похороны, на запущенный сад за окном. Она еще девчонка, жена-подросток. Любит ли он ее? Что вообще означает любовь? Он понимал, что Людмила затащила его в по-

стель, потому что ей нужен был мужчина в доме и в деле. Любит ли она его? Американский ресторан давно продан... Хотя зачем копаться в этих сложностях? Они муж и жена — едина плоть, хотя и две души (умирать все равно в одиночку, теперь-то он это знал), в будущем, возможно, мать и отец общих детей. Правда, механизм деторождения, подобно пресловутому паровозу Кроше-Бейли из валлийской сказки, никак не хотел запускаться.

— У тебя ж в Петербурге никого нет, детка.

— Есть тетя Аня и дядя Борис, он сейчас в тюрьме. Приходили же письма, помнишь?

— Господи, ну и семейка! Про тюрьму ты мне не рассказывала.

— Говорят, он призывал убить царя, над ним смеялись, но все-таки посадили.

— Погоди. — Он глубоко вздохнул. — Не все сразу. Что у нас, времени не будет? Куда он денется, твой Петербург?

Она покачала своей очаровательной головкой, волосы в утреннем хмуром свете сияли, как самородок, извлеченный из тайника. Другое покинувшее чердак сокровище — энциклопедия Келли — стояла теперь в книжном шкафу, все двенадцать томов. Сидела бы учила по ней английский. Есть еще Библия, над которой он когда-то непотребствовал, но она едва ли подойдет для занятий — язык устарел. А Людмила опять головой качает — я, мол, знаю, что делаю.

Он поехал поездом в Ньюпорт и записался в Гвентский королевский полк. Попасть на войну оказалось трудней, чем он думал; вроде как он делает одолжение королю и отечеству, а на поверку все выглядело наоборот. — Профессия? — Да нету, в сущности, профессии, так, ничего определенного, зарабатываю чем придется. Могла, правда, выдать наколка на левой руке — якорь и корона, моряцкий прищур да въевшийся в кожу морской загар, но на это никто не обратил внимания. — Родственники? — Жена, Людмила Джонс, урожденная Лихутина, да, русская. — Это их не слишком обрадовало, хотя русские в это время доблестно громили фрицев в Галиции. Его не вызывали на сбор в Чепстоу до конца августа, но настал день, когда номер 73 386 категории А1 — первосортное пушечное мясо без определенных занятий — пополнил ряды пехотинцев вместе с другими Джонсами, Уильямсами, Морганами и одиноко затесавшимся Причардом. Во избежание путаницы пришлось пристегнуть к фамилии последние цифры номера — Джонс 86-й. В его призыве оказался парень по фамилии Кадвалладер, и вместо того чтобы радоваться разнообразию, ротный старшина, англичанин из Кэдбери, спросил: это что еще за прозвище?

Из-за выговора старшины Кадвалладер не понял вопроса, и Джонс 86-й, вспомнив манхэттенские уроки, ответил за него: "Так звали короля Гвинедда". — Где такое, в Месопотамии? Чего суешься без спросу? И запомни, старшему надо говорить "сэр".

А помощник старшины заржал: "Как же, как же, помню. Кадвалладер и его валлийские козлы". В королевском Гвентском полку собрались люди из разных мест, но с валлийским акцентом никто из них не говорил. Казарма напомнила Джонсу 86-му "Титаник", поделенный на классы с табличками "Вход воспрещен" на каждом шагу, только вот женщин здесь можно было увидеть разве что в горячечных снах одиноких мужчин. За капитана здесь был полковник, для большинства фигура мифи-

ческая (пока ты не проштрафился как следует), а офицеры в звании капитана мало что значили. Рядовой Джонс условно поместил себя в четвертый класс. Кормили их так, что даже ирландцы, которых он когда-то потчевал переваренной капустой, отказались бы есть эту дрянь. Он, впрочем, помалкивал о том, что готовит лучше местного повара, пьяницы-капрала, заправлявшего кашу соплями и пеплом от своих бычков.



Плечом к плечу с другими Дэвид мерил шагами плац и тянул подбородок к разбитому носу — в первый же день ему щедро разукрасили лицо. На рассвете раздавалась команда "Подъем!", после чего их гнали строем на плац. "Лечь! Встать! Лечь! Встать! Руки по швам! Подтяни носки, скотина! Три наряда вне очереди!" Когда наконец, измочаленные и грязные (кран один, вода ледяная), они возвращались к себе и под бодрый, как говаривал бывший хормейстер Эванс 73-й, победный сигнал отбоя, забирались под одеяла, смуглый Морган 2-й с матраца в углу заводил знакомую волынку про померкшую славу британских кельтов:

— Они были христианами уже через двести лет после смерти Иисуса, да святится имя Его, и хранили дух веры, когда другие племена Британии, по праву принадлежащей кельтам, молились Одину, Тору и прочим деревяшкам.

Джонс 86-й слушал его и грустил об уютной кухне и котлах с мясом.

— Так чего ж мы воюем на стороне этих чертовых англичан? Чем хуже поганые немцы, тем, что орут "Боже, покарай Англию"? — раздался в темноте чей-то глумливый голос.

— Да, это вопрос. Но ничего, будет и на нашей улице праздник. В конце концов, разве немцы не двоюродные братья англосаксов? Сначала избавимся от немцев, а там уж никто не остановит вооруженных валлийцев, восставших, чтоб отомстить ближайшим угнетателям. Есть люди, которые видели призрак короля Артура на боевом коне. Он скакал по холмам, высоко подняв Каледвелч. Славный день недалек, и валлийцы, обученные военному искусству разнежившимися английскими простофилями, готовы встретить его.

Были в казарме и те, кто не понимал, о чем речь: больно много длинных чудны́х слов.

— Все повторится, как встарь, когда восстали князья кимров, Кадваллон Долгорукий и сын его Мэлгвин Гвинедд, и другой Кадваллон, правнук первого, и воевали с жестокими выродками, коими командовал боров с отвратительным именем Этельфрид, король англов в Нортумбрии, пока из-за жестокого предательства не потеряли валлийцы Стратклайд и всю Северную Британию и не были смяты в бесславной мясорубке при Честере.

В ответ рядовой Эванс 12-й кричал из другого угла, что все это замшелый национализм, что настоящая борьба есть борьба рабочих с капиталистами и что эта война приведет к неслыханному промышленному упадку, который породит революцию. А другой социалист, из третьего угла, утверждал, что рабочие вообще не должны участвовать в такой войне, ибо капиталисты, пока одни рабочие убивают других, жиреют на продаже оружия. Сам он в армию ни за что бы не пошел, но решил встать в ряды воюющего пролетариата, чтобы проповедовать новое Евангелие. Затем треугольную свару — бас пророка Славного Дня Уэльса и перебранка двух революционеров — заглушала политически незрелая частушка:

Паровоз системы Бейли
Ездить может еле-еле.
Эй, тяни его, мурло,
До вокзала в Нантигло.



Отяжелевший от пива капрал, за полночь вернувшийся из офицерской столовой, орал из-за перегородки в конце казармы на своем ирландско-ливерпульском: "А ну заткнись, брюквоеды хреновы!" После этого наступала тишина, нарушаемая приглушенным ворчанием в адрес проклятого капрала, ворчание переходило в храп и стоны, храп и стоны прерывал бодрый победный звук: по трубе ложимся, по трубе встаем — и так до могилы на полях Европы, братцы.

По окончании строевой подготовки рядовой Джонс был направлен в первый батальон королевского Гвентского полка, но перед этим получил увольнительную. Жена встретила его на пороге словами:

— Bore da. Dewch i mewn[1].

Он догадался, что это не русский.

— Детка, что за черт?..

— Миссис Джонс № 7 — моя athrawes[2].

— Боже милосердный.

— А ты поправился, nghariad[3].

— Каша, баланда, картошка и пиво. Так ты, выходит, ученая теперь?

— Книги читаю. Дошла до второй буквы. "Бендиго — прозвище британского кулачного бойца Уильяма Томпсона. Также город в провинции Виктория в Австралии. В 1851-м там были обнаружены золотые россыпи, открытие, приведшее к золотой лихорадке". Ездила в Кардифф. Там есть русская церковь. Священника зовут отец Кирилл. Он продал мне англо-русский словарь. С ним я совершенствую и свой русский. А теперь мы идем в постель.

Они пошли в постель. Потом она, напевая что-то по-русски, приготовила настоящий английский завтрак: яичницу с беконом, гренки с маслом, сливовый пудинг и чай. Самоваром, привезенным из Бруклина, она больше не пользовалась. Виновато-довольный, всласть натешившийся с женой гвентский пехотинец ждал, пока заварится чай. На маленьком журнальном столике он заметил первый том энциклопедии Келли, раскрытый на статье "Бенедиктинцы" — черт его знает, кто такие. Он вспомнил "Бенедиктин" — так назывался ликер в офицерской столовой, бутылки из-под которого ему дважды выпала высокая честь убирать после попоек, ну и грязища там была. Из праздного любопытства он прочел из середины: "...орден св. Бенедикта (480—547) в Субиако, где он основал не менее двенадцати монастырей. Устав написан Бенедиктом в Монте-Кассино, где находится главная ложа ордена. Незадолго до смерти его посетил король остготов Тотила, которого Бенедикт обратил в христианство. Распространенная версия о том, что бенедиктинцы обязаны своим проникновением в Англию миссии Блаженного Августина, опровергнута найденной в 1889 году рукописью, автором которой считается монах Родериго. В настоящее время манускрипт находится в

1. Доброе утро. Заходи в дом (*валл.*).
2. Учительница (*валл.*).
3. Любимый (*валл.*).

частной коллекции. Этот документ сообщает об эвакуации бенедиктинцев из Западной Англии в 577 году вскоре после битвы при Деораме и возобновившемся наступлении саксов на запад. На хранение монахам были отданы сокровища британской короны. Согласно Родериго, они благополучно прибыли в Италию в Монте-Кассино. Никаких следов этих сокровищ не обнаружено..."



И вот чай наконец был готов... К концу своей побывки, несмотря на обильный стол, Дэвид немного похудел и расчувствовался. Людмила проводила его до станции и со слезами посадила на поезд. Она жалела себя, несчастную русскую сиротинушку, одну-одинешеньку на чужбине, даже дружба с русским попом в Кардиффе из маленького православного прихода неподалеку от порта не приносила утешения. В русских газетах, которые получал поп, она читала о зверствах германцев в России. Теперь она боялась ехать в Петербург и хотела только одного — всегда быть с мужем. Весь атеизм, внушенный ей отцом, улетучился, особенно при воспоминаниях о покойном, который был далек от праведности, и теперь она молила русского Бога об окончании войны и о возвращении мужа, целого и невредимого, годного к любовным утехам. На что рядовой Джонс 86-й коротко ответил бы: аминь.

В Монмуте, как раз накануне Рождества, подразделение получило приказ об отправке на фронт. Их построили ночью. Все в шинелях с начищенными пуговицами, но без оружия. Дэвид сделал шаг вперед, когда при перекличке в свете фонаря назвали его имя и номер. Под звуки военного оркестра, игравшего "Если попадешься ты в капкан", их отправили на железнодорожную станцию. В поезде дисциплину не соблюдали, Дэвид и его товарищи тонули в полутьме в спертом, прокуренном воздухе и проклинали долгую дорогу — состав шел окружным путем, им предстояло подобрать таких же злых и сонных новобранцев в Россе, Нортличе и Хангерфорде. Расстегнув шинели, сбросив сапоги в кучу из сигаретных пачек, промасленной бумаги, номеров "Джона Булля"[1], солдаты, стиснув зубы и зажмурив глаза, погрузились в собственные размышления.

Почему, думал рядовой Джонс, я пошел в добровольцы? При нынешних потерях на Западном фронте, как пишут газеты, нехватке людей и при том, что лорд Дерби дал, по настоянию профсоюзов, бронь только тем, кто работает в военной промышленности, его бы рано или поздно все равно призвали. Подлинной причиной его поступка явилось желание принять смерть на миру и со всем миром — он боялся закончить дни под копытами ломовой лошади или подохнуть от застрявшей в горле рыбной кости. Слишком везло до сих пор. Захотелось испытать судьбу.

Его мучил другой вопрос: зачем они воюют? Если верить "Джону Буллю", их везут во Францию, чтобы дать отпор гуннам, пускающим бельгийских детей на котлеты. Интересно, почему англичане называют немцев гуннами, если те считают себя германцами, а по-немецки выходит, что голландцы те же германцы или что-то вроде того? Рядовой Джонс рисовал себе Европу в виде квадратной военной карты, ярко освещенной в центре и теряющейся в сумраке по краям. Ревущие усатые дикари в островерхих касках ловили на штыки голых младенцев, соревнуясь между собой, как в спорте. Гражданское население, одетое в чуд-

1. "Джон Булль" — сатирический журнал.

ные костюмы, в ужасе пряталось по темным углам. Ему виделись монахи, катящие из подвалов бочки с "Бенедиктином" для будущего победного пира. Поезд не спеша вез его на встречу с историей, о которой он не ведал. История, уходящая во тьму веков, всегда была полна рева, и мечей, и штыков в животах и лишь изредка освещалась истинным светом. Мэлгвин Гвинедд, Кадваллон Долгорукий и король Бордельбред, или как его там, представали армией бородатых и драчливых головорезов, и каждый норовил хапнуть побольше.

Состав без конца и края, паровоза впереди и не разглядишь, как будто к поезду на каждой станции прицепляют очередной вагон, а тебе надо влезть в этот перегруженный состав. Эй вы, счастливчики, пошевеливайтесь и скажите хоть, кто вы по вере, чтобы знать, какой крест ставить над вашими могилами на васильковых полях мрачной европейской истории, а может, и среди маков или колокольчиков. Почему от мака клонит в сон? Потому что из него делают опиум. На борту "Колокольчика", помнится, был один китаеза, который выкуривал свои дежурные три трубки, когда был свободен от вахты, а после иногда спал как младенец, иногда хныкал, а иногда орал, что старпом-поляк превратился в дракона и хочет сожрать его живьем. Паутина мыслей сменялась паутиной сна. Прильнув щекой к каким-то ремням и железкам, пахнувшим одеколоном "Колокольчик", и обняв, как младенца, свой вещмешок, рядовой Джонс забылся. "Колокольчики, мой милый, пусть напомнят обо мне", — играло концертино в кают-компании. Концертино затонуло не сразу, волны ласково покачали его, прежде чем, издав прощальный всхлип, оно скрылось под водой. Ночью в Паддингтоне на провонявшей тухлыми яйцами станции его разбудили крики и гудки паровоза.

Их выстроили по четверо на заледенелой платформе и взвод за взводом погнали по брусчатой Эджуэр-роуд — настоящий каток, черт ее побери! Рабочие военных заводов спали на ходу, валлийцы же негромко напевали:

Футболистом был наш Бейли,
Выступал он за "Лланелли".
После матча в Кэннондэйле
Без ушей остался Бейли.

Лихая частушка прокатилась по Оксфорд-стрит, Парк-лейн, Гросвенор-плейс, Бакингем-палас-роуд.

— От нашего короля звону много, а толку мало, — заметил Пауэлл, — сам-то немчура проклятая[1], кузен кайзера Вилли. У них семейная разборка, а нам драться из-за этих подонков, мать их...

Наконец вокзал Виктория, поезда, готовые к отправлению на континент. Армия Спасения раздавала чай, но на всех не хватило. Набившись в вагоны, они снова продремали до остановки в Фолкстоуне. Над Ла-Маншем стояло зимнее утро. Здесь их ждали пахнувшие блевотиной паромы, наскоро переоборудованные из пассажирских в военные, в сопровождении нескольких торпедных катеров для защиты от немецких подлодок. Рядовой Джонс, нечувствительный к качке, уверенно стоял на палубе,

1. Король Георг V (1865—1936) — из Саксен-Кобург-Готской династии, во время войны изменил немецкую фамилию на английскую Виндзор.

пока его товарищей выворачивало наизнанку, и, подставив лицо ветру, с наслаждением вдыхал запах моря, своего старого друга-врага. Потом он почувствовал озноб, в горле запершило. Неужели простудился? Да и в боку вдруг острая боль.

На бивуаке возле Булони их загнали в палатки, по полвзвода в каждую. Рядовой Джонс лежал на нестроганых досках, укрытый семью грязными одеялами, и немилосердно кашлял после трех грязных сухарей пополам с опилками. Протрубили обед, но есть не хотелось. Он встал и пошел в переносной ларек, торговавший сигаретами, ваксой и всякой всячиной. Купил микстуру от кашля, на которую был большой спрос в это время года — неудивительно, небо хмурилось, вот-вот должен был пойти снег, — и опрокинул в себя пузырек, залпом проглотив все его черное тягучее содержимое. После этого он уснул и проспал как убитый целые сутки, пропустив смотр, но его почему-то никто не хватился. Проснулся Дэвид, слабый и голодный, от лязга касок, винтовок, штыков и противогазов и, стуча зубами от озноба, выпил целую кварту сладкого чая. Идти в медпункт не хотелось, подумают еще, что уклоняется от службы. Рождество не отличалось от будней, если не считать выданного в этот день солдатам сливового киселя. У него снова открылся сухой кашель, голова кружилась. Наковыряв льда, он стал бриться и порезал подбородок. Кровь тут же замерзла. Да еще эта боль в боку покою не дает.

Через два дня сержант объявил им об отправке на фронт. На станции их ждал обшарпанный французский поезд, но свежие хризантемы в изящных серебряных вазочках по-прежнему украшали столы, покрытые белоснежными салфетками, — жаль только, стекла выбиты. Погрузка и выдача сухого пайка была назначена после обеда. Доброго пути, везунчики.

Во время смотра рядовой Джонс 86-й из задней шеренги упал на впереди стоящего и нарушил весь строй. Очнулся он в госпитальной палатке унылыми зимними сумерками. Кишки выворачивало — такого с ним еще не бывало. Медсестра поспешила к Дэвиду с тазиком. Измерила температуру: 39. Пришедший вскоре военврач объявил, что у рядового Джонса 86-го крупозное воспаление легких. Горячие грелки, к ноющему боку лед — терпи, деваться некуда. Рядовой Джонс 86-й с усилием огляделся и увидел, что палатка полна раненых. Ему стало стыдно. Военврач капитан Фергюссон посмотрел ему в глаза и сказал:

— Я заметил наколку у тебя на руке. Во флоте служил? Ты все бредил о шлюпке.

— "Титаник", — выдавил из себя Джонс, чтобы хоть как-то оправдаться перед стонавшим через три койки от него солдатом с кровавым месивом вместо лица.

— Вот оно что. Сумел выбраться, значит? Повезло. Тебе и сейчас повезло. Еще денек, и ты бы наверняка загнулся.

Он перешел к следующей койке, где лежал раненый с оторванной по локоть рукой и без ноги. Дэвиду стало еще хуже. Угораздило же слечь из-за дряни, которую любой недотепа может подцепить на гражданке. Он не находил себе места от стыда, когда на восьмой день привезли Эванса 23-го и Уильямса 68-го из его призыва. Резерв второго батальона гламорганширцев, точнее то, что от него осталось. Отрыжка фронта. Эванс 23-й потерял правый глаз, вся левая сторона лица Уильямса 68-го была разворочена от скулы до подбородка. Немцы начали обстреливать госпиталь. Всех, кого можно было вывезти, эвакуировали. В том числе и

Джонса 86-го. Когда он прибыл на поправку домой, мундир болтался на нем, как на вешалке. Людмила в своих энциклопедических штудиях дошла до статьи "Брейкспир, Николас – единственный англичанин, избранный Папой Римским, см. Адриан IV".

– Это я уже читала, – сказала она, глядя, как Дэвид вычищает хлебом тарелку. – Ydych chi eisiau rhagor?[1]

– Да, хочу, если эта абракадабра подразумевает добавку.

– Какой же ты к черту валлиец, если не говоришь по-валлийски!

– Зато ты стараешься за двоих, детка.

Людмила кормила его на убой, но вся энергия расходовалась в постели, так что к концу отпуска мундир был ему все еще велик. Он вернулся в 10-й батальон Гвентского королевского полка, расквартированный в Тоуне, в поместье графа Бармута. Война между тем продолжалась. 2 марта 1916 года начался второй этап битвы за Верден, французы удерживали свои позиции, немцы потерпели поражение у Во, но смогли продвинуться немного вперед по направлению Бетанкур–Кумьер. Мортом по-прежнему оставался в руках французов. Тем временем в тылу ирландцы наносили Британии поражение за поражением, однако шинфейнерам[2] не удалось встретить подлодку сэра Роджера Кейсмента[3], и утром в Страстную пятницу он был арестован и доставлен в Англию. В понедельник после Пасхи события развивались без него. Патрик Пирс[4] произнес речь на фоне трехцветного знамени революции 1848 года: "Братья и сестры, именем Господа и наших предков, защитников национального достоинства Ирландии, родина заклинает своих детей стать под это знамя на борьбу за ее свободу!"

Во время смотра подполковник Бойс, командир 10-го батальона, страдавший заиканием, объявил через своего заместителя майора Фэзера, что все, кроме больных, будут переброшены для восстановления порядка в Дублин, где к ним присоединятся бойцы из Кураха (никому не ведомой валлийской дыры). Рядовому Джонсу 86-му снова выдали каску и винтовку, однако, учитывая техническую отсталость ирландских патриотов, оставили без противогаза. В этот вечер рядовой Причард 5-й, мрачный здоровенный детина со следами споротых нашивок на рукаве, произносил зажигательные речи:

– Не заблуждайтесь, товарищи и братья валлийцы, это вовсе не та война, на которую мы пошли добровольцами. Узурпаторы воспользовались нашим желанием служить идеалам свободы и превратили нас в орудие тирании и подавления. Ирландцы хотят того же, чего хотели и мы, но валлийцы пали духом, сон сковал их плоть, не то давно бы мы покончили с английским деспотизмом. Ирландцы подняли восстание против несправедливой власти англосаксов, так пусть англосаксы его и подавляют. Мы ведь не англосаксы, черт возьми, мы – валлийцы, братья-кельты, и мы ни за что не будем служить угнетателям. Позор этим юбочникам шотландцам, что уже расстреливают ирландских детей на площадях Дублина. Они замарали свое кельтское прошлое. Лучше уж самому быть

1. Хочешь добавки? (*валл.*)
2. Шинфейнеры – члены ирландской радикальной партии Шин фейн (осн. в 1905 г.), выступавшие за полную независимость Ирландии от Великобритании.
3. Роджер Дэвид Кейсмент (1864–1916) – ирландский политический деятель. Обратился к Германии за помощью Ирландскому восстанию 1916 г. в Дублине. Казнен по обвинению в государственной измене.
4. Патрик Генри Пирс (1879–1916) – один из руководителей восстания.

расстрелянным. Я знаю, такие призывы называют мятежом, но этого слова бояться не надо. Завтра во время поверки, когда раздастся команда "на плечо", по условленному знаку мы бросим наши винтовки и не станем подчиняться дальнейшим приказам. Я все сказал.

Другой солдат, не столь красноречивый, возразил:

— Ну их к черту, этих грязных капустников. Каждое лето прет их целая орава на сезонные работы за грошовое жалованье, тащат вшей, всякую заразу, да еще и попов своих в наш чистый край. Сами нарываются на пулю, так пусть ее получат.

После этого началась драка.

На поверке выяснилось, что рядового Причарда 5-го в строю нет. Говорили, что он лежит скорчившись, стонет от боли и не может разогнуться, а уж вытянуться по стойке "смирно" — тем паче. Батальон, оставляя по правую руку величественный Кадер Идрис, отправился маршем на север, через Гвинедд, где некогда правил король Кадваладр (от несчастного тезки которого осталось только мокрое место), к острову Англси и порту Холихед. И снова проклятья и блевотина (рядовой Джонс 86-й не в счет) в бурном море по дороге в Кингстаун. На сходнях пристани, превращенной в бивуак, многих пришлось приводить в чувство нашатырем и пивом, прежде чем они могли двинуться дальше.

В Боландз Милл в казарме добровольцев бывший учитель арифметики с испанской фамилией (все, что осталось от Великой армады) просвещал своих подчиненных, как овладеть пронзенным, но еще живым сердцем многострадального ирландского народа. Измотанные качкой британские солдаты маршировали под аккомпанемент канонерок, обстреливавших Сэквилл-стрит. Прямо по курсу горело здание почтамта. Некоторые повстанцы прятались в кустах бульвара Стефана. Из разбитых окон отеля "Шелбурн" раздавались винтовочные выстрелы. Полоумная старуха в отрепьях у плюющего стеклом водостока осыпала бранью Кромвеля. А ну, посторонись, мамаша! С Графтон-стрит выбежал отряд легко вооруженной пехоты. Эхо выстрелов гулко разносилось по улицам. Потревоженный селезень снялся с пруда в городском парке, когда половина взвода во главе с лейтенантом Хоскинсом вошла в парк, перешагивая через тела убитых, на губах которых застыли предсмертные проклятья. Рядовой Джонс 86-й ощутил внезапный оглушительный удар в ключицу и увидел, что левая часть его гимнастерки стала красной. Он свалился на скамейку, уверенный, что его ключица разлетелась вдребезги, а мимо него гнали, тащили и несли волосатых капустников.

Людмила добралась до статьи "Ванкувер, Джордж (1757—1798), английский мореплаватель". Рядовой Джонс с рукою в гипсе помогал ей накрывать на стол. Она сказала:

— Ewch chi allan i'r ardd i ddarllen neu ewch yn ôl i'r gwely i gysgu. Gadewch y cyfan i fi[1].

Ну и дела, Господи. Он пошел в сад, который она привела в относительный порядок и посадила там гвоздики, и стал читать "Стар оф Гвент", где перечислялись имена соотечественников, погибших при Сомме. "Дейли мейл" поздравляла австралийцев со взятием Позьера. А он — в своем саду, ключица потихоньку заживает. Людмила нашпигована английскими и валлийскими словечками и бесполезными сведениями

1. Иди в сад, полежи и почитай или поспи. Я сама справлюсь (*валл.*).

из этой старой, как бишь ее, энциклы, купленной отцом у разносчика в Сиднее, — лучше бы забеременела. Уж вроде пора. Ему стало любопытно, что за дети у них будут. Впрочем, что там гадать, плоть от плоти. Вот, скажем, эта бабочка с шоколадными крылышками в оранжевых и желтых крапинках не думает о продолжении жизни; а сколько раз он мог умереть, даже не понюхав вражеского пороха и не оставив потомства. В госпитале один разжалованный в рядовые капрал, образованный парень, подарил ему свою книжку про гуннов, она так и лежит в вещмешке. Этот парень решил после ранения вернуться в строй, считая, что на фронте больше шансов выжить. В бою при Сомме у него лопнула правая барабанная перепонка и он потерял кисть левой руки — необходимая жертва, объяснил он, богам смерти и богатства. Зато можно слушать музыку левым ухом и писать правой рукой. В тридцать шесть лет его комиссовали, назначив нищенскую пенсию, и он решил, что теперь будет писать о всей подлости этого мира. Впервые в жизни Дэвид Джонс встретил человека, которым он искренне восхищался. Когда-нибудь он прочтет его книгу. Звали этого человека Реджинальд Морроу, а в полку он получил кличку Холостяк.

— Я не женат, — говорил он, — и теперь уж вряд ли женюсь. Кому я нужен, однорукий? Детей у меня тоже, наверно, не будет, так пусть мои книги станут моими детьми. А ты парень женатый, и у тебя еще будут дети, и если в тебе есть чувство долга по отношению к ближним, воспитай их так, чтобы они плевали в глаза любому правительству и ссали в рот любой власти. Пусть не верят громким фразам. Нельзя, чтобы это повторилось.

По окончании отпуска рядовой Джонс 86-й явился на сборный пункт Гвентского королевского полка, откуда его направили в госпиталь снимать гипс. Его признали годным к нестроевой службе — едва сросшаяся ключица может сломаться от ружейной отдачи, — снова посадили на корабль, только теперь до Осборна на остров Уайт, где находился санаторий для офицеров, а там определили на кухню судомоем. Повар-сержант ненавидел свою должность не меньше, чем офицеров, которых должен был кормить. Он плевал в жаркое и стряхивал пепел сигарет в мясной соус. Рядовой Джонс возмущался этим не столько из сочувствия к офицерам, сколько из гордости за профессию.

— Чхать мне на твои нашивки, — говорил он, — ты — позор поварского ремесла. Окажись ты в моем собственном ресторане, я надавал бы тебе по шее и спустил с лестницы.

Помощник повара, капрал, хохотавший над безобразиями своего начальника, и другой помощник, тихий, но склонный к истерике парень, контуженный на Марне, не веря своим ушам, с восхищением взирали на рядового Джонса. Сержант не стал строить из себя оскорбленную невинность. Вместо этого он сказал:

— Слушай, парень, я б тебе показал, почем фунт лиха. Только здесь не казарма и гауптвахты нет. — По привычке он плюнул в жаркое. — У всех нервы ни к черту, глянь хоть на него, орет каждую ночь невесть что, война больно затянулась. Если ты думаешь, что стряпаешь лучше, и считаешь, что эти недоноски отличают шампиньоны от резины, можешь завтра меня заменить, а мы с капралом Борроудэйлом чуток отдохнем. По-моему, мы это заслужили.

От негодования рядовой Джонс отшвырнул проволочную щетку, которой драил немыслимо грязный котел из-под каши, и выбежал вон, не обращая внимания на рев сержанта: "А ну, вернись, мерзавец!" Он вышел за территорию госпиталя и побрел по дороге, которая вела к монастырю бенедиктинцев. Он не знал, что монахи оказались в этих местах, потому что их изгнали из Соулсми после принятия антиклерикального закона 1906 года. Он любил посидеть на поросшем травой пригорке возле часовни и послушать просветляющее и возвышающее душу песнопение. Монастырь был светлой частью истории, а мрачная часть пытается всеми силами ее затмить. В это время дня в часовне не пели. Мимо прошел монах с раскрытой книжкой в руках и приветственно кивнул. Рядовой Джонс с почтением кивнул в ответ и, к собственному изумлению, произнес:

— Бежавшим монахам были вручены на хранение сокровища британской короны... Простите, забыл, как дальше.

— Откуда вам это известно? — спросил монах и закрыл свой требник.

— Видел в книге, которую читала жена.

— У вас не английский выговор, — заметил монах, говоривший с резким иностранным акцентом.

— Валлийский. Простите мое любопытство. В книге было сказано, что сокровища спрятали, и они там до сих пор.

— Монте-Кассино? В Италии?

— Кажется, так, — сказал Дэвид и добавил: — Сэр.

— Не называйте меня "сэр". Я вам не начальник. Так вы говорите, что в Монте-Кассино хранятся британские сокровища?

— Британские, точнее валлийские. Это сейчас Британия английская, а в те времена короли были валлийцами. Простите меня, я прямо сам не знаю, как это у меня вырвалось. Я, пожалуй, пойду обратно.

— Да, — проговорил монах, качая головой, думая о войне и разрухе. — Монте-Кассино — очень большой и очень старый монастырь. Много тайн похоронено под его плитами. Никто не знает, что там может быть. — И он перекрестил рядового Джонса 86-го двуперстием.

Этот экскурс в историю подействовал на рядового Джонса как успокоительное, и он вернулся в санаторий, а монах все качал головой ему вслед, снова раскрывая свой требник.

На следующий день рядовой Джонс сварил овсяную кашу без комков и приготовил рыбные котлеты из консервированной скумбрии и сардин. Повар-капрал с усмешкой осмотрел блюда, но потом перестал усмехаться, несмотря на свою тупость, уловив в действиях Дэвида профессионализм. Повар-сержант появился на кухне, когда рядовой Джонс готовил обед: легкий суп из консервированного молока и петрушки, бефстроганов с картофельным пюре и воздушный пудинг на десерт.

— Я те дам деликатесы, — выругался сержант, — клянусь всеми святыми, духу твоего не будет на кухне.

И плюнул в котел с супом. Рядовой Джонс, рассвирепев, оглушил его чугунной сковородкой. В это время вошел ординарец и увидел лежащего на полу сержанта, залитого супом. Вместо того чтобы посадить рядового Джонса на гауптвахту, он отправил его сторожить вещевой склад и послал ходатайство начальству о его переводе на другое место. Так рядовой Джонс 86-й попал обратно на сборный пункт.

К концу года его признали годным к строевой службе. В это время переформировывался второй батальон Гвентского королевского полка, и Дэвид оказался в первой роте, по-прежнему рядовым, но с нашивкой о ранении. На сей раз отпуска перед отправкой на фронт ему не дали, уезжал он под песенку "Не кидайтесь в папу лампой, взыщет Бог за керосин". В базовом лагере в Арфлёре им объяснили положение на фронте. Немцы не ожидали такого отпора у Вердена. По последним сведениям, позиции между Флёри и Фор-Дуаманом перешли в руки британцев, а лягушатники освободили Вашровиль, Пуавр, Одромон, Шамбрет и Безонво. Немцы отступали за, как они выражались, линию Зигфрида, которую союзники, отвергая мифологические аллюзии, называли линией Гинденбурга. Пока они будут за ней отсиживаться, наши используют передышку для долгожданного решительного наступления. Все ясно? Окопавшаяся немчура не погнушается прибегнуть к разным видам страшного оружия, включая невероятно зловонные отравляющие газы.

Батальон повзводно в сопровождении капрала посылали в специальный наглухо заколоченный домик. Прежде чем надеть противогазы, они были обязаны в целях общего ознакомления с предметом нюхнуть редкостную дрянь, вонявшую дерьмом, тухлыми яйцами, гниющим сеном напополам с кондитерской фабрикой. У многих противогазы оказались старыми и дырявыми. Легкие рядового Джонса тут же вспомнили о недавно пережитой пневмонии. Он выбрался наружу задыхаясь и увидел, еле сдерживая кашель, что таких, как он, много. Капрал, окруженный чудовищными резиновыми харями, глухо ругался в свой противогаз, пытаясь подавить этот стихийный бунт. На пороге домика рядовой Джонс оставил еще не переварившийся завтрак, после чего его стало рвать кровью. Он был так напуган, что, несмотря на угрозы взводного и приказ немедленно встать в строй, отправился в медпункт. Довольно с него этой бредовой затеи и обмороков в строю. Смотрите, кровь, настоящая. Дэвида положили в госпиталь, а его батальон отправили в Аррас. Когда через месяц он сделался годным пушечным мясом, в резерве Гвентского королевского полка осталось около двухсот пятидесяти боеспособных солдат.

После проверки в штабе батальона в двух милях от линии фронта в разрушенной деревне Мазантен его назначили вестовым первой роты под командованием лейтенанта Гриффитса, молодого, но уже седого, потрепанного и нервного банковского клерка из Суонси. Что касается первоочередной боевой задачи, диспозиция была такова: немцы засели на высоте, с которой просматривалась вся линия британской обороны, или, вернее, то, что от нее осталось. Поступил приказ штурмовать эту высоту по третьему разу и на сей раз захватить. Лейтенант Гриффитс вместе с истеричным сержантом и свежеиспеченным капралом, худым деревенским парнем, повел подкрепление в полтора взвода по изрытой снарядами дороге от Мазантена к линии фронта. Стоял февраль, шел сильный дождь, дорога превратилась в грязное месиво.

— Здесь, — наконец сказал лейтенант Гриффитс. — Не знаю, как это место называлось раньше, мы прозвали его Дерьмовым Склоном.

Высота была в полумиле, вершина ее поросла буками. По ее скользкому глинистому склону приказано забраться наверх под градом пуль противника — чистое самоубийство, никак иначе. То, что это чистое самоубийство, армейским языком сообщил в своем донесении командир

роты капитан Перри. Пакет в штаб батальона поручили доставить рядовому Джонсу 86-му. В ответе штаба говорилось, что остатки Гвентского полка будут использованы как резерв. Первыми пойдут в атаку мидлотцы и третий полк каледонских стрелков, гвентцам быть наготове. Видимо, в штабе решили, что взобраться на эту высоту по трупам легче.



Рота рядового Джонса 86-го расположилась на церковном дворе среди разрытых снарядами могил, разбросанных костей и обломков соборного купола. Наполовину ржавый флюгер был цел, и сержант прихватил его на память. Тяжеловат только, зараза. Промозглым февральским утром немцы заметили их и начали обстреливать из пушек. Было около одиннадцати, когда рядовой Джонс 86-й вдруг услыхал невообразимый грохот и увидел фейерверк из разрывающегося металла и человеческих тел. Оставшиеся в живых, не дожидаясь приказа, укрылись в разрушенной церкви, вспугнув гнездившуюся там стаю ворон. Рядовой Джонс побежал. Сзади разорвался восьмидюймовый снаряд, и прямо перед ним разлетелась на куски могильная плита. Он упал под лавиной каменных осколков и потерял сознание.

Людмила узнала о своем вдовстве из короткого письма, написанного жутким почерком майора Гвентского королевского полка. Официальное извещение военного министерства пришло позднее. Это была стандартная, размноженная на гектографе форма: фиолетовые чернила, фамилия Джонс вписана карандашом. Глубокие соболезнования, один из многих павших, тяжелейшие потери во время последнего наступления. Хороший солдат, верный товарищ.

Она не заплакала. В последнее время она жила в предчувствии вдовства. Перед ней легла пустыня будущего, но их с Дэвидом прошлое утешало Людмилу, а воспоминания, связанные с постелью, даже радовали. Она была верной женой. То, что он взял ее уже не девушкой, не слишком его беспокоило, в отличие от большинства мужчин. Она и не заметила, как потеряла девственность в угаре грубых удовольствий на одном пикнике, где юная Людмила и официантка Сандра, которую не рискнули нанять на работу без испытательного срока, сошлись с двумя молодыми людьми, угостившими их из фляжки сомнительной кока-колой. Любовь под американской луной вначале была неласковой и в жизни Людмилы следа не оставила, не то что связь с молодым канадским французом, который поставлял в ресторан мясо, когда отца мучили печеночные колики. Пока их не застукал повар Иван, они целовались и миловались прямо на кухонном полу. Любовь к своему бедному погибшему мужу стала для Людмилы почти смыслом существования. Осознав потерю, она уже не могла остановить слез.

К обеду она перестала плакать и проглотила жилистый бифштекс. С продуктами становилось все хуже из-за нападений подводных лодок на торговые суда. Выпив две чашки крепкого чая, она поплакала еще. Но слезами горю не поможешь. Надо действовать. Дом принадлежит ей, но это дом предков, а не ее дом. Продать его, что ли, и уехать в Петербург, который теперь Петроград? Она знала валлийский и, делая покупки на Хай-стрит, болтала на нем с местными продавщицами, овдовевшими раньше нее и в знак своего вдовства одетыми в черное. По-английски она говорила уже свободно, но только с теми, кто валлийского не знал. Итак, решено: надо ехать к родственникам в Петроград, если только в

это ужасное время туда можно добраться, а там видно будет. Если она не уедет, налетят эти жадюги, родственники мужа. Они уже приходили дважды, все четверо, узнать, не убили ли еще, и обнюхивали каждый угол дома, а в ответ на ее гостеприимное "Ydych chil eisiau te?"[1] ответили: "Мы по-русски не понимаем, детка". Запереть дом и уехать, может, и навсегда. Время покажет.

Людмила утерла слезы, умылась, припудрилась, надела черную шляпку с узкими полями, потертую соболью шубку, доставшуюся от матери, и под моросящим дождем пошла на станцию. Стараясь скрыть свое горе, улыбнулась на прощанье малышу миссис Эванс. Купила билет до Кардиффа с пересадкой в Ньюпорте. В поезде ее охватило подлое чувство полной свободы: деньги на ее имя лежат в банке, чековая книжка и британский паспорт, гарантирующий защиту британской короны в любых странствиях, — в сумочке. Русский царь очень похож на английского короля, но какая от него защита? Несмотря на молодость, русских она знала не понаслышке.

Кардиффский поп, чернобородый отец Кирилл, посочувствовал ей и сказал, что, возможно, это и неплохо — съездить в Петроград, чтоб отвлечься от горьких мыслей, хотя одному Господу ведомо, что там сейчас творится. Над родной землей сгущаются тучи, народ все громче требует хлеба и ропщет на бездарное правительство и генералов. Сам он считает Южный Уэльс вполне безопасным и уютным уголком, да и валлийцы как русские: истеричны и любят приврать. Он порекомендовал ей одно норвежское пароходное агентство возле пристани — лучше путешествовать на нейтральных судах. В темной и пыльной конторе, увешанной истрепанными рекламами давно стоящих на приколе норвежских судов, норвежец, женатый на валлийке, вытащил на свет погребенное под кипой бумаг расписание. У него был нервный тик, левая щека дергалась с регулярностью метронома. "Есть место, — сказал он, борясь со щекой, — на сухогрузе 'Священный Грааль'. Уходит на будущей неделе из Ньюкасла в Копенгаген, Стокгольм и Петроград. Берет всего двенадцать пассажиров, можно прямо сейчас заказать билет по телеграфу". Она заплатила чеком и старательно вывела *L. Jones*. Ничего русского, надпись четкая, как гравировка на надгробии.

Вернувшись в Блэквуд, она пошла на почту и оставила заявление с просьбой пересылать всю почту к ее тетке Анне Григорьевне Лихутиной по адресу: улица Мизинчикова, 32, Петроград, Россия. "Чудной адрес, нелегко запомнить", — заметила почтальонша. Людмила написала адрес печатными буквами на конверте — латиницей и кириллицей. Какой почты она ждала? Последнего письма со словами: "Я иду в бой, храня память о твоей любви и красоте в своем сердце"? Завещания с чековой книжкой? Официального извещения: "Ваш муж не погиб, простите за досадную ошибку"? Денежной компенсации от правительства, пославшего Дэвида на бойню?

Она доехала до Ньюкасла в грязном, еле тащившемся поезде, набитом обессилевшими солдатами с пустыми, равнодушными глазами. Впрочем, нашелся один матрос с надписью "Герой. Крейсер Ее Величества" на бескозырке, который попытался за ней приударить. В Ньюкас-

1. Не желаете ли чаю? (*валл.*)

ле говорили на странном английском, и ей удалось отыскать свой пароход только к вечеру. Стюард, похожий на альбиноса, проводил ее в каюту. Ей предстояло долгое и тяжелое плавание с однообразным меню: тушеная дичь, рыба и akvavit[1]. Среди пассажиров были двое печальных русских в трауре, один из них с вечно плачущим, должно быть, недавно осиротевшим ребенком. С Людмилой они не заговаривали. Капитан "Священного Грааля" носил желтую раздвоенную бороду и за столом не пользовался приборами, ел пальцами. Однажды ночью она услышала, как он пыхтит у дверей ее каюты. Холодным утром 6 марта 1917 года судно причалило в петроградском порту.

Обшарпанный лихач доставил ее на улицу Мизинчикова, рядом с Фонтанкой и Невским проспектом. По воспоминаниям детства, город либо лежал под снегом, либо томился от белых ночей. Сыпал редкий снежок на фоне красного зимнего заката, люди напоминали толстые свертки, изо рта у них шел пар. На улицах стояли длинные хлебные очереди, но Людмила не видела хлеба. Из труб робко поднимался жиденький дымок. "Топить нечем", — объяснил усатый извозчик. В Южном Уэльсе никогда не было недостатка в угле. "Скоро такое начнется, барыня, — сказал лихач. — Мочи нет терпеть. Питер на военном положении под началом этого, как бишь его, генерала Хабалова, морда у него что утиная задница, извините за выражение. Говорит, что всех виновных в беспорядках вешать будет, как собак. Жена моя целыми днями в очереди за хлебом сидит на ящике из-под мыла и вяжет. Если военное положение, тогда всем положено пайки выдавать, а где они, спрашивается? Не вовремя вы домой приехали, барыня".

Тетя Аня, обитавшая на последнем этаже большого многоквартирного дома, приняла ее с истинно русским радушием и слезами сочувствия. Квартира была холодная, печку топили старыми подшивками "Дня" и "Русской воли". "Ничего не выбрасывай, — говаривал бедный Борис, — никогда не знаешь, что может пригодиться". Бедный Борис сидел в "Крестах". Людмила выложила на стол рубли из кошелька и принялась выгружать из чемодана банки тушенки. "Благодетельница ты наша, ангел Божий, ножки тебе целовать, — запричитала тетушка. — Что бы мы без тебя делали". — " Мы?" — "Да, Юрочка, Борисов племянник, живет у нас, а мать его, сестра Бориса, овдовев, пошла в сестры милосердия, ранили ее недавно". Тетя Аня поставила самовар и заварила привезенный Людмилой чай. "У нас ведь не чай, а так, пыль одна нынче, дай тебе Бог здоровья".

В четверг 8 марта Людмила отправилась с тетушкой на Невский проспект на поиски хлеба. Мимо них в облаке снежной пыли отряд казаков проскакал галопом к Адмиралтейской набережной. "Видно, неладно там, — сказал удивленным дамам широкоплечий мужчина в потрепанном пальто. — Битому псу только плеть покажи. Рабочие бунтуют и правильно делают. Я сам рабочий. Знаете, что сказал в Думе на прошлой неделе министр сельского хозяйства Риттих? Ничего, мол, страшного, народу попоститься полезно. Мы, значит, голодай, как церковные мыши, а они за пятьдесят миллионов пусть ставят памятник Лермонтову перед Александринским театром. Я там служил, пока не повздорил с начальством. Не может так больше продолжаться, еще увидите, какой

1. Водка (*норвеж.*).

гром грянет". Он отвесил им неуклюжий поклон и свернул в переулок. Вечером Юра рассказал Людмиле с тетушкой, как на его глазах разграбили булочную возле Смольного монастыря, а он, воспользовавшись толчеей, стащил из кошелки у одной толстой крикливой тетки буханку черного. Молодец, Юрка, храни тебя Бог, детка! Они поели черного хлеба с тушенкой, запивая слабым чаем.

Газеты на следующий день не вышли, но, по слухам, в Думе дело дошло до кулачной драки, потому что правительство пыталось переложить ответственность за снабжение продовольствием на местные городские власти. Улицы патрулировались казаками, народ их радостно приветствовал. Стоял славный зимний денек, воздух пьянил, как шампанское, о котором давно и мечтать забыли. "Граждане, – говорил казак, сдерживая гарцующего коня, – не бойтесь, мы в народ стрелять не будем. Мы с вами заодно. Казаки и раньше не подчинялись приказам, теперь и подавно. А вот за жандармов ручаться не можем. Они сами по себе". Неся в тетушкиной сумке немыслимо дорогой кочан капусты, Людмила шла мимо Казанского собора и видела, как в отряд жандармов летели камни, бутылки и мешки с отбросами. Конный жандармский офицер пальнул для острастки из револьвера в простуженное солнце. Жандармы арестовали двух рабочих в синих робах и потащили их в околоток на Казанской улице. Разношерстная толпа, сдерживаемая цепью солдат вокруг полицейского участка, пыталась их отбить. Дула заряженных винтовок глядели в землю, офицер поднял дрожащую руку, готовясь скомандовать "огонь". Когда прямо в участок ворвался конный казачий отряд, околоточные разбежались. Казаки тут же вернули арестованных толпе, которая от радости чуть не разорвала их на куски.

– Леворюция, – сказала гордая знанием трудного слова тетушка, прижимая тройной подбородок к потертому стоячему воротничку черного платья.

Бедный Юрочка, худенький, одетый в отрепья сын погибшего под Тернополем отца и больной матери, просматривавший старые подшивки "Дня", прежде чем отправить их в печку, взглянул на нее и поправил: революция.

– Это почему же? Царь – он правый, рабочие – левые, Россия влево поворачивает, – значит, леворюция, и не спорь со старшими.

– Юрочка, – сказала Людмила, – тебе нужно новое пальто. Я, кажется, видела подходящее в витрине рядом с "Асторией". Сходим посмотрим, пока светло.

Увы, пальто оказалось мало и стоило очень дорого, к тому же хозяин торопился закрыть магазин. На улице дрались. Зеваки наблюдали за происходящим разинув рты, точно смотрели кино с Чарли Чаплином. Людмила и Юрочка увидели рабочего, стоявшего на перевернутой урне посреди проспекта.

– Долой Штюрмеров, Голицыных и Протопоповых! К черту всех! Мы хотим хлеба! Не будет хлеба, не будем работать!

– Долой войну! Хватит, попили нашей кровушки! Это – царская война, не наша! – одобрительно подхватывала толпа.

– Довольно! – кричал другой рабочий с лихо подкрученными усами. – Хватит проливать кровь наших сыновей и братьев! Долой правительство, да здравствует мир, мы, русские люди, его заслужили! Товари-

щи, — продолжал он, — сохраняйте порядок, не поддавайтесь на провокации. Правительство только и ждет беспорядков, чтобы обрушить на нас свою карающую дубинку. Сохраняйте спокойствие, расходитесь мирно, с песнями.



Около сотни конных казаков стояли в стороне, не вмешиваясь. Они добродушно взирали, как толпа постепенно расходится, некоторые, подкручивая усы, негромко напевали. На следующий день, в субботу, выдавали зарплату. Рабочие не спеша выстроились в очередь перед Невским банком: купить на заработанные деньги было почти нечего. Трамваи не ходили, извозчики куда-то подевались. Изредка одинокие автомобили пытались прорваться сквозь людское море на проспектах, но волны мягко относили их назад. По ночам раздавались редкие выстрелы. Горожане полагали, что стреляют жандармы, переодетые в солдат. Рабочие митинговали у касс синематографа. Ходили слухи об однодневной забастовке в понедельник — будет время прийти в чувство после воскресного запоя. "Дума уже наложила в штаны от страха, — зубоскалил толстый котельщик в очереди, — завтра чтой-то будет". Он уплатил десять копеек в кассу и пошел смотреть американскую фильму про французскую леворюцию.

Ослепительно-ледяным воскресным утром зазвонили колокола. Ночью повсюду были расклеены уведомления военного губернатора Хабалова о том, что все не вышедшие в понедельник на работу будут немедленно отправлены на фронт; запрещались уличные сборища и митинги; полиции и армии приказывалось любыми средствами разгонять все незаконные сборища. Люди все равно собирались, митинги разрастались. Одетые по-воскресному дети, вцепившись в подолы своих закутанных в платки матерей, спешили, как на Масленице, от одной толпы к другой, боясь пропустить самое интересное. "Мы хотим только хлеба! — кричал рабочий, забравшийся на шаткую пирамиду из пивных ящиков. — У правительства полно хлеба, оно его только гноит". Появившийся отряд павловских юнкеров пальнул поверх голов, и толпа разбежалась. Одна из рот Павловского полка взбунтовалась, но была немедленно разоружена преображенцами. Во всяком случае, так говорили. К вечеру стрельбу слышали у гостиницы "Европейская" и возле Аничкова дворца. Невский проспект был очищен от толпы и патрулировался гвардейцами. Ходили слухи о расстреле двух тысяч человек (на самом деле двухсот). Узнав об этом, Людмила пожалела, что она не в Монмутшире.

Все бурно обсуждали телеграмму, посланную государю председателем Думы Родзянко. В ней говорилось о царящей в столице анархии, о перебоях с транспортом, дровами и продовольствием, общем недовольстве, беспорядочной стрельбе в общественных местах, армейских мятежах, о необходимости нового правительства народного доверия, о том, что промедление смерти подобно и в этот грозный час остается только уповать на Бога, дабы народный гнев не обрушился на венценосную голову. Ходили слухи о роспуске Думы, о том, что думцы, не желающие роспуска, формируют временное правительство.

В понедельник 12 марта солдаты Преображенского полка отказались стрелять в протестующих рабочих. Вместо этого они расстреляли своих офицеров. Волынский полк, брошенный на подавление бунта, присоединился к мятежникам. Рабочие вместе с революционно настро-

енными учителями и неудачливыми журналистами, придававшими военному мятежу характер гражданского неповиновения, призывали к штурму арсенала. Вскоре рабочие начали вооружаться и пробовать на зуб колечки гранат. Для подавления мятежа были брошены дополнительные полки, но все они, Литовский, Саперный и другие, всего около двадцати пяти тысяч солдат, присоединились к восставшим.

Людмила, ее тетушка и Юрочка ничего этого не знали. Из своих окон они видели только конькобежцев на Фонтанке. Приятельница тетушки, которая прибежала с рыбного рынка и, воняя скумбрией и подгнившей свеклой, вскарабкалась, задыхаясь, к ним на этаж, сообщила, что здание суда горит и окружено баррикадами. Более того, рабочие, солдаты и студенты открыли тюрьмы. Она видела, как огромная толпа бежала к Выборгской стороне, собираясь поджечь "Кресты".

— Как, жечь арестантов? — закричала тетушка.

— Да нет, они их хотят всех выпустить, а потом сжечь тюрьму.

— Бежим, Людмила, — взвизгнула тетушка. — Скорее. Бедный мой Борис!

Они с трудом прорвались сквозь толпу. Казак с красной повязкой на папахе качался в стременах и кричал, рассекая шашкой хрустальный воздух: "Граждане, помогайте войскам. Дело Франции живет! Да здравствует великая революция!" В ответ застрекотал пулемет.

— Бежим отсюда, — крикнула Людмила, но вдруг, получив удар в правую ягодицу, повалилась в грязный снег. Она поняла, что стряслось, когда услышала вой тетушки: "Ранили, ранили!", и уткнулась носом в серый утоптанный снег. Перед глазами мелькали копыта. Она чувствовала, что теряет кровь, но боли не было. Стоял резкий запах порохового дыма. Потом ее подняли чьи-то сильные руки, пахнувшие потом и табаком. "Уберите женщин и детей!" — кричал кто-то. Появилась карета "скорой помощи". Людмилу погрузили вместе с другими ранеными и увезли в Раевскую больницу.

В больнице доктор Караулов, обезболив рану кокаином, исследовал ее и при помощи металлического зонда извлек блестящие осколки.

— Все извлечь не удалось, — с огорчением сказал он, подбросив их на волосатой ладони. — Придется вам, голубушка, до конца дней носить в себе сувениры неудавшейся революции. Вы уж не обижайтесь, сударыня, но женская ягодица жирнее мужской, мужчины жилистее, так что ничего жизненно важного не задето. Пока не заживет, поспите на здоровой стороне. Мы вас тут долго не продержим. Скоро мы все станем обращаться друг к другу "товарищ", — добавил напоследок доктор, чтобы продемонстрировать, на чьей он стороне.

Тетя Аня и освобожденный из тюрьмы дядя Борис навестили ее в больнице. Дядя, невысокий, крепкий и энергичный, чем-то похожий на ее бедного покойного мужа, только гораздо старше, прежде работал контролером на складе. Он крепко обнял Людмилу и рассказал ей последние новости. Гарнизон Петропавловской крепости восстал, полицейские участки горят, архивы жандармерии уничтожены.

— Но самое главное, — говорил он с блеском в глазах, — политическая охранка разгромлена и все ее архивы публично сожжены. Жаль, ты этого не видела, это ведь как взятие Бастилии! Представь, сожгли только дела, заведенные на так называемых врагов отечества, а остальные

документы оставили для того, чтобы обличить подлость, продажность и тиранию правительства.

— Дядя, а что же царь?

— Сидит, дурачок, в своей Ставке в полном неведении. Ему только докладывают, что некоторые части изменили присяге и подлежат наказанию. А Керенский и Чхеидзе убрали обычную думскую охрану и поставили войска охранять Думу, и теперь формируется новое правительство, а этот негодяй Щегловитов, ты уж прости, что я ругаюсь, бывший министр юстиции, взят под стражу, суда дожидается. Да, и еще несчастному Юрику оторвало большой палец.

— Бедный Юрочка, — всплакнула тетушка, — говорила ему, не играй с чужими винтовками.

— О господи, бедный мальчик, — огорчилась Людмила, — он что, тоже в больнице?

— Не в этой, он в госпитале для больных корью, рядом с Петропавловкой, его туда поместили, потому что в других мест нет. Ты не волнуйся, все обойдется, ему даже не палец, а только полпальца оторвало, на левой руке. Кормят-то здесь как?

— В основном супом, но хлеба вдоволь. — Ей вдруг захотелось баранины по-валлийски с брюквой и картофельным пюре.

Время для посещения кончилось, дядя с тетей ушли. В палату заглянул хромой и тощий разносчик газет. Людмила вытащила из-под подушки кошелек и купила за десять копеек однополосную плохо пропечатанную "Русскую пехоту". Большинство женщин в палате были неграмотные, и Людмила читала вслух, лежа на левом боку, под жалобы соседок справа, что им не слышно. Министр внутренних дел Протопопов сдался новой власти, войска в Ораниенбауме, Стрельне и других местах примкнули к восставшим. Над Думой развевается красный флаг, но возникли разногласия между исполнительным комитетом Думы и Союзом социал-демократических рабочих. Исполнительный комитет Думы возглавили Гучков, Струве и князь Львов.

— Господи, благослови князя, — прошамкала беззубая старуха со сломанной ключицей.

— Аминь, — хором отозвалась палата.

Соседки Людмилы, как и она сама, мало что понимали в этом потоке новостей. Полки под красными знаменами стремились в Петроград: откуда столько кумача, неужто старые рубахи выстирали в крови? С ошеломляющей быстротой появлялись всевозможные комитеты. Полковник Энгельгардт был назначен председателем думского военного комитета, который немедленно вступил в прения с процедурным комитетом. Сообщалось, что царь, во главе с верными ему финскими частями, возвращается в столицу.

— Благослови Господи царя-батюшку, — опять прошамкала старуха, и палата снова откликнулась: "Аминь".

Последняя новость опровергалась в "Русской пехоте" от 15 марта. Государь император отрекся от престола — и сам, и от лица наследника. Государыня в Царском Селе сдалась революционным войскам со словами: "Я более не императрица, я всего лишь сестра милосердия, ухаживающая за своими больными детьми".

— Благослови ее Бог, страдалицу, матушку нашу, — молилась старуха, а за ней и вся палата.

Людмила прочла им речь Керенского: "Товарищи, я назначен министром юстиции. Вы знаете меня как непоколебимого республиканца. Наберитесь терпения: у нас будет республика, но прежде нам нужен мир. Проявляйте лояльность по отношению к правительству князя Львова. Демократы поддерживают Временное правительство до окончания войны". Кажется, революция кончилась.

Стемнело. В палате зажегся свет. Для многих это было чудом, некоторые перекрестились. "Ликтричество", — прошептала старуха. Людмила вздохнула и ничего не ответила. Старуха имела в виду электричество, но "лик" ей был понятнее, лик — это светлый образ Божьей Матери, слившийся в ее сознании с матушкой-императрицей. Старуха путала публику с бубликом и все спрашивала, где же обещанные в газете бублики. Другая женщина, толстуха с повязкой на глазу, называла коммунистов куманистами, представляя себе куманику, красную лесную ягоду. Ей, должно быть, снились обещанные коммунистами ягодно-кисельные берега и молочные реки. Бедные темные бабы.

16 марта тетя Аня пришла одна. На улицах было спокойно, открывались лавки, но трамваи по-прежнему не ходили.

— Да, тебе вот письмо. На марке английский царь Юрий[1], страсть как похож на нашего, который уже не царь.

Сердце в груди Людмилы подпрыгнуло до самого горла, вернулось на место и принялось отбивать барабанную дробь. Большой конверт с адресом, рука ее. Внутри конверт поменьше, рука чужая. Наверно, соболезнования от товарища бедного Дэвида. Она вскрыла конверт:

*Военный госпиталь № 17, Блэкпул, Ланкашир*
Дорогая моя женушка,

это письмо пишет мой друг Дэн Тэтлоу под мою диктовку, потому что мне еще не сняли повязку с глаз. Не волнуйся, я не ослеп. Меня изрешетило осколками камня, железа и костей, вот и решили, что я убит, когда нашли на кладбище, но потом заметили, что дышу. Майор поторопился отправить похоронки, словно хотел, чтобы нас всех укокошило, ему мороки меньше. Большую часть осколков из меня достали, но я еще тут проваляюсь. Все, кажется, отвоевался. Ко мне пускают посетителей, так что приезжай, Kariad[2] (надеюсь, я правильно пишу по-валлийски это слово).

*Твой любящий муж.*

Дальше он вслепую нацарапал свое имя и наставил крестов по числу поцелуев. Людмила расплакалась.

— Он жив, — всхлипывала она, — они ошиблись. Он не погиб.

— Так вот как пишут у вас в Англии, — сказала тетушка, глядя на письмо. — Забавный там алфавит. Ну что ж, прекрасная новость. Ты теперь, наверное, скоро от нас уедешь.

Через два дня Людмила выписалась. Ягодица, сплошной багровый синяк, еще болела, и Людмила хромала, как раненый боец. С центрального почтамта она послала телеграмму: "Я в Петрограде, выезжаю немедленно". Затем навестила маленького Юрия Петровича Шульгина,

1. Георг V.
2. Любимая (*валл.*).

который еще лежал в детской больнице, гордый своим ранением. "Бог даст, увидимся, солдатик ты мой", — сказала она, поцеловав его на прощание. Вернувшись к дяде и тете, она вдруг поняла, что ей не хватит русских денег на билет домой, вот именно, домой. Ее чековая книжка в революционной России бесполезна.



— У тебя же есть английский паспорт, — напомнил дядя Борис, — чудо-книжка, где сказано, кто ты да откуда, так что за сохранность твою, цветик ты мой ненаглядный, должно отвечать английское правительство. Англичане — наши союзники, правда, в это грозное время они все больше отсиживаются по норам. На Адмиралтейской набережной есть английское представительство. Оно обязано найти способ, чтоб доставить тебя в Англию. Не подумай, что ты нам в тягость. Ждем тебя после войны в славной и свободной Российской республике.

Людмила пошла к Адмиралтейству и на лифте поднялась в контору, где трещали пишущие машинки, а на стенах висели сельские виды Англии и схема лондонской подземки. Веселый краснолицый чиновник в твидовом пиджаке, попыхивая сигаретой, удивился:

— Чек на наличные? Британский? В самом деле? Знаете, у нас не банк, но я бы посоветовал вам обратиться к мистеру Уолполу. Добрейший человек, и рублей полны карманы, ходит теряет их везде. Думаю, его не затруднит помочь вам.

Людмила принюхалась: пахло заграничным дорогим табаком и лавандовой мастикой. Мистер Уолпол оказался невзрачным большеголовым молодым человеком в пенсне.

— Вы русская, не так ли, замужем за нашим? Чудесно. У меня тут письмо лежит от одного русского, который так устал от своих шестерых детей, что готов обменять их на шесть английских. По крайней мере, мне так кажется. Взгляните, я не напутал с переводом?

Людмила прочла письмо и подтвердила, что все верно.

— Спасибо вам огромное, вы очаровательны. Хотите вернуться в Соединенное Королевство? Как я вас понимаю! Хотите обменять чек на наличные? Постараюсь вам помочь.

Обратно пришлось плыть не из петроградского порта, парализованного забастовкой обленившихся рабочих, а из романовского, что означало недельное путешествие поездом по Карелии, вокруг Ладоги и Онеги к Онежской губе на Белом море. Непрестанно мучаясь от боли в ягодице, Людмила миновала край бревенчатых изб, дощатых тротуаров, волков и глухарей. Наконец она села на сухогруз со старорежимным названием "Царь". Судно шло через Арктику, вокруг Кольского полуострова, мимо Мурманского побережья в сторону Норвегии с ее резными берегами. Море было ровным, как стекло, в котором всеми цветами радуги дробился солнечный свет. Вдали виднелись величавые фьорды — корабль огибал Норвегию с севера. Корабельная команда, нажимавшая на тушеное мясо, похихикивала, глядя, как русская задумчиво ковыряет еду вилкой, пока наконец Людмила не зашипела: "Чем вы тешили себя во время революции, товарищи?"

Немецкие подводные лодки, как она слышала, шныряли в водах Атлантики и Ла-Манша. На край света, в северные воды, они не заглядывали, так что Людмила крепко спала на здоровом боку, запираясь от истосковавшихся по женщинам моряков. Судно вышло в северную Атлантику и причалило в Ставангере, где на борт взяли какие-то безы-

мянные тюки, затем пошли на запад, к Оркнейскому архипелагу. Показалась Западная Шотландия, воздух напоминал ароматы Южного Уэльса. Сойдя на берег в Ливерпуле с чемоданом, полным грязного белья, к своей великой радости она узнала, что Блэкпул, приятный рабочий городок на берегу Ирландского моря, совсем рядом. Было ветрено. В городке стояли войска, и большое колесо в луна-парке, верхушка которого напоминала Эйфелеву башню, тоже давно стояло. Она сняла комнату в гостинице "Империал" с видом на побережье и пошла навестить мужа в госпиталь возле луна-парка. В лицо бил морской ветер с песком, колючий, как наждак. На лысоватом берегу рос синеголовник.

Корчась от боли, раненые супруги обнялись. С глазами у Дэвида было еще неважно, но повязку уже сняли.

— Могильная плита разлетелась вдребезги, и меня нашпиговало гранитными осколками, да еще шрапнельная пуля попала в грудь и прошла навылет, и задница теперь с начинкой.

— И моя тоже. С правой стороны.

— Здесь неудобно о нем говорить, крепко парню досталось. — Дэвид понизил голос, показывая на соседа. — Это он меня заметил и вытащил, доставил на перевязочный пункт. Дэн Тэтлоу, что написал письмо. А на следующий день ему, бедняге, начисто оторвало причинное место. Детей у него не было и теперь уж не будет, на нем род и закончится, а жаль, добрый парень. Ничего, держится. Война у него причиндалы свистнула, а он ходит потихоньку, песенки насвистывает.

Потом он добавил, пытаясь разглядеть будущее больными глазами:

— Выпишусь — и на курсы поваров. Буду в офицерской столовой на жирных харчах сидеть. Конца не видно этой проклятой войне. Ну да с меня хватит, пора вернуться к родному ремеслу и думать о будущем. Как там в Петербурге? Ничего не поймешь из этого паршивого "Джона Булля".

Он выслушал ее рассказ о злоключениях в Петрограде и понимающе кивнул.

— Увидишь, года не пройдет, как еще и не то будет. Это только репетиция. Надо же, как нас обоих зацепило, считай, в историю попали. У меня тут книжка есть, ее написал Реджинальд Морроу, мы его Холостяком прозвали, лучшего человека я в жизни не встречал, а читал мне ее Дэн Тэтлоу, тоже хороший человек, — обидно, что и он теперь никогда не женится. Книжка про большой меч с буквой "А". Инициал гунна, но как будто не Аттилы и не короля валлийцев Артура. Они и разные были, и в то же время похожи — владельцы одного меча, а ведь что такое история, как не заклание мечом невинных жертв? Там так и написано. Так что пора нам с историей покончить и заняться настоящим делом. Думаю, едой. Еда вещь стоящая, люди всегда будут есть и всегда ели бы вдоволь, если бы история им не мешала. А мечи надо перековать на ножи и вилки. Езжай домой, детка, не трать деньги на гостиницу. Для настоящего дела нам каждая монеточка пригодится. И лечи свою попку.

3 марта 1918 года, в день подписания Брестского мира, супруга сержанта Джонса родила девочку. Ее назвали Беатрикс. Церковь имя не одобрила, и ее просто не стали крестить. Ни памятью о предках, ни литературными аллюзиями оно навеяно не было. Просто Людмила, держа младенца на своих красивых белых руках, сказала: "Назовем ее Беатрикс". Видимо, тут мы имеем дело с феноменом подсознания. В англий-

ском представительстве в Петрограде, куда обращалась за помощью Людмила, висел еженедельно обновлявшийся стенд, посвященный великой английской литературе. В день ее визита на нем красовался плюшевый кролик Питер и фотографический портрет его создательницы Беатрикс Поттер, пропалывающей грядку в своем саду.



Сержант Джонс кивнул:

— Как скажешь, милая. Мне лично это имя нравится. Особенно окончание "трикс"[1].

Теперь он служил поваром в офицерской столовой полковой базы и каждую неделю ездил на выходные домой, оставляя вместо себя капрала, который из кожи вон лез, доказывая, что готовит не хуже начальника. Жена и дочь были рядом, не то что у перемазанных глиной бедолаг, сидевших в окопах, дожидаясь большого наступления немцев на Сомме. Везунчик. Они на пару везунчики. И в банке, в темном сейфе, как залог их везения, лежит золото. Правда, он тревожился за бесценное сокровище, засыпавшее у роскошной в голубых прожилках материнской груди. Везение по наследству не передашь.

Механизм воспроизводства, столько лет работавший вхолостую, заработал на всю катушку. 18 января 1919 года, когда делегаты Парижской мирной конференции едва не передрались, родился Реджинальд Морроу Джонс. Отцу его, ожидавшему тогда демобилизации и во время отлучки зашедшему в шахтерский клуб Блэквуда, пришлось отстаивать это звучное и зловещее англо-норманнское имя с удваивающим фамилию хвостом. Он доказывал своим традиционно мыслящим собутыльникам, что у его семьи особый путь. Дэй Джонс, Янто Причард, Ифан Эванс — эти имена давно приелись, от них несло плесенью и захолустьем. Дети Дэя Джонса должны увидеть большой, свободный мир. Доктор А. Дж. Кронин, приехавший в Блэквуд из Тредегара, где он практиковал, предложил за это выпить, а после поделился с Дэвидом своей мечтой о карьере романиста. После войны многим будущее виделось в розовом цвете. Дэвид Джонс с женой, сыном и дочерью собирались переезжать в земли, по-валлийски называемые Ллегр, в город Манчестер, где родился выдающийся валлиец, хотя и большой хитрец и интриган, Дэвид Ллойд Джордж.

Капитан Циммерман, офицер из провиантского управления, по достоинству оценил воздушное лимонное суфле в исполнении сержанта Джонса, и дух кулинарного братства стер всякое различие в чинах. Они сидели на кухне офицерской столовой, потягивая "Гран Марнье".

— Что собираетесь делать на гражданке? — спросил Циммерман.

Он был манчестерский еврей и говорил немного в нос. Я, кстати, тоже оттуда, а зовут меня, если угодно, Гарри Вольфсон.

— Я, сэр, собираюсь никому не говорить "сэр" — ну разве что иногда из вежливости. Сам себе хозяином буду, открою собственный ресторанчик.

— А деньжата у вас водятся?

— Есть небольшой загашничек в банке. И еще рента в Нью-Йорке.

— Да, мир вы повидали. Космополит. Послушайте, мы с братом владеем на паях неплохим рестораном в Манчестере на Динсгейт, "Трианон" называется — немного претенциозно, ну да бог с ним. Брата моего

1. Tricks — проделки (*англ.*).

комиссовали из-за астмы, сейчас он управляется в ресторане один, но боится, что манчестерская сырость его доконает. После моей демобилизации он выйдет из доли и уедет на юг. Знаете, где настоящий заработок? Ресторан — это только вывеска. Деньги приносит домашняя стряпня. Всякие термосы и контейнеры с обедами из семи блюд с доставкой на дом. Свадьбы, поминки, бармицвы. Времена, конечно, теперь не лучшие, все по карточкам, но скоро полегчает. По карточкам ведь не дают устрицы, форель и креветки — то, что хотят богатые, — ну да чего, как говорится, не достанешь за деньги?

— Вы предлагаете мне работу, сэр?

— Больше чем работу, если у вас есть капитал, который вы готовы вложить в дело. За "Трианоном" будущее, я слов на ветер не бросаю, поверьте. Вы женаты? Тогда обсудите это с женой.

— Она русская. Ее отец владел рестораном "Невский проспект" в Бруклине.

— Господи, в Манчестере полно и русских, и иудеев, и гоев, я хотел сказать православных. Сейчас, после революции, они сюда валом валят. Перспективы самые радужные. Обсудите это со своей половиной.

Третий и последний ребенок, сын, родился 22 февраля 1920 года в доме № 231 по Дикинсон-роуд, Расхолм, Манчестер. Назвали его Дэниел Тэтлоу Джонс. В отличие от брата и сестры, он не блистал красотой и не отличался умом. Дочь и старший сын, рослые и светловолосые, унаследовали варяжские гены матери, а Дэн, невысокий брюнет, пошел в отца. Иногда он казался придурковатым, и это доставляло Дэвиду Джонсу извращенное удовольствие: не во всем же ему должно везти. Кроме рыбы, Дэниела Тэтлоу Джонса мало что интересовало на свете.

## D*au*[1]

— Жаль, что ты не бывал здесь раньше, — сказал Реджинальд Морроу Джонс. — Ведь вы, евреи, помешаны на вкусной еде.

Мы сидели в чайной "Кардом" на Динсгейт, где еще совсем недавно был ресторан "Трианон".

— Хорошо здесь прежде было, и клиенты хорошие приходили, в основном артисты и музыканты. Ноэл Кауард[2], Джон Гилгуд[3], Артур Шнабель[4]. На стенах висели их фотографии с автографами. А погляди-ка, что теперь.

Стены чайной пестрели обоями с ярко-синими узорами в китайском стиле.

— Отец свернул дело даже не потому, что мать все время кашляла, страдала от манчестерского смога. Полиция стала придираться при обновлении лицензии на продажу спиртного. Родители здесь неплохо зарабатывали, а потом открыли милый трактирчик на окраине Абергавенни. Ресторана, правда, жаль. Лучший был ресторан в Манчестере. — И,

1. Два (*валл.*).
2. Ноэл Пирс Кауард (1899–1973) — английский актер, драматург, композитор и продюсер.
3. Джон Гилгуд (1904–1990) — английский актер и режиссер.
4. Артур Шнабель (1882–1951) — австрийский пианист, композитор, педагог.

помолчав, добавил: — Ты уж прости, что я проехался насчет еврейского аппетита.

— Да чего уж там, о нас и похуже говорят. А что до еды, так она у нас и правда вкусная. Вкусная, но тяжеловатая.



Я не бывал в "Трианоне" потому, что почти не знал Манчестера, хотя и родился в Читэм-хилл. Большая часть моей жизни прошла не в Манчестере и даже не в Англии. Отец мой работал инженером в зарубежных фирмах. В то время редкая для евреев профессия. Считалось, что евреи талантливы в искусстве, но не способны строить мосты. Инженерному образованию моего отца способствовал не кто иной, как доктор Хаим Вейцман. Родился он в черте оседлости, в местечке Мотол под Гродно, закончил Берлинский и Фрайбургский университеты, в 1904 году стал профессором биохимии Манчестерского университета и был другом моего деда, довольно известного в свое время еврейского атеиста. Гораздо позднее, в 1949 году, Вейцман станет первым президентом государства Израиль, на создание которого он положил всю свою жизнь. Во время Первой мировой войны, войны Дэвида Джонса, выполняя заказ британского военного министерства, он разработал промышленный способ получения ацетона, необходимого для производства взрывчатых веществ. За это изобретение британское правительство вознаградило его разрешением основать Колонию Давида в Палестине. Так он стал одним из лидеров сионизма и считал, что евреи диаспоры должны готовиться к построению собственного государства, а значит, научиться строить дороги, мосты, города, корабли, производить оружие, то есть осваивать прикладные науки. Атеизм моего деда денег не приносил, и Вейцман ему помог: определил отца на инженерно-строительный факультет и нашел деньги на его обучение. Отец выучился и стал очень хорошим инженером, несмотря на свой вздорный характер.

С 1917-го по 1920 год (год моего рождения) Британская военная администрация в Палестине выделяла средства на создание инфраструктуры подконтрольной ей территории, в том числе на строительство стального моста через Иордан, в котором участвовал и мой отец. От сионистов всего мира, главным образом Америки, поступали деньги и на другие проекты, но процесс превращения Палестины в современное государство сдерживался арабами. Мое детство в Яффе запомнилось мне шумом, пылью, уличными беспорядками и кровавыми драками между арабами и евреями. Фирма моего отца, находившаяся под Манчестером, в Трэффорд-парке, решила, что ему опасно оставаться в Палестине, и направила его строить железные дороги в Аргентине и Перу, но в 1928 году мы вернулись в Палестину. Именно тогда появился так и не осуществленный проект "Шофин Леципрен": замышлялся он как шедевр металлоконструкции, самое легкое здание в мире. Я помню вооруженные столкновения 1929 года у Стены Плача. Именно тогда, несмотря на юный возраст, я понял, что будущее — за терроризмом.

Как вы, вероятно, знаете, Стена Плача названа так потому, что возле нее принято громко читать "Плач Иеремии". Иудеи называют ее Котель Маараби, то есть Западная стена, и считают, что это остаток самого древнего святилища истинного Бога, воздвигнутого задолго до того, как Мохаммед впервые оседлал верблюда. Мусульмане это оспаривают, считая стену и прилегающую к ней мостовую святынями своей религии.

Отсюда и беспорядки. Я видел сжатые кулаки, орущие морды, а затем и Вейцманов ацетон в действии — именно тогда меня осенила философская мысль, необычная для девятилетнего мальчишки, что все религиозные и политические разногласия есть только повод для уничтожения людей и творений их рук. Главное — крушить. Люди — это сгустки энергии, своего рода ацетон во плоти, и легче всего эта энергия реализуется в разрушении потому, что созидать сложнее, творчество требует мысли и воображения. Поскольку люди, помимо мышц и нервов, обладают сознанием, для разрушения необходимо обоснование, хотя бы ложное. На самом деле это разрушение только ради самого разрушения, но наличие религиозного или светского патриотизма придает ему видимость творческого процесса.

Редж заплатил за чай и завтрак, состоявший из яичницы и жареной картошки. Денег у него водилось больше, чем у меня. Потом мы спустились по Динсгейт к Пиккадилли. На вид — обычные английские молодые люди среднего достатка, хотя ни один из нас двоих не был англичанином. Думаю, что человек может называться англичанином уже только потому, что его родной язык — английский. Редж — викинг, я — еврей, обрезанный, как, между прочим, и многие неевреи. Со времен деда-атеиста семья наша перестала быть религиозной. Мои предки происходят из Средиземноморья, Реджа — с Балтики. Волосы у него были светлые, редкие, высокий лоб рано начал лысеть. Я брюнет, бриться мне приходится дважды в день. Обильная растительность на теле всегда меня раздражала, как всякое изобилие вообще. Мы миновали магазин грампластинок на Пиккадилли, из дверей которого доносилась "Под развесистым каштаном", любимая мелодия короля Георга VI в его бытность командиром скаутов. Я вдруг вспомнил о Рокантене и спросил:

— Читал "La Nausée"[1]?

— Впервые слышу. Автор — француз?

— Француз по имени Сартр. Книга только что вышла. Еще не переведена на английский. Колин Смит просто без ума от нее. Привез ее из Парижа и читал нам отрывки. Героя поражал пышный цвет каштана и обилие плодов на нем. Всякая избыточность противоречит человеческой жажде простоты. Я его понимаю. Взгляни на эту расфуфыренную публику на Пиккадилли и саму улицу с бесчисленными магазинами и ярко-красными двухэтажными автобусами, не захочешь — затошнит.

— Кого?

— Героя книги, Рокантена. Тошнота, она и внутри нас и вокруг. Чертова мешанина из кишок и желез, с отчаявшейся душой, которой дурно от невозможности найти себе равных.

— Ну и ну, поэтому ви-таки хочете все это разбомбить? — иногда Редж беззлобно подтрунивал надо мной, хотя никто в моей семье местечковым акцентом не страдал.

Мы сели в 44-й автобус. Редж поехал в Фэллоуфилд к Хорхе Льюису, преподавателю каталанского языка. Я бы и сам пошел к нему, но не хотел опаздывать на вечеринку, которую устраивали мои сокурсники под видом философского семинара. Это был обычный междусобойчик у профессора Пирса. Неудивительно, что я выбрал философию с французским и немецким в придачу, несмотря на уговоры отца учиться чему-то полезному. На

1. "Тошнота" (*франц.*).

курсе метафизики профессора Нуссбаумера я погружался в мир монад и утешался видением конечной цели, которая, вопреки жизненным передрягам, предстанет во всей своей бесконечной простоте и ясности, приближая меня к Богу, не-творцу и не-мудрецу. Кроме этого, мне приходилось посещать лекции по философии нравственности и политической философии. Оба курса читал вечно растрепанный, тщетно пытавшийся привести свою голову в порядок профессор. На вечеринке профессора Пирса намечалась неформальная дискуссия на тему "Этика многоженства на острове, где в результате кораблекрушения оказались десять женщин и один мужчина". Посещение таких неофициальных собраний считалось необязательным, но в конце семестра учитывалось. Я туда пошел в первую очередь из-за сестры Реджа, она их не пропускала.



Меня влекло к ней, как мало к кому из женщин. Женщины, которых я встречал в жарких странах, походили на мою мать и сестру, а еще на каштан Рокантена, как будто боги природы создали их для прироста уже имеющегося изобилия — полные, широкобедрые, с большой грудью, плодовитые, как мать-земля, с заросшим, как лес, лоном, готовым удушить все, кроме черного, как ночь, волосатого самца, чтобы продолжить род. И было в них что-то коровье, в отличие от Беатрикс Джонс, светловолосой девушки с балтийскими, как у брата, глазами и тонкой кожей, обтягивающей высокие славянские скулы. Сложена безукоризненно, ничего лишнего. Она носила простые прямые платья пастельных тонов; не цепляла на себя серег и прочих побрякушек. От нее веяло холодом, хотя ее сексуальный жар четко контролировался термостатом рассудка. Позже я узнал, что ее расчетливый женский интерес ко мне повторял влечение матери Беатрикс к ее отцу, но девушка и не помышляла пока о замужестве. Она собиралась делать карьеру.

На верхней площадке автобуса Редж открыл новую пачку сигарет, но мне не предложил, не из скупости, просто по рассеянности. Я закурил свою последнюю сигарету и спросил:

— Эта твоя встреча с мистером или сеньором Льюисом как-то связана с гражданской войной?

— Если мы будем сражаться за Каталонию, зачет по каталанскому нам обеспечен. Даже посмертно.

— Куча валлийцев воюет на стороне республиканцев в Испании. Коллективное помешательство.

В университете на испанском отделении учились в основном валлийцы. Они предпочитали испанский из-за системы гласных, похожей на валлийскую. Сам Хорхе Льюис был родом из Чили, где валлийские фамилии встречаются на каждом шагу. Однажды он влюбился в Каталонию и теперь вел факультатив по каталанскому языку, который славится богатой литературой.

— Помешательство, говоришь? Пойми, это наша война. И твоя тоже, если б у тебя ума хватило смотреть на вещи прямо. Евреям самое время бить фашистов.

— Дай срок...

Стоял октябрь 1938 года, самое начало семестра. В обеденный перерыв состоялось первое собрание Союза мужчин. Мы с Реджем спорили, который из Марксов важнее: Карл или Граучо[1]. Редж отстаивал Карла с

1. Граучо Маркс (1890–1977) — американский комик, популярный в 20–30-е гг.

большей находчивостью, чем я — Граучо. Я восхвалял последнего как философа-лингвиста. Редж славил Карла как создателя новой, неукротимой, захватывающей игры под названием диалектический материализм и закончил свое выступление, исполнив отрывок из "Пляски смерти" Одена на музыку "Свадебного марша" Мендельсона:

Тот, кто истину искал,
Пусть откроет "Капитал".

Маркса он изображал, нацепив похожую на гнездо фальшивую бороду, а сцену покинул, притопывая каблуками под звуки "Похоронного марша" Шопена в исполнении Джека Пикфорда. Потом мы пошли в "Стейерман" на Динсгейт, где он купил фляжку для виски. Остальную амуницию он получит вместе с другими питомцами Хорхе Льюиса в Барселоне.

— А что скажет профессор Пульга по поводу массового дезертирства с его факультета?

Все прекрасно знали, что Пульга симпатизирует фашистам.

— Он считает, что мы с Льюисом едем воевать за католическую веру. Дурак набитый. Думает, мы будем драться за Кастилию, отстаивать то, чему он нас учил. Сумасшедший.

— Вот и я говорю, коллективное помешательство.

— Отца с матерью жалко, — продолжал Редж. — Отец все твердит о своем везении. Это правда, везло ему. А теперь он думает, что на его детей, в отместку за его везение, обрушатся все несчастья мира. Валлийское суеверие, бред. Все мы — баловни судьбы. Зажрались, денег куры не клюют...

— Можно у тебя сигаретку стрельнуть?

— Да бери, бери хоть все.

Он отдал мне всю пачку, щедрая душа. Будет чем угостить его сестру на вечеринке. Автобус остановился на Лайм-гроув, и я вышел. Он поехал дальше, в Фэллоуфилд.

Беатрикс, для друзей Трикси, разливала чай, а один из ее прыщавых воздыхателей раздавал круглые печенья. Ей было двадцать, но в простом светло-зеленом платье, с золотыми волосами, зачесанными назад, темных чулках и туфлях на высоких каблуках она казалась взрослее. Многие девчонки ее возраста сутулились, были угловаты, пахли потом и чернилами. Беатрикс безупречно владела собой и даже крышку чайника поднимала с невыразимой грацией. Что касается любовного опыта, то здесь она была по-своему уникальна. Она не поддавалась ухаживаниям и в то же время спала со многими мужчинами. Даже студенты-медики, которые любят посмаковать анатомические подробности своей интимной жизни, никогда не смели пройтись насчет Беатрикс. Когда она входила в университетскую столовую, вместо театральных вздохов или телячьего мычания воцарялась тишина.

Ее тщетно пытались соблазнить, она соблазняла сама. Мужчины, соблазненные ею, не распространялись о полученном удовольствии. Они держали рот на замке, будто богиня наложила на них обет молчания.

В этом году она заканчивала исторический факультет, но продолжала слушать курс по политической философии и специализировалась по

истории советской дипломатии. Русская по материнской линии, она в подлиннике читала документы, поступавшие из Москвы, и переводила их на английский. Переводы ее были под стать внешним данным. Профессор Л. Б. Намьер отзывался о ней только в превосходной степени, — наверно, был влюблен. Она не провоцировала, вопреки распространенным слухам, его интерес, это противоречило ее правилам. Соблазняя мужчин, она не преследовала иных целей, кроме физического удовлетворения.



Профессор Пирс весь сиял и энергично пыхтел трубкой. Когда десять или двенадцать студентов наконец расселись за столом, он объявил тему дискуссии: отношение государства к философии национализма. Я пристроился рядом с Беатрикс и предложил ей сигарету, одолженную у ее брата, затем протянул зажигалку. Химическая зажигалка оказалась недолговечной новинкой: первая затяжка приобретала от нее кислый привкус. Она с любопытством ее оглядела, потом с тем же любопытством, будто впервые увидела, взглянула на меня, хотя мы были знакомы уже целый год. Вскоре дискуссия перешла на тему расовой философии нацизма, и один юноша в сорочке с грязным воротничком и захватанных пальцами очках стал неосторожно распространяться о необходимости хранить чистоту расы. Гитлер, мол, во многом заблуждается, но прав, когда говорит, что смешанные браки нужно запретить.

— Ты хочешь сказать, долой евреев? — вмешался я. Мы тогда заблуждались, считая, что это главное, чего хотят нацисты.

— Не только евреев. И черномазых, и китаез, и япошек. Нельзя превращать нацию в сборную солянку.

— Под сборной солянкой, как я понимаю, вы имеете в виду многообразие, — поправил его профессор Пирс. — И пожалуйста, оставьте ваш возмутительный жаргон. Я полагаю, вы говорите о неграх, китайцах и японцах. Мы не на уличном сборище британских фашистов.

— Я, как многим здесь известно, — взяла слово Беатрикс, — происхожу из смешанной семьи. Мать русская, отец валлиец. — Она могла бы не продолжать: весь ее облик в сочетании с острым умом говорил в пользу смешанных браков.

— Кровь у всех одного цвета. Расы различаются языком и культурой, — подхватил я. — Но история учит, что язык и культура способны распространяться, то есть не связаны с почвой, не хтоничны. — Я заметил, что, услышав это слово, Беатрикс взглянула на меня с уважением. — Я хочу сказать, они не вырастают из земли. Положим, я называюсь евреем, а что под этим подразумевается? — Впервые мое еврейство становилось предметом философской дискуссии. Я чувствовал, как глаза Беатрикс скользят по моему телу в поисках признаков еврейства. — Мои отдаленные предки селились по берегам Средиземного моря, как и предки арабов, испанцев, мальтийцев и итальянцев. Моя семья не соблюдает иудейские обряды. Правда, мать моя в припадке национального самосознания настояла на моем обрезании. Что касается еды...

— А что такое обрезание? — спросила одна девчонка-первокурсница.

Профессор Пирс вынул изо рта трубку и удивленно открыл рот, обнажив прокуренные зубы:

— Как, вы не читали Библию?

— Папа нам не разрешает. И в церковь нас не пускает. Он называет себя вольнодумцем.

— И этот вольнодумец не желает дать своим детям право самим выбирать веру? — заметил профессор Пирс. — Вам бы следовало привести его на наш диспут.

— Он не пьет чай.

— Обрезание, — объяснил я, — есть иссечение крайней плоти. Это гигиеническая процедура, которая в иудаизме играет роль мистического символа, закрепляющего союз Иеговы с его избранным народом. Между прочим, арабы, которые, как и Гитлер, ненавидят евреев, тоже обрезают младенцев.

— Я, к примеру, пресвитерианец, — сказал один юноша, докуривавший бычки, — но тоже обрезанный. Наш доктор считает, что это полезно.

— Ну вот, видите, как просто, — сказал я, сам не знаю почему. Может, захотелось дать понять этой невежественной дурочке, что обрезание имеет не большее значение, чем полная окурков пепельница.

Я протянул Беатрикс следующую сигарету и сказал, что зажигалку она может оставить себе, на память. Она не пожелала. К концу вечера мы все более или менее сошлись на том, что от многообразия страна только выиграет, а перед самым уходом Беатрикс пригласила меня к себе в Расхолм, через неделю в это же время. Я был ею избран, отчего моя обрезанная плоть съежилась от страха.

Мы с сестрой жили у тетки Беренис в ее новеньком особняке на Дикинсон-роуд. Будучи вдовой нашего дяди Бена, она не приходилась нам кровной родней и родом была из Франции. Дядя Бен сколотил состояние на экспорте соусов во Францию и познакомился со своей будущей женой в Париже. Тетушка Беренис способствовала популяризации французской кухни в Манчестере, еженедельно печатая колонку кулинарных рецептов в "Манчестерских вечерних новостях". Она бывала в "Трианоне", но находила тамошнюю кухню немного азиатской. После смерти мужа она активно играла на бирже, откладывая проценты, как евреи, предчувствовавшие День гнева. Подтянутая, элегантная и очень экономная особа, она всегда скупилась, выделяя нам с сестрой деньги на карманные расходы. Родители наши были за границей, но уже не в Палестине. Отец работал в Венесуэле, строил стальной мост через Ориноко. Он присылал немало денег, но тетушка Беренис считала, что сорить ими грех, поэтому большую часть относила в банк на наши с сестрой счета. Кормила она нас не обильно, но изысканно, так что мы всегда вытирали хлебом с тарелок ее французские соусы. Не насытившись, мы отводили душу в студенческой столовой. Сестра моя, годом старше меня, довольно миловидная, с прямым носом и бархатной кожей, училась в Манчестерском королевском музыкальном колледже, но о ней я расскажу позже. Я гадал, как выпросить у тетушки карманные деньги за следующий месяц, чтобы купить презервативы. Найти их можно было в магазине на Оксфорд-стрит, где в витрине были выставлены книги Аристотеля. Седая продавщица, заворачивая покупку, заметила, что в субботу обещают дождь.

Чай, которым угостила меня Беатрикс Джонс, оказался вполне в стиле моей тетушки, если бы та придерживалась традиции английского файф-о-клока. Угощенье состояло из черного хлеба с тонко намазанным маслом и пресных сухариков. Чай был крепкий, сахара она не предло-

жила. По окончании этой скромной трапезы она велела мне раздеться донага. Я был шокирован, но с дрожью подчинился. Она осмотрела мою обильную растительность и следы обрезания с интересом профессионального хирурга, отметая любые религиозные или фольклорные аллюзии, и с удовлетворением отметила отсутствие каких-либо изъянов, за исключением родимого пятна размером с финик на левой ключице. Одобрительно кивнув, она стянула с себя красное шелковое платье. Под ним больше ничего не оказалось, только ее тело, изумительную красоту которого подчеркивал пышный золотой треугольник. Мы занимались любовью прямо на ковре перед горевшим по случаю прохладного осеннего вечера газовым камином. Несмотря на душивший меня страх, я оказался не столь уж робким любовником — сказался некоторый мой опыт в странах, где женщины созревают рано и сходятся с мужчинами легко. Впрочем, все равно инициатива полностью принадлежала Беатрикс, она взирала на меня с высоты своего роста, как хозяйка положения. Интересовало ее только собственное удовольствие. Я обливался потом, она — нет. Дойдя до пика удовлетворения, она запрокинула голову и пропела короткую торжествующую песнь. "Я люблю тебя", — сказал я, как любой нормальный мужчина в такой ситуации, на что получил ненормальный ответ: "Бред". Но я действительно любил ее, лаская шелк ее прекрасного тела, ее крепкие груди, золото волос на лобке. "Прости меня, я забыл, я не ожидал", — соврал я, вспомнив, что даже не успел воспользоваться презервативом. "Не волнуйся, я обо всем позаботилась", — спокойно ответила она. Беатрикс всегда стремилась полностью контролировать ситуацию. Сколько мужчин было у нее до меня? Я не спрашивал. Она была на целых два года старше меня, зрелая женщина.

Мы лежали на ковре, обнаженные, глядя, как осенний ветер срывает последние листья с разросшегося под окном каштана. Я осматривал небогатую обстановку ее комнаты, английские и русские книги на полках и надписанную фотографию профессора Л. Б. Намьера на стене. У профессора была надутая жабья физиономия. Ей предстояло последовать за ним в министерство иностранных дел, официально в роли секретаря, на самом же деле как первый помощник. Я вдруг спохватился:

— Кошмар! Мне нужно идти.

— При чем здесь кошмар?

Действительно, слово прозвучало неуместно, оно сгодилось бы при упоминании о теракте.

— Понимаешь, мне ужасно хочется остаться, но я должен успеть на концерт.

— Какой концерт?

— В музыкальном колледже. Моя сестра поет "Flos Campi".

— Что это такое?

— "Полевые цветы", кажется.

— Это я и без тебя понимаю, глупыш. Что это за произведение?

— Ну вот, я же пытаюсь тебе объяснить. Сочинение Воана Уильямса на тему Соломоновой "Песни Песней" для альта и хора. Попытка переложить на музыку еврейскую чувственность. Музыкальная часть представлена главным образом альтом, но слишком смахивает на английские народные мотивы.

— Твоя сестра поет в хоре?

— Да. И еще она занята в другом произведении, "Рио-Гранде" Константа Ламберта. Кажется, там всего пять инструментов, и она исполняет партию ударных.

— А что, действительно все евреи музыкальны?

— По крайней мере один с идеальным слухом в каждой семье найдется. Не все же евреи торгуют бриллиантами, многие играют на скрипках, а наша Ципа пожелала освоить ударные — очень не по-еврейски, между прочим.

— Как-как ты ее называешь?

— Ципа. Ципора. Так, знаешь ли, жену Моисея звали.

— Да? У нас в семье Библию не читают. Хотя про обрезание я знала и раньше, теоретически.

Если бы она даже смеясь приласкала мой обрезанный член, я бы не обиделся, а обрадовался, но для нее наше соитие — просто очередной опыт, а мое тело — предмет исследования.

— Ее имя и мое обрезание — для нашей семьи скорее исключения. У моей матери время от времени бывают приступы национального самосознания.

— Ты всегда так заумно выражаешься? Иврит, наверное, знаешь. Сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

— Господи, я растлила малолетнего.

— На самом деле я старше, чем может показаться. В южных варварских краях люди взрослеют рано. Это касается и Ципы.

— Многообещающая еврейская чувственность, говоришь? Ну что ж, тогда твоя очередь пригласить меня. Только в Манчестере мне все надоело.

— Может быть, как-нибудь и приглашу, — сказал я, строя из себя наглеца.

— Ишь ты, какой самоуверенный.

Один французский сексолог заметил, что мужчины выглядят смешно, когда раздеваются и одеваются, в то время как женщины в эти минуты особенно чарующи. В те годы мужской костюм состоял из множества вещей: подвязки для носков, подтяжки, галстук. Я торопливо напялил на себя все это, чтобы не выглядеть смешным. Она уже оделась и наблюдала за мной.

— Я, пожалуй, пойду с тобой, хочу взглянуть на твою Ципу, послушать, как она поет и играет.

— Она играет на многих инструментах, — сказал я, завязывая шнурки на ботинках. — На ксилофоне, маримбе, турецком барабане и других ударных. Туда пускают только по пригласительным билетам, но ты будешь моей гостьей.

— А потом пойдем на прощальную вечеринку к Реджу.

— Я ничего не знал. Я думал, он уже уехал. — Меня это задело.

— Ты тоже приглашен. Он только что вернулся из Южного Уэльса. Просил передать тебе приглашение.

— Он знал, что ты меня пригласила... на чашку чая? — удивился я.

— Ага, на чашку чая. Отец-то думает, что он здесь учится какой-нибудь чистой и безопасной профессии, изучает испанский, чтоб торговать с Аргентиной. Узнает — займется самобичеванием. Редж всегда был любимчиком, его оберегали от невзгод, но везение не передается по на-

следству, — она повторяла то, что Редж мне уже рассказывал. — В котором часу концерт?

Мы поехали на автобусе в Королевский музыкальный колледж. Первым номером стояла увертюра к "Портсмутскому мысу" Уолтона, которую весьма посредственно сыграл студенческий оркестр. Ципа в этом номере не участвовала. "Песни моря" Стэнфорда прозвучали в исполнении профессионального певца и мужского хора. "Вот она", — сказал я, когда появились девушки в белом, занятые в "Flos Campi". В зале стояла духота, но у меня кружилась голова от аромата, исходившего от кожи Беатрикс. Хоть я и раскритиковал музыку как слишком английскую, что-то от Соломоновой чувственности в ней звучало, возможно, благодаря близости этой русско-валлийской красавицы. "Она хорошенькая", — отметила Беатрикс. Ципа была ослепительна в декольтированном девственно-белом платье без рукавов, оттенявшем ее иссиня-черные волосы. Когда начали играть Ламберта, я ощутил гордость за свою сестру, управлявшуюся с целым ударным хозяйством. Профессор, исполнявший партию фортепиано, оказался хорошим джазменом. Хор пел:

На Рио-Гранде
Никто не пляшет сарабанду,
На ровном берегу прозрачных вод...

Концерт, состоявший исключительно из английской музыки, завершился исполнением "Иерусалима" Парри, и зал встал, чтобы присоединиться к хору. По окончании концерта мы с Беатрикс пошли за кулисы поздравить Ципу.

— Темные сатанинские мельницы — это церкви, — лепетал я, пока мы пробирались по темным коридорам, — а Иерусалим символизирует необузданную фантазию и изобилие чувственных удовольствий.

— С чего ты взял?

— Цитата из Уильяма Блейка. Представь, я читал Блейка. Я читал его в самом святом городе, где всех, как и здесь, держали в узде, и я его понял: единственный подлинный мир — это мир символов.

Она уже обладала моим телом, и я хотел, чтобы это повторялось бесконечно. "Гаф", — сорвалось у меня с языка: "гаф" — на иврите "тело".

— Что ты мелешь! — Это была уже Ципа.

Она переоделась в черную юбку и зеленый свитер, а пакет с белым платьем держала в руках. Я их представил, и они оценивающе, как умеют женщины, стали друг друга разглядывать.

— Ты идешь с нами, — сказала Беатрикс. — Ты заслужила право повеселиться после своей тяжелой работы. И в хоре ты пела замечательно, честное слово.

Ципа распахнула глаза, в которых читалось явное одобрение: "А ты парень не промах, кто бы мог подумать", после чего по-хозяйски взяла меня под руку, и мы пошли к автобусу.

Редж жил неподалеку от университета. Он снимал две большие комнаты в доме, построенном в начале XIX века, на Дьюси-гроув. Я бывал у него раньше. Некогда роскошное здание успело обветшать, и осыпающаяся лепнина скорее напоминала старые дома Дублина, а не Манчестера. По дороге мы зашли в рыбную лавку на соседней улице. Туда я никогда не заглядывал, но Беатрикс, похоже, хорошо ее знала. Лавка была

полна народу, в ней пахло подгоревшим жиром и уксусом. Я не стал скрывать удивления, когда Беатрикс подошла к одному из продавцов за цинковым прилавком и нежно поцеловала его в щеку. Ципа просто остолбенела, не понимая, что все это значит. Если богиня целует невзрачного коротышку, провонявшего рыбой, трудно даже предположить, что может за этим последовать. "Это Дэн. Мой брат", — сказала Беатрикс.

Да, тут было над чем призадуматься. Братец двух высоких светловолосых интеллектуалов выглядел как выбившийся в люди парень из трущоб, который счастлив уже тем, что жарит картошку в рыбной лавке. Дэн, полностью Дэниел Тэтлоу Джонс, названный так в честь лишившегося мужского хозяйства спасителя его отца, сказал:

— Он уже приходил, Трикси. У нас тут сегодня столпотворение, так что я приду после закрытия, а он уже все взял.

— Уже взял?

— Десять штук, как договаривались. Только в духовке подогреть.

Говорил он с манчестерским акцентом и валлийской интонацией. Потом он по-русски произнес "до свидания", и Беатрикс ответила так же, окончательно сбив Ципу с толку, но Беатрикс снова все объяснила: у некоторых, между прочим, бывают русские матери.

Когда мы пришли к Реджу, застолье было в самом разгаре, гости вовсю пили пиво, закусывая жареной рыбой с картошкой. Седая домохозяйка Реджа, в прошлом проститутка, сокрушалась по поводу бессмысленной войны, пустого кровопускания и бесконечных жертв.

— Гибнут красивые мальчики. Вон, даже Чемберлен говорит, что в наше время можно жить в мире, а им все неймется. Пойди пойми этих мужчин. Все их на войну тянет. Испанцы тоже отличились, насилуют монахинь, церкви поджигают. Тоже мне католики. Дерьмо поганое.

Я заметил, что Ципа и Редж поглядывают друг на друга. Как ни крути, они были полными противоположностями. Редж собирался на войну и видел уже себя павшим героем, которого оплакивают красивые женщины. Днем я переспал с сестрой Реджа и, допивая третью бутылку пива, подумал, что, если Ципа переспит с ним, мы будем квиты. Но я отогнал от себя нечестивое видение двух переплетенных тел, черноволосой дщери Израиля и золотоволосого необрезанного, и, запев о сатанинских мельницах, принялся громко объяснять, что они символизируют.

Других женщин, кроме отставной шлюхи и двух юных красавиц, на вечеринке не было. Из-за моего сегодняшнего опыта, и потому, что Ципа и Редж были так не похожи друг на друга, я не мог представить их вместе. В моем воображении возникло лицо другого мужчины, его руки, ласкающие волосы Ципы, пышную грудь, и я подобно Рокантену почувствовал тошноту. Мне захотелось вдруг броситься на Беатрикс, сохранявшую дьявольское спокойствие, и лечь с ней на пропахший капустой половик под репродукцией Гогена, но я взял себя в руки и стал слушать преподавателя каталанского языка, доктора Хорхе Льюиса. Он рассказывал, позволяя себе некорректные выражения в присутствии студентов, что профессор Пульга, слабоумный старик, подарил ему на прощание золотой фамильный крестик и назвал его воином Христовым. Один из гостей, будущий собрат Реджа по оружию, то ли под воздействием спиртного, то ли от внезапного приступа страха, дрожащим голосом затянул валлийский национальный гимн, а его земляки дружно подхватили:

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra mor yn fur i'r bur hoff bau
O bydded i'r hen iaith barhau[1].



Доктор Льюис, несмотря на свое происхождение, валлийского не знал. Он попытался перевести эту неуместную вспышку патриотизма в русло каталонской тематики.

— Не обижайтесь, товарищ. Мы сражаемся за права всех притесняемых меньшинств, — сказал Редж профессору, когда кончили петь.

— С помощью Советского Союза, — съязвила его сестра, — который сам их притесняет.

— Брось, Трикс, — возразил, хотя и не очень уверенно, Редж.

Почти все студенты, как я уже говорил, были валлийцами, но только шестеро из пятнадцати присутствовавших отправлялись на войну в Испанию. Остальные были просто друзья с отделения романских языков, более осторожные, а главное, не столь идеалистически настроенные. Один из них, по имени Хиггинс, не валлиец, терпеливо и безропотно ждал социалистической революции, полагая, что она рано или поздно произойдет без всякой помощи с его стороны. Он сидел под плакатом, изображавшим Испанию в виде раненого быка со свастикой вместо бандерилий в загривке, потягивал пиво из бутылки и время от времени повторял:

— Россия — наша единственная надежда. Единственная.

— Россия здесь ни при чем, — возразила Беатрикс. — Ты погряз в старомодной утопической идеологии, которую навязывают страдающему народу. Что же касается Испании, — обратилась она к Реджу, — неужели ты думаешь, что товарищ Сталин бросится на помощь каталонским анархистам, синдикалистам и либеральным социалистам? Я не удивлюсь, если станет известно, что московское золото идет на помощь Франко.

Раздались вопли возмущения. Один из парней, кажется Глендовер Оуэн, сказал:

— Что ж, по крайней мере, валлийское золото идет на правое дело.

Редж побледнел, а Беатрикс, тут же раскусив, о чем идет речь, яростно набросилась на брата:

— Что?! Ах ты врун проклятый! Вор! Предатель! Где оно? Отвечай!

Она бросилась в его большую неприбранную спальню. Редж, сжав кулаки, устремился за ней, а я, по праву любовника, — следом. Беатрикс напоминала разъяренную дикую кошку. Она колошматила Реджа дорожной сумкой, он отбивался как мог. Пятясь к дверям, он наступил на пустую пивную бутылку и, поскользнувшись на ней, как на льду, рухнул к ногам Ципы, оказавшейся рядом.

Беатрикс вытряхивала содержимое сумки на пол.

— На месте, — проговорила она, наткнувшись на самородок из Велленгона.

Домохозяйка Реджа, не разглядев, что это, подошла ближе, ожидая увидеть по крайней мере отрезанную детскую голову.

1. О милый край моих отцов
От моря и до гор,
Где речь звучит родная (*валл.*).

— Да это всего лишь старый булыжник, — разочарованно протянула она.

— Это золото, — объявила Беатрикс, — и никто не смеет продавать его, чтоб купить оружие для республиканцев. Ты жалкий воришка, Редж Джонс, а думаешь, что служишь правому делу. Я знала об этой твоей затее еще с тех пор, как отец забрал его по наивности из банка и выставил на обозрение за стеклянной дверцей буфета.

— Вот именно, лежит себе без всякой пользы, — сказал Редж, продолжая сидеть в ногах у Ципы. — На него пару пулеметов купить можно или сто голодных испанских семей накормить. Все равно я его продам.

— Не продашь! — взревела Беатрикс. — Первым же поездом поеду завтра в Абергавенни и положу его на место. Дурак ты, ни одной извилины у тебя не осталось. Золото — это то, что всегда стоит денег. — Никто, кроме Ципы, ее мнения не разделял. — Золото всегда в цене, это и есть непреходящая ценность, не то что занюханные бумажки. Отца заставили обменять золотые соверены на банкноты, но у него хватило ума сохранить вот это. Когда на бумажный фунт можно будет купить разве что газету, золото останется золотом. Идиот, жулик, мерзавец!

В этот момент вошел Дэн Тэтлоу Джонс, наполняя комнату неистребимым запахом жареной рыбы.

— А-а, — протянул он, — отцовская драгоценность. А почему она здесь?

— Возьми своего братца, — сказала Беатрикс, — и сунь его мордой в сковородку, только прежде убедись, что масло кипит. Он такое натворил! Но ему это так просто с рук не сойдет.

Дэн тут же продемонстрировал не только силу, но и характер. Он молниеносно отвесил брату увесистую оплеуху, а затем одним ударом кулака уложил на пол. Ростом он едва доставал Реджу до груди, но, как говорится, мал, да удал. Дэн лупил старшего брата, пока Беатрикс его не остановила.

Домохозяйка Реджа тоже не осталась в стороне.

— Хоть вы и платите всегда исправно, но вы уж, пожалуйста, прекратите безобразничать в моем доме и разойдитесь мирно. Налейте только пивка Дэнни, он работает, не то что вы, бездельники, а после все расходитесь по домам. Только не шумите. Тут есть жильцы, которым с утра пораньше на работу.

Дэн поднял пенящуюся кружку пива и произнес длинную речь:

— Не то чтоб я трудился больше других, как сказала только что Эмми. Просто у меня другая работа. Накормить пять тысяч ртов, как отец прежде говаривал. Реджа я не хотел лупить, сам напросился. Он всегда на рожон лезет. А когда бьют, даже не сопротивляется. Книжек начитался.

Редж слушал не возражая, и я понял, что такое между ними не впервой. Его в эту минуту волновало только одно: как залучить в свои объятия Ципу. Тем временем Дэн вдруг переключился на рыбу, хотя рыба, вероятно, последнее, что может прийти в голову любителю литературы, даже если читаешь лежа в ванне, как Габриэль Д'Аннунцио.

— Рыба — другое дело, — продолжал Дэн. — В рыбе нет ничего сложного. Обваливаешь ее в муке и жаришь, пока не подрумянится. Без хвостов и голов. Но скоро все изменится. Не вечно же я буду торчать у плиты, вон и девчонка хозяина все хочет затащить меня в постель,

отвлекает вечно. Нет уж, только не в рабочее время. Я это скоро сам устрою, по всем правилам.

— Ладно, Дэн, — остановила его Беатрикс, — допивай свое пиво и давай баиньки. А ты, — обратилась она ко мне, — возьми эту сумку, вызови такси и отвези меня домой.

— Братский долг велит мне проводить сестру, — сухо ответил я.

— Я ее провожу, — вызвался Редж, — если, конечно, мне будет оказана столь высокая честь. А с тобой, — бросил он брату, — я еще разберусь, и тоже по всем правилам. Больно же, черт возьми.

— Получи, что заслужил, черт со всеми потрохами тебя подери, — ответил Дэн, выпятив нижнюю губу.

— Эй вы, полегче в выражениях, — строго сказал я, — моя сестра привыкла к деликатному языку.

Я вызвал такси и доставил Беатрикс вместе с фамильным золотом по адресу, но она не пригласила меня к себе на чашечку кофе. Когда я вернулся в тетушкин дом, Ципы и Реджа еще не было. Я затаился в кустах у входа и, когда они пришли, услыхал их шепот и поцелуи. Мои подозрения подтвердились: они друг другу приглянулись.

Беатрикс не повторила своего приглашения на чай, а я не очень из-за этого сокрушался. Неделю или чуть больше меня преследовал аромат ее кожи, и я приходил в ярость, если она демонстративно не замечала меня при встречах в столовой или коридорах университета. Но вскоре и это прошло, хотя я и не искал утешения в обществе других женщин. Той осенью я усердно занимался спортом: играл в регби, боксировал и время от времени упражнялся в гимнастическом зале. Физические нагрузки укрепили мое тело, но разум по-прежнему блуждал в мире монад, универсума и пространственно-временных фокусов профессора Александера. О Редже никто в университете ничего не знал; только моя сестра Ципора получила странное послание в конверте со штампом Барселоны. Письмо было вдоль и поперек исчеркано черным карандашом цензора, так что даже невозможно было понять, где Редж находится. Он писал о своей любви к ней, о том, как мечтает заключить ее в свои объятья, и я поинтересовался у сестры:

— И как далеко это у вас зашло?

— Не твое дело.

— Не нравится мне твой тон. Кажется, я могу задать вопрос на правах брата.

— А мне все равно, нравится тебе или не нравится. Чтоб ты знал, мы провели вместе только два дня перед его отъездом, и все было целомудренно и в рамках приличия, за исключением обычного.

— Что ты называешь обычным?

— Поцелуи. Объятия. Всякие милые пустяки. А теперь заткнись и оставь меня в покое.

Она разучивала сложный ритм из Белы Бартока, отбивая его барабанными палочками на кухонном столе. Наш отец начинал понимать, что увлечение дочери музыкой обходится недешево. Ей нужны были новые барабаны, тарелки, китайский гонг, треугольник, бог знает что еще. Скоро она потребует фургон, чтобы возить с собой все это хозяйство.

— Ты его любишь? Он что, говорил о женитьбе?

— Оставь меня в покое и перестань говорить глупости. Мы еще слишком молоды.

— Скоро ранние браки перестанут быть редкостью, вот увидишь. Сама знаешь, война начинается.

Ципа отложила палочки и сказала:

— Нам объявили, что войны не будет. Испания всем послужит уроком. Вся эта борьба бессмысленна. А теперь, пожалуйста, выйди из кухни и дай мне позаниматься.

Я пошел в свою комнату. Мне предстояло написать эссе о Спинозе. "Понятия о добре и зле полярны, поскольку субъективны, различие между ними стирается лишь в абсолюте". Этот тезис нужно было развить.

Редж вернулся из Испании после Рождества. Он успел разбить нос, хрящ был поврежден и сросся неправильно, поэтому, когда он говорил, казалось, что у него насморк. Верхний край правого уха оторвало пулей. Вдобавок ко всему он прихрамывал. По крайней мере он был жив, чего нельзя было сказать о Хорхе Льюисе и Моргане Филипсе. Их догнали снайперские пули в пригородах Тортосы. Редж был живой, но слегка не в себе: мне не понравился взгляд его серо-голубых глаз. Всего через две недели после учебных тренировок в лагере под Ситхесом манчестерских добровольцев вместе с другими рассчитали по взводам и отправили, практически безоружных, в качестве подкрепления куда-то к югу от Эбро. В то время на этом участке фронта было относительное затишье, ни та, ни другая сторона не имела решительного перевеса сил. Но в начале декабря фалангисты после артподготовки и при поддержке с воздуха немецкой эскадрильи "Кондор" и итальянского воздушного легиона перешли в наступление по всему фронту длиной в сто пятьдесят километров. В правительстве Негрина пошли разговоры о том, чтобы бросить Барселону на произвол судьбы и отступать в горы Северной Каталонии. Республиканские войска были полностью деморализованы, и Редж с товарищами присоединился к их поредевшим частям, отступавшим к Героне. Все свои ранения он получил в Сабаделле, но виновны в этом были не итальянские снаряды. Его вместе с юношей по имени Ллуэлин Проберт арестовали русские. Редж все еще не мог в это поверить, но именно так оно и произошло.

— В Сабаделле находилось нечто вроде штаба советской военной миссии. Располагался он в женском монастыре Сестер Рождества, который взорвали республиканцы, но об этом после. Мы с Пробертом обнаружили там винный погреб и напились молодого вина. Кроме нас на улице не было ни души, а мы не знали, что объявлен комендантский час, хотя кому объявлять, если городских властей и полиции и след простыл. Нас остановили двое, одетые, так же как и мы, во что придется, от военной формы остались только ботинки и носки. Нас привели в тот самый штаб и сдали на руки офицеру, кажется майору, в новой, с иголочки советской форме. Он потребовал наши паспорта, мы их предъявили. Помощник его, лейтенант, немного говорил по-английски. Мне показалось, что лучше скрыть от них свое знание русского, и я сказал, что мы — студенты-добровольцы, приехавшие сражаться с фашистами и тому подобное, но на них это не произвело никакого впечатления. Лейтенант продиктовал мое имя человеку, сидевшему за пишущей машинкой: "Режинальд Морров Жонс". Не самый худший вариант

на кириллице. Наверное, они собирались писать рапорт на меня и Проберта, только убей — не пойму зачем. Имя Проберта поставило их в тупик. Лейтенант раньше никогда не встречал двойное "л" в начале слова и не мог понять, что бы это значило. Они вновь и вновь заставляли беднягу повторять имя "Ллуэлин", чтоб понять, как изобразить его по-русски. Я не выдержал и выругался на их родном языке. Тут их просто оторопь взяла, ей-богу.

Все это он рассказывал, сидя с нами в университетской столовой. Беатрикс была рядом. В начале весеннего семестра она стала снова меня замечать и обращалась со мной дружелюбно, но с прохладцей. Мне только оставалось ломать голову над тем, что бы это значило: следует ли ждать очередного приглашения на чай, когда зацветут нарциссы.

— Ну и дурак же ты, — сказала Беатрикс, выслушав историю брата.

— А ты умная? — вскипел Редж. — Побыла бы в моей шкуре! Еще раз сболтнешь такое, дождешься у меня, смотри.

— Продолжай, — попросил я.

— Так вот, узнав, что я говорю по-русски, они стали очень подозрительными. Проберта отпустили, когда выяснилось, что он член Британской компартии, хотя и не преминули поиздеваться над этим фактом. А потом снова принялись за меня. Откуда я знаю русский? Я им объяснил. Назовите девичью фамилию вашей матери. Назвал. Что вы здесь делаете, на кого работаете, к какой партии принадлежите? Я сказал, что ни к какой партии не принадлежу, хотя и сочувствую кооперативному движению. И воюю не "за", а "против". Они ничему не верили. Потом вызвали громилу в грязной майке, который принялся отбивать меня, как котлету. "Говори правду", — требовали они. "Я вам сказал всю правду", — твердил я и получал очередную порцию ударов. На ночь меня заперли в подвале. До сих пор во все это не верится, — говорил Редж, мелко тряся головой. — Утром они снова за меня взялись. Не знаю, чем бы все кончилось, если б не пришел приказ о передислокации на север. Когда меня выводили из подвала, я увидел готовые к отправке грузовики. Мне сказали, что я свободен. Я добрался до нашей казармы, нашел винтовку и амуницию. Я не знал, где Проберт, где все наши. Остался совершенно один. На попутных военных грузовиках добрался до Фигераса, там в одном баре стащил чье-то пальто. Без особых приключений перешел по заснеженным горам через границу. Ну а дальше поездом через всю Францию до Ла-Манша. У меня даже осталось пятьдесят фунтов в заднем кармане. В общем, дурака я свалял.

— Я и говорю, дурак, — повторила Беатрикс.

— Но что же нам делать, — воскликнул Редж, — с несправедливостью, в которой погряз весь мир? Просиживать задницу, уставившись в "Дейли уоркер", как придурки вон за тем столом? — Кивком он указал на столик, за которым с видом заговорщиков молча курили и отхлебывали кофе члены Британской компартии. — Эти чертовы русские никогда не казались мне врагами, потому что говорили на языке моей матери, вот в чем беда. И вдруг я вижу подонков, которые подозревают всех и каждого в заговоре против них, и теперь я не знаю, кто же они на самом деле, черт бы их всех побрал. Вообще уже не знаю, кому верить...

— Теперь ты в университете, — сказал я, — на испанском отделении, но, полагаю, к каталанскому охладел.

— Он приобрел привкус крови, — угрюмо промолвил Редж. — Лопе де Вега, залитый кровью павших бойцов.

— Это уже перебор, — не выдержала Беатрикс.

— Я еще Ципу не видел, — сказал Редж. — Мне надо увидеть твою сестру, — обратился он ко мне, как будто я не понимал, о ком идет речь.

— Да куда она денется, — сказал я, — сидит себе, бьет в барабаны и звонит в колокольчики день напролет.

Итак, он хочет видеть Ципу, похоже, все-таки влюбился. А почему же он влюбился в Ципу? Объяснять это с точки зрения физиологии или метафизики было бесполезно, поэтому я предположил, что Реджа притягивает все средиземноморское, а образ Ципы — олицетворение этой тяги. Еврейка Ципора — полная противоположность его сестре, равно как и матери. Валлийцы — одно из потерянных колен Израилевых, отсюда у них и библейская внешность. Правда, в лице Реджа трудно отыскать библейские черты, особенно глядя в его балтийские глаза. Впрочем, Средиземное море или Балтийское — не важно, главное, там водится рыба. Дэн торговал теперь не жареной, а свежей, с головой и хвостом, рыбой в магазине Тассока на Принсесс-роуд. Стоя за прилавком в фартуке в белую и голубую полоску и соломенной шляпе, он ловко разделывал семгу. Человек на своем месте признает только непреходящие ценности — рыбу и золото.

— А что стало с золотом? — спросил я у Беатрикс. Мы не разговаривали с того памятного осеннего вечера, когда расстались в такси. Взглядом она дала мне понять, что это не мое дело, и была права. С Реджем с тех самых пор она тоже не разговаривала.

— Отец знает, что это твоих рук дело, — сказала Беатрикс брату. — Поэтому он не заявил в полицию. Сказал, что ты заслужил хорошую взбучку. Вот погоди, и Дэн тебе еще добавит, надает по физиономии выпотрошенной камбалой.

— Брось, Трикс, мне только Дэна не хватало, — взмолился Редж, — и так досталось по первое число.

— Ладно, Редж, лично я рад видеть тебя снова дома, — сказал я, вставая, — мне надо на лекцию по кантовским категориям. Я передам Ципе, что вернулся наш раненый боец. Но будь начеку.

— Почему?

— Понимаешь, Ципа — девушка романтичная, легко увлекающаяся. Так что держи ухо востро. Не наделай глупостей.

Мать с отцом приехали из Венесуэлы еще в начале лета. Несмотря на прогнозы британских политиков, было ясно, что война не за горами, и родители решили вернуться на острова до того, как она начнется. Худые и смуглые, они выглядели на все свои пятьдесят с хвостиком. Постройка моста через Ориноко, как и предсказывали, оказалась пустой тратой денег. Правительство в Каракасе в конце концов расторгло контракт. В Латинской Америке царила уверенность, что Германия подчинит себе всю Европу. В Венесуэле, как и везде, нацисты вели мощную пропаганду, и британские специалисты пользовалась все меньшим уважением, а евреев уже начали забрасывать камнями. Родители радовались, что вернулись домой, но осесть в Британии навсегда в их намерения не входило. Они пожили немного с нами у тетушки Беренис и вскоре сняли квартиру недалеко от Трэффорд-парка. В квартире не нашлось места для нас с Ципорой. Родители привыкли жить отдельно, по-

этому их приезд не изменил привычного ритма нашей жизни, если не считать участившихся телефонных звонков и редких воскресных чаепитий всей семьей. Ципа замкнулась в себе и почти со мной не говорила. По ее бледному лицу и запаху джина я мог определить, что ее любовные отношения зашли далеко.



Нам предстояли последние, по всей видимости, студенческие каникулы, и я решил свозить Ципу в Истбурн. Мне и в голову не пришло, что Редж может последовать за ней. Он появился на эспланаде возле отеля "Ормонд", когда мы с Ципой сидели за завтраком, уплетали яичницу с беконом и сосисками, запивая крепким чаем. Некошерный завтрак, но мы не чувствовали ни малейших угрызений совести. Я читал "Дейли мейл", в которой утверждалось, что войны не будет, а наш подлинный враг — Америка. Редж был одет по-летнему, в белые фланелевые брюки и пиджак с эмблемой университета. Он сильно загорел, перестал гундосить, а сломанный нос добавлял ему мужской привлекательности.

— Захотелось проветриться, — сказал он, — дома жить невмоготу. Отец теперь запирает все свое добро. — Он опустился в кресло рядом с Ципой. — У вас здесь мило, лучше, чем там, где я остановился. Пожалуй, перееду сюда, если найдется свободный номер.

Ципа залилась румянцем: могла бы по крайней мере предупредить меня о своих планах.

— Ладно, а то я не догадался, что вы обо всем договорились заранее, — сказал я, все яснее осознавая, почему меня раздражают их отношения. Если бы Беатрикс бросилась в мои объятия, требуя моей и только моей любви, я бы чувствовал себя по-другому. Отсутствие симметрии угнетало.

— Пошли пройдемся, — предложил я.

— Идем, выпустишь пар, — кивнул Редж, но прежде чем уйти, поцеловал Ципу.

Стояло сырое летнее утро, небо в тучах, море как свинец. По такой погоде не разгуляешься.

Чтоб согреться, мы зашли в кофейню.

— Хотелось бы знать о твоих намерениях, — сказал я.

— Выступаешь в роли родителей? — скривился Редж. — Тебе-то что? Это дело ее отца, я ему уже написал, только письмо еще не отправил.

— Надумал жениться? Тебе прекрасно известно, что это вздор. Студентов не женят.

— Зато солдат женят. Недолго ждать осталось.

— Ты спишь с ней, признайся? И предосторожностей наверняка не соблюдаешь.

— Мы еще ни одной ночи не провели вместе, если хочешь знать. Болван, я же люблю ее.

— Да что ты знаешь о любви!

— Желаешь услышать четкое философское определение? Я люблю ее, идиот проклятый! У меня дыхание останавливается, когда я ее вижу. Я себя с трудом сдерживаю, чтоб не обнять ее при всех. Она мне снится каждую ночь, я просыпаюсь весь в поту.

— Я так и понял, все дело в сексе.

— Не спорю, признаки вожделения налицо, но между нами не только это, но и родство душ. Она чувствует то же, что и я. Мы хотим быть

вместе, всегда, всю жизнь. Во всяком случае, пока немцы не покончат с нами. Это — любовь. Мы поженимся.

— А как же ее музыкальная карьера? Одно дело скрипка, но у нее столько инструментов: ксилофоны, тимпаны, чего только нет, — мы кучу денег на это истратили. Что же им, по твоей милости пылиться на чердаке?

— Я не против искусства. Мы оба убеждены, что рожать детей в этом безумном мире — преступление. Я не хочу превращать ее в домохозяйку. Я с уважением отношусь к ее занятиям, даже если они состоят из стука и грохота. Да и вообще о чем речь, если мы уже обручены.

— Я не видел кольца.

— Она хранит его в сумочке. Очень милое, с тремя бриллиантиками. Платиновое. Куплено у "Ремингтона", пятьдесят фунтов. Быть может, ты не позволишь ей носить его? Не думаю, чтоб она нуждалась в твоем или чьем бы то ни было разрешении. К тому же ты моложе нее. Всего лишь младший брат. Просто Ципа — скромная девушка, и она не хочет, чтобы ты болтал всякие глупости. Пусть ее отец решает, может она выйти замуж до совершеннолетия или нет. Сегодня же отправлю письмо.

Мне вдруг нестерпимо захотелось напиться. Я помолчал, потом спросил:

— И как же она будет именоваться? Ципора Джонс — звучит несуразно.

— Не хуже, чем Людмила Петровна Джонс. Ципора Морроу Джонс — звучит как девиз объединившихся наций. А тебе никогда не приходило в голову, что имя Ципа больше подходит какой-нибудь стриптизерке из ночного клуба? Ладно, хватит с меня раввинских поучений и пророческих громов и молний. Дщерь Израилева, лилия полей выходит замуж за русского валлийца. Пора петь эту, как ее, эпита...

— Нет, с эпиталамой пока повремени. Начни с проталамы. И кстати, коль мы заговорили о будущем, чем ты собираешься заняться? Куда пойдешь работать?

— Что-нибудь с испанским... Преподавать, может быть... Да ты не бойся, бедствовать мы не будем. Отец заработал кучу денег на своем ресторане. Мы не пропадем.

— Ты сдал экзамены за второй курс?

— Представь, да, и даже лучше всех. А как же иначе? Я ведь за этот язык кровь проливал. Воевал с фашистами, которые его унизили. Кстати, Трикс лучше всех сдала выпускной экзамен.

— Я знаю, другого я от нее и не ожидал. Где она сейчас?

— В Лондоне, квартиру ищет. Она теперь в министерстве иностранных дел, помощница Намьера. Очень вовремя, война ведь со дня на день начаться может.

Война началась три недели спустя. Мы вернулись с каникул и пришли в университет, не вполне понимая, нужно ли теперь учиться. Лопе де Вега и Кант в военное положение не вписывались. Мы с Реджем одними из первых попросились на фронт, хотя могли воспользоваться отсрочкой до окончания университета. В награду за патриотический порыв нам досрочно, минуя защиту, выдали дипломы бакалавров с правом продолжить учебу и получить степень магистра сразу по окончании военной службы. Очень великодушно. Мы не стали дожидаться повесток и сами явились на призывной пункт. Редж поехал в Южный Уэльс, чтоб за-

писаться в полк, где когда-то служил его отец, я — на призывной пункт в Манчестере. Перед отправкой в тренировочный лагерь Редж и Ципа зарегистрировали свой брак в мэрии. Его родителей на церемонии не было, наши пришли. Отец ворчал, что Ципины инструменты обходятся очень дорого и что, если по совести, теперь муж обязан за них платить. В результате они с Реджем договорились поделить расходы.



— Но, папаша, поимейте же совесть, — шутил Редж, — я — всего лишь рядовой солдат, а вы — преуспевающий инженер.

Свадебный банкет, заказанный в ресторане "Трокадеро" на Пиккадилли, состоял из закусок, куриного супа, палтуса, бефстроганова, жареной дичи, персикового торта и нескольких бутылок "Медока". По традиции Редж и Ципа провели три дня в Скарборо, но медовый месяц был по-военному коротким.

— Почему твои родители не приехали? — спросил я Реджа по окончании церемонии.

— Ты же знаешь, они держат ресторан в Абергавенни, и по закону не имеют права закрывать его даже на день под угрозой изъятия лицензии. Единственный день, когда нельзя торговать спиртным, — воскресенье, но валлийцы как раз по воскресеньям привыкли пьянствовать, так что теперь им приходится заходить с черного хода.

— Неужели так трудно подыскать себе замену на один день?

— Отец не доверяет валлийцам, боится, что в его отсутствие они напьются и затеют драку — и плакала тогда его лицензия.

Всем было ясно, что это лишь отговорка. Просто Людмила Джонс, как и большинство православных русских, терпеть не могла евреев. Отец же по-прежнему гневался на Реджа, своего любимца, который отплатил ему неблагодарностью: попытался украсть фамильное золото, а потом сбежал в Испанию. При желании он мог запретить Реджу жениться — его совершеннолетие наступало только в январе следующего 1940 года, — но в конце концов согласился. Однако свадебного подарка не прислал, показывая тем самым, что сына не простил.

— Не выйдет ничего хорошего из этой женитьбы, — сказал Дэвид Джонс, и время показало, что отчасти он был прав.

К концу 1939 года Редж был произведен в капралы второго батальона Гвентского королевского полка. Почему он записался в отцовский полк? Наверное, из чувства фамильного долга. Своего рода семейный патриотизм ("О милый край моих отцов" и так далее). И почему выбрал именно пехоту? Одну войну он уже проиграл. Фашизм победил в Испании и теперь угрожал всей Европе. Германия и Советская Россия предусмотрительно вступили в сговор. Редж понимал, что обеими сторонами управляют тираны, под разными личинами, но по сути одинаковые. Он пошел в пехоту потому, что хотел драться буквально, винтовкой и штыком. Жизнь скоротечна — торопись жить, как выражаются современные мастера слова. Редж тоже так думал, ведь он был романтик.

Я романтиком не был. Драться я не желал, но и отсиживаться где-нибудь писарем тоже не хотелось. Моя служба заключалась в том, чтоб готовить других к встрече с врагом. Меня произвели в сержанты-инструкторы, три лычки и скрещенные мечи на погонах — штатские остряки называли их портняжными ножницами. Я занимался в госпиталях лечебной гимнастикой с ранеными, заставлял их гонять в футбол, а позднее был назначен инструктором в пехотный тренировочный лагерь.

Прошел курсы самообороны без оружия, курс рукопашного боя с применением холодного оружия, колючей проволоки и прочих варварских средств убийства. От метафизики и философии нравственности не осталось и следа. Так были брошены первые зерна на ниву моей будущей профессии – специалист по подготовке терактов.

Словно в насмешку над покалеченными и деморализованными солдатами, возвращавшимися из Дюнкерка, лето 1940 года выдалось на редкость солнечным, даже в вечно сыром Манчестере. Тогда же вернулся и Редж. Он нуждался в утешении, в нежных объятьях, но Ципины руки были заняты – она поддерживала боевой дух нации, играя в городском оркестре. Прежде в нем были только мужчины, а теперь новый дирижер сэр Джон Барбиролли, известный оркестрантам под именем Боб О'Рэйли, стал принимать в него и женщин. Одна дама была тромбонисткой, вторая, Ципа, играла на ударных и чувствовала себя при этом прекрасно, хотя медные тарелки в руках миловидной молодой женщины, отбивавшие вагнеровские крещендо, казались публике дикостью. Иногда ей поручали партию второго ударника в Девятой симфонии Бетховена, в третьей части Четвертой симфонии Брамса, но никогда ни в одной из вещей Гайдна и Моцарта. Правда, когда первый ударник Альфред Рептон болел, что случалось все чаще, за барабаны садилась она. Руки у нее стали сильнее и вполне сгодились бы, чтобы уберечь покалеченного солдата от ночных кошмаров, да только дома в супружеской спальне, специально отведенной тетушкой для молодоженов, она оставалась редко: оркестр разъезжал по городам и весям, чтобы сеять прекрасное в рамках государственной патриотической программы.

Когда Редж вернулся из Дюнкерка, я был в отпуске. Сумасшествие, замеченное мною в его глазах по возвращении из Испании, в сочетании с маниакально-депрессивным психозом, свойственным как валлийцам, так и русским, казалось, опасно прогрессировали. Возможно, это было просто нервное истощение, но как-то утром, когда мы завтракали вчетвером, тетушка, Ципа, он и я, Редж вдруг зло прищурился и сказал жене, которую я все еще считал его невестой:

– Я знаю, почему ты улыбаешься.

– Ты не можешь этого знать, ты еще не читал. – Она имела в виду лежавший перед ней последний номер "Манчестер гардиан", где поместили статью о вчерашнем концерте. Усмехнувшись, она процитировала: "Ее красивые руки отбивали ритм четко и безукоризненно".

Он взорвался:

– Мужчины вокруг так и вьются, да? – Прозвучало это очень по-валлийски и не в его стиле. – А у тебя небось глаза разбегаются. Трубачи, скрипачи, кларнетисты, все пьяницы и бездельники. Только не думай, что я ничего не знаю. Знаю! В моем взводе половина солдат только и думала, что о своих женах, даже под немецкими бомбами. Война вскрывает суть вещей. Semper infidelis[1]. Будьте любезны, получите рога вместе с тушенкой.

– Слушай ты, идиот, – крикнул я, – если ты подозреваешь мою сестру в неверности, я тебя сейчас с лестницы спущу.

1. Вечная неверность (*лат.*).

– Отстань от меня со своими лычками, бицепсами и братским долгом, – ответил он. – То, что Бог соединил, никакому засранцу не расторгнуть.

– Редж, вы монстр, – воскликнула тетушка Беренис с французским акцентом, – я не потерплю таких выражений в своем доме!

– Ваш французский обворожителен, мадам, вам стоит написать пособие по фонетике, – бросил ей Редж.

Потом он улыбнулся Ципе:

– Прости, что я сорвался. Сам не знаю, что вдруг на меня нашло. Ревность, наверное. Вам никогда не приходило в голову, что войны возникают на почве ревности? Ревнивое чувство лишившихся империи по отношению к тем, кто ею по-прежнему владеет. Ревность низших чинов к привилегиям и жалованью вышестоящих. "Отелло" именно об этом. Ревность на поле боя порождает супружескую ревность. Пойду побреюсь.

Он встал из-за стола, не доев завтрака, и обнял жену, как будто они находились в спальне, а не в столовой. На ней лица не было. Ципа не на шутку расстроилась, но жалела его, потому что любила. Он пошел наверх, в ванную. Мы сидели и молча глядели друг на друга. Тетушка расплакалась. Вытащив из рукава кружевной надушенный платочек, она утирала слезы и причитала: "Бедная Франция. Бедная, несчастная Франция".

В это время в дверь постучали. Почтальон принес бандероль. Ципа с озадаченным видом внесла тяжелый сверток, пытаясь по весу определить содержимое. Почтовый штемпель из Абергавенни, адресовано капралу (что было ошибкой) и миссис Джонс. Ципа разорвала упаковку, и мы увидели семейную библию Джонсов. Письма не прилагалось, дарственная надпись на титульном листе отсутствовала. Тетушка пришла в ужас от иллюстраций.

– Порнография в манере Альма-Тадема[1], – возмутилась она, – вы только взгляните на этот пир Валтасара, вечно эти гои опошляют святыни, даже пятнают их, вот и здесь на иллюстрации какое-то мерзкое пятно. Почему они прислали ее нам? Может быть, как символ союза иудеев и христиан? Странный подарок. Или чтоб внести сюда имена новых Джонсов по их рождении и крещении? Видите, здесь уже есть список прежних поколений Джонсов, и у всех такие хорошие еврейские имена. Но в родительском жесте сквозит нечто подозрительное, вот только не могу понять, что именно. Ципора, положи-ка ее на нижнюю полку шкафа и запри дверцу. Вряд ли эта книга нам понадобится. – Тетушка, как châtelaine[2], носила на поясе связку ключей, один из которых протянула племяннице.

Тогда-то я и начал подозревать, что вся семейка Джонсов с приветом. Сексуальное поведение Беатрикс тоже не назовешь нормальным. Дэна, которого успели забрить в первый батальон Ланкастерского королевского полка, я прозвал, извините за неологизм, ихтиоцентриком. А Редж сейчас бреется наверху, позабыв, что он уже брился до завтрака. С другой стороны, вправе ли я их судить, если сам испытываю тошноту от переплетающихся голых конечностей, которыми изобилует их семей-

1. Лоуренс Альма-Тадема (1836–1912) – английский художник, автор картин на античные сюжеты.
2. Экономка (*франц.*)

ная библия? Может быть, все мы душевнобольные, а война ниспослана нам во имя исцеления?

В июле 1940 года военное министерство с большим опозданием стало формировать корпус разведки, куда и записался Редж. Не потому, что не хотел больше видеть смерть лицом к лицу. Он дважды пережил поражение и решил, что врага нужно подавлять умом, а не силой. Диверсии, агитационно-подрывная работа, – в общем, разведка. Я продолжал постигать азбуку войны на плацу. Ципа знакомила соотечественников с творчеством Бетховена и Вагнера, порядочных, до известной степени, немцев.

Надеюсь, читатель не осудит автора, который опустит общеизвестные факты о войне, о которых большинство узнало из бесчисленных фильмов с актерами-пацифистами в главных ролях. Мне не терпится рассказать о "Meibion Arthur" – "Сынах Артура" и о том, как семейство Джонсов подарило им боевой символ. Эта националистическая организация была создана по инициативе нескольких валлийцев в Гибралтаре. Реджа командировали туда в 1943 году, но вовсе не благодаря знанию испанского. Среди его однополчан были преподаватели французского, немецкого и даже литовского, а один, сын оперного импресарио, владел почти всеми европейскими языками и даже арабским. Всех их перед отправкой произвели в сержанты, а по прибытии, не объявляя причину, сняли лычки, хотя Реджу в 1944 году вернули сержантский чин.

Работа младших офицеров корпуса разведки, размещенного в Гибралтаре, была по большей части смехотворной. Предполагалось, что разведчики в гражданской одежде будут проникать на территорию Южной Испании и докладывать о возможных нарушениях нейтралитета со стороны правительства Франко, однако им приходилось просиживать на пограничном пункте и проверять пакеты с едой у испанских поденных рабочих при их въезде и выезде. Что именно нужно искать в этих пакетах, никто не знал. Иногда их посылали на рынок в Ла-Линеа под видом гражданских лиц или солдат, которые приценяются к проституткам, чтобы выяснить, не слишком ли много британских фунтов дают за песеты. Перед отправкой на родину британские солдаты получали денежное довольствие в английских, а не местных купюрах и, поддавшись искушению, могли обменять деньги по курсу черного рынка, вдвое больше официального. Считалось, что нацистские агенты нарочно скупают британскую валюту. Виновных в незаконном обмене, пойманных с поличным, предписывалось, помимо устного порицания, вносить в черный список. Приказано было также уважать нейтралитет Испании, то есть не избивать немецких агентов, если таковые окажутся рядом в местах общего пользования, и не брать их в плен. Реджу быстро наскучил такой однообразный распорядок жизни, и он нарушил приказ.

На главной улице Гибралтара в двухкомнатной квартирке над фруктовой лавкой каждый вечер собирался валлийский клуб. Там можно было почитать "Вестерн мейл", "Merthyr Tydfil Chronicle"[1] или "Стар оф Гвент" двухмесячной давности, выпить виски, но не пиво, пиво доставлялось только летчикам и морякам. В отличие от ирландцев и шотландцев, валлийцы не стойки к виски, и одной порции достаточно, чтоб од-

1. "Южноуэльскую хронику" (*валл.*)

на провинция начала подначивать другую, а там и до драки недалеко. Иногда Северный Уэльс объединялся против Южного. Комнаты были маленькие, так что до крупных потасовок не доходило. Президент клуба Алед Рис терпеть этого не мог. Он был старшим офицером в армейском учебном корпусе, до войны преподавал математику в Гламоргане, говорил по-валлийски и, несмотря на очки, худобу и лысину, внушал уважение. "Все валлийцы равны, – орал он. – Приказываю прекратить идиотские междоусобицы. Валлийцы должны объединиться для будущей борьбы, которая, черт побери, не за горами". Если он и употреблял неуставные выражения, то затем лишь, чтоб добавить огня в сдержанную англо-валлийскую речь.



Валлийцы уважают красноречие, и те, кто собирался в клубе, с удовольствием внимали пылким ежевечерним филиппикам Аледа Риса. Ораторствовал он по-английски, потому что его гламорганский диалект валлийского мало кто понимал, а многие вообще родного языка не знали.

– Почему мы участвуем в этой проклятой войне? – говорил он. – Потому, что мы воюем за свободу угнетенных народов. Валлийцы – угнетенный народ. Загнанные в горы проклятыми англосаксами, они теперь вынуждены взирать, как те наживают богатство на земле, которая, черт возьми, принадлежит коренному населению островов. Англосаксы и викинги, а потом и норманны заявляли право сильного, а валлийцы, да будет проклята их природная мягкотелость, все ниже склоняли головы. Много нынче говорят о валлийском национализме, и сердце каждого истинного валлийца жаждет избавления из-под власти проклятого Лондона. Но я считаю, что мы должны идти дальше, и стою за установление валлийского господства над всей Британией. Король Артур правил единой страной, говорившей на одном языке, молившейся единому Богу. Барды Южной Шотландии Тализин и Анейрин в своих бессмертных стихах воспели храбрость бриттов и вероломство вторгшихся саксов. Это было в шестом веке, когда германские орды хрюкали на своих варварских наречиях и поклонялись камням и деревяшкам. Вы, чтоб вам всем пусто было, забыли о нашем древнем наследии, так пора вспомнить о нем и возродить наши традиции.

Капрал Реджинальд Морроу Джонс протестовал:

– Мой отец слушал такие же призывы в прошлую войну, и ни к чему они не привели. Историю нельзя прокрутить назад, как кинопленку. К тому же Уэльс, о котором вы говорите, не был свободным. Он подчинялся Риму, а Артур был всего лишь римским наместником, получавшим приказы непосредственно из Равенны. Никогда вы не дождетесь возвращения Британии под валлийское господство, и независимости Уэльса не видать вам как своих ушей. Валлийцы и англичане давно уже перемешались друг с другом, валлийцы стали верноподданными Соединенного Королевства. Зайдите на рынок в Паддингтоне в молочный ряд, там одни валлийцы. Валлийцы побывали и на британском престоле, вспомните диктатора Оливера Кромвеля, он тоже был валлийцем. Но время валлийцев ушло вместе с Тюдорами. Ллойд Джордж со всем своим валлийским обаянием был родом из Манчестера. Ваши речи напоминают старинные саги, изложенные современным языком, а политические заявления вообще оторваны от действительности.

Другой капрал, Бен Гриффитс, смуглый, с суровым взглядом черных глаз, похожий на отца Реджа, возразил:

— Ты, помнится, много болтал о своей борьбе за свободу Каталонии в те редкие вечера, когда, заставляя скучать испанских дам, снисходил до нашего общества. А теперь пытаешься оправдать злодейский режим Франко, который отнял у каталонцев свободу, называя это историческим процессом или черт знает еще чем. Но Уэльс — не Каталония, и наши единственные враги — саксы, которые настолько потеряли бдительность, что любезно обучили нас обращаться с оружием. То, что говорил здесь Алед Рис, может быть, и кажется нереальным, но я уверен, как только эта война закончится, самое время взяться за оружие и освободить Уэльс от английской тирании. Так что аккуратнее со словами, приятель.

Редж не замедлил с ответом:

— Во-первых, мне не понравились твои грязные намеки насчет испанских дам. Я в Испании по долгу службы, как выражаются янки. А теперь я хочу спросить у вас: где вы возьмете денег на вашу борьбу? Будете просить Москву помочь освободиться от англичан? Да они вам и деревянного рубля не дадут. У них и без вас забот полон рот, а после войны в десять раз прибавится. Делать им больше нечего, как только помогать Уэльсу в борьбе с английскими капиталистами, как же! Здорово они помогли Каталонии, ничего не скажешь. Никто вас не поддержит, ребята.

С места поднялся один политически грамотный рядовой:

— Средства всегда можно найти, братья. Но начинать надо с подрыва моральных устоев. Для борцов за независимость шантаж, похищения, ограбление банков — не есть преступления. И еще я подумал, вот было бы здорово организовать похищение Гитлера или арестовать банковский счет Геринга, вот это был бы подвиг! То, что считается подвигом в этой войне, будет считаться подвигом и в нашей войне за свободный Уэльс. Тут некоторые выступают за то, чтобы сделать Уэльс республикой, другие говорят даже о коммунистическом Уэльсе. Но ведь это бы значило подчиниться безбожному Советскому Союзу, которому до валлийского народа и дела нет. Уэльс процветал под властью королей и племенных вождей. Сейчас Уэльс по закону подчиняется англичанам. Нам необходимо снова сделать его королевством. Мы — прямые потомки короля Артура, мы не желаем оставаться имперской колонией. "Сыны Артуровы" — звучит благороднее, нежели партия кимров или что-то в этом роде.

В след за тем собравшиеся, естественно, вступили в перебранку. Профсоюзники и коммунисты несли околесицу. Националисты им не уступали. Конец этому положил бывший хормейстер Оуэн Причард, сидевший на продавленном испанском диване (подарок гибралтарца Криса Огадо, однажды переспавшего с валлийской девушкой). Он поднялся и торжественно затянул "Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi"[1].

Примерно в то же время эскадрилья люфтваффе вылетела бомбить Эббу-Вейл, но была отброшена назад британскими истребителями. Англию уже бомбили редко — главные силы фашистов воевали на русском фронте. Возможно, решение бомбить угольные шахты Уэльса было подсказано Гитлеру его астрологами, или сам Дух Истории двигал немецкими штурмовиками, поскольку последствия рейда оказались поистине историческими.

1. О, край любезный моих отцов и дедов (*валл.*).

Один из бомбардировщиков, сильно потрепанный истребителями противника, летел в сторону Бристольской бухты, попутно избавляясь от оставшихся снарядов. Бомбы падали и рвались на полях фермеров между реками Аск и Гавенни. Трактир "Черный лев", которым владели Дэвид и Людмила Джонс, находился в местечке Гилверн, в километре от ближайшего взрыва, но хозяева лишились оконных стекол. Две бомбы упали на город Абергавенни. Одна из них не взорвалась и была обезврежена саперами, другая упала на древние руины бенедиктинского монастыря. Взрывом уничтожило отару овец. Сидя в пабе у Джонсов, фермеры сокрушенно рассказывали, что от животных остались лишь рожки да ножки. Один из местных жителей притащил с собой несколько черепков и осколок камня, на котором был вырезан глаз. Доктор Льюис с интересом рассматривал находку и приговаривал:

— Науке известно, что на месте Абергавенни в древности находилось римское поселение Гобаниум, довольно знаменитое в свое время.

— В самом деле, доктор?

— Да. Возможно, это остатки храма Митры или даже самого Юпитера.

— Любопытно, — равнодушно произнес заезжий коммивояжер.

— Не странно ли, что немцы, пытаясь разрушить наши острова, невольно помогают находить следы древних цивилизаций? Раскопки, с позволения сказать, без помощи лопат. Даже в Лондоне после бомбежек обнаружились остатки древних храмов и часть городской стены Лондиниума.

— Как интересно, черт возьми, — послышался тот же голос.

— Ну, все. — Доктор Льюис допил свои полпинты эля. — Оставим это кардиффским археологам. Мне надо посмотреть младшенького миссис Причард, у него странный кашель.

— Bore da, meddyg[1], — сказала Людмила Джонс из-за стойки бара.

— Все-то он знает, этот доктор.

— Доктору положено.

Примерно через три месяца после этой бомбежки, находясь в увольнительной, я завтракал в квартире своей сестры на Уимслоу-роуд. Завтрак был по военному времени скудный, из яичного порошка. Я читал Ципе письмо от отца: "Портсмут основательно разрушен, но сейчас бомбежки прекратились, потому что немцы увязли на востоке. У нас с матерью все хорошо, но трудно сказать, когда проект "Марк III" будет завершен. При случае передай привет Гарри".

Ципа читала "Манчестер гардиан".

— Значит, это не миф, — проговорила она.

Она вынуждена была выехать из тетушкиного дома потому, что та сдала его какому-то профсоюзному боссу, работавшему в манчестерском отделении Торговой комиссии. Сама тетушка уехала в Лондон и заведовала там общедоступной кухней для французских беженцев. Возвращаться в Манчестер она не собиралась.

— Какой миф? — удивился я.

— На месте бомбежки работают археологи. Никогда бы не подумала, что сейчас время заниматься археологией. Там работает один старый профессор из Кардиффа с группой школьников. Они нашли камни с латинскими надписями. На одном выдолблено "GLAD ART REG", и в нем

1. Всего доброго, доктор (*валл.*).

есть продолговатое отверстие, похожее на ножны. GLAD значит "gladius", меч по-латински. ART REG означает Артур-король. Автор статьи считает, что профессор Рис Джонс поторопился с выводами и нет доказательств, подтверждающих связь находки с Камелотом. Он говорит, что Камелот находился в Кэдбери. Есть еще какой-то профессор валлийской литературы, который много написал о мече, запрятанном в каменных ножнах. Ты что-нибудь об этом слышал?

— Кажется, нет.

— Он утверждает, что это и есть тот самый камень. Стоит лишь залить щель растопленным воском, и мы получим слепок меча и узнаем, как он выглядел. Война идет, а они тратят время на сказки.

— Жизнь продолжается, а она включает и археологию, и музыку, верно? — Морщась, я продолжал впихивать в себя яичницу из порошка, хлеб с маргарином и подобие чая.

Ципа подозрительно подняла на меня свои ясные черные глаза. Одета она была в радужный тетушкин пеньюар, оставлявший шею и часть груди открытыми, но, как брата, меня, конечно, не должны были волновать эти прелести.

— Как понимать твое "верно"? Ты утверждаешь или сомневаешься?

— Я слышал, ваш концерт провалился, и неудивительно. Кто в такое время захочет слушать этого чертова Брукнера?

— Жизнь — сплошная чересполосица. Бывают и неудачи, что ж поделаешь, — неуверенно отозвалась Ципа. — Возьми хоть Реджа. Странно все это. Он написал мне необычное письмо. Вот, — она протянула мне авиаконверт, — прочти.

Я нерешительно взял в руки желтоватый лист бумаги.

— По-моему, мне не следует знать, что происходит между супругами.

— Читай.

Я прочел. О господи, лучше бы не читал.

"Дорогая Ципа, давай будем совершенно откровенны. Возможно, ты способна сублимировать сексуальную энергию, колотя по барабанам, гонгам и тому подобным штуковинам, а я — нет. Можешь назвать это изменой. Она была так на тебя похожа, что я не устоял! Нет, конечно, не в смысле ума, таланта и красоты. В общем-то пародия на тебя в мантилье. Потом мне было ужасно стыдно. По крайней мере, я принял необходимые предосторожности, — понимаешь, о чем я, — так что ничего не подцепил. А теперь я не могу уснуть, мечтая о тебе настоящей, которую я заменил жалким подобием, воняющим чесноком. Прости бога ради".

— Тут дырка вырезана, как будто бритвой, — сказал я, покраснев до ушей.

— Наверно, цензура. Ответь мне, может ли мужчина в здравом уме писать жене такие письма?

— Твой муж — большой оригинал. Обычно мужчины о таких вещах не распространяются.

— Вот именно! Я же этого не видела! На что сдались мне его откровения? Какая мерзость!

— Знаешь, война всех делает немного ненормальными. Иногда человеку необходимо выговориться, хотя бы в письме, чтобы облегчить душу. Это для таких, как Черчилль, война — средство сделать карьеру, а до нас им дела нет. Постарайся простить его и молись, чтоб Редж вконец не свихнулся.

— Мы уже никогда не будем такими, как прежде. Что бы там ни было. Я имею в виду нашу юность, время, когда личность только формируется. Наверно, мы совершили много ошибок. Я поторопилась выйти замуж. Да и он тоже поспешил с женитьбой. Не хватило времени смотреть по сторонам.

— Так ты что же, сейчас надумала смотреть по сторонам? — осторожно спросил я.

— Я отчитываться перед тобой не обязана, но если тебе так уж любопытно, он сам виноват. Случилось это сразу по окончании его увольнительной перед отправкой в Гибралтар. Глупое выражение — "смотреть по сторонам", по крайней мере применительно к женщинам. Это мужчинам свойственно провожать глазами каждую юбку и ходить налево. Джефф Терстон, ты его не знаешь, второй гобой. В тот вечер он исполнял соло для английского рожка из "Лебединого озера". После концерта в Гомонте он угостил меня парой рюмок джина, и я у него осталась.

— Значит, можешь ответить Реджу таким же откровенным письмом.

— Рехнулся? Зря я проговорилась. Он сам толкнул меня на такой шаг.

— Каким образом?

— Ты все равно не поверишь.

— Война учит верить в самое невероятное.

— Это все чертова библия. Мы захватили ее с собой при переезде сюда. Я на кухне накрывала ужин. Потом вхожу в комнату, чтоб позвать Реджа, и вижу, как он мастурбирует, глядя на картинку в этой книжонке. И что ты думаешь, его не смутило мое появление, он сказал, что учится удовлетворять плотские потребности иным путем. Раньше, говорит, жена была моей правой рукой, а теперь пусть правая рука побудет женой. Я велела ему немедленно убраться, а он заявил, что и так уходит, иначе опоздает на поезд. И после этого еще лез целоваться.

— Да, дела... Что это — безумие, искренность, бестактность?

— Плевать мне, как это называется. Я уверена, ему следует показаться врачу.

— Да проверяют его врачи во время медкомиссий. Действительно, трудно поверить, надо же — с библией! Весь в папашу. Представляешь, того в юности родитель застукал в тот самый момент, когда он извергал семя прямо на "Пир Валтасара", и вздул за святотатство так, что мальчишка сбежал из дому. Редж рассказывал мне эту историю.

— Именно, "Пир Валтасара"! Мне потом пришлось вытирать этот лист тряпкой. Какие же мужчины свиньи!

— Кстати, я тоже опаздываю к поезду, — сказал я, вставая. — Не принимай близко к сердцу. Редж — человек эксцентричный. Думаю, что и тебя многие считают чудачкой из-за твоего увлечения ударными. Твои подруги собирают танки для русских, а ты... Не грусти. Не видела, куда я фуражку задевал?

Я с трудом отыскал ее под продавленным диваном, любезно предоставленным домохозяйкой Ципы, и тепло попрощался с сестрой. Затем я втиснулся в 44-й автобус и доехал до Лондонского вокзала. Там я сел на поезд, следовавший в Юстон. Вагон был битком набит солдатами с такими же вещмешками, как у меня. Тренировочный лагерь, в котором я служил, закрыли во время моего отпуска, и мне пришлось возвращаться на базу в Олдершот.

В Лондоне я отрапортовался на Бейкер-стрит, 62-64, где находился штаб войск специального назначения под командованием знаменитого бригадного генерала Колина Габбинса. Капитан Сомс с сухим длинным лицом расспросил меня о послужном списке, обращаясь ко мне запросто, как к старому знакомому. В конце беседы он сказал:

— Инструкторы нам нужны, но инструкторы тоже нуждаются в инструктаже, согласны? Отличная физическая подготовка и быстрая реакция в нашем деле необходимы, как и наличие приличного образования, что подтверждает ваш диплом бакалавра. — Тут он нахмурился, глядя в мое досье. — Но скажите мне, на кой вам сдалась философия? Если б не Канты и Гегели, возможно, мы бы не оказались в этой трясине, ну да что теперь поделаешь... Вашими инструкторами будут лица гражданские, причем большинство из них — не британцы. Курс включает технику допроса, методы устрашения и даже убийства. Как вы догадываетесь, все это относится к предстоящей высадке на континент.

— Методы устрашения, сэр?

— До сих пор мы следовали тактике сдерживания и пытались вести эту чертову войну как джентльмены, не то что немцы и красные. Вас будут натаскивать не белоручки, сами увидите. Что теперь скажете, по-прежнему серьезно настроены служить у нас?

— Что значит серьезно, сэр?

— Значит, что вы можете забрать назад свое заявление и с чистой совестью вернуться к лечебной гимнастике. А если согласны, вы обязаны немедленно явиться на 6-й транзитный пункт и ждать дальнейшего приказа. Итак?

— Я настроен как нельзя более серьезно, сэр.

— Вот и прекрасно.

6-й транзитный пункт не отличался от обычной армейской казармы, но освещение здесь не отключали ради круглосуточно прибывающих и отбывающих по делам офицеров, поэтому общая атмосфера напоминала международный аэропорт, хотя и без спецобслуживания для особо важных персон. Традиционная армейская субординация в подразделении не прижилась. Капрал в домашних тапочках втолкнул нас с одним канониром в столовую, меню в которой практически не менялось. Еда была холодная и безвкусная, я сделал вид, что случайно уронил миску на капраловы тапочки и сбежал в Сохо купить чего-нибудь съедобного. Часовой крикнул мне вдогонку, чтоб я не забыл вернуться до полуночи. В ресторане напротив таверны "Фицрой", которой владела мальтийская мафия, я заказал жаркое из конины с картошкой. Когда я заглянул в таверну, меня не удивило, что там сидела Беатрикс в компании коренастого, почти без шеи и с грубыми чертами лица рядового в полевой форме. Они пили пиво и говорили по-русски. Как ни странно, она меня узнала, а ее брат Дэн — нет.

Я решил напомнить ему о себе:

— Мне посчастливилось видеть, как Дэн отделал Реджа на прощальной вечеринке, — сказал я, глядя на Беатрикс. — И однажды я покупал у него полфунта копченой семги для тетушки.

Дэн осклабился в мой адрес, затем взглянул на часы: "Пора".

— Ты уверен, что сумеешь найти станцию "Тоттнем-корт-роуд?" — озабоченно спросила Беатрикс.

Он ответил, что найдет. Дэн провел у сестры двухсуточный отпуск и теперь должен был поездом добраться до Глазго. Сестра на прощание крепко поцеловала его в губы. "Славный мальчик", – сказала она мне. Одета она была по-военному строго, но элегантно, в коричневый костюм с прямыми плечами и модельные туфли из хорошей кожи. Она с любовью смотрела вслед удалявшемуся Дэну. "Славный" было не совсем подходящим определением для Дэна, хотя теперь от него не пахло рыбой и подгоревшим маслом. От него несло дешевыми сигаретами и казармой.

– Любишь его, да?

– Он мой младший брат. Я должна о нем заботиться. Армия не очень-то о них печется. Но ничего, он выживет. Он – парень крепкий, в обиду себя не даст.

Да уж, с рыбой он расправляться умеет, прямо как китобой. Я представил себе, как он будет потрошить противника.

– Я часто поражаюсь контрасту между тобой, твоим младшим братом и моим уважаемым зятем. Я имею в виду разницу в умственном развитии. Ты уж не обижайся, но он ведь звезд с неба не хватает?

– Да, что-то у него там в мозгах не сложилось, ну да не беда. Наверно, сказался алкоголизм русского дедушки. Он и говорить-то научился с трудом, но почему-то трудности у него были только с английским. Мать хотела научить его валлийскому, но отец сказал, что в Манчестере этот язык ни к чему. Никто из нас валлийскому по-настоящему не учился. Тогда мать стала учить его русскому, да так усердно, что даже мы с Реджем на нем заговорили. Русский язык давался ему легко, а английского Дэн нахватался на улицах Манчестера. Для него язык родной матери – действительно родной. По натуре Дэн с детства ершистый, ласкать себя ни матери, ни отцу не давал, не то что Редж. Наш младшенький выдался упрямым и своевольным, вот и приходится за ним присматривать.

– Откуда у него такая тяга к рыбе?

– Ну надо же человеку чем-то заниматься, – неуверенно сказала она и сменила тему: – Как ты оказался в Лондоне?

Я ей объяснил.

– Да, – протянула она, – готовимся. Хотя дядюшка Джо не верит, что Красная Армия дойдет до Ла-Манша, а может быть, и не очень этого хочет.

Вдруг в ее глазах блеснули искорки:

– Поздновато приглашать тебя на чай. Но у меня есть настоящая русская водка. Подарок советского посольства. У меня там выискался двоюродный брат или что-то в этом роде.

Так-так, это мы уже проходили: потом она отдаст приказ раздеться, и на сей раз увидит смуглое мускулистое тело солдата. Но мне ведь надо вернуться в казарму до полуночи – к черту их всех, в конце концов, могу прикинуться, что не понял. Уже четверть двенадцатого, все равно опоздаю, так какая разница на сколько.

В прокуренном баре было полно французов, франко-канадцев и американцев, вперемежку со штатскими, увиливающими от армии. Запах пива забивала вонь, да так, что время от времени подступала тошнота, вентиляция не работала. Я проводил Беатрикс домой в Вест-Кенсингтон. Мы ехали в переполненном вагоне подземки, пьяные солдаты не спускали с нее глаз: "Улыбнись фронтовикам, красавица". Беатрикс отве-

тила им русским ругательством. На станциях лондонцы устраивались на ночлег: бомбардировки могли возобновиться в любое время. Крошечная квартирка Беатрикс находилась на третьем этаже особняка викторианской эпохи. В комнате стояла одна узкая кровать, такая же, как в ее манчестерском жилище, а на полу, где спал ее брат, валялись одеяла. В углу — газовая конфорка, над ней полочка с банкой какао и банкой чая да еще ветхий ореховый комод. Она налила мне водки прямо в чашку, но раздеться не попросила. Я обнял ее одетую и несколько раз поцеловал. Она ответила на мои поцелуи, но без энтузиазма. Потом я, сам того не ожидая, сказал:

— Я люблю тебя, и ты это знаешь.

— Нет, не знаю. У тебя просто давно не было женщин.

— Нам надо пожениться. — Я все более удивлялся себе, говорил сбивчиво и с придыханием. — Тебе может показаться, что я жажду симметрии, но почему бы и нет? Многие сейчас женятся. Пособие солдатской жены тебе бы не помешало. Прости, сам не знаю, что я несу. Возможно, хочу постоянства в этом шатком мире.

— Непреходящие ценности? Только твоя сестра поняла, что я тогда имела в виду. Помнишь, я говорила о золоте? Не думаю, что брак — ценность такого же рода. Не хочу замуж. Во всяком случае, до тех пор, пока Дэн нуждается во мне, я принадлежу только ему.

Ее слова повергли меня в ужас. Я не понимал ее и до сих пор не понял. Я только пробормотал:

— Господи, но это же безумие, это отдает ин...

— Инцестом? Чушь. Дэн для меня тоже абсолютная ценность.

Я снова ничего не понял, да и сейчас не понимаю этих ее слов.

— В любом случае он всегда стоит на первом месте. По крайней мере сейчас. Если с Дэном что-то случится, я не смогу думать о мужчине, который для меня всего лишь муж. И никакому мужу этого не понять, как и тебе, — так что спасибо за предложение, но забудь об этом. А теперь раздевайся.

Я разделся привычно, как на медкомиссии, и посмотрел вниз: никаких признаков страсти.

— Виной всему армия. Я давно уж должен был быть в казарме. Чувство долга отбивает всякое желание, — смутившись, произнес я. — Но я все равно тебя люблю, — добавил я гораздо увереннее — доказательство моей искренности было уже налицо.

Опоздание сошло мне с рук. В нашем полку о формальной дисциплине никто всерьез не заботился.

Курсы, на которые меня направили, находились в Тай-Морганнэг на границе Гламоргана и Монмутшира. Особняк и большой участок земли с буковой рощей, где проводились учения, был отдан в аренду военному министерству богатым семейством Рис, владевшим "Чайной компанией Гламоргана". Все двадцать курсантов получили звание сержанта. Военная администрация состояла из нескольких человек, зато штатских инструкторов не счесть, к тому же все как на подбор: смуглые, поджарые, хмурые грубияны. Ни имен их, ни происхождения никто не знал, на вид — выходцы из Центральной Европы и по крайней мере четверть из них — евреи. Называли их только по первым буквам имени и фамилии, которые, в отличие от фамилий, например, Зильберман или Вираг, не

вызывали никаких ассоциаций, а только создавали путаницу. Они учили нас обращаться с противником так, как, вероятно, когда-то обращались с ними самими. Они знали все о болевых точках человека, об участке на черепе, при давлении на который голова разлеталась на части, о соотношении между числом выбитых зубов или вырванных ногтей и количеством информации, которую можно такими методами вытянуть из противника, пока тот не потеряет сознание. Нам показали ржавые садовые ножницы, которые на практике использовались как инструмент для кастрации. Выдавливание глаз демонстрировалось на модели, максимально приближенной к живому человеку. Нам давали слушать записанные на пленку вопли несчастных и учили оценивать их по специальной шкале. Цель обучения состояла в том, чтобы выжать из нас остатки человеческого и сделать беспощадными по отношению к противнику. Нас без конца заставляли смотреть нацистскую хронику допросов с пытками, пока мы в знак протеста не притворялись спящими. После первой недели тренировок, чтоб мы не окочурились, нас отправили в двухдневный отпуск. Я не поехал к себе в Манчестер, вместо этого снял номер в гостинице "Ангел" в Абергавенни, взял напрокат велосипед и решил взглянуть на новые археологические раскопки.



Они шли полным ходом. Уже откопали северную стену позднеримского поселения и частично по кусочкам восстановили христианскую часовню. На стене просматривалась византийская мозаика с изображением Девы Марии и уцелевшая нога статуи какого-то святого на пьедестале. Лысый профессор-валлиец организовывал перевозку более мелких находок в Кардифф на выделенном для этой цели грузовике из-под угля. Каменные ножны предполагаемого меча короля Артура с надписью GLAD ART REG оказались частью контрфорса стены и переносу не подлежали. Школьники по свистку профессора разошлись на обеденный перерыв, чтобы подкрепиться сандвичами с джемом. Я снова сел на велосипед и поехал через поле к трактиру "Черный лев", который на самом деле и являлся главной целью моего путешествия. Мною двигало любопытство и недоумение. Хотел понять, что за родители произвели на свет Беатрикс и почему они не признают Ципу.

"Черный лев" оказался старым трактиром с трухлявыми скамейками под двумя тенистыми вязами у входа и огородом на заднем дворе. Я вошел в бар. Несколько фермеров учили играть в дартс молодого человека интеллигентного вида, который, вероятно, отказался от военной службы по религиозным соображениям и был направлен туда для отбывания трудовой повинности. Несколько древних стариков коротали время за пивом. У стойки бара человек в рыбацкой шляпе беседовал с хозяином, из кармана его плаща торчал стетоскоп.

– Я немного книг прочел, – говорил хозяин, – но кое-что знаю твердо.

Это и был Дэвид Джонс, переживший катастрофу "Титаника" и Первую мировую войну, обладатель золотого слитка и солидного банковского счета. Трактир он держал скорее для развлечения, чем для заработка. Невысокий смуглый мужчина средних лет, с густой щеткой черных волос, небритый, в грязной рубашке без воротничка и в жилетке. Когда я заказал кружку пива, он, разглядев лычки на моем рукаве, ответил:

– Будет сделано, старший сержант.

– Младший, – уточнил я и добавил: – Спасибо, мистер Джонс.

— Откуда вы знаете мое имя?

— Он думает, любого валлийца назови Джонс — не ошибешься, — заметил доктор. — Ну ладно, мне надо идти смотреть младшенького миссис Причард, у него круп.

Он допил свое пиво и, махнув рукой на прощание, ушел.

— Мне известно ваше имя, потому что ваш сын женат на моей сестре. — От удивления Джонс раскрыл рот. — Я служу здесь неподалеку, в Ньюпорте. Надеюсь, вы не против, что я к вам заглянул?

— Милли! — позвал Дэвид Джонс. Вот, значит, как он звал Людмилу. Он повторил имя еще раз, и из темноты заднего помещения появилась жена, вылитая Беатрикс, но средних лет, слегка располневшая, с сединой в завитых светлых волосах, очень привлекательная и в переднике с цветочками по деревенской моде. Ее дочь вряд ли нарядилась бы в такой.

— Это, — представил меня Дэвид Джонс, — брат той, на которой женился Редж.

Они рассматривали меня полным укора взглядом, будто я виновен в выборе Реджа. Людмила Джонс заговорила по-английски, скорее с валлийским, чем с русским акцентом:

— Он всегда был непослушным мальчиком.

— Потому что женился на моей сестре? Я не только люблю Ципу как брат, я ее глубоко уважаю. Она профессиональный музыкант, очень способная и трудолюбивая. Ваш сын ее любит. Я говорил им, что они еще слишком молоды для брака, но не в моих силах было это предотвратить. Моей сестре очень горько оттого, что вы ее не признаете. — Я старался говорить прямо и называть вещи своими именами. — Она считает, что причиной тому еврейское происхождение.

Дэвид Джонс поспешил возразить:

— Нет, не в этом дело. Я работал с евреями. У меня одно время было полно посетителей евреев. Я против евреев ничего не имею.

Жена его прищурила балтийские глаза и, поджав полные славянские губы, промолчала. Интеллигентного вида молодой человек оторвался от мишени и произнес:

— Никто против них ничего не имеет. Вот только в эту войну мы из-за них ввязались!

— Ерунда! — резко возразил я.

— Почитайте "Еврейскую войну" Р. К. Крэмптона, — уверенно продолжал молодой человек, — почитайте "Семитский змий" Кларка.

— Иди-ка ты лучше... брюкву окучивай, — не сдержался я.

— Все, закрываем, — объявил Дэвид Джонс, — собери пустые кружки. А вы, — обратился он ко мне, — оставайтесь у нас, пообедаем. Расскажете нам все подробно, без посторонних.

Он пропустил меня за стойку. Я последовал за Людмилой Джонс на большую деревенскую кухню, увешанную гирляндами луковиц. Пахло чем-то очень вкусным. В печке горел огонь, рядом с ним стояло полное угля ведерко, в картонной коробке со старыми газетами дремала кошка. Людмила села в кресло возле камина и стала раскачиваться, глядя на меня исподлобья. Другое кресло-качалка, видимо, было закреплено за хозяином, потому что она указала мне на один из стульев в виндзорском стиле, стоявших у стола. Часы с кукушкой пробили час закрытия.

Людмила продолжала раскачиваться, не меняя выражения лица, потом подошла к буфету и вынула бутылку русской водки "Молния".

– Подарок родственника из русского посольства? – спросил я, пока она разливала водку по стопкам.

– А что тут такого? – резко спросила она.

– Я пил точно такую же у Беатрикс, видимо из того же источника.

– Двоюродный брат, – сказала она по-русски и добавила: – По-вашему – кузен.

Она протянула мне стопку и подняла свою.

– Миру – мир, – произнес я по-русски.

– Вы – русский еврей?

– Нет, манчестерский.

Тут вошел Дэвид Джонс, поднял свою стопку и, буркнув "Поехали", лихо ее опрокинул.

– Говорит, что он манчестерский еврей, – сказала Людмила.

– Ну что ж поделаешь, какой есть. Родителей и родину не выбирают.

– Я своего происхождения ничуть не стыжусь, – запальчиво сказал я. – Манчестерские евреи помогли сделать Манчестер таким, какой он есть. И не только Манчестер. Мой отец построил мост через Иордан. Мой дед был известным в Европе философом-атеистом.

– Не горячитесь, – успокоил меня Дэвид Джонс. – Я против вас лично ничего не имею. Просто манчестерские евреи в свое время ободрали меня как липку. Хорошо, что вы пришли, надеюсь, все станет ясно и никаких недомолвок между нами не будет.

– Вы имеете в виду женитьбу Реджа?

– Я старался дать им, всем троим, самое лучшее, – говорил Дэвид Джонс, глядя в свою стопку. – Это было совсем непросто. Денег у меня всегда было меньше, чем они думали, – отдельное спасибо манчестерским евреям. Оба, кроме младшего, он не такой способный, получили хорошее образование. Я от их образования только одного хотел, да так и не получил. – Он подождал, что я спрошу, чего же именно он хотел от их образования, и я спросил. – Я хотел, чтобы они объяснили мне, – проговорил он, делая ударение на каждом слоге, – что это за мир, в котором мы живем.

Аромат, исходивший от духовки, где подрумянивался пирог, одурял: я в ту пору был молод, здоров и отличался отменным аппетитом, особенно учитывая завтраки из яичного порошка. Наверно, у меня громко урчало в животе, потому что Дэвид Джонс сказал жене:

– Угощай гостя, детка.

– Parod[1], – сказала Людмила и подала пирог с начинкой из баранины, лука, моркови и картошки, с хрустящей слоеной корочкой, с гарниром из маринованной свеклы, грецких орехов, печеной картошки и брюквы.

Дэвид Джонс налил мне и себе по кружке темного пива. Людмила запивала еду водой. Первые пять минут я был поглощен пирогом и не мог ответить на философский вопрос Дэвида Джонса. Действительно, все в этой семье были со странностями. Хозяева одобрительно глядели на то, как я управляюсь с пирогом.

– Да, оголодал ты, парень, – сказал Дэвид. – Небось муштрят вас и на голодном пайке держат, по собственному опыту знаю. Еще будет яблочный торт со сливками.

1. Готово (*валл.*).

— А откуда это вам известно, что у Беатрикс такая же? — спросила со вновь вспыхнувшей подозрительностью Людмила.

— Если вы о водке, я был в гостях у Беатрикс в Лондоне. Мы старые друзья. Однокашники.

— Непутевая она, — сказал Дэвид.

— Не согласен. Она самая умная и самая красивая девушка из тех, что я встречал, теперь у нее прекрасная работа в министерстве иностранных дел, впереди — блестящая карьера. А вы говорите непутевая.

— Мы имеем в виду ее личную жизнь, — сказала Людмила.

— Ладно, не будем об этом, — сказал ей Дэвид, ожесточенно вонзив нож в корку пирога. — Идей всяких нахваталась, — поднял он глаза на меня, — ветер в голове. Дщерь удовольствий, так сказать. Меня воспитывали по-другому. Пороли ее мало, жалели. Экзамены, говорит, лучше всех сдала, а на мой вопрос ответить не может. А Реджу вообще ни до чего, кроме испанского, дела нет. Сами знаете, куда это завело: задницу надрали соотечественники его матери. И поделом. Разбойник с большой дороги, да еще и вор, но тут уж я его прижучил.

— Послушайте, — ответил я, пока Людмила накладывала мне добавку, — я учился философии, которая существует для того, чтоб давать ответы на жизненно важные вопросы, но на главный вопрос, — то, о чем вы спросили, — еще никому ответить не удалось. Чем больше учусь, тем яснее понимаю, что нет никакого ответа, вот и все.

Дэвид окинул меня взглядом человека, до которого начало доходить, что его крупно надули.

— Для чего же тогда учиться?

— Ценность учения, вероятно, в том, чтобы научиться искать ответы.

Джонс, кажется, этого не понял, поэтому продолжал свое:

— Мы заплатили за все не только монетой. Четыре года кровавой бойни. Меня ранило в боях, мать их попала в эту чертову революцию, в городе, который теперь, как его... Ленинград. Слава богу, хоть живы остались, другим не так повезло. Вот о тех, других, нам бы сейчас и подумать. Я работаю, скопил себе немного, ну и наследство кое-какое получил. Для чего нужны деньги? Нет, не на удовольствия, на то, чтобы знания приобрести. А знания, оказалось, тоже не купишь.

— Никогда, — согласился я. — Истинное знание — не предмет купли-продажи. Одному Богу известно, для чего мы в этот мир приходим и почему вечно воюем друг с другом. Образование только помогает понять, что истина, к которой человек стремится, недостижима.

Угрюмо хранившая молчание Людмила забрала мою тарелку и заменила ее десертной, расписанной цветами. Яблочный торт был приготовлен из собственных яблок-паданцев и меда с соседней пасеки — министерство продовольствия выделяло специальный сахарный паек для пасечников. Я нетерпеливо принялся за свой кусок, щедро политый сливочным кремом.

— Так вы в увольнительной? — спросил Дэвид Джонс.

— Только на выходные. В понедельник должен вернуться на курсы.

— Что за курсы?

— Курсы по изучению новых методов убийства и пыток.

— Плохи дела твои, парень. — Его аж передернуло. — Пусть остается у нас до понедельника, если захочет, — повернулся он к жене. — Свобод-

ная кровать у нас всегда найдется. — Родственник как-никак, — безрадостно добавил он.

— Пусть остается, — согласилась Людмила. — Парень приличный: ест, что дают.

— Было очень вкусно. Спасибо, — поблагодарил я. — Я, пожалуй, останусь. А что, есть такие, которые не едят, что дают?

— Дочка наша всегда привередничает, — ответил Дэвид, — Дэну подавай только рыбу, а Редж не ест ничего жирного.

Вдруг Людмила спросила меня в лоб:

— Ты спал с нашей дочерью?

От ужаса я чуть не поперхнулся недожеванным яблоком. Откашлявшись, я взял себя в руки:

— Не далее как две недели тому назад я сделал ей предложение.

— Это мне неинтересно, — ответила Людмила, не спуская с меня глаз.

— Ну что ты пристала к человеку? — смутился Дэвид Джонс. — Не хотите — не отвечайте, — сказал он мне.

— Если я не отвечу, это будет истолковано как "да". Я действительно люблю вашу дочь. Сами знаете, как это бывает с мужчинами. Она очень славная девушка.

— Не увиливай.

— Как будто ты дочь нашу не знаешь, — тяжело вздохнул Дэвид и снова обратился ко мне. — У нее мужчин было — не сосчитать, и замуж за вас она не пойдет.

— Я знаю.

— Она бы вышла за своего братца полудурка Дэна, если б закон разрешал. Он — единственный мужчина, который что-то для нее значит, — сказал он, вконец расстроившись.

— Она мне говорила про Дэна, — подтвердил я, — но я так ничего и не понял.

— Кровь, — произнесла Людмила.

— Простите, боюсь, я не понял.

— Дэн когда-то дал свою кровь, чтобы спасти жизнь Беатрикс, — объяснил Дэвид. — Тогда еще не знали способа хранить донорскую кровь. Мы отдыхали в Тэнби, в местной больнице нужной группы не оказалось. Моя не подходила, а кровь Дэна подошла. Там была одна сумасшедшая, бегала с ножом за кошками и отрезала им головы, и вдруг погналась за Беатрикс и пырнула ее в живот. Девочка потеряла много крови.

— Я не видел у нее шрама.

— Ага! — торжествующе выкрикнула Людмила. — Вот и ответ!

— После того как удалили швы, рубец постепенно сгладился, — спокойно продолжал Дэвид, — ей ведь тогда было только одиннадцать. Как говорится, до свадьбы заживет. Ну а потом она вообразила, что Дэн спас ей жизнь, хотя спас ее вовсе не он, а его кровь. Детям чего только в голову не взбредет.

— Вот я и получила ответ, — повторила Людмила, подавая мне кружку крепкого чая.

— Мы вместе ходили в бассейн, я видел ее живот. Спасибо, — с невинным выражением лица отозвался я, когда Людмила пододвинула ко мне молочник и колотый свекольный сахар. — А что стало с той сумасшедшей?

— Дэн ее придушил, — нараспев сказал Дэвид.

Я поперхнулся и обжегся горячим чаем.

— Ну-у, не до смерти. Дэн с какими-то ребятами помчался за ней. Они-то его от нее и оторвали. Вцепился в горло, как волчонок — всегда таким был, но она выжила, ее потом в сумасшедший дом увезли.

Ходики на стене пробили четыре. Неохотно поднимаясь со стула, Дэвид Джонс сверил свои карманные часы.

— Раскопки успели посмотреть?

— Да, по пути к вам.

— Я так и думал. Многих туда тянет. Честно скажу, не нравится мне все это. Меч гунна Аттилы до добра не доведет, он еще даст о себе знать. И нечего на меня глаза пялить, я хоть книжек и немного прочел, а про жизнь кое-что понимаю. — Помолчав, он с горечью продолжил: — Ну кто бы мог подумать, что не видать нам покоя никогда. Я прошел войну, Милли пережила революцию, мы верили, что теперь-то все заживут по-человечески, — ан нет, два сына на фронте, дочь спит с кем ни попадя, а на Лондон падают бомбы проклятых колбасников.

— Уже не падают, — сказал я смущенно, — у люфтваффе в других местах забот хватает.

— Иногда хочется забыть, что у нас есть дети, — печально продолжал Дэвид. — Тогда, если они не вернутся, хоть душа не будет болеть.

— Они вернутся.

— Некоторые уже не вернулись. Сюда приходят отцы тех, кто навсегда остался в Африке, плачут, пытаются горе в кружке утопить. Ради чего все это?

Хозяйка, стоя к нам спиной, мыла посуду. У ее ног, мяукая, терлась кошка. Людмила обращалась к ней по-валлийски и пыталась отогнать.

— Только кошка одна и понимает по-валлийски, — заметил Дэвид. — Что прошло — то прошло, нечего ворошить, чего не воротишь, — тихо прошипел он. — Идем лучше в бар, пропустим еще по кружечке.

Мы выпили гораздо больше чем по кружечке. Людмила ушла наверх в спальню, а Дэвид рассказывал мне о своем невероятном везении: о "Титанике", о своей женитьбе, о наследстве, полученном от отца, и о той войне, из которой вышел победителем, несмотря на козни манчестерских евреев.

— У нас был лучший ресторан, мой мальчик. Я сам обучил двух помощников. Жена — загляденье, лучше приманки для посетителей и не найти. К нам приходили музыканты, артисты, мы ведь были открыты до полуночи, а потом из-за чертовых полицейских придирок потеряли лицензию на торговлю спиртным — мало на лапу им дали, — и пришлось заведение закрыть. К нам захаживал великий певец Шаляпин, по десять порций борща заказывал, говорил, что нигде, кроме Москвы, такого борща не ел. И пианист Падеревский у нас бывал, тот, правда, ел как птичка, но толк в еде знал, ведь у нас не только славянская кухня была, мы и французские блюда готовили, немного правда, зато самые изысканные. Чарльз Кочран приходил с Эвелин Лэй, и Джесси Мэтьюз, и остряк Ноэл Кауард. Пошли покажу книгу отзывов.

Прихватив кружки, через кухню и темный сырой коридор мы прошли в кабинет хозяина. Там я увидел запертый застекленный шкаф с энциклопедией и золотым самородком.

— Ваша дочь вас любит, иначе не привезла бы вам его тогда, — сказал я, показывая на золото.

— Думаете, это любовь? Дочерние чувства? Бросьте, просто она всегда считала, что золото — дело особое, залог безопасности. Ей дорог этот самородок не как семейная реликвия, а потому, что он — реальная ценность, не то что бумажные деньги. Деньги приходят и уходят, обращаются в прах, улетают как ветер. Золото есть золото. Никогда не прощу Реджинальду его выходку: продать самородок, чтобы купить оружие для этих вонючих тореадоров! Смотрите лучше сюда: тут фотографии с автографами и шуточными стихами и поздравлениями на всех языках.

Книга отзывов была действительно уникальной, и ее авторы единодушно воздавали хозяину должное. Марк Гамбург писал, что курица, съеденная перед концертом в Торговой палате, открыла ему подлинный свет вдохновения; Артур Шнабель воспевал Людмилу как воплощение Вечной Женственности; Лоренц Харт и Ричард Роджерс ограничились двустишьем из "Зеленой горы"; Пахманн начертал строчку партитуры Шопена; обладавший тройным подбородком Тетраццини искрился перлами остроумия; Эвелин Лэй обещала частые визиты; А. П. Герберт оставил автошарж с каламбуром: "Кости мои будут преданы земле, но желудок — Дэвиду Джонсу"; пьяным почерком Уинстона С. Черчилля было накорябано: "Восхитительно".

— Теперь вы, вероятно, чувствуете себя разочарованным?

— Чему быть — того не миновать. Манчестерский воздух был для жены до смерти вреден. Ну а потом "Кардома" купила недвижимость, принадлежавшую тем двум жидам, ты уж прости. Да еще с лицензией неприятности. Все одно к одному. Трудолюбием тут не обойдешься, парень, а везение, оно ведь не бесконечно. Вот так. Да я уж смирился. Не ропщу.

Я вдруг почувствовал, что больше не выдержу, поэтому сказал:

— Мне нужно съездить в Абергавенни, забрать вещи из гостиницы.

Возвращаться я не собирался. Я понял, что глаз не сомкну в комнате, где пахнущие тухлой рыбой призраки издают хрипы удушаемой сумасшедшей. Если даже мне удастся уснуть, мечтая о Беатрикс, во сне я испачкаю простыни, которые когда-то грели ее тело, и потеряю репутацию приличного парня. Я заметил в комнате телефон. Позвоню им из гостиницы и скажу, что получил срочный приказ вернуться в часть для обучения искусству убивать.

*Продолжение следует*

# Ян Лянь

# *Стихи*

*Перевод с китайского и вступление* Ильи Смирнова

В России плохо знают современную литературу на китайском языке. Впрочем, начиная с 1982 года, когда "ИЛ" впервые после долгого перерыва напечатала рассказы тогда совсем еще молодых китайских писателей нового поколения, прозу время от времени публиковали и в журналах, и отдельными сборниками. По большей части это были произведения остро современные, касавшиеся болезненных для Китая и хорошо понятных российскому читателю тем: искалеченные репрессиями судьбы, трудовые лагеря, экономические реформы, пришедшие на смену буйству "культурной революции". За последнее десятилетие из нового не переведено почти ничего.

С поэзией дело обстоит и того хуже. Кроме небольшой стихотворной антологии 50-80-х годов, собранной и переведенной недавно безвременно ушедшим Леонидом Черкасским, назвать, по сути дела, нечего. Да и этот появившийся в 1984 году сборник собственно новой поэзии касается только в очень малой степени.

Во всяком случае, когда меня попросили перевести для Биеннале поэтов в Москве стихи китайского поэта, его имя, записанное к тому же не иероглифами, а в сомнительной русской транскрипции, не говорило мне ровным счетом ничего. Зато стихи вызвали буквально оторопь. Начать с того, что, три с лишним десятка лет занимаясь китайской поэтической классикой, я привык к строгой и на протяжении тысячелетий почти неизменной ее форме: пять или семь знаков-иероглифов в строке, рифма; устоявшийся и почти не нарушаемый тематический набор; сложный мелодический рисунок строки.

Разумеется, мне было известно, что в XX веке китайская поэзия сильно изменилась. В разные периоды декларировались разрыв с поэтической традицией, необходимость учебы у Запада, свободный стих, социальный заказ и прочие нов-

© Yang Lian, 1992, 1993, 1995, 1999
© И. Смирнов. Перевод, вступление, 2004
Редакция благодарит Ян Ляня, любезно предоставившего право на безвозмездную публикацию.

шества. Несколько написанных в 20-е годы весьма лихих верлибров нынешнего классика китайской поэзии Ай Цина я даже перевел когда-то на русский. Но для него, как и для его единомышленников-современников, верлибры были коротким эпизодом в поэтической биографии, грехом молодости, вполне, правда, рифмовавшимся с общей идеей безоговорочного отречения от старого мира, важной частью которого была литературная классика.

В стихах, волею случая оказавшихся передо мной, чувствовалась иная новизна. Если Ай Цин и его соратники яростно рвали с традицией, а она беззаконно и неустранимо пребывала в их творчестве (недаром многие из них так ценили Маяковского, поэта, сходным образом взаимодействовавшего с классикой), то здесь, на первый взгляд, отсутствовала вообще какая-либо традиция, словно бы китайский язык возник вчера и это первые стихи, на нем написанные. Нет, сказать по правде, нечто общее с классикой обнаружилось вскоре после начала работы: эти стихи понимать было ничуть не легче, чем самую сложную старинную поэзию, и знание всех иероглифов в строке вовсе не вело к пониманию смысла поэтического высказывания; разве что в традиционных стихах главную трудность составляют скрытые цитаты, аллюзии, переклички с другими стихами, а в этих — сама причудливая мысль, своевольно диктующая слова и ритм.

Так или иначе, но уже после первого переведенного стихотворения я начал чувствовать, что работа доставляет мне радость. Уже не столь очевидным казалось первоначальное впечатление о полной внетрадиционности этой поэзии, ее оторванности от многовековой корневой системы китайской словесности. Что-то знакомое начинало проступать сквозь причудливую образность, европеизированную строфику, странноватые ритмы. Из главнейшего: предметность, точность детали, сравнение как основной поэтический троп, следование едва ли не важнейшей максиме средневековой китайской поэзии — "строка кончается, мысль бесконечна", — подразумевающей почти бездонную глубину и многослойность поэтических смыслов.

Впечатление от стихов оказалось в конце концов огромным. В них ощущалась подлинная мощь, острота поэтического зрения, напор, который невозможно имитировать — он должен жить в душе поэта. Может быть, по внутреннему напряжению, по бесконечной свободе поэтического жеста больше прочего напоминали они стихопрозу гениального Ли Бо, который в далеком VIII веке буквально сокрушал знатоков поэзии своей причудливой образностью.

О самом поэте между тем я узнал к тому времени только верное написание его имени — Ян Лянь — да то, что, покинув в конце 80-х годов Китай, он живет преимущественно в Лондоне и, кажется, был номинирован на Нобелевскую премию. С тем и отдал переводы в "ИЛ". Потом мы встретились к концу московского фестиваля поэзии, в котором Ян Лянь принимал участие, и провели вместе половину его последнего московского дня.

Странным образом он и внешне показался на первый взгляд мало похожим на китайца — в его лице, как и в стихах, было что-то общеевропейское, современное, вненациональное, — и только постепенно, по мере узнавания, проступали отчетливо китайские черты, словно бы чуть сглаженные новой средой обитания. Он попросил отвести его в музей Цветаевой и тем сразу задал нужную ноту разговору, который, перескакивая с одного на другое, "мешая важное с второстепенным", так или иначе вертелся вокруг поэзии, вокруг китайской поэзии, вокруг поэтической традиции и связи поэта с традицией.

Об этом и многом другом Ян Лянь беседовал и с сотрудниками журнала "Иностранная литература", где побывал накануне нашей встречи. Постараюсь сплавить наиболее важные фрагменты этой беседы с тем, что запомнилось мне. И редакцию, и меня, и самого поэта интересовал примерно один круг тем.

Родившийся в 1955 году в Швейцарии в семье китайских дипломатов, Ян в студенческие годы прошел, как почти вся тогдашняя китайская молодежь, через трудовой лагерь в деревне. Это была одна из любимых идей Мао — воспитание трудом. Ян Лянь рассказывает об этих годах с юмором, вспоминает, как с друзьями нанимались в похоронщики к окрестным крестьянам, которые вместо платы кормили хронически подголадывавших студентов. "Не то чтобы изысканно, но обильно, — смеется поэт и добавляет: — Я и по сей день считаю свой деревенский опыт небесполезным. Именно тогда я впервые ощутил непередаваемое чувство, рождающееся в сердце человека при соприкосновении с землей, чувство, едва ли не главнейшее для китайцев на протяжении тысячелетий. Впрочем, я никогда не забывал, что деревня была для всех нас попросту тюрьмой, а о тюрьме вряд ли можно сохранить романтические воспоминания".

Там же, в деревне, Ян Лянь начинает писать стихи. Вернувшись в Пекин, входит в группу молодых поэтов, приверженцев направления, которое критики окрестили "туманной поэзией". Сейчас свое обращение к поэзии, как почти все в жизни, он пытается объяснить с точки зрения языка. "Уже в деревне я в полной мере ощутил, насколько чужд мне язык радио, газет, пропаганды, он не соответствовал строю моих мыслей и чувств. Первые стихотворения были незрелыми, но они были написаны моим собственным языком. Я отшвырнул от себя все эти пустые слова: коммунизм, капитализм — и погрузился в мир китайской классической поэзии с ее горами, луной, снегом, жизнью, смертью, болью.

Примерно так же поступили и мои друзья, молодые поэты. Стоит ли удивляться, что для тех, кого отравил примитивный язык политической риторики, наша поэзия была непонятной, 'туманной'. <...>

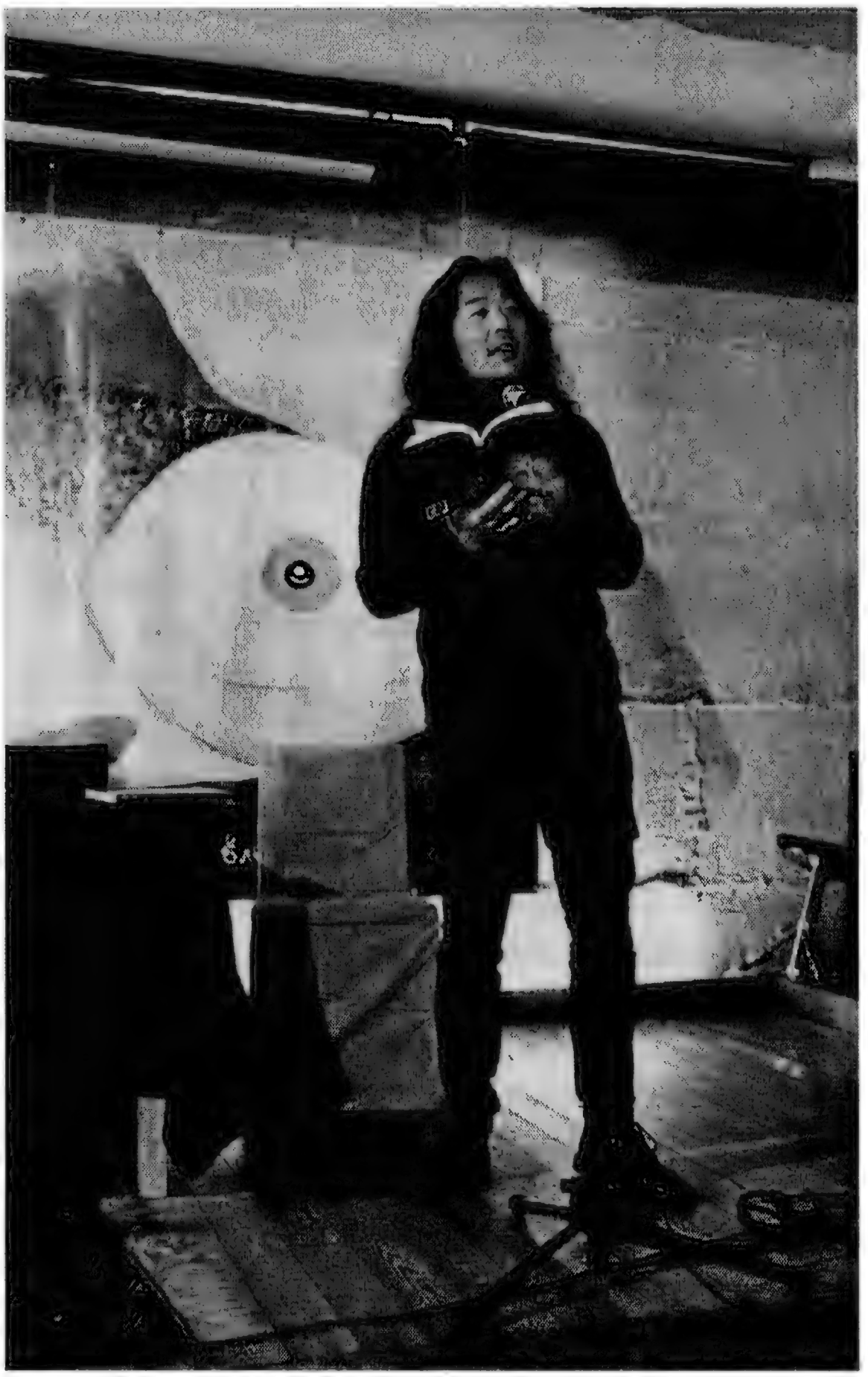
Вместе с разрушенным языком в руинах пребывала и вся тысячелетняя традиция, живущая только языком и в языке. Я принялся восстанавливать ее в себе, начав с самых истоков, с великой гадательной 'Книги перемен' — 'И цзина'[1]".

К разговору о роли "Книги перемен" в духовной жизни Китая Ян Лянь возвращался неоднократно. Чувствовалось, что поэт много и напряженно размышлял об этом. Кстати сказать, не оттуда ли, из древнего "И цзина", бесконечные метаморфозы в его стихах, когда предметы словно бы перетекают один в другой, меняя обличья; не оттуда ли зыбкость и непостоянство его поэтического мира?..

От "И цзина" мы плавно перешли к поэтическим предпочтениям Ян Ляня, и, к моему удивлению, главным поэтом своей жизни он назвал Цюй Юаня. Нет-нет, это вовсе не какой-то второстепенный стихотворец, причуда оригинального вкуса, — Цюй Юань (ок. 348 — ок. 278 до н. э.), первый известный по имени поэт китайской древности, действительно велик и как поэт, и как личность: оклеветанный и изгнанный он, не мысливший себе иного поприща, кроме служения государю, сочинил пронзительный стихотворный плач и покончил с собой. Но его поэзия — такая глубокая архаика... Ну как если бы русский поэт через головы всех великанов серебряного и золотого веков назвал бы, скажем, Тредиаковского... Так что, углядев в стихах Яна сходство с Ли Бо, я промахнулся аж на одиннадцать веков!

Ян Лянь решительно утверждает, что взаимоотношения с традицией — самый сложный вопрос для современного китайского поэта. В самом деле, за два с половиной тысячелетия своего существования китайская поэзия выработала отточенные формы, особый язык, дала поистине огромное количество прекрасных стихо-

1. "И цзин" ("Книга перемен", ок. VIII–VII вв. до н. э.) — один из важнейших текстов конфуцианского канона; представляет собой набор различных комбинаций из сплошных и прерывистых черт, по китайским представлениям отражавших все возможные состояния мира и человека.



*Ян Лянь на Биеннале поэтов в Москве*

творцев. "В начале XX века китайская интеллигенция попыталась изменить классическую традицию, но не учла, что перемены должны происходить внутри самой культуры, в результате ее естественного развития. А иначе все ограничивается разрывом с национальной традицией и заимствованием традиций иноземных. Нельзя забывать, что национальная традиция укоренена в нашем языке, отражает какую-то глубинную его сущность и, сочиняя стихи по-китайски, я всякий раз заново открываю для себя эту сущность. При этом мне хочется, опираясь на классику, но и зная современную жизнь, создавать свою собственную поэтическую традицию, пускай и не слишком влиятельную..."

Оказавшись за границей в 1989 году после известных событий на площади Тяньаньмэнь, зная, что на родине его стихи под запретом, Ян Лянь пережил тяжелейший период. "Я не понимал ни слова по-английски, — вспоминает он, — не имел ни малейшего представления о том, когда же наступит конец моим скитаниям по этому странному Западу, что ждет меня в будущем. Но упорно продолжал писать. Для меня это было смыслом жизни, помогало справиться с трудностями, давало веру в будущее".

Сейчас Ян Лянь вполне освоил английский, читает лекции, даже сочиняет по-английски эссе. Но самую возможность для себя писать стихи на чужом языке категорически отвергает. "Когда сочиняешь роман или эссе, можно пользоваться готовыми языковыми блоками, но единственная цель поэзии — творить собственный язык. Она, поэзия, доходит до существующих языковых границ и отодвигает, или, если угодно, раздвигает их. На чужом языке это невозможно, а значит, и писать на нем попросту не интересно".

Ян Лянь знаком со всей мировой поэтической элитой. Он постоянно переезжает из страны в страну, участвует в поэтических чтениях, круглых столах. Его стихи переведены более чем на двадцать языков. Он чувствует себя свободно в любой из мировых столиц. Быстро освоился он и в Москве. Русскую литературу знает давно и не поверхностно. До сих пор благодарен Эренбургу, который кни-

гой "Люди, годы, жизнь" открыл ему соблазнительный Париж эпохи "бури и натиска" мирового художественного авангарда.

...На прощание мы зашли пообедать в уютный ресторанчик. Под хорошую закуску наш графин довольно быстро опустел. И тогда этот рафинированный китаец, этот гражданин мира жестом родным и знакомым, почти не глядя и продолжая разговор, опустил руку в стоявшую у его ног сумку, на ощупь свинтил пробку с подаренной ему на фестивале бутылки "Поэтической" водки и с необыкновенной ловкостью, незаметно для официантки ("приносить и распивать..."), наполнил графин. Потом мы купили ему записи струнных квартетов Бородина, о которых он давно мечтал. Теперь в его лондонском доме звучит русская музыка. Надеюсь, и графин наполняется исправно...

Таким при первом знакомстве показался мне Ян Лянь, замечательный поэт, умный, веселый человек, пишущий в изгнании трудные, трагические стихи, прочно связанные с поэтической традицией его родины — Китая.

## *дом подобный тени*

вот твой дом  тени подобный дом
постройка посреди лужайки сгущает сумрак
с неба низвергнутая птичья песня  ласковые язычки листьев
снова обсудим утомленную бурю
и тени утомлены  строятся в шеренгу слепцы
с тупым безразличием валятся в пропасть

это твой дом  дом без тебя
ты задолжал ужас кошмаров
мышь прыгает на пол скользит в приступе тошноты
тени подобная мышь
черней и черней лицо
рот цвéта розы  выгрыз настежь врата поминальной песни
когда день умирает ты вселяешься в тлетворное пламя свечи

когда четыре стены имитируют жизнь в безъязыкой немоте
свет на цыпочках по хрупчайшим камням проникает под
землю

проникает в тебя  тенеподобный хозяин
страстно распахивает балкон ночи  обозревает ландшафт
еще одна дикая кошка в погоне за собственным страхом
еще один череп  встречает свой конец на вбитом в звезду
гвозде
на бурьян похожий серебристо-белесый
виснет с прямотой игральной кости мрак-паралитик
вымарывает тебя годовалого и враз состарившегося
так отвратительный лунный свет  вымарывает этот лоскут
пустующей земли

## *портрет опасающийся морозов*

холода безразличны к времени года  в точности как стена
за твоей спиной
сосна вечно в предчувствии снегопада
пламя в очаге в силах дочерна позеленеть
когда огонь станет явью  мороз враз выставит на обозрение
твой страх  будь же похож
на того кого всегда принимают за тебя

некто другой  укладывает тебя и ты источаешь
лекарственный запах
шаль владеющая пустотою неба  лишь одна дождливая ночь
портреты проникают сквозь двери  ты впрочем повешен на
стене  после смерти только и научился что бояться
нарисованного лица

солнечный свет тоже по ошибке приняли за таковой  это
только подобье
пальцы в замерзшем ветре  подобны трепещущим пальцам
опять-таки зеркало схоже с сумасшедшим
взглядом белого безумца  океан никогда не помнящий снулых
рыбин
смахивает на зиму  что своей обильно-густой харкотиной
заплевывает глаза

когда тело сковал мороз  легкая улыбка изнуренная ноской
юбка
лживые речи  зазвучат снова только если тебя отогреют
стужа прохватывает до костей  жестоко как и этот портрет
мороз разумеется аллегория  страх перед ним тоже
столетняя птица кричащая где-то далеко
и бурое отмороженное ухо трупа  опять аллегория
оно похоже на твое собственное  как тут не ужаснуться
такое оглохшее что впору  провести опознание  зарисовать

## *насилие в лесу*

петлей обвившись вокруг сломанных шей  небо поднимает
воротник
лозунги еще дымятся  небо принимается жрать мясо
лес поник головой  а небо хохочет далеко-далеко
громоздятся пни  небо беспамятно

вот насилие которое ты созерцаешь ежедневно

зеленые ноги живущих стадом
топают к смерти во все более смертной тиши
прислушайся к небу  позади с удовольствием насыпают
могильный курган

буря  превращает тебя в набухшую влагой разделочную доску
как ласкает ухо клинок кромсающий что-то за спиной
стилет солнечного луча рассекает годичные кольца  больше
не потревожится слух
древесные стволы  с усилием постигают истину собственной
оставленности

вот ежедневное насилие

небеса  валят-срубают лес ибо тот вочеловечивается
а человек ежедневно не истекает кровью
не так ли ты в тиши  наслаждаешься  непроизвольными
судорогами

вот ежедневное

## *небо подвинулось*

ты знаешь там вовсе нет ничего  нет даже неба
когда выбеленный скелет растворен в сине-голубом просторе
глядя с могильной бронеплиты глаза всегда напрягаешь
до рези
каждая заря вянет неотвратимо
окно  точно подмостки в слепящих прожекторах
в гуле лекции штормового ветра твоя младенческая колыбель
все удаляется во вчерашнюю ночь туда где нет тебя
нет птиц  цементные тучи погромыхивают в вершинах дерев
едва ты в безумном порыве запрокидываешь голову как рот
наполняется кровью

подвинулась карта  отдаляя край где ты пролил горькие
слезы
стоптанные башмаки нагло вытирают подошвы о твои глаза
подвинулся синий барс  при горестных воплях коров и овец
тысячу раз зарезанный старик оплакивает собственную мать
тебе удастся усесться здесь где все так похоже на подземный
ход в могилу
когда почтительно вслушиваешься в смерть нельзя не
подвинуться  так подвинься
перемени звездные ориентиры на противоположные
и утраченное во сне  облеки в слова
лунный свет ежедневно желтеет ради плоти сотворенной для
бегства
словно мокро́та на простынях

тление  безразличное к полу перемещается внедряясь под
белую обложку
понуждает небо внутри тебя листать тебя самого
фигура отца закрывает обзор  от поколения к поколению
передается это одиночество
птичьи стаи поспешно перемешиваются  в неистовстве
устремляются к тебе
лицо ослепленного снегом мучимого недугом расплывается в
совиной ухмылке
то воистину прошлое  возле разоренных ворот крыльцо
подвинувшегося неба
ты не видишь и прошлого  пустой и блестящий разом
понуждаешь одинокое древо вознестись над лаковой чернотой
переднего плана



## *последний вопрос* Брехта

зима это отчетливая чернота сосен
снег  это безлюдная комната
свет лампы с утра до ночи

освещенное  людное кладбище
голый череп придает тебе сходство с поэтом
снимают тебя за окном в твоей последней прижизненной
публичной роли

это осмотр твоей собственной застывшей улыбки
в оконной раме  содержание свирепая метель
репертуар смерти  меню города

пусть перезвон колокольцев между прологом и финалом будет
овацией
вас двое  вы во-образили друг друга
мерзкая рукастая птица малюет поддельное пепельно-серое
небо

значит мертвецы давно все разглядели
это надгробие за окном кабинета  поминальная надпись
зелень каждой сосновой иголки наконец-то сдана внаем

пусть враждебный  имеющийся в наличии
безупречный лишенный изъянов сумрак домыслит твое
безумие
спроси  что есть у ночи  ночь уже умирала дважды на что же
ей уповать

## *камень на подоконнике*

глядящий в окно камень на подоконнике
понуждает всю комнату клониться к обрыву
рыбы обитающие в затонувших судах  готовы сгнить до
костей

вырубленная топором музыка
деревья наигрывают свои зеленоцветные гаммы
липнущая к окну гроза
вечно рвущаяся прокрасться в дом
внедряется в тебя словно холодно-равнодушный блеск камня
океан искривляется приникая к собственным истокам
под чьим-то доглядом ты вползаешь в оболочку червя
и не помысля о сходстве с мертвечиной
в любой миг готов стать добычей воронья
стекло без слов усиливает угрозу
серый зрак вперяется в тебя  в упор не видит

## *стеклодув*

только и радость позволить времени нашинковать себя самого
всю жизнь поджидаешь  покуда отрастут стеклянные ногти
стеклянные корни вонзившиеся в океан

сумерки  как выцветшая синева
смерть трогает детское личико
только блеск мастерства впрямь недотрога
крохотный флакон в виде птички наполнен влагой четырех
времен года

хрупкий словно
сотворен некогда вторжением в морозную льдистость
поистине так

стеклянная любовь  заставляет океан бессильно ворочаться
перезвон колокольчика прилажен к гнезду этой птички
твоя по всем статьям злая весть  только однодневка
сегодня  неизменным штормом определенная в покойники
не бегущая тления  глаза на солнце крепко зажмурены

## *бабочка мести*

ты отравил бабочку с лицом человека
с сумеречными иссиня-черными крыльями обречен помнить
помнить ее последний по-женски безумный порыв

ненависть мнит себя цветочным бутоном
в ошибочных помыслах сияющего утра
черная пуховка запудривает светлую комнату кошмарами
сновидений
снова бабочка сторожит на стене твой пугливый взгляд

погубленная тобой снова ищет тебя
сделавшаяся бесплотной тенью в шепоте ветра
крохотным ртом кусает тебя после смерти

обязательно чья-то захватила зеленоцветное небо
чем больше стремишься к забвению тем явственней бабочка
мести

## *мрак*

1.

зеленые листья всегда в забвеньи если в окне избыток
зелени

всякий камушек грубо взметенный весной
поражает весну
птицы обуты по-прежнему в сухие коньки синевы
до крайности изнурены глаза старых собак

лепет речного прибоя не нуждается в переводе
эстетика умиранья подстрекает пчелиный рой лететь прочь
от цветов

только поля способны снести буйство сердца
побег еще далеко впереди апрель вынюхивает кровь
деревья под солнцем заняли оборону где-то за нами
это знание не унести с собой разве что в смерть
стихи читаются вслух тишина все глубже

что тот свет что этот все едино мрак говорит

2.

некто бессказочный в обличьи скрывшегося от дня
в дне укрылся
некто без прошлого мимо прошел
чайка трудится над манускриптом заката

всякий замкнутый на замок в больничном боксе безумец
галлюцинации несравненно осколочней всякой плоти

осколки бокала за окном перестук фрагментов скелета
фрагменты языковых корней сумерки всё утекают

пронзительный крысиный визг словно бы затаптывающий
сам себя при свете
каждый день напуган-разбужен другим днем

вместе с чернотой ночи бесчеловечная сказка
снова твердит прошлое невозвратно мрак говорит

3.

каждый ливень усаживает тебя на конечной остановке
капли перестукивают по крыше шажками гномов
умести в мрак собственную благость
в благостную погоду тебе необходимо отправить всех спать
сон это разлука в дождливую пору мир разлучается
мрак однажды промчит сквозь тебя как горячий скакун сквозь
пламя
вслушайся в себя повсюду серебристо-белые стежки
простегивают-латают ветхое ветряное платье облекающее
плоть

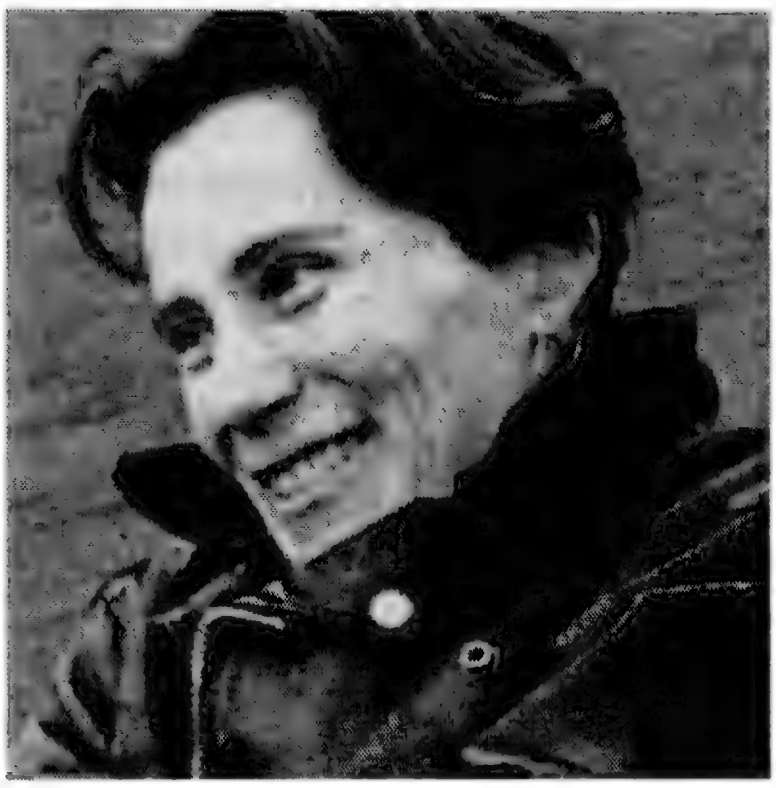
каждый ливень проливается только на эту нагую землю
когда ты читаешь с конца страницу с черными пометами
кто-то с кем-то неутомимо меняется днями
грубо извращает чей-то адрес кладбищенская аллея как
прежде грязна и слякотна
собственной рукой придирчиво отыскать ошибку нищих
попрошаек объединяет общая ненависть
построить бы город где негде укрыться от дождя
огромная стая набухшего влагой воронья грубо толчется
внутри тебя
стремительно множатся разнообразные преступленья все
одного пошиба мрак говорит

## 4.

впрочем мрак безмолвствует  между мраком и мраком
едва втиснулась нынешняя весна
на верхушке дерева остов воздушного змея
поблескивает древесная кора  влюбленные прогуливаются
под сенью дерев
цветочная пыльца в легких  гул прошлогоднего гонга
по наущению рыжего клоуна безумствует детвора

все зеленее зуб впивающийся в крохотные ладошки
прогалина старой газеты во власти огненных ножниц
апрель  река делается призрачной
забытые оттенки воды  словно миражи
после того как до черноты выгорает голубиный голос
звёзды и звёзды
закупоренные заигравшимся малышом ворота шлюза
во мраке тело всегда уплывает вспять в бессонницу
даже наш страх  только страх собственных кошмаров
мрак безмолвствует  каждый прохожий на улице
сразу принимается что-то бормотать себе под нос
мрак  вслушивается в мрак рта в оранжево-красной грубой
помаде
школа весны как всегда превращает нас в невежд
память  воистину ее населяют призраки
болезнь до крайности истощает чувства
когда зеркало нацеплено на лицо  океан поглощает мертвую
рыбину
от бесконечной болтовни по-прежнему тянет блевать
мрак слишком обилен  на него жизни не хватит
весна уходит из нас  весна наконец глубоко безмолвна

# Мари Деплешен



## Рассказы

*Перевод с французского* Ирины Радченко

### В *море*

ЭТО была очаровательная яхточка, кокетливо пришвартованная среди сотен суденышек того же класса в тихой средиземноморской гавани неподалеку от Канна. И я взошла по трапу. Я вступила на борт. А зря, еще как зря.

Когда отказывает здравый смысл, должна бы срабатывать память. Несколько лет назад я уже выходила в море под Ла-Рошелью, воспоминания о той нескончаемой прогулке и по сей день повергают меня в кататонический ступор[1]. Я была тогда со своим первым мужем и его друзьями. Стоял конец октября: в это время, по утверждению местных друидов, наверняка продавшихся региональному совету, в небе Вандеи иногда еще проглядывает солнце. Я не стану говорить о холоде, дожде, ветре и прочих испытаниях, которые я спокойно переношу дома, когда лежу на ковре перед камином и знаю, что до табачного ларька и газетного киоска рукой подать.

— Смелей, ребята! — говорю я тогда, с саркастической усмешкой бросая вызов стихиям. — Разгуляйтесь вволю, отведите душу!

На яхте же со стихиями шутить не приходится, потому что тут они отводят душу на вас. Они как люди: только дай им возможность напакостить — напакостят непременно. И с лихвой. Опустим, стало быть, тот факт, что я промокла насквозь и промерзла, пронизанная свистящим влажным и соленым ветром, еще до того, как мы отошли от берега. Море, если честно, порядочная мерзость.

© Éditions de l'Olivier, 1995
© И. Радченко. Перевод, 2004

1. Кататония — психическое расстройство с преобладанием двигательных нарушений. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

Не стану говорить и о том нестерпимом раздражении, которое вызывали во мне товарищи по несчастью. Его не спишешь на море. Если разобраться, то и на суше, в седьмом округе Парижа, особой близости у нас не возникало. Чопорная, скучная парочка. Она — ультрамариновая, он — бутылочно-зеленый.

— Все идет по плану, дорогой? — орала Ультрамариновая, одетая куклой Барби-шкипер и висящая, в сапогах и непромокаемом плаще, на тугом канате, протянутом в снопе брызг.

Она раскачивалась, как одержимая, вкладывая в свои телодвижения всю страсть и силу, которые в других обстоятельствах могла бы употребить на бурный и умелый секс.

— Да закрепи же конец, черт побери! — драл горло Бутылочный. Он стоял широко расставив ноги и, стиснув челюсти, мужественно удерживал штурвал наперекор буре.

В обычной жизни эти двое ничем не выделялись, пара как пара. Но здесь, когда она камбалой трепыхалась в снастях, а он стоял, пригвожденный к рулю и непреклонный, как само Правосудие, они представали в ином свете и ином масштабе. Масштабе космическом и радостно-порнографическом. Афродита Пенорожденная и капитан Ахав[1]. Я бы со смеху померла, если б не подыхала в эти минуты в прямом смысле и, корчась на брюхе у ног капитана Ахава, не пыталась извергнуть свои внутренности наружу.

Что же касается моего благоверного, который обожал море и которого обожала моя мама, но это отдельный разговор, — то его носило по палубе, как планктон. Юркий, верткий, неуловимый. Он завинчивал и развинчивал, завязывал и отвязывал, тянул и отпускал все, что попадалось под руку, подгоняемый шквалом угроз и противоречивых указаний. Усердствовал так, словно смехотворная возня в этой ореховой скорлупке и составляла смысл его жизни.

Нет, серьезно, полезней было бы ему заняться мной. Я плавала на яхте в первый раз. Сосредоточив остатки своих мыслительных способностей, я клялась, что он же будет и последним, даже если мне случится выжить. Скрючившись на шероховатом настиле, я мечтала вывернуть себя наизнанку, как перчатку. Мечтала, чтобы меня выпотрошили, как свеженевыловленную рыбу. Мечтала о кораблекрушении, лишь бы эти муки прекратились раз и навсегда.

— Не хочешь спуститься в каюту? — гаркнул мне в ухо размокший голос.

— Лучше в воду, — были мои последние осознанные слова.

За двое суток путешествия я больше рта не раскрыла. Отношения у нас с мужем в ту пору были уже натянутыми. Морской кошмар пополнил список причин развода по статье "измена и неоказание помощи в опасности".

— Чтобы я еще раз... Да никогда, — повторяла я уже на суше, где мне снова стало так плохо, что пришлось лечь прямо на пристани; я лежала там жалкая и безучастная ко всему, а отдыхающие брезгливо на меня поглядывали.

Но всякий знает, как мало проку от наших вечных "Никогда". Ни клятвы, ни опыт не в силах нас исправить. Мы всегда и везде остаемся неразумной добычей любопытства, слабости и конформизма. И случай с яхтой — не исключение.

1. Капитан Ахав — герой романа Германа Мелвилла "Моби Дик, или Белый Кит".

— Сейчас июнь, а не ноябрь, — как бы между прочим заметил мой любезный спутник с улыбкой полоумного кота и шелковисто-тафтяными глазами.

Он вел машину и улыбался, а мы время от времени снимали черные очки и, сощурившись, смотрели, как несутся вдоль дороги пальмы. Солнце шпарило по крыше автомобиля. Ноги беззаботно отбивали такт веселой мелодии Стиви Уандера.

— Учти, мы в Канне, а не в Бресте, — снова затянул он свою песню, когда мы гуляли под руку в тени приморских сосен. — Посмотри, — сказал он, широким движением руки обводя сиреневые дали и расчищая горизонты, — посмотри, какое дивное море. Отец с радостью уделит нам денек. Пусть твой сын пригласит своего приятеля. Мы все возьмем на себя. Тебе останется только лежать на солнышке носом вверх.

Цыкали цикады, благоухали ароматы, оттеняли друг друга оттенки цветов — земля и море Средиземноморья казались одной сплошной тавтологией чувств.

— Ты уверен, что меня не укачает? — спросила я, сморщив нос.

— Что ты вечно гримасничаешь?

Он смотрел на меня с недоумением. Будто я гримасничала для собственного удовольствия, а не по необходимости ежесекундно выражать лицом тысячи мелких эмоций, за которыми словам просто не угнаться.

— А почему бы нам не пойти с Леоном в море? — спросил меня в тот же вечер сын, прервав свой самозабвенный воинственный монолог. — А? Ты боишься?

— Нет, не боюсь.

— Тогда в чем же дело? И перестань все время корчить гримасы. Некрасиво.

От гирлянды фонариков на террасу лился мягкий свет. Южный вечер дышал теплом.

— Я это говорю, потому что тебя люблю, — добавил он.

Мы завтракали втроем, и, оторвавшись от кофе, я спросила:

— Так что, когда отчаливаем?

— Отчаливаем? — повторил мой спутник, изображая непонимание.

— Ну да, на яхте твоего отца.

— Ах вот ты о чем? Значит, ты согласна?

Он улыбнулся, и сердечко мое в тот же миг растаяло, обдав меня волнами ванили.

— Здорово, — вставил сын.

— Обещаю тебе, дорогая, — сказал мой спутник, — вот увидишь, все будет прекрасно.

Не питая ни малейших иллюзий, я кивнула с благодарностью. Нет, я не благодарила заранее. Я понимала одно: не может быть ничего прекрасней утренней улыбки друга, радости сына, света, заливающего морскую гладь. И не важно, как там сложится дальше. Говорится же: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Или, в нашем случае: зачем думать об ужине, если счастлив за завтраком.

Леон поджидал нас на пристани. Его хлопотливую фигурку мы заметили издали. Мой сын, а за ним и его товарищ, вырванный нами из семейных

объятий, бросились вперед, громко выкрикивая: "Леон! Леон!" Два бегущих мальчика словно прочерчивали тонкую полоску света в пространстве времени.

У пристани, будто добродушные псы на привязи, покачивались лодки, мотали головой и вихляли задом. Когда бы не маниакальная активность многочисленных любителей морских прогулок, суетившихся как тараканы, гавань выглядела бы воплощением райского блаженства. Только страх уронить достоинство, показаться смешной и сентиментальной не по годам помешали мне взять моего возлюбленного за руку. Подойдя к яхте, мы расцеловали Леона.



Итак, поющим утром мы вышли в море. Я еще различала рыбаков на дамбе, когда почувствовала, как сердце мое отделяется от артерий и проваливается на дно желудка. Между тем я сидела возле руля со всеми удобствами. Холодно не было, жарко — тоже. Солнце лишь поигрывало пианиссимо на гребешках едва заметных волн. Леон рассказывал мне о своих ежегодных круизах вдоль Ривьеры.

Как природа не терпит пустоты, так Леон не терпел оседлости. Испытывал перед ней какой-то первородный ужас, безотчетный, но неотступный и изнурительный, превращавший его к концу зимы, которую он пережидал дома, в Париже, в сварливое, истерзанное сомнениями существо. Лишь только в сводках погоды на телеэкране проблескивали одно-два наивных, неправдоподобных солнышка, он доставал чемодан, укладывал в него вьетнамки и спортивный жилет и оповещал смирившуюся с его чудачествами семью о скором отъезде. Дня через три он, как правило, уезжал.

Отправлялся куда глаза глядят, колесил по стране на запад и на восток в своем огромном автомобиле. Но в конечном итоге довольно скоро оказывался на юге, в порту, где его ожидала яхта. Тут он поднимал паруса, и жизнь возобновлялась: внезапные отъезды, мимолетные возвращения, сообщения на автоответчике.

На этом месте его рассказа внутри у меня, как я уже говорила, что-то ухнуло, покатилось и, докатившись донизу, взбунтовалось, а в голове — замаячила перспектива обморока. Что ж, так мне и надо. Этого и следовало ожидать. Меня укачало. Я взглянула на море, обжигая его ненавистью и злобой. Оно плескалось себе как ни в чем не бывало, и очаровательные маленькие волны поблескивали в легком ветерке. Гнусная, лживая жижа.

— Тебе нехорошо? — Леон, сама предупредительность, уставился на меня с беспокойством.

— Не знаю, — проговорила я слабым голосом, — но, кажется, меня укачало.

Я смотрела прямо перед собой, стараясь не видеть тошнотворной ряби за бортом. Спокойно, главное — не двигаться, и тогда, может быть, все станет на свои места. Я выпрямилась и застыла, будто аршин проглотив, и тут оказавшиеся в поле моего зрения сын с приятелем стали перегибаться через борт. Еще минута — и они потеряют равновесие, бултыхнутся в воду, исчезнут за кормой в безжалостной пучине. Что может быть страшнее! Между тем я и пальцем не шевельнула. Под гнетом тошноты я сделалась Смиренницей. Покорившись мойрам, я с фатализмом язычницы наблюдала, как дети устремляются навстречу судьбе, и бровью не вела.

За борт они, слава богу, не свалились. Но я отчетливо услышала, как задрожало в морском воздухе жалобное восклицание:

— Вот черт! Очки!

— Кошмар, — прошептала я, — очки за пятьсот франков!

Когда этот паршивец, приятель моего сына, склонился над водой, у него с носа соскользнули солнечные очки с диоптриями: отец перед отъездом строго наказал ему их надеть. Мальчик поднял огорченную физиономию и близоруким взглядом обвел горизонт. Кажется, он искал меня.

— Поздравляю! — рявкнула я, не вставая со скамьи своих страданий. — Что скажет твой отец?

На короткое время ко мне вернулось более современное понимание судьбы. Я крикнула:

— И перестаньте свешиваться за борт! Вы свалитесь в воду!

— Но мы же ловим рыбу! — дерзко возразил мне сын.

У меня не было сил отвечать. Я предоставила Леону наводить порядок на судне и целиком сосредоточилась на тошноте.

То есть, разумеется, я предпочла бы вовсе не думать о том, что творится у меня внутри. Инстинкт, сохранившийся, вероятно, с тех незапамятных времен, когда мы были рыбами, настойчиво подсказывал мне, что лучше всего в моем положении отвлечься. Как будто бы не обученный медитации заурядный европеец может одним усилием воли излечиться от морской болезни! Ха, ха!

Я решила сконцентрироваться на первом же обрывке мысли, который коснется нейронов моего мозга. Им оказалось бесконечное разнообразие животных видов. Воображению явилась отвратительная консистенция рыбьей плоти, бесчисленное множество водяных тварей, мельтешащих сейчас под нами и составляющих единое целое с живой, подвижной, насыщенной и зловещей массой, именуемой морем. Я старательно представляла себе этот чуждый нам мир, размножающийся и гниющий в воде, клейкий, липкий... В общем, попытку медитации мне пришлось оборвать. Я увидела свои руки, бескровные, покрытые капельками пота. Нет, размышления меня не спасали. Лучше было очистить голову, затаиться в пустоте, в Большой Белой Милосердной Пустоте. Конец всех программ, чистый экран перед глазами, атараксия.

Я уставила мутный взгляд на красный пластмассовый таз, стоявший передо мной на скамейке. Уцепившись, наконец, за что-то материальное, мое сознание поплыло в назойливом ритме покачивания яхты. Флок, флок, говорил мой желудок, стукаясь о тонкие стенки дыхательных органов. Я с усилием сглотнула слюну, чувствуя, что распадаюсь на части, и подумала, не есть ли это первый шаг к пустоте.

Дальше эксперимент не продвинулся, потому что видение тощей фигуры святого Франциска Ксаверия болидом врезалось в мой опустошенный ум. Святой Франциск Ксаверий — молодой иезуит, проповедовавший христианство в Японии. По пути из Лиссабона в Азию его, будто соломинку, мотало вдоль африканских берегов. Он отчаянно страдал морской болезнью, но убежден был, что тошноту можно побороть, глотая рыбьи потроха. В конце концов он умер, мы даже не знаем от чего, и его, как мешок с мусором, выбросило на остров в Южно-Китайском море. Он избежал суда инквизиции, спасся от японцев, а вот плавание по морю его доконало, и в итоге похоронили беднягу как попало на языческой земле. Что же все-таки за гадость это море!

Глотать рыбьи потроха. Глотать рыбьи потроха. Глотать рыбьи потроха.

— Леон, — прошептала я, — Леон, мне нехорошо.

— А ты ляг, — ответил мне Леон. — Увидишь, все пройдет.



Мой милый тем временем с головой погрузился в хлопоты, призванные показать, что он в морских прогулках ас и хорошо знаком с их радостями и порядками. По-хозяйски обследовав отцовскую каюту ("Ты разбил компас? А о розовом вине к обеду ты подумал?"), он подобающим образом оделся, вернее разделся, оставив на себе лишь плавки в шотландскую клетку, серую хлопчатобумажную безрукавку и стильные вьетнамки. Я могла вволю любоваться его стройными ногами.

Прежде чем взяться за паруса и снасти, он помочился в воду. Я тотчас обрушила град немых приказов на собственный мочевой пузырь, призывая его к строжайшему воздержанию. Если хотите знать, человеку, привыкшему к континентальному комфорту, трудно представить себе что-нибудь более омерзительное, чем писать через борт.

Короче, он метался туда-сюда, не сознавая, как смехотворно выглядит столь великая активность на таком ограниченном пространстве, и тут его окликнул отец:

— Порули за меня, твоя подруга, похоже, неважно себя чувствует.

Прибежал, голубчик.

— Что с тобой? — спросил, будто не знал, и дружески положил мне руку на бедро. — Тебе не жарко? Посмотри на себя, ты укутана, будто собралась штурмовать Берингов пролив. Сними хотя бы свитер!

— Нет, — пробормотала я, съежившись, — не сниму, я окоченела.

К несчастью, так оно и было. Они все расхаживали полуголые, а меня трясло от холода. Меньше всего меня волновало, как я при этом выгляжу. Найдись на яхте шапка, я бы, наверно, и ее надела, пересилив свою неприязнь к головным уборам.

Однако не будем, не будем о наболевшем. Я перевернулась на скамейке лицом к борту. Так я лежала изнемогая и, не в силах злиться на кого-нибудь конкретно, исходила тихой ненавистью ко всему на свете. Изнемогала, изнемогала и в конце концов задремала. Укрылась коконом сна и выпала из времени. Рулевой молча оберегал мой покой, подставив нос и плечи ласковому солнцу. Минуты неведения бывают порой наилучшими. Я спала невинным сном, лежала бесчувственной вещью, завернутой в зимнее среди лета, и тут меня разбудили крики сына. С другого конца яхты он вопил во всю глотку:

— Мама, мама, посмотри, что мы наловили!

Полагая, должно быть, что я уже выспалась, мужчины позволили ему кричать, не заботясь о том, какая жалкая участь ждет меня при пробуждении.

— Медузы, — торжествующе провозгласил сын, тыча мне в нос ведерко.

Там, в мутной воде, трепыхался омерзительный студень из слипшихся прозрачных тел, чуть шевеливших тощими щупальцами.

— Жуть. Медузы, — констатировала я удрученно.

— Ага, жуть, — подтвердил сын. — А правда, они красивые? И цвета какие!

— Очень красивые, — сказала я и внимательно на него посмотрела.

При свете ясного дня он показался мне неестественно бледным. Тогда я взглянула на близорукого приятеля. Его лицо приобрело такую же интересную бледность.

— Мальчики, вы хорошо себя чувствуете?

— Ммм, — протянул мой сын и плюхнулся на скамейку рядом со мной.

— Пф... — отозвался его приятель и повесил нос.

Я посмотрела вокруг. Гребешки волн венчались теперь полоской белой пены. Паруса округлились. Поднялся ветер.

— Мне холодно, — сказал мой сын.

— Мне тоже, — поддакнул его товарищ.

Еще через две минуты оба лежали на палубе, из каюты для них извлекли два одеяла. Элегантный парусник, лихо снявшийся с якоря в залитом солнцем порту, походил теперь на плавучий госпиталь. Мой спутник печально оглядел три безжизненных тела, загромождающих палубу.

— Обычно люди лежат на солнце в купальниках и загорают, — тактично заметил он.

— Разумеется, — с горечью подхватила я. — Полагаю, ты помнишь плавания повеселее этого.

Он нахмурил брови.

— Вспомнить плавания повеселее, поверь, несложно.

Ну почему, почему, скажите на милость, у людей всегда есть прошлое? Разве нельзя сделать так, чтобы оно стиралось?

— В таком случае, в следующий раз бери с собой кого-нибудь другого.

— Что ж, я подумаю.

— Вот и подумай. Отвлечешься немного.

Действительно, если у него такая страсть к прогулкам на яхте, пусть приглашает какую-нибудь каучуковую скаутшу в купальнике, без сердца, печени, желудка и без воображения. Нельзя же упрекать меня за то, что я такая, какая есть: вестибулярный аппарат ни к черту, да еще таскаю за собой целый выводок укачанных детей. Человеку следует знать, чего он хочет в этой жизни. Нет, вы только подумайте: связал меня по рукам и ногам, силком затащил в какое-то плавучее корыто, где люди больными делаются, и я же теперь должна выслушивать причитания и упреки... Да я больше никогда ни к одной яхте близко не подойду. И, само собой, больше никогда не поеду отдыхать с мерзавцем, который только и мечтает попутешествовать с другой.

— Пожалуйста, не расстраивайся, — произнес он вдруг, свирепо выдвинув нижнюю челюсть. — Детей укачало, ты недовольна, день загублен, но в конце концов это не беда. Впереди у нас еще много дней...

— Без меня, — проворчала я про себя. — Без меня, старик, это я тебе гарантирую.

Не только денежные неурядицы портят нервную систему, плохое самочувствие тоже. Мы от этого, понятно, лучше не становимся. За исключением разве что святого Франциска Ксаверия.

Лукавые волны покачивали лодку. Над головами у нас бежали наперегонки грациозные облака, их становилось все больше. Хлопали паруса, проплывали вдалеке яхты.

— Леон! — воскликнул тот, кого я в душе уже называла “своим бывшим”.

Над лестницей, ведущей в каюту, показалась голова Леона.

– Леон, что ты там делаешь?

– Готовлю вам обед, – ответил Леон, вытирая руки большущей тряпкой. – Пора, по-моему.

– А на обед мы пристанем? – спросила я жалобно.

Леон широко улыбнулся.

– Нет, дочь моя, тут место неподходящее. Для спокойствия мы подойдем к берегу поближе и бросим якорь, но обедать будем на палубе. Годится? – спросил он и посмотрел на сына: в его взгляде читалось желание сделать как лучше, смешанное с легким беспокойством.

Обед на палубе. Рыбьи потроха в неограниченном количестве. Они что, моей смерти хотят, эти двое с железобетонными желудками?

– Я не хочу есть, – промычал мой сын.

– Дай мне таз, – простонал его приятель, – может, меня вырвет.

– Обед на палубе – это, наверно, не самая удачная мысль, – проговорил наконец мой спутник, вглядываясь в сомнительный горизонт.

– Вот как? – удивился Леон и скомкал тряпку. – Почему же?

Физиономия его разочарованно вытянулась.

– Посмотри и поймешь.

Леон оглядел одно за другим три тела на палубе и поднял глаза к небу. Разочарование на его лице сменилось неподдельным огорчением.

– Они не любят яхту? – спросил он сына, словно тот служил самым надежным посредником между ним и миром.

– Это она нас не любит, – я героическим усилием изобразила улыбку.

Час от часу не легче: мало того, что я втихую решила порвать со своим возлюбленным, как только ступлю на твердую почву, я еще и огорчила Леона, так щедро делившегося с нами лучшими минутами в жизни. Что за гадкий день, какое позорное фиаско! И кто во всем виноват?

В такт покачиванию лодки я монотонно бубнила про себя: ненавижу яхты, ненавижу море. Ненавижу рыб и прочую морскую тварь. Водоросли, и те ненавижу. Ненавижу яхты. Ненавижу море...

– Думаю, мы вернемся обедать в порт, – подытожил мой друг.

И моя внутренняя песня тотчас сменила курс: думаю, мы вернемся в порт, думаю, вернемся в порт. Думаю, вернемся...

При этом ни один мускул не дрогнул у меня на лице. Мне не хотелось усугублять свою вину. Но, видимо, свет все-таки забрезжил в моих глазах, и Леон деликатно ответил:

– Нет проблем. Если твоя подруга считает, что так лучше для детей...

– Да, – сказала я, посмотрев на Леона глазами, полными угрызений совести и жалких извинений, – по-моему, мальчики неважно себя чувствуют. Ты простишь меня, Леон?

– Не беспокойся, – сказал Леон. – Я, знаешь, плаваю каждый день.

– Ага, – злобно откликнулся мой спутник. – А я вот плаваю раз в году.

Он резко дернул руль, и яхта клюнула носом.

– Э-э, полегче, – осадил его отец.

– Полегче-полегче, – огрызнулся сын, прикусив нижнюю губу.

Паруса затрепетали с воинственным клекотом, будто вздернутые флаги.

– Держи и не двигайся, – сказал мой спутник и сунул мне в руки руль.

Затем он проворно прыгнул на палубу и стал лихорадочно дергать за первый попавшийся канат. Леон бросил тряпку, застегнул жилет и полез за ним. Теперь они пыхтели бок о бок, изо всех сил стараясь подчинить себе бесновавшиеся на ветру паруса.

– Осторожней, да осторожней же! – кричал Леон сыну, но тот делал вид, будто его не слышит.

Не глядя на отца, он подбежал ко мне.

– Отдай мне руль.

Я поспешно отодвинулась, а он принялся маневрировать. Леон неподвижно стоял напротив и осуждающе на него смотрел. Не решаясь вмешаться, он сокрушался всей своей морской душой.

– Нет, – сказал он, – не то ты делаешь.

Но сын только головой замотал, недоверчиво, злобно, сосредоточенно.

– Ну ладно, хватит. Отдай мне руль, – сказал Леон и протянул руку.

Тут налетел ветер, и я снова оказалась у руля, а мужчины снова бросились обуздывать снасти. Канаты разматывались со свистом, трещали кнехты. Паруса квохтали, но по ветру вставать отказывались. Они ускользали и складывались.

Еще через несколько минут Леон покинул поле боя. Подбоченившись, он наблюдал за сыном. В его взгляде не осталось ни капли приветливости или отцовской нежности. Разве только отчаяние при виде того, как молодой вандал намеревается у него на глазах потопить его корабль.

– Ты бы лучше помог, чем стоять вот так! – крикнул сын.

– Зачем? – Леон пожал плечами. – Ты же сам отлично справляешься.

Чувствовалось, что он обижен, однако, хмурясь и сдерживая ярость, он снова принялся за дело. И вот паруса уже ухватили ветер, судно дернулось и стало набирать скорость.

Мужчины разогнулись и посмотрели друг другу в глаза. Затем Леон подошел ко мне.

– Давай руль, – сказал он тихо. – В порт яхту поведу я.

Когда он сел, я заметила ссадину у него на ноге.

– Ты поранился, Леон, – сказала я, показывая ему на ногу.

– Ерунда, – буркнул он. – Пустяки.

Сын уже стоял возле нас, всклокоченный, поникший.

– Но это же смешно. Займись своей раной.

Леон покачал головой, отвернулся и уставился на волну за кормой.

– Я схожу в кабину за аптечкой, – настаивал сын.

– Нет, – процедил Леон сквозь зубы, – никуда ты не пойдешь.

– Как знаешь, но это глупо.

Они замолчали, замкнулись каждый в своем бессильном гневе. Чтобы не растерять любовь, отец с сыном должны любить друг друга на расстоянии и очень бережно. Каждому из них необходимо пространство, только в этом случае они могут ладить. Когда нейтральная полоса между ними сужается и они оказываются бок о бок, возникает взаимное раздражение. Их все ранит, им все причиняет боль. Честное мужское соперничество становится невозможным. Остаются лишь две пятнадцатитонные глыбы тринитротолуола, готовые взорваться в любую минуту.

Тут встряла я — просто для того, чтобы разрядить атмосферу, — и шутливо спросила:

— Двум капитанам тесно, наверное, на одном судне?

В определенном смысле, это был удачный ход. В ту же секунду они вдвоем устремили на меня один убийственный взгляд.

— Ты ничего не поняла, — сказал сын. — Капитан здесь Леон.

Леон кивнул. Я уселась на скамейку поглубже и принялась мечтать о той минуте, когда наконец почувствую под ногами твердую почву.

Надежда на скорое возвращение скрасила мои муки. Ветер к тому же спал, сменился приятным живительным бризом. Я не то чтобы полностью успокоилась, но ощутила бодрящую легкость. Время, беспощадно медлительное морское время, теперь было отмерено. Оставалось только набраться терпения. У меня даже откуда-то взялись силы восхищаться издали резными скалами и глазеть на стройные пальмы, часовыми стоявшие вдоль берега. Так вот оно море, по которому плавал хитроумный Одиссей, говорила я себе. Из глубин памяти всплыли вдруг несколько покалеченных греческих слов. Мечтательной тоской защемило сердце. Словом, я вновь обрела вкус к жизни.

— Такое впечатление, что тебе лучше, — заметил мой спутник, легко, как птичка, присаживаясь рядом со мной на скамейку.

— Да, — согласилась я и вместе с ним засмеялась радостному открытию.

Мне и в самом деле стало лучше. За одно короткое утро я успела потерять голову, развестись, погоревать над заболевшими детьми. И вот теперь я снова вышла замуж, вернулись разум и аппетит, а дети поднялись на ноги живые и здоровые. Неповоротливое и терпеливое с виду море заставляет нас жить в ускоренном темпе.

— Прости, — сказал мой друг. — Ты же меня знаешь. У меня скверный характер, я быстро завожусь.

— Ну что ты, это я во всем виновата. Не выношу болеть. Я, наверное, была отвратительна.

— Тебе не за что извиняться. В следующий раз я посмотрю сводку погоды и буду внимательней за тобой следить.

— В следующий раз? К сожалению, должна тебе сообщить, что этот раз был последним.

— Не говори так. Это глупо. Просто надо выбрать день потеплее, поспокойнее, и... сама увидишь.

В порт мы вошли победителями. Леон гордо сидел у штурвала, одной рукой залихватски правил, другой руководил действиями матроса — собственного сына. Мальчики, воскреснув, носились по палубе, не обращая внимания на запреты.

Боязливо пройдя по мостику, я с неописуемым облегчением ступила на дорогую, на обожаемую землю. Я готова была пасть на колени и целовать смешанный с галькой песок на берегу.

Стол мы накрыли прямо на пристани, яхтсмены дружески нас приветствовали, прочие отдыхающие, кивнув, деликатно проходили мимо.

— Кому колбасы? — спросил мой спутник.

— А здорово было, правда? — сказал мой сын, опрокидывая майонез себе в тарелку. — Класс!

# *Мой кузен Жерар*

А я, оказывается, злая, я, считавшая себя воплощением доброты. Могу рассказать, как это обнаружилось. История достопамятная. Пусть мужчины выйдут. Родственники могут остаться. Немного сочувствия мне не помешает.

Я хотела уйти от мужа – настала пора поставить точку в нашей семейной повести. Можно было, конечно, еще немного потянуть, но сердце мое жило уже своей отдельной жизнью. И не в каком-то определенном месте, нет: оно у меня любвеобильное. Короче, оно ютилось где угодно, только не на домашней кухне. Сердце моего супруга тоже погуливало. Но он мужчина, а мужчины видят все иначе. "Люблю, люблю", – спохватывался он, когда обстоятельства вынуждали, то есть когда я в очередной раз собиралась уходить. Не то чтобы я ему не верила, просто его "люблю" мне уже было не нужно. Я смеялась.

Свистопляска эта отняла у меня, между прочим, несколько лет, а потом я взяла да и сбежала из семейной обители. Поселилась у своего кузена Жерара. Все получилось само собой. Мой брат, квартировавший у Жерара последние три-четыре года, а то и больше, надумал обосноваться самостоятельно. Радости ему такая перспектива не прибавляла, но он надеялся, что на новом месте изменится и его жизнь.

Он нашел себе квартиру на верхнем, седьмом, этаже с выступающими под потолком стропилами. В день отъезда брата я закинула удочку. Просто спросила Жерара, который одиночества не переносит, могу ли я у него пожить. А в следующий понедельник собрала вещички, поставила детей в известность о грядущих переменах и переехала в освободившуюся комнатушку.

В ней я прожила восемь месяцев, пока наконец не выставила мужа за дверь и не вернулась к детям. Почему так долго? Я и сама себя иногда об этом спрашиваю. Во-первых, из симпатии к Жерару, это понятно; во-вторых, потому что истосковалась по свободе, а еще потому что чувствовала себя великой грешницей, разрушившей семью, как карточный домик, наплевав на все "люблю, люблю".

За время, проведенное у Жерара, я испытала море разных чувств, обрела целый ворох хлопот и немного покоя.

– А, это ты? Привет, – говорил он мне по вечерам, словно бы с удивлением обнаруживая, что кто-то возится у него на кухне или натирает в комнате паркет.

Иногда он возвращался слишком поздно, и я засыпала, оставив дверь своей комнаты открытой настежь. Жерар в ту пору не работал. В ожидании, когда работа появится, понемногу терял голову. Пускался в загулы, возвращался среди ночи. Пил. Тут я ему не завидовала, я и сама пила порядочно – от усталости и нервотрепки, оттого, что приходилось жить без детей и зарабатывать на всех.

Водится за мной такой грешок: я умею зарабатывать деньги. Не так много, чтобы строить виллы на Лазурном Берегу, но на хозяйство хватает. Уходя из дому, я заверила ближних: не беспокойтесь, я буду платить. Ну и давай оплачивать направо-налево расходы по всем квартирам. Муж

не возражал, и не по злому умыслу, а потому что так проще. Никогда в жизни я столько не платила.

Помнится, мы с Жераром, развалившись на моей постели, смотрели вместе телевизор, ели макароны из большущих тарелок, дули литрами темное пиво. Иногда приглашали друзей посидеть у камина. Жарили на углях здоровенные картофелины и лопали их со сметаной.

Засыпали под музыку. Во-первых, так лучше спится. Во-вторых, чтобы заглушить скрип матраса, если кто-нибудь из нас двоих спал не один. В личную жизнь друг друга мы не вмешивались. Заботились, чтобы каждый в своем углу не чувствовал себя слишком одиноко. Стоявший в общей гостиной CD-плеер был сердцевиной квартиры и свидетелем нашего целомудрия.

Эти несколько месяцев сохранились у нас в памяти как неблагоприятные для любви. Жерар, целых десять лет сохший по одной долговязой шведке, мечтательной недотроге, заполнял пустоту случайными девицами. Я же никак не могла порвать с парнем, уже больше года владевшим моим сердцем. Поначалу я, как обычно, не принимала его всерьез. Подцепила где-то в компании своих братьев и кузенов. Мужчины, они как цветы — срываешь на ходу, все зависит от того, какой дорогой идешь. Следует только опасаться семейных троп: когда выбираешь любовников среди друзей своей родни, может большая каша завариться. Но я еще этого не знала. По простоте душевной я далеко вперед не заглядывала.

А когда начала смотреть на вещи иначе, когда глаза мои наполнились любовью и тоской, парень сбежал. Впрочем, спросите любую девушку на улице, на работе или, если угодно, в школе танцев и она вам расскажет в точности такую же историю.

Поясним: он ушел, вернулся, опять ушел, снова вернулся и так далее. В общем, он совершенно заморочил мне голову и превратил мою жизнь в сплошное ожидание. Не скажу, что я не пыталась заводить других любовников. Что ж я — дурочка безмозглая? Но мне его все равно не хватало. С другими я скучала в ресторане, скучала у телефона и даже в постели скучала в самый кульминационный момент. Чего уж тут строить из себя принцессу на горошине: я запала на него всерьез.

— У меня поживет сестричка моего приятеля Дидье, — сообщил он однажды, когда я сидела у него на кухне и смотрела на висящее над раковиной белье.

— Вот как? — ответила я, налила себе еще пива и взяла сигарету.

— У них с деньгами плохо, надо помочь.

Он, знаете ли, всегда готов прийти на помощь, особенно если в глазах у вас нет ни любви, ни тоски.

— Она мила? — спросила я.

Иллюзий, впрочем, не питала — возраст уже не тот.

— Совсем молоденькая, неиспорченная, — ответил он, подразумевая, что по молодости лет она в любовницы не годится, и самого себя таким образом обманывая, хотя и с трудом.

На его лице играла умудренная улыбка двухсотдвадцатилетнего старца — не думаю, правда, что какие-то там двести двадцать лет помогут мужчине устоять перед молоденькой девушкой. Улыбка призвана была изобразить непреодолимую дистанцию между ним и малышкой, а также реверанс в мой адрес.

Таких улыбок я насмотрелась вдоволь. Старая песенка, и мотив мне хорошо знаком. Из него вытекает одно: не успеешь оглянуться, как малютка окажется у него в постели. На малюток я зла не держу, не об этом речь. И на мужчин тоже: они не ведают, что творят. А поскольку предостерегать людей бесполезно, я ничего и не сказала.

Через две недели малютка была у него в постели. Еще через день стала появляться с ним на публике. Тогда-то он и ушел в первый раз по-настоящему. Я затосковала, сменила работу. Не буду распространяться о своих переживаниях. Все в таких случаях думают, что умрут от любви, но не умирают, вот и я так же.

Хорошенькая такая крошка, блондиночка, округлая со всех сторон, и грудки торчат. Когда она его бросила, он вернулся виновато, на цыпочках. У меня места под одеялом хватает, я его пустила. Это было в первый раз, но не в последний.

— С ней все кончено, — сказал он мне.

Однако она от него не уехала, поскольку с деньгами у нее туго, а продолжала жить как жила да еще рассматривать всех его пассий, меня в том числе. Я опять ничего не сказала: не могу же я людей на улицу выкидывать и вводить в расход их родственников.

Как-то раз он меня приглашает, я усаживаюсь на обычном месте лицом к белью, рядом пиво. Тут дверь открывается, и девочка заходит поздороваться со старшими. Носик всовывает эдак непринужденно.

— А кстати, познакомьтесь, — говорит он.

И знакомит.

— Добрый вечер, — выцеживаю я и расплющиваю сигарету в пепельнице.

Слов нет. Дожидаюсь, пока малышка, как и подобает воспитанной девочке, скроется за дверью. Встаю, беру пальто и ухожу не прощаясь.

В тот вечер он остался наедине с ней и моей кружкой пива. В человеческой психологии я кое-что понимаю, но какая, спрашивается, мне от этого польза.

Иду, засунув руки в карманы, сажусь на метро. Возвращаюсь к Жерару.

— Голубушка моя дорогая, — говорит Жерар, не ожидавший моего прихода, и распахивает объятия. — Жизнь такая штука...

Проводит меня в гостиную. За столом у нас полным-полно молодых людей, в том числе и мои братья. Я осмотрела собрание не без удовлетворения: вон сколько парней вокруг, зачем мне еще. Я ничего не имею против женщин и вполне с ними лажу. Но ежедневное присутствие мужчин в моей жизни мне просто необходимо, и думайте обо мне что хотите.

Я села за стол и рассказала, какая у меня вышла петрушка. Жерар тем временем мыл для меня тарелку под краном. Его приятели слушали меня и молчали, потому что малышку эту видели неоднократно: все они принадлежали к одной компании, встречались по работе, дружили. Но я, видя их смущенные улыбки, подумала, что каждый, наверное, вспоминает про себя похожую историю.

Потом зазвонил телефон.

— Почему ты вдруг ушла? — спросили в трубке.

Как ему объяснить? Спать я легла одна.

Каждый день я вставала затемно, благо все это происходило зимой. Собиралась и отправлялась зарабатывать деньги посредством телефонных звонков, беготни, встреч. Вечером или, реже, утром навещала детей, они провожали меня со слезами на глазах. В конце дня с сумками тащилась на метро к Жерару, усталая, между прочим, и грустная, потому что женщине грустно без детей. На их отца я зла не держу; как говорит моя мама, ушла-то я, а не он. У мужчин иное понимание долга. Ладно, что зря ворчать — дело прошлое, только воспоминание и осталось.

В один прекрасный вечер возвращаюсь в нашу с Жераром квартиру, едим макароны, я мою посуду. Потом ложусь одна в постель, читаю книгу. Мне не до любовных похождений, тот, о ком я думаю, даже позвонить не удосужился. Хорошо, ладно. Как говорит мама, что хотела, то и получила, и не будем больше об этом.

Телефон зазвонил, когда я уже перестала его ждать.

— Черт знает что! — донеслось из трубки, прежде чем я сказала: "Алло!"

— Так, так, — говорю, — что случилось?

Я человек любопытный, отзывчивый, жалобы выслушивать привычный.

— Она покончила с собой, — отвечает. — Пытаюсь дозвониться Дидье и никак не могу.

У меня сердце екнуло. Самоубийство — неординарное событие. На моей памяти их случилось несколько, одно меня совершенно потрясло. Правда, я была тогда моложе, и дело касалось мужчины. Я говорю здесь о самоубийствах кровавых, со смертельным исходом: тот человек выстрелил себе в рот из ружья. Но не всегда все кончается катастрофой. Ибо я сталкивалась также со множеством девичьих самоубийств. Обычно они происходят на ночь; сами знаете: снотворные, промывание желудка — и все для того, чтобы отправиться в больницу и там, лежа на жестких простынях, принимать соболезнования. В нашем случае я, разумеется, предполагала худшее, так уж я устроена: трагедию впитала с молоком матери.

— Она умерла? — спрашиваю в лоб.

Нет, жива, по счастью. И вот я уже задаю вопросы как и что, будто речь идет о погибающем от голода хомячке, а не о пухлой блондинке, еще недавно извивавшейся в постели с человеком, которого я люблю.

— У нее кто-нибудь есть? В смысле: родители, друзья? С учебой все было нормально?

Наконец интересуюсь, могу ли я что-нибудь для нее сделать, подразумевая, что готова помочь, но издали. Переживаю не столько за нее, сколько из-за ситуации в целом.

При всей своей внешней беспечности я человек дела. Люблю энергичных людей, говорит мама, когда я убираюсь у нее на кухне. Истина куда банальней: покуда двигаешься, не думаешь и отдыхаешь от проблем. Словом, я хлопочу у телефона, как целый выводок монашек среди голодающих индусов. Ничего полезного мне, слава богу, сделать не удалось, а то хороша бы я была.

История с самоубийством благополучно подходит к завершению, малышка перемещает свое очарование в больницу, там у нее будет время подумать о жизни, а он вешает трубку, торопясь оповестить всех знакомых и изобразить случившееся в выгодном для себя свете. Самоубийство молоденькой девушки — событие, рассчитанное на широкую огласку.

Подведем итоги: я опять ни при чем, лежу в постели одна, бессонница обеспечена. Встаю, натягиваю толстые носки, прохожу через гостиную и заглядываю к Жерару, чтобы поделиться новостью. Он накрыт Эверестом старых одеял. В ногах у него пепельница, будильник и фотография меланхолично улыбающейся шведки на зеленой лужайке. Поскольку час уже поздний, он листает книгу, потягивая грейпфрутовый сок с джином. Сажусь на краешек кровати, закуриваю его "Крейвен", от которой немедленно начинаю кашлять.

— Слыхал, старик? — говорю постным голосом. — Малышка додумалась покончить с собой.

Хмурю брови. Взгляд Жерара оживляется, он садится на постели и вдруг разражается громким смехом.

— Потрясающе! Надеюсь, она умерла. Принеси себе стакан, это надо отметить.

Я делаю круглые глаза.

— Но послушай...

— Что — послушай? — не унимается Жерар. — Все-таки это лучшая новость за неделю, нет разве?

Он смотрит на меня, берет за подбородок большим и указательным пальцами, стряхивает с моего лица трагические морщины. И вот уже я вслед за ним заливаюсь звонким, как бокал шампанского, смехом.

— Она не умерла, — хохочу я.

— Жаль, — отвечает. — Она дура набитая, терпеть ее не могу.

Сердце мое сжимается.

— Ты ее хорошо знаешь?

— Видишь ли, в свое время... — начинает он и пускается участливо перечислять какие-то встречи, вечеринки, на которые меня из деликатности не приглашали. Нет, я никого не упрекаю. Но по мере того как он все это рассказывает, пелена, застилавшая мне глаза, редеет. Оказывается, об их романе все говорят, все видят их вместе, он ее за ручку держит. Из речи Жерара я извлекаю урок: жизнь в конце концов все равно ткнет вам в нос то, что вы, щадя себя, так старательно прятали за прохудившейся ширмой. Горечь медленно просачивается в самые потаенные уголки моей памяти.

Да что же это за люди вокруг? Наперебой твердят мне о своей дружбе, но ни один не отказался подать руку патентованной виновнице всех моих бед. С какой легкостью девчонка увела у меня всех мужчин, включая братьев и кузенов, напустила кучу пыли в их беспечные глаза, в то время как я фактически помирала от несчастной любви. Жерар знай себе смакует подробности, а у меня от разочарования мертвеет душа. Все перемелется, уверяю я себя, но краска стыда заливает мое лицо. Так кто же из нас двоих смешон? Будем откровенны: я, и хватит об этом.

— Словом, глупа как пробка, — заключает Жерар, протягивая мне свой недопитый стакан.

Потом поднимает на меня добрейшие глаза и тут понимает, что наговорил лишнего. Замолчав, констатирую я про себя, он снова набросил покров на очень жестокий мир. Я начинаю вырабатывать желчь.

Машинально опустошаю стакан. Мне неохота проводить ночь за обсуждением особы, о которой и так все всё знают. Теперь ясно, где был он в самые горестные минуты моей жизни и чем занимался. Время летит и под крылом уносит в вечность события такими, какими они были. Всего

этого я не произношу вслух, предпочитая на этот раз оставить свои соображения при себе.

— Спокойной ночи, — говорю я и отчаливаю. — Пойду спать, мне завтра рано на работу. Будем надеяться, она повторит эксперимент. Я не собираюсь приносить себя на алтарь всеобщего счастья.



Проходя через гостиную, тыкаю пальцем в плеер, Нина́ Симон откликается величавым завыванием. Забираюсь в измятую постель, и одиночество наваливается на меня тяжким грузом. Я проливаю потоки слез в бесчувственную подушку. В разгар моих страданий звонит телефон. Протягиваю руку, снимаю трубку, меняю выражение лица.

— Все в порядке, — говорят в телефоне. — Я разыскал Дидье, родственники ею займутся. Она вне опасности.

— Спасибо, успокоил. А сам ты в порядке? — спрашиваю я, решив оставить прошлое в прошлом и предоставить настоящему залечивать раны.

— О нет, я в ужасном состоянии. — И давай объяснять, какой он несчастный.

До моей вымокшей подушки ему и дела нет. Жизнь плавно входит в привычную колею.

К концу ночного разговора мы совершенно помирились, и я вздохнула, нет, не с гордостью, но с облегчением. Внутри себя я усмирила волны и перешла Красное море.

— Кто это был? — кричит Жерар, когда коротенькое треньканье возвещает о конце беседы.

— Жан-Поль, — отвечаю я, стараясь перекрыть голос Нина Симон.

— И что? — доносится из постели Жерара.

— Все в порядке, она в больнице, — ору я.

— Обнимаю тебя, мегерочка, спи крепко-крепко, — желает мне напоследок кузен.

Ну как, скажите, можем мы сердиться на наших мужчин?

До сих пор, когда возбуждение суетного дня мешает мне заснуть ночью, я часто вспоминаю этот трагикомический эпизод. Я проигрываю в уме ее самоубийство и довожу дело до конца. В воображении своем сжимаю ей горло и жду, пока она испустит дух. Я сожалею, что она не распрощалась с жизнью в ту зимнюю ночь, когда я, по ее милости, сидела всеми брошенная, оторванная от детей, лишенная мужской поддержки в минуту испытаний.

— Чтоб ей тогда умереть, — бормочу я в полудреме, привалившись к кухонному столу в своей большой квартире и бессмысленно уставившись на белье, которое сушится над раковиной. Порой ярость закипает во мне с новой силой, и я молю Господа, чтобы он забрал ее, если у нее достанет учтивости наложить на себя руки повторно.

Я в жизни букашки не раздавила, а тут бессовестно желаю смерти молодой женщине, повадками и обликом похожей на стольких других. Называйте это как хотите, — по мне, так это обыкновенная злость. Я не хвастаюсь, я просто трезво оцениваю вещи.

Мужчинам можно войти. Я все сказала. Прошли годы, я миновала подводные камни и все-таки обрела свое счастье. Я никому не собираюсь чи-

тать мораль. Но довожу до сведения заинтересованных лиц, что я тоже, наверное, могу кого-нибудь убить. От этой мысли душа моя наполняется радостью и играет, как остывшее в холодильнике шампанское, которое, надеюсь, вы не откажетесь выпить со мной за мое здоровье.



# Продавец киви

НАМ лишь на короткие мгновения удается преодолеть одиночество. Такие мгновения дарит дружба. Дружба – это хорошо. Она как глоток воздуха, который палач дает жертве хлебнуть перед тем, как снова мокнуть ее головой в воду. Сладость этого глотка не подлежит обсуждению. Но все остальное время мы задыхаемся – вот в чем ужас.

Заметьте, не одна дружба вытаскивает нас – урывками – на поверхность. Существует еще вино. Ну и, наконец, любовь. От них возникает головокружительное ощущение, что ты на плаву. Пока на плаву. Люди называют это счастьем. Я тоже. Хотя...

Элен входит в число моих близких подруг, из тех, с кем видишься не часто, потому что у них хватает такта не мешать вам жить. Время от времени мы обедаем вместе. Я захожу за ней на работу. Иду по улице до здания, где размещается ее офис, на лифте поднимаюсь на соответствующий этаж. Она у себя, сидит за компьютером. Стою жду, пока она там все сохранит, потом отправляемся в кафе. Вот и на этот раз мы сидели за столиком и болтали о разных житейских мелочах. И вдруг она вытаращила глаза.

– Что? – перебила она меня. – Ну не переспала же ты с продавцом киви? Скажи, что нет!

Я сникла, поджала подбородок, поводила мизинцем по краешку стакана с пивом.

– Извини, – пробормотала я, – но, кажется, да.

Элен замотала головой:

– Не может быть.

Она перешла на шепот, склонила голову в знак сострадания, ее слова летели в меня как стрелы.

Стыд – неприятное чувство. Вдвойне неприятно, когда вас снисходительно стыдят другие. Сразу кажешься себе каким-то отверженным существом. Лучше тысяча душераздирающих укоров собственной совести, чем один-единственный вздох подруги, обжигающий тебя, как пощечина.

Элен взглянула на меня, потом опустила глаза, поднесла сигарету ко рту и нервно затянулась. Ее неодобрение осенило меня своими белесыми крылами.

– Все что угодно, – повторила она, – пусть даже голый Патрик Селерье за холодильником. Но не продавец же киви. Поверить не могу.

Что тут ответить? Я поежилась.

– Только один раз, – промямлила я. – Клянусь тебе, всего раз.

Это была чистая правда, но она нисколько не улучшала моего положения. В постельных делах – что раз, что тысяча. Один раз даже хуже.

Женское упорство воспринимается в таких случаях как смягчающее обстоятельство. В нем ищут высший смысл. А минутная слабость попахивает грязью. Любопытно, что для мужчин все наоборот. Поменяйте слова: вместо "женщина" подставьте "мужчина". И судите сами. Ну что?



— Погоди, дай вспомнить, — сказала Элен. — Это тот тип, который непременно хотел встретиться с нами после вечеринки у Эммы, в феврале? Худощавый такой коротышка с дурацким южным акцентом?

— Ага, — кивнула я. — Только он, как ты понимаешь, никогда в жизни не продал ни одного киви.

— Ты уверена?

— Абсолютно.

— Значит, я что-то путаю, — сказала Элен. — Вероятно, это его брат.

— Господь с тобой, — возразила я, — у тебя плохая память на лица.

— Я смотрю в корень. Этот тип сочетает в себе ряд признаков, которые в совокупности дают продавца киви. У него акцент уроженца Бордо — это уже улика. У него такой загар, будто он целыми днями шатается по пляжам и выкрикивает: "Купите киви!" И потом, он клеится. Ты прислушайся, словечко-то какое липкое: клеится. Ясно теперь? С такими не спят.

— Да, наверно, — вздохнула я. — А я вот спала. И ты, полагаю, тоже. И вообще, по-моему, ты всю историю уже знаешь наперед. Но я тебя не осуждаю. У каждой женщины хоть раз в жизни был свой продавец киви. Разве не так?

— Ну был когда-то один бармен, — отвечала она мечтательно. — Только это не в счет. Рассказывай.

— Ты ту вечеринку помнишь?

— Плохо.

— Так вот, продавец киви клеился ко мне весь вечер, хотя я его даже взглядом не удостоила. Перед уходом он меня в десятый раз спросил, как ему меня найти, и я брякнула: "Как хочешь, так и ищи". С тем он исчез.

— Я, конечно, молчу, — вставила Элен, — но про себя думаю: это откровенное приглашение. Ну и что дальше?

— Под утро я вернулась домой одна-одинешенька. Жених, с которым я туда пришла, слинял и "до свидания" не сказал, перед этим он надрался и хотел трахнуть Эмму. Пустяки, классическая история. Называется "В тот день, когда он пытался соблазнить вашу лучшую подругу". Но я на мелкие пакости не обижаюсь. Каждый живет как знает, а жизнь — штука суровая. Короче, я вернулась утром одна. Потом замелькали дни, осыпая меня попутно всяческими неприятностями, которые у меня под ногами сами вырастают, как камни у бедняка в поле. Наступил март. И вот однажды вечером прихожу домой и вижу: автоответчик мигает. Включаю, слышу незнакомый голос. От удивления сажусь на пол. И правильно делаю, потому что там болтовни на час с предложениями встретиться. До самого конца пленки. Этот тип меня нашел и наговорил целую кассету.

— Кретин, — буркнула Элен.

— А меня его настойчивость тронула. Поэтому вечером, когда он перезвонил, я ответила. Мне захотелось посмотреть на человека, который так упорно ищет встречи со мной. Разумеется, я немного нервничала.

Ни с того ни с сего завести знакомство с парнем не своего круга! Мне было стыдно, что я такая любопытная и доступная.

— Зря стараешься, ты ничего не добьешься, — сказала я в телефон.

— Вот и отлично, я ничего и не добиваюсь, — был ответ. — Хочу только увидеться. Назови место, любое, день, час, и я повешу трубку.

Он застал меня врасплох. Зажатая в тиски между собственной ветреной нерешительностью, с одной стороны, и его простым четким вопросом — с другой, я отчеканила:

— Четверг, половина восьмого, "Кафе Франсе".

Он повесил трубку. На всякий случай я сразу же договорилась с одним приятелем поужинать в половине девятого.

В четверг в семь тридцать пять бегу в "Кафе Франсе", растрепанная, с головной болью. Ругаю себя: "И зачем я согласилась? Зачем ставить себя в глупое положение? Зачем?"

Замечаю его еще с улицы. Сидит, как дурак, за стеклом, даже газеты в руках нет. Ждет, прохожих разглядывает.

— У тебя нет шансов, — говорю и усаживаюсь рядом, не снимая куртки.

— И не надо, — отвечает.

— Не валяй дурака. Мы оба знаем, зачем ты здесь.

— И зачем же?

Наивного из себя строит. Где он этому научился? В Бордо? Ну я и ляпаю:

— Совершенно ясно: чтобы потом лечь со мной в постель. Заранее говорю "нет".

— Если так, то зачем ты пришла?

В самую точку попал. Я на минуту теряю дар речи. Действительно, зачем? Но раз пришла, надо отвечать. Собираюсь с мыслями, хочу сказать правду, что, конечно же, глупо. Люди думают, что правда — она прочная, монолитная и в быту полезная, а на самом деле она расплывчатая, рассыпчатая и никчемная.

— Из любопытства, наверное, — отвечаю наконец. — Решила поиграть в эту игру.

Я постаралась быть предельно искренней. И тут же об этом пожалела.

— Поиграть? — подхватил он. — Отлично, обожаю играть. Поиграем вместе и посмотрим, кто выиграет...

У него зубов — штук пятьдесят. Улыбается во весь рот. Доволен своей находчивостью. Привязался к слову и будет теперь повторять его на разные лады. Кто мне объяснит, зачем я тут сижу с этим идиотом?

Чем больше он меня раздражает, тем упорнее я на него смотрю. Все подмечаю. Глаза мои оценивают, взвешивают. Фиксируют все подробности. Он худой, невысокий. Одежду выбирал тщательно, прогладил. Жилет какой-то чудной. Нагибается и подхватывает на лету свой шлем, чуть было не упавший с пустого соседнего стола: движения проворны, кожа на шее коричневая.

— Чем ты занимаешься в жизни? — спрашивает он, распрямляясь.

Можно подумать, мы с ним всерьез знакомиться собираемся.

— Разными вещами: работа, любовники...

Гнусное кокетство, да и только. Хотя, если вдуматься, то к этому, грубо говоря, и сводится наша жизнь. Получается, я как бы даю ему понять, что его усилия не напрасны: женщина, открыто заявляющая, что она

свободна, может вызвать желание, а может, и сожаление. Какой он меня воображал, такой я перед ним и предстала: игривой, простоватой.

— Работа, любовники...

Он чувствует себя уверенней, глаз с меня не сводит. У него и вправду акцент. Полагаю, он ждет новой остро́ты. Я смотрю на часы.

— А теперь мне пора, — произношу я, не глядя на него и укрывшись за непроницаемой маской кобры. — Я опаздываю на ужин.

Наблюдаю за ним исподтишка. У него вдруг сделался несчастнейший вид. Улыбка сошла, и осталось лицо, какое оно есть, черты тонкие. Мужчины — рано стареющие унылые нытики — в иные минуты обретают, милостью Божией, данное им от детства лицо. Женщинам эта истина хорошо известна.

— Я думал, мы поужинаем вместе, — произносит он, нахмурившись.

— Мы об этом не договаривались.

Поднимаюсь, плачу за оба кофе, забираю сумочку.

— Что ж, до свидания, — говорю.

Он сидит в своем наглаженном поло как в воду опущенный, смотрит мне вслед. Потом спохватывается, берет шлем, догоняет меня.

— Подожди, я тебя подвезу. — И в спину дышит.

Мы с ним одного роста. Он открывает передо мной дверь. Я вышагиваю, будто царица Савская, головой потряхиваю и шею вытягиваю грациозно, как цапля. На улице оборачиваюсь к нему сказать "до свидания". Но он моего прощального взгляда не замечает.

— Поехали, — говорит, прежде чем я успеваю раскрыть рот.

И показывает на стоящий среди красных и черных мотоциклов раскрашенный по трафарету мопедик. В пятнышках, синих и зеленых. Позорище. Не мопед, а доска для серфинга.

— Да ты что? Как ты могла? — не выдерживает Элен. — Мопед цвета киви...

— Меня тут подлый страх обуял, что нас могут увидеть. Оглядываюсь, смотрю, не идет ли кто знакомый.

— Нет-нет, — бормочу поспешно. — Я пошла.

— Погоди, — хватает он меня за рукав.

Достает из кармана клочок бумаги.

— Ручка есть?

Роюсь в рюкзачке, протягиваю шариковую ручку почти без пасты. Он сгибает ногу и, положив бумагу на колено, царапает свой телефон. Отдает мне ручку, хватает рюкзачок и сует туда листок.

— Пусть лежит на дне: вдруг тебе захочется мне позвонить. Действителен в течение трех месяцев. Потом либо ты сумку сменишь, либо цифры сотрутся.

— Спасибо, — говорю. — До свидания.

И пошла, пока меня никто не заметил в таком непрезентабельном обществе, так и не увидев его восседающим на пятнистом мопеде. Конец первой части.

— Ты не должна была идти к нему на свидание, — заметила Элен.

— Может быть, но ведь я обещала, — ответила я. — Я твоей железной выдержкой не обладаю. Живу как получается.

— Просто ты не умеешь сказать "нет". Или, возможно, тебе всегда хочется сказать "да".

— Возможно. Часть вторая: месяц спустя. Середина апреля. Я пала жертвой собственной снисходительности. Какой-то кабил без документов нанялся ремонтировать у меня комнату для прислуги и буквально поселился в моей квартире. Сидит, смотрит телевизор и гашиш покуривает, все мои фильмы наизусть выучил. Я ему Коран дала. Он отпускает замечания по поводу каждого, кто ко мне заходит, и еще заявляет, что не судит о качестве и количестве мужчин, которых я принимаю. Мне хочется его убить, а труп замуровать в стенном шкафу той самой комнаты для прислуги.

— Джилали, — спрашиваю я его, подбирая бутылку из-под красного вина, которая валяется на полу возле видеомагнитофона, — разве Коран не запрещает пить?

— Коран, как и Евангелие, надо уметь читать, — отвечает он, вытаскивая из-под себя мою записную книжку, на которой сидит.

Наступает вечер пятницы. Я измучена работой, изнурена затаившейся в набухших почках весной. По ночам птицы безумствуют. Они пробуждают во мне паническое чувство одиночества, которое захлестывает меня обычно на исходе зимы. Около восьми прослушиваю автоответчик. Среди прочей будничной болтовни совсем уж некстати получаю два сообщения.

— Алло! — звучит голос моего дражайшего жениха. — Звоню тебе из аэропорта. Улетаю на свадьбу к другу в Антверпен. Вернусь в начале недели. Позвоню, как прилечу.

— Алло! — говорит голос моего друга и любовника. — Родители летят отдыхать на юг, в Йер. Я с ними, ненадолго. Вернусь в воскресенье утром. Позвоню из аэропорта.

В общем, два сапога — пара. И вот я одна-одинешенька, словно в первый День творения. Время треснуло, как переспелый плод. Минуты проходят одна за другой беззвучно, на цыпочках. Вечеру конца не видно, как другого берега у Дуная. Ночь окутывает меня тоской. Квартира слишком велика для меня одной, я в медленном раздумье брожу по коридору. Рюкзачок мой валяется на полу. Поднимаю его, роюсь, на дне нахожу телефон продавца киви, звоню.

— Почему ему? Почему не кому-нибудь еще? Почему не мне? — возмущается Элен.

— Потому что час уже поздний. Потому что меня выбросило на берег времени и мне стыдно за свою неприкаянность. Потому что друзья в такие минуты — мертвому припарки. Потому что мне хочется остаться одной, но чтобы рядом кто-нибудь был.

— Бред какой-то, — говорит Элен.

— Бред, согласна. Его все равно наверняка нет дома в пятницу поздно вечером, думаю я. Вероятность не застать его так велика, что я, укрывшись ею, как огромным зонтиком, набираю номер.

— И он снимает трубку.

— Представь себе. "Ты вовремя, — говорит, — я как раз собирался уходить". Но приезжает через двадцать минут: мопед — очень быстрый транспорт. Звонит в дверь, открываю. Стоит свежевыглаженный. Улыбается. Глаза широко открыты. Не изменился. "Кто это?" — спрашиваю я себя. Впускаю, предлагаю кофе, он предпочитает чай. Пять минут спу-

стя усаживаемся друг против друга на ковре, включаю музыку. Он смотрит на меня понимающе. Руки не распускает. Сидит терпеливо, глядит в чашку. Ждет, что я с ним разговаривать буду.

— Кошмар, — фыркает Элен.

— Тоска. Расспрашиваю его о работе, о семье. Ответы пропускаю мимо ушей, скучаю. Ничего не помню из того, что он говорит. Странно даже: мне никак не удается им заинтересоваться. Мне на него наплевать. А время идет.



Он моих усилий не замечает. Смотрит на меня бархатными глазами из-под ресниц. Сама нежность. И голос мой ему, похоже, нравится. Он ко мне относится с полным доверием. Дурного от меня никак не ожидает. Глядит восхищенно, каждое слово ловит. Ну, думаю, так мы можем просидеть до следующего года. Терпению моему приходит конец.

— Скоро час, — говорю. — Поздновато. Что будем делать?

— Как что? Играть, разумеется, — отвечает он, потирая себе ляжки. — Мы в самой середине партии, интересно, кто выиграет.

Подала дураку идею на свою голову — теперь не отвяжется. Это как белка: посади в колесо — так и будет крутиться.

— Выиграет что? — сухо спрашиваю я. — Тут нечего выигрывать. И вообще, я игры терпеть не могу и никогда не играю. Я просто так сказала.

Он сразу не отвечает. Вид раздосадованный. Проводит рукой по своим южным курчавым волосам. Он напоминает игрушку, которую бросили на вокзале. Или ребенка, которому незаслуженно дали подзатыльник. И все по моей вине. Поздравляю. Несчастный поднялся и притащился сюда на ночь глядя, чтобы я ему хамила. Потому что у меня, видите ли, весенняя меланхолия. И его, такого потерянного, я теперь выставлю посреди ночи за дверь? Терзаюсь сомнениями. Вижу на его лице отсвет бесплодной свободы, которую ношу в душе.

Все равно сейчас межсезонье. Постановляю, что этой ночью все люди одного роста должны быть вместе. Меня переполняют мужество, альтруизм и острое чувство одиночества. Бросаюсь головой вперед в тоннель из уловок и полуправд, который прокладываю с самого начала этой истории.

— Целуемся, и ты уходишь, хорошо?

Это я придумала, чтобы у него хоть какое-то воспоминание осталось. Чтобы не расставаться так же холодно, как встретились. Чтобы прикоснуться к его смуглой коже. А дальше видно будет.

— Хорошо, — отвечает.

Подхожу, наклоняюсь, целую. Решительно беру его двумя руками за голову и припечатываю ему крепкий смачный поцелуй. Он от удивления вдавился в диван. Губы у него нежные, красивые, ощущаю его худое, стройное тело под легкой одеждой. Классный поцелуй, можешь мне поверить. Двадцать лет тренировки на три минуты исполнения. Но, отстранившись, вижу его совершенно несчастные глаза, и самодовольства у меня убавляется. Он качает головой.

— Нет, — говорит, — нет, совсем не то.

— Что не то? — Я оскорблена.

Обдумывает.

— Я хотел не так.

— А как ты хотел?

Он, похоже, не находит слов. Они явно разбиваются о стену чувств.

— Извини, — говорит, — но я представлял себе это иначе.

Подходит и обнимает меня ласково. Прижимает к себе так, словно мы знакомы со школьной скамьи. Пальцами гладит по шее и по плечам. Меня как будто начинает клонить в сон, и какие-то краски детства встают перед глазами. Теплое воспоминание о счастье. Голова моя скользит к нему на плечо, он нагибается ниже и касается губами моих губ. Мы плывем, качаясь, среди тихих звуков и ароматов.

— Вот так я себе это представлял, — говорит он, отодвигаясь и держа руки у меня на плечах.

Я сажусь и смотрю на него в упор. Он тоже на меня смотрит и, кажется, ищет в моих умиротворенных чертах признаки раздражения. Я слегка улыбаюсь. Он опять проводит пальцами по волосам. Напряжение спадает.

— Я, наверное, пойду.

Встает, подхватив шлем, лежавший возле дивана.

— Полвторого. Ты, должно быть, устала.

Ну, думаю, хитрит. Ничего подобного. До него наконец дошло, что его присутствие меня тяготит. И он послушно собирается уходить. Как раз тогда, когда ветер подул с другой стороны. Когда у меня настроение переменилось. Бывают такие люди: вроде бы всё понимают, но всегда с опозданием.

— Нет, — прошу я, понурив голову, — лучше тебе остаться. Уже очень поздно.

Он оборачивается. Стоит в нерешительности, пытается угадать мои мысли. Следует интуиции.

— Хорошо, — говорит и снова кладет шлем на пол.

Почистили зубы бок о бок, как в пансионе. Разделись бок о бок, как в турпоходе. Без лишних слов нырнули под одеяло, как два послушника.

Когда легли рядом, я почувствовала себя уверенней. Подумала, что у него красивое тело, красивая кожа, красивый рот, красивые глаза. Я повернулась к нему и оказалась у него в объятиях. Тут мы друг другу понравились.

— Гм, — сказала я.

— Розовые подойдут? — спросил он и, дотянувшись рукой до брюк, лежащих в ногах, извлек из кармана пачку презервативов.

— А может, зеленые? — спросила я и достала другую пачку из ящика письменного стола.

Мне вспомнилось, как в "Спящей красавице" феи меняют цвет подвенечного платья, прикасаясь к нему волшебной палочкой. Я улыбнулась.

— Ты видел фильмы Диснея?

— Видел, а что? — отвечает он озадаченно.

— Я его обожаю.

Он покосился на меня с изумлением.

— По-моему, чушь собачья.

Этого следовало ожидать. Я сжала его лицо руками и страстно заглянула в глаза, лишь бы он больше не говорил. Лишь бы не говорил. Он, наверное, догадался. И мило усмехнулся.

Мы с ним чудно поладили. Временами перед глазами почему-то вставала летняя ночь на пляже лет двадцать назад. Меня обнимали тогда опытные руки некоего механика, большого любителя Джонни Холидея. Я давным-давно забыла ту ночь и лицо того парня. И вдруг она всплыла в памяти, темная, с шуршащим песком. Я даже вспомнила, какая на мне была юбка: с синими павлинчиками. Вспомнила плеск волн и ощущение неловкости, оттого что называешь по имени человека, с которым больше никогда не увидишься.

— Ты считаешь меня дураком, да? — спросил он после.

— Вовсе нет, — возразила я, наполовину солгав, а наполовину так просто: я погрузилась в состояние томного бесчувствия, которое нередко и принимают за любовное чувство.

— Почему ты меня попросила остаться? — не отставал он. — Я не хотел тебе больше надоедать. Собирался уйти.

— Потому что ты так настойчиво добивался встречи со мной. А может, потому что мне так хотелось. И то и другое, думаю.

— Ну, а почему ты меня вообще позвала? Тогда, в кафе, ты меня прогнала.

— Сегодня я осталась совершенно одна.

— Могла бы позвонить друзьям, знакомым.

— Нет, я была не расположена учтиво кудахтать. К друзьям надо проявить внимание. Они требовательны. К тому же неудобно просить их прийти среди ночи.

— Почему? Если приходят — значит, хотят прийти.

— Нехорошо злоупотреблять их дружбой. И потом, они утомительны. Если считаешь их друзьями, изволь терпеть, если они будут надоедать со своими переживаниями.

— А мои переживания, стало быть, не в счет... Тебе плевать, счастлив я или страдаю?

— Я об этом не думаю. У нас с тобой ни прошлого, ни будущего, мы друг для друга, можно сказать, не существуем. И потом, ты сам этого хотел. Если теперь ты страдаешь — сам виноват.

— А сейчас тебе по-прежнему безразлично, что у меня на душе?

— В меньшей степени.

— Почему?

— Потому что теперь я тебя немного знаю. Так что лучше больше не встречаться. Дальше будут одни неприятности.

— Даже если я поклянусь, что не страдаю?

— Да. К тому же я тебе все равно не поверю.

— Я мог бы быть у тебя случайным любовником.

— Невозможно, ты уже не случайный. Ты теперь имеешь право на чувства.

— А с чувствами я тебе не нужен?

— Нет, ведь мы же не влюблены друг в друга.

— Откуда ты знаешь?

Глупый вопрос. Я хмыкнула. Мы заснули.

— Пробуждение было не слишком тягостным? — спросила Элен.

— Проснувшись, он попросил какао.

— Какао?

— Да. Ты удивлена?

— Нисколько, я так и думала, я ждала этого какао. Какой гасконец без какао? И что потом?

— Потом он подошел к моему столу, где царил обычный беспорядок.

— Можно посмотреть фотографии? — спросил он, беря конверт.

Я в это время выходила из душа.

— Да, — машинально крикнула я из залитой солнцем ванной.

В том конверте лежали снимки, сделанные весной во время отпуска, который я провела с женихом. Я вытерлась и вернулась в комнату. Он все еще крутил в руках фотографии: прогулки, виды и мы с женихом, счастливые и довольные. Он на меня посмотрел.

— Ты солгала, — сказал он очень серьезно, глядя мне прямо в глаза.

— В чем?

— Ты говорила: "работа, любовники". Но ты не сказала, что у тебя кто-то есть.

— Ну и что?

— А то, что это нехорошо.

— Что нехорошо? — недоумевала я, кутаясь в банное полотенце.

Он потряс карточками у меня под носом.

— Ты солгала. Про любовников — это ложь.

— Откуда ты знаешь? — Я выхватила фотографии и швырнула их в свалку на столе.

— Из этих снимков. — Он стоял на своем. — Не говори: мы не увидимся, потому что не влюблены друг в друга. Скажи прямо: потому что у меня есть мужчина.

— Не вижу разницы.

— Разница большая. Ты не понимаешь, чем отличается женщина, которая уже кого-то любит, от той, которая еще не любит? Чего же тут не понимать? Ты какая-то нечувствительная, что ли?

— Возможно, — сказала я.

— Я тебя не упрекаю, — голос его смягчился, — но тебе следует изменить манеру выражаться. "Игра, любовники, чувства..." Ты жонглируешь словами. Ты к ним слишком легко относишься. Сбиваешь людей с толку.

С какой стати он влез в словесный сумбур моей жизни и расставил там точки? Откуда взялась уверенность, с какой он судит обо мне и моих чувствах? Откуда в нем эта непрошеная мудрость, так неожиданно на меня обрушившаяся?

Он надевает куртку, берет шлем под мышку и, стоя на пороге, крепко меня обнимает.

— До свидания. Жаль, что ты несвободна. Я бы тебе позванивал иногда.

— Такова жизнь, — отвечаю. — Ты на меня сердишься?

— Ничуть, — парирует он. — Так ты даже симпатичнее.

Сейчас он уйдет, а может, стоило бы ему остаться. Он научил бы меня убирать фотографии с письменного стола. Я бы научила его небрежности в одежде. Мы бы говорили мало, а спали хорошо. Он, возможно, избавился бы от акцента. Возможно, я была бы счастлива, и он тоже. Недели две.

Я молчу. Он смотрит мне в глаза очень прилежно, но уж слишком долго. Накатившая было на меня волна нежности отступает.

— Ты мне больше не позвонишь? — спрашивает он наконец.

— Думаю, нет.

— Что ж, ладно. Может, когда-нибудь увидимся.

— Может.

И ушел. Точка.



— И больше ты с ним не виделась? — спросила Элен.

— Нет. Он позвонил через какое-то время. Я решила с этим покончить и соврала, что съезжаюсь со своим женихом. Он удивился.

— Как, уже?

— Да, уже, — ответила я.

Я чувствовала себя неловко и, чтобы не затягивать разговор, повесила трубку.

— Это все. Теперь ты знаешь, как спят с продавцами киви.

Элен затушила сигарету.

— Невеселая повесть, — сказала она.

— Разве?

— Да. Тут все невесело: вечер этот в пятницу, сам парень, его уход. Такое случается от безделья. Или от скуки. Заметь, мне это знакомо.

— Тебе не кажется, что это маленькая любовная история?

— Не кажется, — отрезала Элен. — Нечего во что ни попадя примешивать любовь. Ты в восторге от великого открытия: у всех, оказывается, есть душа. Тоже мне открытие. Я тебе и так могла бы сказать: да, у всех есть душа. Даже у продавцов киви. Совершенно не обязательно спать с ними, чтобы это узнать.

— А я испытала потрясение, обнаружив в нем живого человека. Я видела лишь тень, а вдруг оказалось, что это живой человек, такой же, как я. Для меня это праздник. Я как будто заново родилась, как будто я тонула и меня спасли.

— Чистейшее язычество, — заметила Элен. — Осторожней, люди попадают в сумасшедший дом и с меньшими заскоками.

— Излишняя резкость тебе не идет, — сказала я.

— Излишняя сентиментальность скучна, — ответила Элен.

Я закончила свой рассказ. Мы сидели друг против друга расстроенные и молчали. Тут к нам наконец сподобился подойти официант.

— Что-то мне есть расхотелось, — сказала Элен, рассеянно смяв меню.

— Мне тоже, — согласилась я. — Пожалуйста, салат и хлеб.

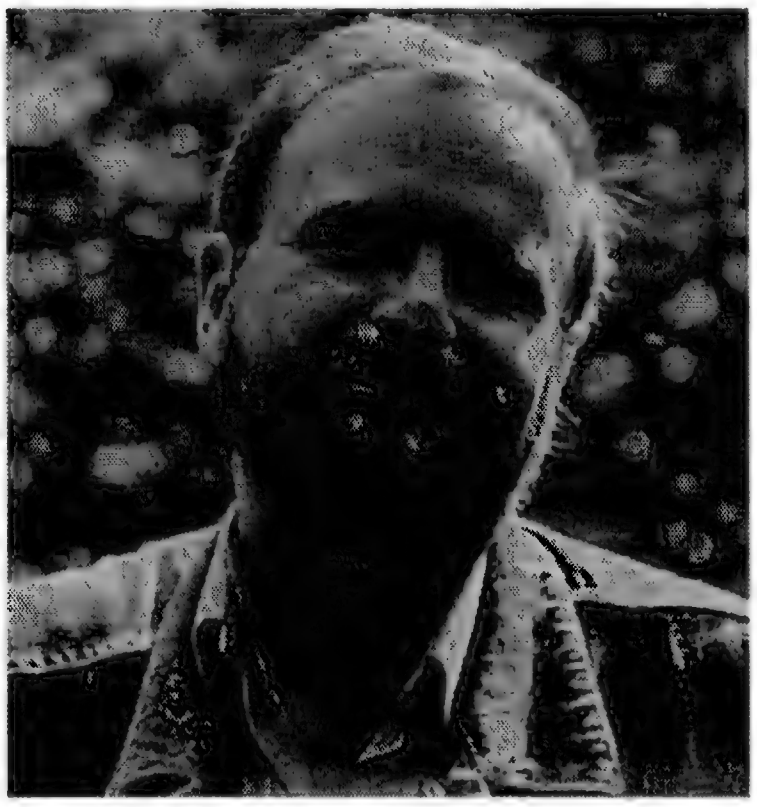
— И мне, — сказала Элен.

— Что, девушки, — пошутил официант, — вкус к жизни утратили?

— Вкус к ЧЕМУ? — прошипела Элен и громко захлопнула меню.

— Извините, мадам, я ничего не говорил, — прошептал официант, сунул блокнотик для заказов в карман и поспешно скрылся на кухню.

# Павел Хюлле



## *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу*

Повесть

*Перевод с польского* Ирины Адельгейм

Туда ты и направишься
прежде чем стихнет твое сердце
Юзеф Чехович. *Скорбная элегия*

MILÝ pane Bohušku, a tak zase život udělal mimořádnou smyčku — Дорогой пан Богумил, вот и вновь жизнь описала удивительный круг, потому что, вспоминая тот свой первый майский вечер, когда, перепуганный и не на шутку взволнованный, я впервые сел за руль "фиатика" панны Цивле, единственной инструкторши в фирме "Коррадо" (гарантируем водительские права по самым низким в городе ценам), единственной женщины в компании этих самоуверенных самцов — бывших гонщиков и виртуозов баранки... так вот, когда я пристегивался и под ее руководством регулировал зеркало заднего вида, чтобы в следующее мгновение на первой скорости тронуться по маленькой узкой улочке и тут же, не проехав и сорока метров, остановиться на перекрестке, где лишь крошечный просвет, подобно незримому воздушному коридору, между трамваями и безудержным грохотом грузовиков, вел к далекому противоположному берегу пекла центрального района; итак, когда я отправился в свое первое автомобильное путешествие, ощущая полную его бессмысленность, ибо все это пришло слишком поздно и не вовремя, прямо посреди этого перекрестка, между судорожно затормозившим, надрывавшимся от звона трамваем номер тринадцать и огром-

© by Paweł Huelle
© И. Адельгейм. Перевод, 2004

ным рефрижератором, лишь чудом разминувшимся с "фиатиком" панны Цивле и оглушившим нас страшно басовитым и чудовищно громогласным, будто корабельная сирена, клаксоном; словом, застряв посреди всего этого кошмара, я сразу вспомнил вас и эти ваши чудесные, легчайшие, исполненные очарования уроки вождения мотоцикла — позади инструктор, впереди рельсы да влажная булыжная мостовая, а вы стремительно газуете на своей "Яве-250" и несетесь по пражским улицам и площадям, сперва вверх, к Градчанам, затем вниз, к Влтаве, и все время, не умолкая ни на минуту, будто вдохновленный неким мотодаймонионом, рассказываете инструктору о тех дивных автомобилях прошлого, на которых ваш отчим пережил столько потрясающих аварий, столкновений и катастроф; итак, когда водитель рефрижератора резко осадил свое многотонное чудовище, выскочил из кабины и, оставив машину посреди мостовой, ринулся к крошечному "фиатику" панны Цивле, грозя нам кулаком — точнее говоря, он лупил этим самым кулаком по собственной голове, рискуя в ярости нанести себе увечье; так вот, когда я разглядывал приникшую к окошку "фиата" его багровую от бешенства физиономию и, в том же окошке, еще одну, принадлежавшую вагоновожатому тринадцатого номера — он, как и шофер грузовика, покинул трамвай и примятых внезапным торможением пассажиров; в общем, когда я увидал за предусмотрительно поднятым панной Цивле стеклом эти лица, позади которых возникали все новые и новые, поскольку водители других машин, запертых остановившимися трамваем и рефрижератором, также побросали свои автомобили и помчались к нам, дабы выместить на маленьком "фиате" все свое раздражение по поводу пробок на дорогах, не отремонтированных мостов, дорожающего бензина и прочих напастей, которые обрушились на них почти сразу после падения коммунизма; словом, когда взгляды этих босховских персонажей буквально пригвоздили нас с инструкторшей к сиденьям ее ни за что не желавшего заводиться "фиатика", я совершенно невозмутимо произнес: — А знаете, с моей бабкой Марией, когда она в двадцать пятом году училась водить машину, приключилась похожая история, только ее "ситроен" застрял на железнодорожном переезде, а справа, то есть со стороны инструктора Чажастого, уже приближался из-за поворота курьерский "Вильно—Барановичи—Львов", и тогда, мгновенно оценив ситуацию, пан Чажастый воскликнул: — Панна Мария, выскакиваем сейчас же, или нам крышка, — и они выскочили, — продолжал я, — а курьерский, хоть и тормозил, рассыпая из-под колес снопы искр, все-таки протаранил этот великолепный автомобиль, и бабушка Мария с паном инструктором Чажастым стояли у переезда, глядя на вытаращенные и все более округлявшиеся глаза машиниста, который тщетно высматривал в куче жести, никеля, хрома, плюша, дерматина и битого стекла размозженную голову, отрезанные ноги, кепку водителя или, на худой конец, хоть одно пятнышко крови; и лишь переведя взгляд чуть дальше, бедняга увидал приветливо махавших ему бабушку Марию и пана инструктора Чажастого; и это была чудесная сцена, — я уже приближался к развязке, — ибо за их спиной, у дороги в чистом поле стояла часовенка Матери Божьей Неустанной Помощи, которую обступили совершавшие майское богослужение[1] деревенские бабы с детьми, другими словами, первый план с раздавленным "ситроеном" и сопевшим локомотивом плавно переходил во

1. Сопровождающиеся пением богослужения, совершаемые в течение всего мая, во второй половине дня, во славу Богоматери. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

второй, в центре которого находился заламывавший руки машинист, а за ним расположились столь счастливо избежавшие гибели бабка Мария с паном инструктором Чажастым, и все это на фоне далеких холмов и часовенки Матери Божьей Неустанной Помощи у подножья Восточных Карпат. — Господи, какая прелесть, — панна Цивле осторожно пересаживалась, переползая через мои колени, а я, под ее попкой, аккуратно выполнял аналогичное движение, только в обратном направлении, — Господи, до чего вы здорово рассказываете, — продолжала она, проверяя передачу и зажигание, — странно, что не сработало параллельное управление... Да-а, очень любопытно, — мотор наконец завелся, и, грубо, презрительно, по-мужски показав окружившим машину водителям средний палец, она медленно тронулась, рассекая толпу зевак и виртуозно объезжая наших несостоявшихся палачей, сгрудившихся в единый монолит и жаждавших линчевать нас прямо посреди этого кошмарного перекрестка, первой моей автомобильной Голгофы. Так вот, дорогой пан Богумил, в тот самый момент, когда панна Цивле своим удивительным, чуть звенящим голосом произнесла: — Господи, до чего вы здорово рассказываете, — у меня уже вертелось на языке: — Да что я, вы лучше почитайте "Вечерние занятия в автошколе", вот где настоящие истории, которые на сон грядущий или перед выездом с клиентом на городские улицы должен припоминать каждый инструктор, вот кто достиг восхитительного мотолиризма, вот кому удалось воплотить платоновскую идею уз, связующих педагога и ученика, — не простое натаскивание, банальный контроль, заурядное обучение, но одаривание друг друга чудесными рассказами, можно сказать, причащение, объединяющее людей вне зависимости от пола, политических взглядов и происхождения, — но, увы, пан Богумил, ничего этого я не сказал, ибо глаза у меня полезли на лоб, душа ушла в пятки, а язык присох к нёбу, словно на третий день кашубской свадьбы, когда я увидал, как панна Цивле резко давит на педаль и, подобно заправскому слаломисту, скользит меж разъяренных водителей, как она расталкивает толпу квадратным передком своего "фиатика", а затем, буквально в последнюю секунду, ныряет в узкое горлышко между только что тронувшимся трамваем и медленно движущимся рефрижератором; ах, как жаль, дорогой пан Богумил, что вам не довелось увидеть всего этого — победы юной девушки с ее маленьким "фиатом" над стаей орущих водителей и парочкой грозных мачо — вагоновожатым тринадцатого номера и шофером грузовика, которые, ясное дело, просто взбесились, увидав, как автомобильчик маневрирует перед самым их носом, совершая рискованный прорыв меж Сциллой трамвая и Харибдой рефрижератора, это, пан Богумил, и в самом деле было нечто фантастическое, триумф интеллекта над массой, ироническая насмешка над слепым и глухим раздражением, ловкая оплеуха в исполнении панны Цивле и ее ученика: тра-ля-ля, бум, пам-парам, поцелуйте нас в задницу, придурки. — Господи Иисусе, — шепнул я, — ну вы и ас, я просто сражен наповал. — Да ладно вам! — звонко рассмеялась она. — Мне никогда так не выучиться, — я сглотнул слюну, — никогда с вами не сравниться, хоть наизнанку вывернись. — Ничего, не переживайте, — откликнулась панна Цивле, — встречала я таких, как вы, в тихом омуте черти водятся, верно? — и пристально поглядела на меня своими серыми глазами, — но вы дорасскажите про эту свою бабку Марию — меня, собственно, интересуют раздавленный "ситроен" и поврежденный локомотив, скажите, была ли машина застрахована и получил ли инструктор Чажастый какую-нибудь компенсацию, потому что по поводу пострадавшего локомотива голова болела скорее у руководства железной

дороги, так ведь? — она вновь посмотрела на меня, и этот взгляд был еще более удивителен, чем ее странная фамилия. — Вот именно, что нет, — возразил я, — все получилось совсем не так, как вы думаете: в те времена машина обычно принадлежала самому клиенту, то есть, я имею в виду, ученику, а инструктора нанимали, словно учителя танцев или настройщика фортепиано; в условленный час пан Чажастый подъезжал к дому клиента на своем велосипеде, расстегивал булавку, которой обычно закалывал штанину у лодыжки, — следует уточнить, что это была красивая серебряная булавка с крошечным бриллиантиком, и пан Чажастый тут же втыкал ее в английский галстук, затем поправлял фуражку, а порой еще и манжету сорочки и направлялся к подъезду или садовой калитке, поглядывая на часы и проверяя, не приехал ли он минутой раньше, а если так, то замедлял шаг, ибо в те времена весьма дурным тоном считалось опоздать, однако куда худшим — "переспешить", как говорили во Львове; итак — перейдем к существу дела: "ситроен" этот, видите ли, принадлежал моей бабке Марии — подарок дедушки Кароля, тогда еще ходившего в женихах и заканчивавшего Берлинский университет, а поскольку застраховать автомобиль бабушка забыла, то пан Чажастый, стоя у переезда, очень переживал: — Что же теперь панна Мария скажет молодому человеку, быть может, лучше послать письмо, только ни в коем случае не депешу, ибо депеша никогда до добра не доводит, тут и до разрыва помолвки недалеко, а ведь этот пан инженер Кароль такая выгодная партия, — твердил инструктор; тем временем пути очистили от останков автомобиля, и машинист принялся внимательно осматривать свой локомотив — сначала буфера, затем фары и, наконец, заглянул под передние колеса и ощупал поршни, но нигде не обнаружил следов столкновения — ни единой борозды или хоть царапинки — и пришел от этого в полное отчаяние: кто же в дирекции поверит его рассказам, будто столь значительное опоздание вызвано тем, что он протаранил французский автомобиль, кто захочет принять его слова на веру, если доказательства напрочь отсутствуют, пусть даже случившееся подтвердят проводники или какая-нибудь важная шишка из числа пассажиров, начальство все равно останется при своем мнении и все равно лишит его премии или, хуже того, понизит в должности, и никогда больше — на этом месте машинист чуть не заплакал — он не поведет курьерский "Вильно—Львов" или sleeping[1] "Львов—Варшава—Познань—Берлин"; к счастью, однако, — мы с панной Цивле стояли на светофоре, и я видел, что рассказ мой доставляет ей истинное наслаждение, ибо она совершенно позабыла, что за рулем следует сидеть мне, — к счастью, однако, — продолжал я, — в том же поезде, первым классом, ехал мистер Генри Ллойд-Джонс, репортер лондонской "Таймс", которого командировали в район Восточной Малопольши собирать материалы о гуцулах; так вот, Ллойд-Джонс этот первым выскочил из вагона и немедленно принялся за работу: — That's terrific[2], — бормотал он, фотографируя останки французского автомобиля, — it looks like Waterloo[3], — удовлетворенно повторял журналист, нацеливая объектив на покоившуюся в луже эмблему "ситроена", — absolutely amazing[4], — хихикал он, запечатлевая польский локомотив, который позже в своем репортаже уподобил славянскому Веллингтону. — И вот, — рассказывал я панне Цивле, — представьте себе,

1. Пассажирский купейный (*англ.*).
2. Потрясающе! (*англ.*)
3. Настоящее Ватерлоо (*англ.*).
4. Просто удивительно (*англ.*).

что благодаря этим фотографиям и статье в "Таймс" под названием "Everyone was deeply touched"[1] или что-то в этом роде, за опоздание наш машинист получил никакой не выговор, а, напротив, золотые часы и грамоту, а бабке Марии, несмотря на то, что автомобиль, как я уже говорил, застрахован не был, мсье Россе, представитель фирмы "Ситроен" во всей Восточной Европе, уже через несколько дней вручил ключи от новой машины. — Нет, не может быть! — воскликнула панна Цивле, взглянув в зеркало, — золотые часы и новый "ситроен"? Да ведь такой автомобиль наверняка стоил кучу денег, небось, еще больше, чем теперь. — Верно, — согласился я, — но всему виной англосаксонская пресса, уже в ту пору сила нешуточная. Напечатай фотографии жалких останков "ситроена" и целого-невредимого локомотива, к примеру, "Курьер львовски" или "Гонец Всходней Малопольски", опиши все, как было, скажем, "Илюстрованы курьер цодзенны", пусть бы даже репортаж сопровождался снимками с места происшествия, ни одна собака бы не поверила: — Грош цена этим байкам, — в один голос твердили бы читатели, — каким же, интересно, чудом, — гоготали бы они, — на локомотиве не осталось ни царапины, да еще это пресловутое везение, благодаря которому парочка якобы успела вовремя выскочить из лимузина, ну уж нет, нас на такой бездарной мякине не проведешь, это же чушь на постном масле, будто барышню с ее инструктором спасла Матерь Божья, нечего нам тут припутывать религию к сенсации или, хуже того, к рекламе! — Но когда статья спустя несколько дней появилась на страницах "Таймс", реакция и последствия оказались совершенно иного рода. Сперва в Хшанов позвонил мистер Уиллман Кокс из Лондона, заявивший: — Дорогой пан директор Зелинский, позвольте заказать вашей фабрике пятнадцать локомотивов, это для начала, а вообще-то, признаюсь вам по секрету, с подобной ситуацией я сталкиваюсь впервые за все время руководства "Бритиш рейлвейз" — звонят самые обыкновенные люди и орут в трубку: — Отчего у нас нет таких локомотивов? Отчего на родине Ватта и Стивенсона не производят такое чудо? Мы требуем, чтобы наши поезда обслуживались только этими машинами и никакими другими. — Но и это еще не все, дорогой пан директор Зелинский, — вещал президент "Бритиш рейлвейз", — вчера, представьте себе, я имел беседу на Даунинг-стрит, и личный секретарь господина премьера любезно проинформировал меня, что фотографию вашего локомотива, распоровшего этого французского уродца, эту их республиканскую жестянку из-под сардин, так вот, снимок весьма удовлетворенно рассматривали господин премьер с наследником трона, принцем Уэльским, чье Высочество соблаговолило поинтересоваться сальдо торгового оборота с вашей героической страной, что побудило министра путей сообщения расспросить меня о вашей фабрике; я ответил, что мы давно уже сотрудничаем, и единственное, что связывает мне руки, это наши таможенные пошлины на паровозы, семафоры et cetera[2], на что министр ответил: — Поставим вопрос на заседании палаты общин, — per saldo[3] спешу довести до вашего сведения, дорогой пан директор Зелинский, что мы официально заказываем пятнадцать паровозов, причем без всяких обкаток, а если вы окажете нам любезность и доверите посреднические услуги — понимаю, понимаю, это вопрос весьма деликатный, — так вот, в качестве ваших посредников мы можем продать двадцать штук в Австралию,

1. Все глубоко потрясены (*англ.*).
2. И так далее (*лат.*).
3. Итого, в итоге (*итал.*).

тридцать две в Индию, семь на Цейлон, восемь в Бантустан и один на Фолкленды — один, потому что там мы пока еще только проектируем первую железную дорогу. — Перестаньте, бога ради, — отмахнулась панна Цивле, отпустив на мгновение руль, — перестаньте, или мы сейчас окажемся на тротуаре. Ну, а "ситроен"? — поинтересовалась она тут же, включая правый поворотник и медленно, через трамвайные пути, въезжая на учебную площадку. — Как же обстояло дело с новым "ситроеном"? — Сперва часы, — заметил я, чувствуя приближение критического момента, — золотая "Омега" машиниста! Итак, представьте, сразу после звонка мистера Кокса директору хшановских паровозных заводов пошли пересуды: машиниста, мол, надо бы вознаградить — как это понимать, на что это вообще похоже, почему такой достойный человек остался без премии? — Подобное возможно только у нас, где в расчет берутся одни лишь протекции и знакомства, а не честный труд; словом, узнав о негласном распоряжении via[1] Варшавы, Львовская дирекция железных дорог готова была вызвать виновника суеты немедленно, хотя бы и телеграфом, прямо с трассы, но тут оказалось, что машинист Гнатюк, оформив еще в тот драматический день очередной двухнедельный отпуск, бесследно исчез, и беднягу, пожалуй, даже оставили бы в покое, кабы не звонки — сперва из Варшавской дирекции железных дорог, потом из министерства путей сообщения, затем из министерства промышленности и, наконец, из министерства внутренних дел. — Где этот отважный машинист?! — гремело в трубке, — он сделал для нас больше, чем дюжина торговых агентов на местах, — орало начальство, — неужели вы там, в своем Львове, не в состоянии выяснить, где, черт возьми, проводит отпуск служащий государственной фирмы стратегического, как-никак, значения?! В Познанском воеводстве такое просто немыслимо, — следовал, наконец, далеко идущий вывод, — может, и району Восточной Малопольши пора задуматься о неизбежности реформ, ведь совершенно очевидно, что государственное мышление воцарилось уже повсюду, кроме Львова, а впрочем, вы, коллеги, может, даже не слыхали, что война закончилась, может, у вас там все еще висят портреты Франца-Иосифа в коронационном облачении, может, и время на ваших станционных часах стоит на месте, если вы вообще осознаете, что такое время для нашей польской экономики! — В этих словах звучала уже не просто угроза, — толковал я панне Цивле, которая как раз остановила свой "фиатик" между двумя полосатыми резиновыми столбиками, — тут прямо-таки пахло грядущей революцией, а вы, вероятно, знаете, что революция отнюдь не являлась фирменным галицийским блюдом, кроме разве что той единственной, когда крестьяне жгли поместья и резали своих господ — пилами, медленно и методично, в отместку за все годы нищеты и унижения — да, ничего в том прекрасном городе не боялись больше, чем предвестников перемен, ибо переменам свойственно все хорошее сперва ухудшить, а затем и вовсе обратить в свою противоположность — так полагали во Львове и его окрестностях, во всяком случае, на протяжении последних пятидесяти лет существования Австро-Венгерской монархии, — а потому за дело взялись не только железнодорожные службы, но и секретные агенты, постовые, комиссары, полицейские, но все было тщетно — в маленьком домишке на Замарстынове, где среди яблонь, вишен и черешен, подпорок для фасоли, метелок кукурузы, побегов хмеля и виноградных лоз проживал с женой и двумя детьми машинист Гнатюк, его и духу не осталось. — Та боже ж ты мой, господа, с

1. Через (*лат.*), зд.: из.

меня-то какой спрос? — заламывала руки Гнатюкова, — он ведь не на службе, мне и самой любопытно, где этот олух болтается, уж я бы ему кренделей навешала, а так что ж? Пришел и говорит: "Все, мол, конец", потом взял двести злотых, и только мы его и видели, вот это-то и беда, потому что он ведь почти совсем не пьет, а с такого расстройства, небось, накупил на все деньги водки с колбасой да отправился в горы, как бывало в холостяцкие времена, очень уж он любил в одиночку лазить по перевалу, так что ищите его где-нибудь в коломыйском шинке или в Кутах; тут, гневно сдвинув брови, хозяйку прервал пан комиссар Лампарский: — Пани Гнатюк, вы хотите сказать, что не знаете, где проводит отпуск ваш собственный муж? Вы что, шутите? Или не понимаете, что время не терпит? Что это дело государственной важности? — после чего белая как мел супруга машиниста опустилась на стул и прошептала: — Боже ж ты мой, господа, да ведь он ни с политикой, ни с листовками этими, от коммунистов бежит как черт от ладана, да что же это, — тут она с неожиданной гордостью вскинула голову и возвысила голос, — за ним ведь никогда ничего худого, хоть бы раз на службу опоздал, ну чего вам тут искать, в нашем-то доме? — Панна Цивле, хоть и веселилась от души, вспомнила наконец об истинной цели наших занятий: — Ну ладно, садитесь за руль, — она вышла из "фиата", — сперва зеркала, затем пристегнуться, хорошо, теперь трогаемся... и, пожалуйста, "коридор"! — Почему для первого занятия она выбрала самое трудное упражнение? Это неизвестно и по сей день. Быть может, ей захотелось поставить на место предприимчивого нахала, который вместо того чтобы послушно выполнять команды, пытается отделаться байками полувековой давности, а впрочем, возможно, ни о чем таком она и не думала, но факт остается фактом: мокрый как мышь, я все не мог унять дрожь в руках, а по количеству сбитых резиновых столбиков, будь они кеглями, претендовал бы на звание чемпиона мира. Вы себе и не представляете, дорогой пан Богумил, что это такое — добрых сорок метров ползти задним ходом по изогнутому узкому коридору, ежесекундно нарушая заданную траекторию, ежесекундно задевая столбики то левым, то правым боком, да еще мотор постоянно глохнет; ведь эти ваши вечерние занятия на мотоцикле "Ява-250", когда с инструктором Фоштиком вы гоняли по Виноградам или Жижкову, а золотые кленовые листья поэтично опускались в воды Влтавы и проплывали под Карловым мостом, эти ваши занятия по вождению для начинающих были подобны минутам лирического отдохновения, не то что моя улица Картуская, до неприличия забитая машинами, или эта учебная площадка на задах винно-водочного магазина, где мы, ученики, были вроде актеров, репетирующих авангардную пьесу перед терпеливыми зрителями. — Нет, так дело не пойдет, — воскликнула наконец панна Цивле, — стоит вам замолчать, мы тут же налетаем на столбик или глохнет двигатель, пожалуйста, осторожно нажимайте на газ, медленно отпускайте сцепление, а угол поворота не меняйте, и машина покатится по кривой сама, вот так, уже совсем хорошо, не спешите, потихонечку, — она касалась моих ладоней своими, легонько прижимая их к рулю, — а вот теперь, будьте добры, помолчите. — Ну ладно, — прошептал я, — а вам не кажется, что раз уж надо непременно отрабатывать этот чертов "коридор", то, может, хотя бы поедем вперед, а не назад, ни одна змея ведь не станет ползти задом, это, милая панна Цивле, противоречит законам природы... — Дорогой пан Богумил, я никогда не забуду вашего предпоследнего письма, того места, где говорится, что истинный знаток и художник классифицирует женщин не согласно размерам бюста и ягодиц, а по ладоням, и в данном случае это было именно

так, ибо панна Цивле в своих темных брюках и короткой кожаной куртке не относилась ни к "сиськастым", по вашему прелестному определению, ни тем более к "жопастым", нет, панна Цивле во всех отношениях была скорее худа и не принадлежала к тому типу девушек, при виде которых водители грузовиков врезаются носом в клаксон, панна Цивле, дорогой пан Богумил, на первый взгляд являла собой образец так называемого "унисекса", но, к счастью, прогресс еще не оставил на ней своих необратимых следов, другими словами, голову инструкторши украшал не жесткий ежик, а чудесные, собранные в "хвостик" каштановые волосы, ее юную грудь прикрывала не фланелевая клетчатая рубашка, а шелковая блузка, и, наконец, на ногах вместо тяжелых ботинок-"тракторов" красовались изящные лодочки (вспомним Ежи Пильха[1]), которые по изысканности и прелести форм почти не уступали длинным пальцам, прижимавшим мои ладони к баранке "фиата", что, кстати, было единственной причиной того, что в конце концов я все же добрался задним ходом до финиша этого кошмарного коридора, а толкавшиеся на задворках винно-водочного магазина алкаши и забулдыги все как один аплодировали мне из-за огромных лопухов, прикрывавших обнаженный срам вонючей помойки. — Так что, нашли этого машиниста? — панна Цивле вынула из портсигара готовую самокрутку. — Долго он еще прятался? — Да он и не прятался вовсе, — я с некоторым удивлением взял протянутую мне папиросу, которой она успела всего раз затянуться, — он просто пребывал в отчаянии и одиночестве, ибо полагал, что его великолепная карьера разрушена, а профессиональная жизнь кончена, что с высшей ступени лестницы Иакова, иначе говоря, от самых врат железнодорожного рая он падет на самое дно какой-нибудь ремонтной мастерской, а потому снял у Айзенштока, что держал корчму в Жиравце, комнату на втором этаже; сидя безвылазно в этой каморке, машинист Гнатюк и плел черную паутину своих мыслей, что, мол, от поляков можно ожидать чего угодно, ибо, как давным-давно написал Федор Михайлович Достоевский, они хитры и коварны, сперва прикинутся приятелями, похлопают по плечу, шепнут пару любезных слов, и тут же высмеют твою православную веру и непривычный выговор, горько размышлял машинист Гнатюк в трактире Айзенштока, и размышлять бы ему так вплоть до окончания законного отпуска, кабы не старший полицейский Гвоздь, который, попивая в трактире лимонад, случайно — через приоткрытую дверь — подслушал разговор Гнатюка с Айзенштоком; короче говоря, — я вернул панне Цивле самокрутку, — он задержал беглеца и доставил его в дирекцию железных дорог, где машинисту вручили эти самые золотые часы и тысячу пятьсот злотых премии из специального фонда хшановского завода локомотивов. — Да, дорогой пан Богумил, я был вынужден на мгновение прервать это повествование, потому что от табака панны Цивле у меня закружилась голова, таким он оказался крепким и ароматным, но поскольку мы вновь уселись в "фиат", то стоило мне на первой скорости благополучно покинуть учебную площадку, она спросила: — Ну и что там было с новым "ситроеном" вашей бабушки Марии? — О, тут получился сюрприз так сюрприз, — мне чудом удалось свернуть налево, на Картускую и без скрежета включить вторую передачу, — с момента появления статьи в "Таймс" прошло всего несколько дней, и вот вечером в бабушкиной квартире раздался телефонный звонок — междугородный, из Берлина; трубку взял отец, то есть мой прадед Тадеуш, ко-

1. Имеются в виду известные романы польского писателя Ежи Пильха (р. 1952) "Список блудниц" (1996) и "Песни пьющих" (2000).

торый сразу пришел в страшное волнение, поскольку услыхал голос будущего зятя, выкрикивавшего что-то кошмарное насчет похорон Марии, о которых, мол, будущий тесть даже не удосужился сообщить несостоявшемуся зятю; они то и дело перебивали друг друга, так что им никак не удавалось ни прервать, ни закончить этот разговор, ибо, да будет вам известно, — пояснил я, — репортаж в газете "Таймс", что была куплена в табачной лавке на Потсдамской площади, заставил жениха Кароля предположить самое ужасное — и не последнюю, надо заметить, роль сыграл здесь журналист, мистер Ллойд-Джонс, который, живописуя расплющенную польским локомотивом французскую жестянку, ни словом не обмолвился о чудесном спасении — молитвами Матери Божьей Неустанной Помощи — инструктора с ученицей; другими словами, Кароль решил, что лишился невесты. Представьте себе, — продолжал я, проскочив на красный свет, — они никак не могли договориться, потому что когда тесть во Львове кричал в трубку: — Да Марыся-то жива-здорова! — зять в Берлине орал, что держит в руках страницу "Таймс" с фоторепортажем и очень просит не обнадеживать его понапрасну, ибо готов к самому худшему. — Господи Иисусе, — смеялась панна Цивле, — неужели нельзя было позвать к телефону вашу бабушку? — В том-то все и дело, — я робко прибавил газу на второй передаче, — бабушка стояла у окна и, услыхав, как они ругаются, именно это и пыталась жестами предложить отцу, но недолго, потому что в ту самую минуту, когда будущий тесть закричал: — Да Марыся-то жива! — заметила, как по улице Уейского медленно движется новехонький "ситроен", как он останавливается перед их парадным, а появившийся из него мсье Россе, представитель фирмы "Ситроен" на территории всей юго-восточной Польши, принимается сверять номер дома с записанным на листочке адресом. И когда мой прадед Тадеуш, решив, наконец, разрубить гордиев узел сей беседы, крикнул будущему зятю: — Ладно, передаю трубку Марысе! — дочь из гостиной уже исчезла, отправившись, видимо, в кабинет, принимать нежданного гостя, — и будущий тесть несколько озадаченно произнес: — Вот только что была здесь, но сейчас ее нет, — а будущий зять заорал: — Сколько можно лгать, почему вы скрываете от меня правду?! — И в сердцах швырнул трубку, так что изумленный взгляд немецкой телефонистки проводил его до самых дверей стеклянной будки на Потсдамской площади. Вот и представьте себе эту сцену, — я включил правый поворотник, — прадед Тадеуш стоит с трубкой в руке, не в силах поверить, что разговор окончен, как утверждает голос немецкой телефонистки, бабка Мария стоит в кабинете перед мсье Россе, не в силах поверить, будто французская фирма готова преподнести ей в подарок новый автомобиль в обмен на короткое интервью для газеты "Монд", а дедушка Кароль стоит в Берлине, посреди Потсдамской площади, со смятой страничкой из "Таймс", не в силах поверить словам несостоявшегося, как он считал в то мгновение, тестя. — Теперь придется подождать, — спокойно заметила панна Цивле, — вы не перестроились в правый ряд, мне следовало предупредить, но вас разве прервешь? — И в самом деле, за кормой "фиата" росла пробка, но по правой полосе непрерывным потоком двигались машины, и никто не собирался пропускать нас с Картуской на улицу Совинского, где находилась фирма "Коррадо", а потому, несмотря на гудки и явно недоброжелательные жесты водителей, мне удалось кое-как дорассказать историю нового "ситроена", который и вправду достался бабке Марии даром, нельзя ведь считать оплатой коротенькое интервью, которое она дала на следующий день журналисту "Монд" и в котором заявила, что наверняка погибла бы, окажись на железнодорож-

ном переезде в другой машине, ибо ни чешская "татра", ни немецкий "хорьх", ни польский "фиат", ни тем более американский "бьюик" не снабжены столь легко открывающимися дверцами, которые позволяют благополучно покинуть машину за несколько секунд до столкновения, дверцами, которые спасут вам жизнь в любой автокатастрофе; здесь, по указке журналиста, бабушка Мария поведала, что ей снятся кошмары — будто она горит, запертая в американском "бьюике", — так вот, если бы не дверцы, специально спроектированные на заводе "Ситроен" инженерами, которым под силу предвидеть любую опасность, вся эта история, столь тенденциозно описанная репортером "Таймс", приняла бы просто-таки трагический оборот, и, позируя рядом с новеньким автомобилем в сиянии магниевых вспышек, бабка Мария могла улыбнуться и радостно признаться: путешествуя на "ситроене", она чувствует себя абсолютно уверенно и забывает о выбоинах и ухабах на дороге, крестьянских повозках, наводнениях, ураганах, а также хшановских локомотивах. — Я наблюдал, как панна Цивле возится с дверцей своего "фиата", как в конце концов открывает ее, довольно-таки судорожно, ибо, хотя справа на нас надвигался не курьерский "Вильно—Барановичи—Львов" под управлением машиниста Гнатюка, а одни лишь автомобили, но все равно требовалось немалое мужество, чтобы выйти на правую полосу, жестом полицейского остановить поток машин и подать мне знак, дабы, воспользовавшись этой короткой передышкой, я быстро свернул на улицу Совинского, что было исполнено почти безупречно — почти, потому что, когда "фиатик" уже спокойно катил по узенькой улочке к фирме "Коррадо", я, увидав в зеркале приближавшуюся ко мне с улыбкой панну Цивле, вместо тормоза надавил на газ, и не успел я понять и исправить эту ошибку, как "фиат" резко рванул вперед и выехал на правую обочину, в общем, дорогой пан Богумил, так я впервые попал в аварию, протаранив жестяной мусорный контейнер, из которого, помимо банановых шкурок, посыпались коробки, тряпки, огрызки, окурки, консервные банки, бутылки и газеты, а также неведомо откуда и почему выпала эбонитовая кисть руки, жутковатый фрагмент манекена, чье отделенное от целого запястье украшал к тому же эмалированный браслет. — От вас ни на секунду отойти нельзя, — воскликнула панна Цивле, склоняясь над треснувшей фарой, — вы необучаемы, — она ткнула пальцем в содранную эмаль, — ну и где же ваши журналисты из "Таймс" или чего там, "Монд"? — она обеими руками поправила покосившийся бампер, — а может, сейчас появится дилер "Фиата" и обменяет мне этот металлолом на новую тачку? — До фирмы "Коррадо" оставалось каких-нибудь тридцать метров, панна Цивле, не оглядываясь, вскочила в машину и поехала вверх по узкой улочке, а я бежал по тротуару за ее пострадавшим "фиатиком", бежал что было мочи, чтобы добраться до маленькой стоянки прежде, чем она выйдет, — мне хотелось распахнуть дверцу "фиата", отвесить поклон, пасть на колени, молить о прощении, обещать все отремонтировать и дать зарок никогда-преникогда ничего больше не рассказывать о былых временах и былых автомобилях; но как только мы столкнулись у открытой двери этого ее "фиатика", я — запыхавшийся после спринта, она — раздосадованная из-за аварии, я тут же произнес: — Завтра же заплачу за этот фонарь, только, прошу вас, не сердитесь и не отказывайтесь от меня, не прогоняйте, пожалуйста, никто ведь не научит так, как вы, — и тогда панна Цивле улыбнулась и сказала: — Ну разумеется, никто, завтра в десять утра на площадке, да, кстати, а этот инструктор Чажастый продолжал заниматься с вашей бабушкой? — О да, — ответил я не раздумывая, — правда, с тех пор он всегда избегал маршру-

тов, пролегающих через железнодорожные переезды. — Дорогой пан Богумил, вам лучше других ведомо, что такое настоящее счастье, то краткое мгновение, от которого мы потом не откажемся ни за какие сокровища, момент, когда все еще впереди, но уже различимо, когда мы ощущаем благосклонность судьбы, той самой подлой судьбы, что обычно к нам не благоволит; такое чувство я и испытывал, шагая вниз по улице Совинского, именно это и никакое другое — я был счастлив обещанием панны Цивле заниматься со мной и впредь и чувствовал себя точь-в-точь как ваш Гастон, который в Праге, на улице Главной, у витрины Городского управления розничной торговли встретил цыганку и сразу понял, что это неспроста, ведь не каждый же день сталкиваешься с цыганкой на улице Главной перед Городским управлением розничной торговли; и, подобрав лежавшую на тротуаре руку манекена с эмалированным браслетом, я шагал на Картускую, к остановке, меня переполняли счастье и запах волос панны Цивле, а городское многоголосие, весь этот жуткий грохот мчащихся грузовиков, трамваев и автобусов обратился в симфонию майского ожидания, и если я о чем-то и сожалел, то лишь о том, что не успел ознакомить панну Цивле с финалом этой повести, потому как дедушка Кароль после беседы с будущим тестем уверовал в гибель невесты и не мог смириться с мыслью, что с ним обошлись так жестоко — сперва не известили об автокатастрофе и похоронах, а затем солгали в телефонном разговоре; у него просто в голове не умещалось, почему столь серьезный человек, каким был отец Марии, повел себя так странно, а по правде говоря, просто неприлично — зачем он скрыл правду, зачем обманул? — размышлял дедушка Кароль весь вечер и весь следующий день, и кончилось тем, что он взял билет, уселся, полный самых мрачных мыслей, в поезд и уже на варшавском вокзале, пересаживаясь на скорый львовский, купил несколько газет, в том числе свежий номер "Монд", где и обнаружил фотографию невесты перед капотом нового "ситроена", после чего немедленно помчался на вокзальную почту и, заказав срочный разговор с Берлином, попросил своего немецкого коллегу Шварца отправить по львовскому адресу несостоявшегося тестя телеграмму: "Кароль умер точка похороны послезавтра точка личные вещи можете получить польском комиссариате точка опечаленные коллеги корпорации точка" — и, продиктовав все это Шварцу, в последний момент успел на скорый до Львова, теперь уже совершенно не тревожась, как его встретят, поскольку все рассчитал с поистине инженерной точностью; а утром, когда дед с двумя букетами — одним траурным, другим обычным — ехал на извозчике с Центрального вокзала, внимательно и с нежностью, как всегда по возвращении, рассматривая родной город, в квартире на улице Уейского царила суматоха, ибо бабушка Мария уже несколько раз лишалась чувств, и теперь ждали врача, тетя Стася делала компрессы и искала нюхательную соль, а прадедушка Тадеуш успел заказать срочный разговор с берлинским консульством и теперь в ожидании нервными шагами мерил гостиную, а когда раздался звонок в дверь и на пороге появился Кароль со своими двумя букетами, началось светопреставление, потому что в ответ на вопль Марии: — Как ты мог нам такое устроить?! — Кароль вынул сперва страницу "Таймс", затем страницу "Монд" и поинтересовался: — А вы как могли мне такое устроить?!! — и они орали, не в состоянии ничего друг другу объяснить, потому что кто-нибудь из них то и дело восклицал: — Ты меня не любишь! — а другой еще громче возражал: — Нет, это ты меня больше не любишь! — вот так и развивалась эта фуга, пока, наконец, бабушка Мария не вручила дедушке Каролю ключи от нового "ситроена", заявив, что видеть его больше не же-

*... Каролек, любимый, мне никто на свете не нужен, кроме тебя!..*
Венчание Марии и Кароля во Львове

лает, раз ему, как любому мужчине, автомобиль дороже невесты, дедушка же, оскорбленный до глубины души, сунул оба букета в стойку для зонтиков и со словами "Так прощай же навсегда!" выбежал из дома, бросился к машине и сразу рванул с места, и тут, дорогой пан Богумил, они скорее всего расстались бы навеки, что имело бы ко мне самое прямое отношение, ведь не став спустя много лет их внуком, я оказался бы совсем другим человеком, но в жизнь Марии и Кароля, а значит, в каком-то смысле и в мою, вновь вмешался автомобильный фактор, ибо в тот момент, когда дедушка Кароль резко газанул, из ворот соседнего дома выехал со своей тележкой молочник, дед стал тормозить, но то были тормоза "ситроена" — механические, а не гидравлические, — и чудо французской техники со всей силы врезалось в пирамиду бидонов, раздался жуткий скрежет расплющиваемой жести, звон разбитого стекла, рев клаксона, а бабка Мария, выскочившая вслед за дедом Каролем на улицу, чтобы прокричать ему в заднее стекло: — Нет, это ты прощай навсегда! — бежала теперь с развевающимися волосами к месту происшествия, а затем вытаскивала жениха из белой лужи, гладила его разбитый о ветровое стекло лоб и шептала: — Каролек, любимый, мне никто на свете не нужен, кроме тебя! — тот же, подволакивая сломанную правую ногу и опираясь на руку невесты, шепнул в ответ, что и не думал в этом сомневаться и тоже любит ее больше всех на свете, а после добавил, что никогда впредь они — вместе или по отдельности — не сядут в "ситроен" или какой-либо другой французский автомобиль, ибо французская техническая мысль, подобно французской политике, есть запудривание мозгов и пижонство чистой воды, о чем свидетельствует простой факт: имея вполне современный передний привод, "ситроен" снабжен ненадежными тормозами устаревшего образца, не то что, скажем, "хорьх", "бентли" или "мерседес-бенц". Дорогой пан Богумил, это случилось спустя несколько дней, Уейщиско оказалось отрезано от нижних районов города, потому что возле прудика перевернулась цистерна и дорогу перегородили пожарные с полицией, я бежал через поле, боясь опоздать на второе занятие с панной Цивле, а надо мною пели в вышине жаворонки, то и дело прямо из-под ног с металлическим треском вспархивали из травы куропат-

ки; в рюкзаке лежал сборник ваших новелл, одну из которых я собирался порекомендовать инструкторше — ту самую, о вечерних занятиях в автошколе, — и я давал себе зарок, что не стану отныне забалтывать панну Цивле, а просто протяну ей вашу книжку со словами: — Вот рассказчик, перед которым я умолкаю, — план был готов и поведение продумано, но как только в одну минуту одиннадцатого я, запыхавшись, вбежал на учебную площадку, панна Цивле таинственно улыбнулась и прежде, чем я принялся отрабатывать парковку задним ходом, протянула мне точно такую же книгу и спросила: — Вы знаете Грабала? Этот его отчим Франсин чем-то напоминает вашего дедушку, если, конечно, вы ничего не сочиняете. — Я быстро выполнял команды, и даже с "коридором" дело пошло на удивление гладко, но она ни разу не сказала: "Хорошо", а потом наконец спросила: — Вы обиделись на мое сравнение? — Покуривая самокрутку, мы стояли на солнечной полоске, делившей площадку пополам, а с другой стороны, под каштаном, в тени кирпичной стены сидели с бутылками пива три усталых мужика; раскачиваясь, подобно дервишам, они бормотали свои истории, рефрен которых — "курва" и "клал я..." — поднимался к небу, словно возвышенная молитва, без устали возносимая во славу жаркого утра. — Мой дедушка Кароль, — ответил я наконец, — никогда собственноручно не копался в моторе и не доверял мотоциклам, а кроме того, он занимался не производством пива, а производством динамита и взрывчатых веществ и, быть может, именно поэтому, подобно Франсину, не верил в прогресс и новые изобретения, хотя, как и Франсина, деда порой осеняли совершенно безумные идеи. — Так я и знала, — панна Цивле едва не бросилась мне на шею, — ну, давайте, садитесь, — она загасила окурок об асфальт, — теперь, пожалуйста, выезжайте направо, на Картускую, потом кусочек прямо, потом налево и вверх до Варшавских повстанцев, а там я скажу куда! — Я думал, — заметил я, пристегиваясь, — что сегодня мы ограничимся учебной площадкой, должен вам признаться, поездки по городу вызывают у меня отвращение. — Отчего же? — громко засмеялась она, когда мы тронулись. — Нормальное дело, если тебя обругают, скажем, раз в неделю, — объяснял я, пропуская перед самым носом "фиатика" трамвай, — но, взявшись вот за это, — я побарабанил по рулю, сворачивая наконец направо, на Картускую, — за какой-нибудь час собираешь столько "ёбов", сколько раньше получал от ближних за целый год. Вот уж никогда не думал, что шоферы хуже шимпанзе, честно говоря, я уже готов был отступить и, если бы не этот Грабал, которого я нес вам сегодня через поля Уейщиско, поставил бы на этом точку, то бишь дезертировал, просто больше бы не пришел, но раз вы подумали о том же, раз принесли мне ту же самую книгу, то, возможно, это неспроста, быть может, это знак, ибо, как сказано в Писании, где соберутся двое, там и трое. — Внимательнее, — строго прервала меня панна Цивле, — включите, пожалуйста, левый поворотник и дождитесь, пока те, напротив, остановятся на красный свет, вот так, хорошо, ну и что за безумные идеи посещали вашего дедушку? — Самой потрясающей оказалась идея со стеной, — мгновенно ответил я, — попадание в десятку, шедевр комедийного жанра, а началось все с пана Норберта, управляющего имением Сангушко, пригласившего дедушку на охоту, во время которой молодой инженер-химик познакомился с молодым князем Романом; стоя в цепи стрелков, они сразу же нашли общую тему для разговора — страшное занудство престарелых теток; оказалось, что обоих мучила одна и та же проблема, бесконечные, длившиеся неделями визиты пожилых родственниц, которые не только нарушали течение жизни князя и инженера, но к тому же обожа-

ли семейные автомобильные прогулки и изводили хозяев постоянными просьбами поехать покататься; так они беседовали — с набитыми штуцерами, поджидая лосиху, — и дедушка Кароль вдруг признался князю, что имей он такую же усадьбу, со всех сторон огороженную надежной стеной, вопрос давно был бы закрыт. — Что вы имеете в виду? — князь перезаряжал штуцер. — Все очень просто, — ответил дедушка, — нам понадобятся лишь несколько человек на полдня и строгая секретность. — Ничего себе, — панна Цивле приоткрыла окошко и прикурила самокрутку, — вы хотите сказать, что тетку замуровали в фамильной часовне, словно бедного Мазепу, но ведь нравы изменились, даже среди князей. — Разумеется, — продолжал я, — речь шла не о часовне, а о поездке на автомобиле, иначе говоря — последней прогулке графини Эуфемии, этой несносной тетки князя Романа; так вот послушайте: за несколько дней до ее приезда хозяин велел пану Норберту собрать рабочих и сделать в южной части парковой ограды широкий пролом, затем подвести к этой дыре дорогу, после чего замести все следы и заменить разрушенный фрагмент замшелой стены картонной декорацией, что было выполнено просто-таки мастерски, и вот наконец настал день прогулки, князь Роман в автомобильных очках и шарфе сделал на своем "бугатти" этот последний поворот, наддал газу и помчался прямо на стену. — Стой, стой, — кричала тетка, — куда ты едешь?! — А князь, прибавив скорость, воскликнул: — У меня очки запотели, тетя, но это ведь, вроде, ворота! — и они налетели на ограду — правда, бутафорскую — и въехали на парковую аллею с большим листом картона на капоте, причем князь Роман улыбался, а тетка, графиня Эуфемия, от ужаса едва не лишилась чувств. — Очень смешно, — буркнула панна Цивле, — на месте княжеской тетки я бы выдрала наглеца как сидорову козу — при всем народе, словно мальчишку; ну, а тетушке вашего деда тоже была уготована дыра в ограде? — Ну что вы, — я включил первую передачу, — ведь у деда Кароля не было ни усадьбы с парком, ни соответствующей стены, ни спортивного "бугатти" — он продолжал ездить на "цитроне", том самом, омытом на улице Уейского его кровью и украинским молоком, а дом еще только строился. — У вас концы с концами не сходятся, — холодно заметила панна Цивле, — если дома у него не было, где же он принимал эту свою ужасную тетку? И где он, интересно, жил с вашей бабушкой — вряд ли они все еще женихались? — А вот и сходятся, — сигнал светофора поменялся в третий раз, очередь наконец дошла до нас, и с перекрестка я стремительно ворвался на улицу Варшавских Повстанцев, — он жил в служебном доме при заводе. — А завод ему не принадлежал? — удивилась панна Цивле. — Ведь, судя по вашему рассказу, он был богат. Иначе как бы он подарил невесте "ситроен"? — Это диалектика, — ответил я, — и "Капитал" Маркса в одном флаконе, да будет вам известно, что, когда дедушка, закончив университет, переполненный идеями и проектами будущих изобретений, вернулся из Берлина во Львов, выяснилось, что источник заработков иссяк — единственная принадлежавшая ему маленькая нефтяная скважина под Бориславлем приказала долго жить, случай, кстати, весьма примечательный, ибо на всех соседних участках, да что там, по всей округе скважины продолжали сочиться нефтью, а его, как нарочно, перестала, и дед вложил все свои сбережения в проведение экспертиз, закупку новейших буров и углубление скважины, но все тщетно — нефть на его кусочке Эльдорадо закончилась навсегда, и мой дедушка Кароль из скромного владельца средств производства превратился в винтик производительных сил, а именно — в безработного наемного служащего, поэтому сразу после свадьбы они с женой перебрались в Хо-

жов, затем в Варшаву, потом опять во Львов, оттуда на время в Вольный город Гданьск, наконец, вновь в Варшаву, после чего снова во Львов, и бабушка Мария уже была близка к помешательству, так как чем более скромной оказывалась зарплата, тем более смелые планы строил дед. — Смотри, — говорил он, — я разработал новые технологии, начни мы их применять в Польше, через двадцать лет обогнали бы немцев, — но бабушка Мария лишь горько улыбалась, потому как никто этих проектов не читал, а ей, большой любительнице цветов, каждый год приходилось сажать их в новом городе и в новом саду, так что перспективы были не очень-то радужные, — я притормозил за старым грузовиком, выбрасывавшим кошмарное облако выхлопных газов, — и лишь когда Квятковский начал строить завод в Мосците, дедушкины проекты наконец пригодились, там они с бабушкой и поселились — сперва в служебном особнячке при заводе, а потом и в собственном доме. — Неплохо, — подвела итог панна Цивле, — ну а эта его тетка? В отличие от госпожи графини она, вероятно, не утратила пристрастия к автомобильным поездкам... — О нет, — на этот раз я переключил передачу плавно, без малейшего скрежета, — тетка Зофья из Бориславля навещала их не реже трех раз в год и первым делом всегда велела деду везти себя в Гумниски, к усадьбе князя Сангушко, вернее, даже не к усадьбе, а к парковой ограде, пробоину в которой вновь заложили камнем; тетя выходила из машины, шла к тупику и ощупывала памятное место, словно желая убедиться, что стена настоящая, после чего возвращалась в "ситроен" и, не успевал дедушка стремительно тронуться, взрывалась: — Что за подлость, что за времена, что за падение нравов, что за аристократия, что за молодежь, что за большевизм, что за мерзость! — а дедушка Кароль лишь невозмутимо газовал в ожидании сакраментального: — Не за нее, несчастную, окончившую свои дни среди умалишенных, я молюсь, но за бессовестных молодых людей, ибо ты видишь, Кароль, их хватает даже в высших сферах нашего общества, — с чем дедушка молчаливо и покорно соглашался и еще сильнее давил на педаль акселератора, так как тетка Зофья обожала быструю езду и, в сущности, жалела, что Кароль не князь, а она не графиня и они не могут мчаться по Збылитовской Гуре, Кошице или Закличинам на спортивном "бугатти", как имел обыкновение делать Роман Сангушко. — Раскудахтавшийся, почти скрывшийся в черном облаке выхлопных газов грузовик, вслед за которым мы ползли вверх по улице Варшавских Повстанцев, вдруг фыркнул и, подобно престарелому мулу, что перед тем как пасть, вдруг впервые за долгие годы труда начинает упираться, беспомощно остановился, перегородив наш ряд. — Супер, — панна Цивле незаметно взглянула на часы, — до ужина мы и километра не проедем! — Мы, пан Богумил, и в самом деле застряли, и выскочи даже моя инструкторша из "фиатика", как в прошлый раз, это ничего бы не дало. — А дни этого "цитрона", — невозмутимо продолжал я, — были уже сочтены, ибо, да будет вам известно, дедушке Каролю пришла в голову гениальная идея, как отвратить тетку Зофью от подобных поездок — он завел моду брать с собой "лейку" да десяток кинопленок и чуть ли не каждую минуту тормозить, выходить из машины, укладываться в канаву, взбираться на дерево или прятаться за стогом сена, восклицая: — Взгляни, Зося, какая прелестная жаба! — или: — До чего живописная корова! — или: — Эти облака достойны кисти Рембрандта! — а тетка бежала следом и тоже восхищалась — что же оставалось ей делать? — так вот, дедушка, желая привить ей еще большую неприязнь к такого рода прогулкам, всякий раз, добравшись до Мосците, вдруг взглядывал на часы и вскрикивал: — Еще успеем отдать в проявку! — после чего разворачивал-

ся и по мосту через Белую мчался в Тарнов, чтобы за несколько минут до закрытия отдать пленки пану Бронштайну, чья лаборатория на Краковской улице считалась самой лучшей, а тетка, недолюбливавшая евреев, была вынуждена, сидя в машине, наблюдать через окно мастерской, как дедушка приветливо здоровается с паном Хаскелем Бронштайном, как забирает у него пачки готовых фотографий, как они обсуждают едва ли не каждый снимок — какая выдержка, какая диафрагма; ей приходилось ждать, глядя, как дедушка покупает парочку новых пленок, затем, наконец, расплачивается и пожимает пану Хаскелю руку, благодарный не только за обслуживание, но и за профессиональные советы; на все это иногда уходило более получаса, кончилось тем, что тетка взбунтовалась против дедушкиной страсти к фотографии и, когда он выскакивал из машины с криком: — Взгляни-ка, Зося, ну разве эта девушка в платке не напоминает гуцулку?! — продолжала сидеть с обиженным видом; так случилось и под Рожновом, куда они отправились однажды после обеда: дедушка выбежал из автомобиля и принялся щелкать как заведенный, потому что над долиной Дунайца и недостроенной плотиной как раз пролетал самолет "РВД-6", точь-в-точь такой же, как тот, на котором Жвирко и Вигура выиграли "Челлендж"[1], и дедушка Кароль восторженно взирал на сей аппарат, ибо весь этот пейзаж с холмами, рекой, аэропланом и плотиной вдруг глубоко тронул его техническую душу, ведь сконструированный в Мельце самолет воплощал идеалы современности, поднимавшаяся на глазах плотина тоже была современной, и в своем сдержанном сердце дедушка ощутил своеобразную инженерную гордость за то, что "обретенная помойка"[2], его несчастная страна, пусть слишком медленно, но все же оправляется после коллапса и, быть может, лет через двадцать займет достойное место между Россией и Германией. — Так я себе представляю, — я поглядел панне Цивле в глаза, — его эйфорические мысли в тот момент, когда он фотографировал медленно плывший над долиной и плотиной самолет на фоне частокола подъемных кранов; стоявший же на ручнике "ситроен" начал тем временем скатываться вниз, и тщетны были крики и отчаянные жесты тетки Зофьи, автомобиль все быстрее приближался к высокому берегу, пока, наконец, не рухнул в Дунаец, но все это укрылось от внимания заглядевшегося на небо фотографа-любителя, и лишь когда "РВД-6" исчез за линией холмов, дедушка обернулся и постиг весь драматизм ситуации: машина погрузилась в воду уже до середины дверцы, но это был не пруд, а стремительная река, так что "ситроен" с каждой секундой удалялся от берега, в то время как перепуганная тетка Зофья то давила на клаксон, то вновь и вновь тщетно дергала дверь, и спасло ее лишь чудо — когда уровень воды уже достиг окошка, а дедушке, стоявшему в реке по пояс и едва удерживавшемуся на ногах, как и тетке, никак не удавалось открыть эти чертовы дверцы, переднее колесо уперлось в подводный камень, слава богу, в этот момент подоспели рабочие с плотины, которые прицепили трос к заднему бамперу и принялись медленно, сантиметр за сантиметром, отвоевывать у Дунайца автомобиль с теткой Зофьей и совсем уж было добились своего, но трос лопнул — к счастью, в том месте оказалось не так глубоко, тетку удалось извлечь из ловушки и при помощи нескольких

1. На польском самолете "РВД-6" Франтишек Жвирко и Станислав Вигура в 1932 г. выиграли международные соревнования спортивных самолетов "Challenge International de Tourisme".
2. Намек на популярное выражение польского писателя Ю. Кадена-Бандровского (1885—1944), который назвал настроения в получившей наконец в 1918 г. независимость Польше "радостью от обретения помойки".

пар мужских рук быстро доставить на каменистый берег, с которого спасенная и спасители вместе наблюдали, как "ситроен" погружается в воды малопольской реки, на сей раз окончательно. — Они даже не попытались его достать? — поинтересовалась панна Цивле, закуривая самокрутку. — Какая же там глубина, в верховьях Дунайца? — Не в верховьях, а в нижнем течении, да еще прошу учесть то обстоятельство, что плотина была уже почти достроена и в Рожнове как раз производился пробный подъем воды, а кроме того, дедушка Кароль и слышать об этом не желал и, как только тетка отбыла в Бориславль, немедленно связался с представителем "Ситроена" в Южной Польше и сообщил тому о дефектах тормозной системы в их моделях, особенно напирая на недостатки ручного тормоза, однако мсье Россе вежливо возразил, что причина случившегося — не в заводском браке, а в неправильной эксплуатации, и стало ясно, что рассчитывать, будто дедушке Каролю в Мосците повезет так же, как бабушке Марии во Львове, не приходится, ибо продажи "ситроена" в Польше к тому времени увеличились, фирма сменила рекламную стратегию, а главное, — я протянул панне Цивле пепельницу, — разве мог железнодорожный переезд в качестве декорации чудесного спасения сравниться с каменистым пляжем на берегу Дунайца, и разве фотография юной барышни-автомобилистки, la belle polonaise[1], шла в какое-либо сравнение с портретом упитанного господина инженера средних лет? Поэтому на прощание дедушка Кароль сухо сообщил мсье Россе, что отныне предпочтет французской марке австрийский "стейр", чешскую "татру", польский или итальянский "фиат", ибо "стейр", "татра" и даже польский "фиат" снабжены гидравлическими тормозами, а фирма "Ситроен" упрямо использует архаические тросы, вследствие чего каждое колесо существует само по себе и диски никогда не зажимаются с одинаковой силой. — И на чем он потом ездил, — панна Цивле вернула мне пепельницу, — на какой машине? — Это был "мерседес-бенц", — ответил я, — 170 V, великолепный дизайн кузова, цвет гнилой зелени. — Все-таки не польский "фиат"? — громко засмеялась панна Цивле. — Дедушка счел его слишком маленьким или слишком дорогим? — Слишком дорогим для такой маленькой машины, — ответил я не задумываясь, — точь-в-точь как ваша игрушечка. — А вы на чем будете ездить, когда получите права? — На автобусе, со временем заработаю на велосипед и лишь после этого — на дельтаплан. — Так зачем вам права? — Вот-вот, — я кивнул на зеркало, отражавшаяся в котором километровая пробка напоминала гигантскую змею, — похоже, только затем, чтобы иметь возможность размышлять о смысле странной фразы Конфуция: если не расцветают ритуалы и музыка, то наказания и взыскания несправедливы. — Какой же вы болтун, — она громко засмеялась, — неужели о штрафах нельзя сказать попроще? — Дорогой пан Богумил, вы просто представить себе не можете, какое меня охватило волнение, я едва не отпустил сцепление "фиатика", и мы едва не врезались в выхлопную трубу чертового грузовика, который продолжал стоять на месте и обдавать нас отвратительным дымом, а все потому, что, задав этот вопрос и поглядев на часы, панна Цивле быстро предложила: — Знаете что, поехали ко мне, — и тотчас начала переползать через мои колени на водительское место, а я, под ее попкой, точно так же, как и в первый раз, передвинулся в кресло инструктора; осуществив наконец эту рокировку, панна Цивле сдала назад сантиметров на десять, почти вплотную прижалась к бамперу "трабанта", включила первую скорость, до упора вывернула руль

1. Прекрасной польки (*франц.*).

вправо и медленно-медленно освободила нас из западни; она въехала на тротуар, вежливо пропуская пешеходов, после чего перебралась на газон, обогнала грузовик, притормозила, затем опять пересекла тротуар, вновь оказалась на мостовой, и этот маневр, дорогой пан Богумил, был не просто искусным, в чем я убедился уже в следующее мгновение, поглядев в зеркало, — он оказался поистине спасительным, потому что у грузовика, как выяснилось, полетели не только мотор с коробкой передач, но и тормоза, и буквально через секунду после того, как мы выскочили из пробки, он беспомощно покатился вниз, смяв передок "трабанта", "трабант" сплющил капот "горбунка", "горбунок" наехал на "тойоту", "тойота" — на "опель": словно тронутые незримым пальцем костяшки домино или бильярдные шары, машины стукались друг о друга, и этому однообразному движению, казалось, не будет конца, точь-в-точь как утверждал еще давным-давно Исаак Ньютон, а панна Цивле тем временем прибавила скорость, на первом же перекрестке свернула направо, теперь мы мчались мимо наполеоновских фортов, и я заметил, что моя инструкторша все больше нервничает, то и дело поглядывает на часы и спидометр, словно нам предстоит пройти решающий участок гонок Париж–Дакар, а когда в следующее мгновение мы свернули к садовым участкам на холмах, она поехала еще быстрее, "фиатик" мячиком подскакивал на выбоинах, а я размышлял о причинах спешки, которую можно было интерпретировать самым различным образом, но ни одна из моих гипотез, дорогой пан Богумил, не оправдалась, потому что когда мы буквально влетели в небольшой садик, окружавший деревянный сарай с пристройкой, панна Цивле сказала: — Подождите здесь, мне нужно сделать брату укол, — и, увидав через несколько минут, как она выходит из сарайчика, толкая перед собой инвалидную коляску с улыбающимся парнем, как она нас знакомит, я сразу понял, что этот самый деревянный сарай с пристройкой — их постоянное и единственное жилище. — Давайте я угощу вас кофе, — предложила она, — только не внутри — там бардак, к чему вас пугать, а Яреку, — она кивнула на брата, — ужасно хочется послушать эти ваши истории про старые автомобили; когда я ему рассказала про "цитрон" и железнодорожный переезд, он чуть с коляски не вскочил, он все понимает, просто вместо слов у него получается лишь "у-у-у" и "а-а-а", я быстро, разве что вы очень спешите, тогда я сперва подброшу вас к остановке, ничего страшного, все сегодня пошло наперекосяк из-за этого чертового грузовика. — Спустя мгновение она вынесла из сарая поднос, на котором стояли кофейник, две чашки, печенье и тарелка молочного супа. — А у этого "мерседеса", — поинтересовалась она, — тормоза были получше, чем у "цитрона"? — Что и говорить, дорогой пан Богумил, я был смущен нетривиальностью ситуации: панна Цивле кормила Ярека с ложки, время от времени откладывая ее, чтобы сделать глоток кофе, а я оглядывался, любуясь удивительной красоты узором, который образовывали в весеннем воздухе кирпичные башни ганзейских костелов за деревьями садов и запущенного кладбища. — Тормоза у него были хорошие, — ответил я наконец, — но вы только представьте, как тяжко в те времена приходилось водителям. — Не выдумывайте! — возмущенно прервала меня панна Цивле, — ведь коробка передач уже, наверное, была без манетки[1], а все остальное — как сегодня: тормоза, сцепление, газ. — Верно, — согласился я, обмакивая кусочек печенья в кофе, — но сегодня первый техосмотр проходят после пятнадцати тысяч километров, а тогда автомобилист буквально не рас-

1. Рычаг управления переключением передач.

ставался с инструкцией, разве что сразу переписывал ее себе в блокнот; вот, к примеру, — принялся я перечислять по порядку, — в той "сто семидесятой" модели следовало каждые пятьсот километров проверять натяжение ремня привода вентилятора, затем уровень масла и охлаждающей жидкости, наконец, тормоза у каждого колеса, а после каждых полутора тысяч километров — менять моторное масло, чистить сетки воздушного фильтра, смазывать рычаги сцепления, тормоза и газа, доливать масло в резервуар центральной смазки, каждые четыре с половиной тысячи километров — снимать и чистить фильтр горючего, осматривать карбюратор, проверять тягу подсоса, регулировать клапана двигателя, кроме того, каждые семь с половиной тысячи километров — менять масло в коробке передач и масляный фильтр, смазывать кожухи подшипников передних колес, а каждые пятнадцать тысяч километров — промывать систему охлаждения, смазывать передние рессоры и устанавливать тормозные колодки с соответствующим люфтом, не говоря уже о том, что каждые сто тысяч километров цилиндры приходилось шлифовать. — Хватит, — сказала панна Цивле, под мурлыканье Ярека откладывая ложку и ставя тарелку на стол, — он бы еще послушал, — она обернулась ко мне, — но не станем вас мучить, укол сделан, суп съеден, поехали вниз, к остановке. — Нет, прошу вас, не стоит, — возразил я, — это не так далеко, я сам дойду. — Вы заплатили за час езды, — решительно запротестовала она, — надо закончить урок, я только посажу брата читать, и едем. — Может, отработаем эти двадцать минут в следующий раз, — меня вовсе не тянуло за руль, — а сегодня я уж пойду? — Хорошо, тогда я прогуляюсь с вами до магазина, — сдалась она, — только поставлю ему книжку. — И вот, дорогой пан Богумил, спустя несколько минут мы с панной Цивле уже шагали вниз по аллейке между садовыми участками, ганзейские башни костелов становились все меньше, пока, наконец, не скрылись вовсе, но не о них я думал, спускаясь вдоль кладбищенской ограды и очередных домиков с сараями, которые, судя по телевизионным антеннам, жестяным трубам, курятникам и пристройкам, были отнюдь не летними беседками, а постоянным жильем, так вот, не о костелах Главного и Старого города[1] я размышлял, а о людях, у которых тут, должно быть, зимой замерзает в кране вода, дымят печки, протекают крыши и перегорают пробки, о людях, которые живут здесь, среди деревьев и зелени, словно на крыше города, вовсе не будучи олимпийцами. — Что вы молчите? — спросила панна Цивле. — Как пешком, так уж и сказать нечего? — Отчего же? — пожал я плечами. — Просто теперь мне хочется слушать, а не говорить. — Вы потрясены, — деловито заметила она, — таких районов по нашему телевидению не увидишь, впрочем, рекламировать тут у нас нечего, разве что воздух, но его в продажу пока еще не пустили, — улыбнулась она собственным словам, — а когда пустят, выстроят дома для тех, у кого тугой кошелек. — Так и закончились, пан Богумил, наша прогулка и наша беседа, панна Цивле отправилась в магазин, а я шагал дальше, до самых Варшавских Повстанцев, где пожарники теперь разрезали сцепившиеся машины, а пробка тем временем все увеличивалась, и, должен вам сказать, это было красиво — снопы искр, летевшие, подобно Волосам Вероники[2], из-под вращающихся дисков, — до такой степени красиво, что я замедлил шаг и вопреки своим принципам затесался в густую толпу зевак, всякий раз буквально постанывавшую от восторга при виде "скорой", которая увозила

1. Районы Гданьска.
2. Созвездие Северного полушария.

очередного извлеченного из этих жестяных зарослей водителя, а я все не мог прийти в себя и успокоиться, но не из-за несчастных, которых укладывали на носилки и развозили по больницам, а вспоминая то, что увидал в окошко деревянного сарая, когда стоял в садике панны Цивле: вот она подвозит брата к окну, на высоте его глаз устанавливает книгу на подставку, напоминающую музыкальный пюпитр, затем надевает Яреку на шею что-то вроде ошейника с лапкой на пружине; потрясенный, я наблюдал, как ее близнец-калека поднимает голову, захватывает губами металлическую лапку и с помощью этого приспособления без особого труда листает книгу взад-вперед в поисках места, на котором остановился, пораженный, я смотрел, как он на мгновение задумывается: — Это я уже читал или еще нет? — как переворачивает своей "указкой" страницы ваших, дорогой пан Богумил, рассказов, находит, наконец, нужный фрагмент, выпускает изо рта лапку и, широко улыбаясь, принимается за чтение, в то время как панна Цивле готовится к выходу, поправляет перед висящим на стенке зеркальцем едва заметный макияж, собираясь, как я уже вам писал, спуститься вместе со мной вниз, в магазинчик у границы садовых участков. Да, я был взволнован, подсмотрев интимную минуту их жизни, без сомнения повторявшуюся множество раз и ставшую обыденностью, и взволнован тем, что, отпрянув от окна — панна Цивле уже заканчивала макияж, — отпрянув, видимо, лишь ради того, чтобы случайно наступить на крошечный зеленый кустик, растопыренное, спрятавшееся между вьюнком и крыжовником растеньице, так вот, в смущении сделав шаг назад, я заметил такие же растения, причудливо рассаженные в хорошо освещенных, а главное, хорошо укрытых от соседского глаза местах — зарослях смородины, маленьких прогалинках между обнаглевшими сорняками, а также среди стаек гладиолусов и пионов; словом, обнаружил эту плантацию священной травы, что прибыла к нам из Индии и преследуется, подобно Дионису в Греции. Пожарные тем временем заканчивали резать последний автомобиль, на сей раз извлекая водителя, оказавшегося целым и невредимым, что толпа зевак приняла с покорным разочарованием, а я зашагал дальше, к остановке, собираясь отправиться на Уейщиско и сразу по возвращении домой отыскать те две или три старые фотографии, единственное, что досталось мне от дедушки с бабушкой, чтобы на следующем занятии показать панне Цивле "цитрон" бабки Марии и "мерседес" дедушки Кароля, собственно, не столько даже ей, сколько Яреку, которого снимки и в самом деле могли заинтересовать, а может, и порадовать. Однако тщетно я искал, фотографий нигде не оказалось, вероятно, догадался я, они пропали во время переезда, когда мы с Анулей перебирались с улицы Хшановского на Уейщиско, — небось, отправились на помойку вместе с каким-нибудь пакетом макулатуры, затерявшись среди старых газет, писем и счетов, так что, похоже, мне оставалось лишь рассказывать о них панне Цивле во время очередной нашей поездки, и было мне отчего-то обидно, я ощутил себя просто-таки лишенным наследства, ибо что такое утрата дома или имущества в сравнении с утратой последних семейных фотографий, и на следующий урок я шел в весьма мрачном расположении духа, твердо решив больше не рассказывать инструкторше никаких старых автомобильных историй — ни слова, даже шепотом, раз уж снимки пропали, — и мне вдруг почудилось, что я обобран до нитки, но судьба, дорогой пан Богумил, приготовила мне очередной сюрприз, потому что когда я вышел из автобуса на Картуской и поднимался по улочке Совинского, когда я мысленно составлял первую фразу, с которой намеревался в тот день обратиться к панне Цивле: — Простите, но в связи с по-

терей нескольких семейных фотографий я погружен в глубокую меланхолию и прошу не задавать мне никаких вопросов, ни слова, ни полслова, ни звука!.. — так вот, когда, настроившись таким образом, я подошел к фирме "Коррадо", из "фиатика" инструктора Жлобека высунулась рано поседевшая голова его владельца и раздалось: — Так это вы, что ли, писатель? Прошу ко мне, Цивле пришлось сегодня взять отгул, что ж, поглядим, каковы результаты этой бабской науки. — Дорогой пан Богумил, в тот миг, как и во время первого урока, я ощутил, что жизнь вновь описала круг, а я вдруг вернулся к уже пройденному. — Да-а, посмотришь, как вы устраиваетесь за рулем, сразу ясно — жопа, а не офицер, — неистовствовал инструктор Жлобек, пока я путался в чересчур свободном и чересчур длинном ремне, — ну, одной рукой — это вы курей можете щупать, — он помог мне пристегнуться, — давайте-ка трогайтесь, это вам не политехнический, здесь думать надо! — почти заорал он, поскольку мотор моментально заглох, — господин писатель, — веселился он, весьма собой довольный, — чтобы водить машину, яйца нужны, а не резинка от порток, да еще дамских, ну что, оставила вас в целках наша Железная Леди, наша дамка-в-рамке, наша штучка-в-заде-ключик на колесах? — Вот что, — буркнул я злобно, — заткнитесь, Жлобек, мне наплевать на ваши эстетические взгляды, а будете на нервы действовать, разобью вашу таратайку на первом же перекрестке, — и сам себе удивлялся, дорогой пан Богумил, откуда у меня такие речи и такой гонор, откуда вдруг такое вдохновенное и запредельное хамство, но оказалось, что я совершил ошибку, за которую дорого поплатился, ибо, услыхав подобное заявление, Жлобек — нет, вы только подумайте, это ничтожество! — сразу принял меня за своего, так что я, как говорится, за свое и получил; да, пан Богумил, это было поистине повторение армейских уроков, мое déjà vu[1], сентиментальное путешествие к университетским истокам, ибо, сидя теперь в "фиатике" рядом с инструктором Жлобеком, который то и дело похлопывал меня по плечу и прямо в ухо выкрикивал неприличные анекдоты, я вспомнил, как туманным утром шагал к Военной академии через спящий Вжещ[2] по улице Лелевеля, застывал в шеренге по стойке "смирно", затем маршировал в аудиторию, где майор Толстоус разъяснял нам, сколь губительные последствия оказывают на обороноспособность страны длинные волосы, где поручик Цацка демонстрировал, как вести себя при ядерном ударе, где полковник Видейко растолковывал премудрости ленинской и брежневской доктрины, и все выражались почти как инструктор Жлобек, так же громогласно смеялись собственным шуткам, так же фамильярно подмигивали, затрагивая в своих рассуждениях одну из двух неизменно смежных тем, а именно пьянство и блядство, так же жаждали быть с нами на дружеской ноге, презирая при этом всё, что хоть немного отдавало гуманитарными науками. — Здесь я когда-то работал, — прервал мои армейские раздумья инструктор Жлобек, указывая на выключенную днем неоновую вывеску бара "Лида", — здесь тогда крутились большие бабки, то и дело какой-нибудь фраер подцеплял девицу, приходилось везти их на хату, в дешевый мотель, на пару кувырков, вот я и катался, а теперь этот сукин сын достроил еще этаж и сдает комнаты по часам, так что транспорт им больше не требуется, представляете, такси пришлось продать, вот и маюсь теперь в этом дерьме, с такими, как вы, а вы ведь вроде писатель, — инструктор Жлобек загоготал, — так что, небось, частенько здесь появляетесь, это ж го-

1. Уже виденное (*франц.*).
2. Район Гданьска.

товый сюжет, когда тебе какая-нибудь курва наплетет с три короба про свою несчастную долю, да, я много чего могу порассказать, если у вас есть знакомый режиссер, можно бы и приличные бабки срубить; имелась тут, к примеру, одна Виола, начинала как обычная портовая девка, потом добралась до "Монополя", а когда вышла на танцпол "Лиды", это уж был прям Голливуд на улице Картуской, так вы только подумайте, влюбилась она в педика, и до того, что сделала операцию и стала парнем, ну и теперь, стало быть, дрочит ему не в качестве Виолы, а в качестве Валентина, так она велела записать себе в паспорте, а этот ее гусь-кельнер, когда его вытурили из "Лиды", перешел в "Кристалл", нет, ну чтоб от любви пол менять, просто офигеть, вот это тема, не то, что теперь — каждый второй о коммунистах, при коммунистах ничуть плохо не было, просто люди распустились, а это, скажу я вам, последнее дело, если их за яйца никто не держит, вот и вышел бардак, а никакая не свобода, взять хотя бы машины: все накупили — и не проедешь, сплошная пробка с утра до вечера, а ввели бы талоны, как раньше, так и было бы столько жестянок, сколько на дороге умещается. — Я, дорогой пан Богумил, молчал — и тогда, на светофоре возле "Лиды", и потом, на учебной площадке, и вернувшись, наконец, снова на Картускую, откуда уже вполне плавно выехал прямо на улочку Совинского к фирме "Коррадо", молчал я и на следующий день, когда панна Цивле опять не вышла на работу, а мне опять пришлось забираться в машину инструктора Жлобека, молчал я и тогда, когда карабкался после этой поездки на холм, что распростерт над городом, словно библейский плащ Ильи-пророка с узорным подбоем маленьких домиков и шахматной доски садовых участков, где уже цвели сирень и чабрец, где стояли в ожидании дождя замшелые старые ванны, где гомонили дети и под звяканье кастрюль воздух наполнялся обеденными ароматами и ленивым послеобеденным куриным кудахтаньем, я молчал, подходя к окну деревянного сарая панны Цивле и ее брата Ярека, где никого не оказалось, так что я, по-прежнему храня молчание, написал записку: "Пожалуйста, позвоните мне, я угодил в лапы к инструктору Жлобеку", прицепил ее к двери и еще более задумчиво стал спускаться вдоль ограды старого кладбища в город, над которым висел смог, заслонявший солнце и кирпичную готику ганзейских костелов. Да, пан Богумил, я и в самом деле оказался заложником инструктора Жлобека и жалел, что вообще записался на курсы, потому что хотя и имел право сменить преподавателя, но это заведомо означало, что мне придется не меньше трех раз пересдавать экзамен, а затем начинать все сначала, так что, стиснув зубы, точь-в-точь как во время военной подготовки, подобно "змее молчаливой, я тихим казался тирану"[1], демонстрировал неподдельный интерес, всякий раз, когда инструктор Жлобек рассказывал анекдот, разражался хохотом, всякий раз, когда он вспоминал какую-нибудь историю, отключался и думал только об управлении машиной, что, впрочем, выходило у меня все лучше, остается лишь добавить, что даже так называемый постлекционный синдром Довженко-Дауна был у меня совершенно таким же, как после восьмичасовой муштры в нашей университетской "армии", а именно — мне требовалось промочить горло. — Ах, дорогой пан Богумил, если б нам тогда хоть одним глазком заглянуть в какую-нибудь из ваших излюбленных пивных, если б вместо гданьской мочи мы могли потягивать холодный "Браник", "Велькопоповицкий козел", "Старопрамен" или обыкновенный "Пильзнер", мы бы, возможно, выросли совсем другими людьми, а так каждый

1. Цитата из поэмы Адама Мицкевича "Дзяды" в переводе А. Виноградова.

четверг после военной подготовки, вынужденные смывать с себя эти восемь часов идиотизма, мы начинали свой обход с "Юрека" на углу Дануси, затем перебирались в "Сапожники" на Лендзёна, и оттуда — в "Агату" на Грюнвальдской, чтобы довести себя до кондиции в "Католике" на Хюбнера, а если кому-то приходилось догонять, то в качестве последнего круга ада его ждал "Лёнька" у железнодорожных путей или "Лилипут" напротив кинотеатра "Факел", и все эти шалманы, все эти токовища, все эти сточные канавы, основанные при Беруте, расцветшие при Гомулке и тихо загибавшиеся при позднем Гереке, все эти этапы нашего крестного пути я припоминал теперь за рулем "фиатика" инструктора Жлобека, и с каждой минутой меня все больше манил запах и вкус того пива, пусть дрянного, да к тому же еще и крещенного водичкой, но заключавшего в себе бесспорно дионисийскую искру, а именно — единожды в жизни даруемую искру юности. Вот так все и было, дорогой пан Богумил, поскольку едва я после часовой поездки выскальзывал из рук инструктора Жлобека, мне немедленно требовалось выпить, и я просил высадить меня где-нибудь в Главном городе, ибо на Картуской хоть и открыли несколько ночных магазинов, но бара не было ни одного, и если Жлобек не отказывал, я сразу отправлялся в "Истру", потом в бар "Старый город" рядом с велосипедным магазином, а затем в "Коттон", открывавшийся только в четыре, и каждый раз пробовал новый сорт пива и проверял, почти как ваш отчим Францин, температуру, чистоту стакана, густоту пены, и после нескольких таких опытов меня охватывало страшное разочарование и глубокая меланхолия, ибо повсюду я обнаруживал полный порядок и идеальную гармонию, все было гигиенично и образцово-показательно, и хотя мне следовало бы радоваться, ибо разве есть на свете большее наслаждение, чем ощутить на кончике языка первый глоток, скажем, "Гевелиуса", потом "Живеца", а после — "Гиннесса", разве есть на свете большее наслаждение, чем сравнивать, сколько и какого солода положено в каждый из этих сортов, на какой почве выращен ячмень, сколько солнечных дней досталось хмелю в минувшем году? И так, раз большего наслаждения на свете нет и раз, несмотря на это, я все же впадал в глубокую меланхолию, причина очевидна: я, дорогой пан Богумил, в очередной раз ощутил, что все в моей жизни пришло слишком поздно и не вовремя, а стало быть, как-то бесцельно и бессмысленно, но тут же вспоминал, как вы трудились на сталелитейном заводе, вспоминал о писателе в период чисток или о свадьбах на Либени, и мне делалось немного легче, наконец я смывал с себя эту меланхолию, запах, исходивший изо рта инструктора Жлобека и от его пропотевших рубашек на трех пуговках, и, сидя на приступочке перед баром "Истра", любовался воротами Арсенала и толпами немецких пенсионеров или, глядя на бильярдный стол в "Коттоне", вспоминал, как в "Юреке", что на улице Дануси, поэт Атаназий, одолжив у местного карлика аккордеон, играл украинские думки и белорусские частушки, и серый от махорки воздух сразу, почти мгновенно, голубел, а прохожие останавливались и восхищенно заглядывали в прокопченный бар через стрельчатые мавританские окна, Атаназий же, которому постоянные клиенты за игру подливали в кружку с пивом водки, входил тем временем во вкус и затягивал теперь уже цыганское "Ой, любят, любят кони" или "Как вновь беда придет", что создавало вокруг соответствующую атмосферу, и наступала пора легионерских песен, которые тут же во все горло подхватывала впавшая в романтическое настроение пьяная толпа, и на эти несколько минут все ощущали себя единым целым, бросались друг другу в объятья и похлопывали по плечу, восклицая: — На следующий

год — в свободной Польше! — и утирая слезу, пока наконец перепуганный Юрек не махал нам: мол, достаточно; мы выходили на улицу и несли Атаназия на руках, а он во весь голос читал Мицкевича, да так великолепно и так громко, что окна и двери балконов в стиле модерн распахивались, нас осыпали цветами, и Анатазий принимался декламировать "Возвращение отца"[1] da capo[2], и примерно на двадцать втором возвращении сего прославленного папаши мы уже прибывали в "Сапожники" на Лендзёна, где утомленный Атаназий, как правило, засыпал после первой же стопки, а мы подначивали бездомного, а потому просиживавшего в баре с открытия до закрытия экс-генерала Недоедо, чтобы тот в сотый раз поведал о десанте в ГДР, и блаженно слушали, как наша гданьская морская десантная дивизия вместо того, чтобы в рамках маневров "Щит" прибыть на Волин, взяла несколько западнее и в пять часов сорок три минуты сперва подняла пальбу, а затем высадилась на немецкой стороне, что вызвало панику не только в рядах комбайнеров сельскохозяйственного кооператива им. Либкнехта, как раз направлявшихся вдоль балтийского берега к расположенным по соседству рапсовым полям, но и в штабах Варшавского договора в Берлине, Москве и Варшаве: — Чего вы там, бляха-муха, вытворяете, полячишки! — орал в трубку Никита Сергеевич Хрущев. — Но послушайте, товарищ, — поднятый с постели Веслав Гомулка с трудом нащупывал очки, без которых совершенно не умел разговаривать, — товарищ Никита Сергеевич, вы же хотели кукурузу, так у нас теперь во всех госхозах сплошная кукуруза, и многие индивидуальные сельские хозяйства тоже начали ее сажать. — Я вам, бляха-муха, покажу индивидуальную кукурузу, — обрывал его взбешенный Никита Сергеевич, — я вам припомню пакт Молотова—Риббентропа, вы что, со спутника свалились, нападать на ГДР, да еще в пять сорок утра! — и экс-генерал с достоинством повествовал, как его разжаловали и как прокурор требовал смертной казни — даже не за этот несчастный десант, с пьяных глаз высаженный на гэдээровской земле, а за то, что Недоедо дерзил военному трибуналу, на полном серьезе утверждая, что никакая это не ошибка, а его, польского генерала, ответ на залпы линкора "Шлезвиг-Гольштейн" по Вестерплатте[3], оборвавшие его детство и лишившие семнадцати родственников, расстрелянных в Пяснице, Штутхофе и Освенциме. Итак, дорогой пан Богумил, когда повесть экс-генерала в очередной раз подходила к концу, мы подхватывали поэта Атаназия с его стульчика у стены и, свернув, словно коврик, тащили в "Агату", где он оживал под рассказы пана Жакевича о своей тетушке, изгнанной большевиками из Вильно и осевшей в Сыцовой Гуте на Кашубах, женщине такого обаяния и волшебной притягательности, что даже свиньи, утки, куры и собаки в ее хозяйстве переставали понимать по-кашубски и переходили на певучий, теплый, блестящий и старомодно-аристократический "кресовый"[4] польский, словом, женщине столь прелестной и изящной, что сидевший за столиком пана Жакевича Рышард Стрыец немедленно брал салфетку и несколькими штрихами набрасывал тетушкин портрет, и было удивительно видеть, как под рукой художника возникает точь-в-точь лик с византийской иконы, сквозь который проступают одновременно черты простой женщины с кашубского дворика и Мадонны в стиле Караваджо; вспоминая те сцены в баре

1. Баллада Адама Мицкевича.
2. С начала (*итал.*).
3. Полуостров в Гданьской бухте, где в начале Второй мировой войны небольшой польский гарнизон героически сражался с превосходящими силами немецко-фашистских войск.
4. "Кресы" — восточные окраины Польши, отошедшие в 1939 г. к СССР.

"Агата", где наш поэт Атаназий приходил в себя под диалог этих двух осколков прошлого, сей парочки потерпевших с Атлантиды, я думаю, дорогой пан Богумил, что никогда и нигде мне не увидеть картины столь же восхитительной, как эти незатейливые линии, благодаря которым синтез Востока и Запада на маленькой салфетке казался чем-то естественным, реальным и прекрасным; но тут наступала пора двигаться дальше, в пивную "Католик", где собирались все прочие жертвы военной подготовки: поэт Питек, воспевавший исключительно ежемесячные кровотечения очередной своей невесты, нелюдимый поэт Салим, творивший исключительно на санскрите, поэт фон Бок, специализировавшийся на математических стихах, а также занудный эпик, мастер длинных дистанций, некий Темпы из Темпча, чья генеалогия восходила к кашубским шляхтичам, что, впрочем, не производило на нас ни малейшего впечатления, ибо мы, дорогой пан Богумил, прекрасно знали, что подобно тому, как вся чешская шляхта полегла в битве под Бялой Гурой, так и кашубская шляхта оказалась обескровлена в битве под Веной, где, впрочем, побила турок под счастливейшей звездой короля Яна Собеского[1]; об этом мы тоже всласть болтали в "Католике", как и о том, почему четырнадцатилетний Гюнтер Грасс, который бегал по тем же улицам Вжеща, что и мы, так и не создал свой первый большой исторический роман о героических кашубах, ведь если большая их часть давным-давно лежит под Веной, то о чем, вернее, о ком же было писать дебютанту Гюнтеру с улицы Лабесвег, 13, носящей сегодня имя Лелевеля[2], каким же, интересно, образом ему удалось бы высечь самурайскую искру боевого духа из столь трагически опростившегося народа, но весь этот треп в "Католике" продолжался недолго, ибо, отдохнув и оживившись, поэт Атаназий демонстративно дул на ладонь, поддергивал манжету и, демонстрируя жилистую фактуру предплечья, вызывал противника на дуэль: однажды им оказался снабженец с Катовицкого металлургического комбината, в другой раз – дрессировщик из цирка "Арена", в третий – моряк с финского грузового судна; мы всегда предлагали делать ставки и никогда не прогадывали, потому что Атаназий, несмотря ни на что, вид имел дохлый, и если кто забредал в пивную "Католик" впервые, то, как правило, ставил десять к одному на его соперника, а тот, кто успел познакомиться с методой Атаназия, надеялся хоть раз увидеть его побежденным, однако поэт никогда не подводил и никогда не уступал, а все потому, что в кульминационный момент, когда скрещенные подобно серпу и молоту ладони застывали над столешницей и исход поединка был еще не ясен, Атаназий своим сильным звенящим голосом принимался декламировать: "Флеб, финикиец, две недели как мертвый"[3], – после чего делал небольшую паузу и продолжал, не сводя с противника глаз: "Крики чаек забыл и бегущие волны, / И убытки и прибыль. Морские теченья, / Шепча ощипали кости..." – и сразу добивался преимущества, пусть и не решающего, но все же, а причина заключалась в том, что хотя никто из соперников Атаназия поэмы Элиота не читал, но картина останков неведомого финикийца с изъеденными солью и угрями глазницами, колеблемого течением, подобно разбухшему зловонному шару, впечатление производила гнетущее, и вот, когда Атаназий гудел во все горло: "Иудей или эллин под парусом у кормила, / Вспомни о Флебе: и он был

1. Ян III Собеский (1629–1696) – польский король (с 1674 г.), который, вступив в союз с Австрией, 12 сентября 1683 г. наголову разбил турецкие войска.
2. Иоахим Лелевель (1786–1861) – историк, идеолог польского национально-освободительного движения.
3. Здесь и далее – фрагменты поэмы Т. С. Элиота "Смерть от воды" в переводе А. Сергеева.

исполнен силы и красоты", – рука противника обмякала и спустя мгновение опускалась на стол, и можно было стричь купоны, причем Атаназий блистал и в том случае, если второй игрок, как, например, финский моряк, по-польски не понимал ни слова, тогда Элиот декламировался на языке оригинала, и изумительный финал: "Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you" – знаменовал победу не менее решительно, чем перевод. Но кому мне было это рассказывать, дорогой пан Богумил, – пани Эве из "Истры"? бармену из "Коттона"? немецким пенсионерам, экскурсионной походочкой снующим от Арсенала к Мотлаве[1] и обратно? Что им было за дело до наших минувших бесследно армейских четвергов, наших попоек во Вжеще, наших экстазов и падений? Итак, я все глубже погружался в свою меланхолию и после каждой поездки с инструктором Жлобеком, который из штанов выпрыгивал, уговаривая меня записаться в новую, тридцатую по счету политическую партию, именуемую им "Наш ход", после каждого проведенного с ним часа отправлялся очищать душу и сгибался под грузом не только воспоминаний, но и тоски: насчет панны Цивле мне сказали в фирме "Коррадо", что она взяла отпуск за свой счет, причем на неопределенное время, и уехала лечить брата – куда, они не знали или не захотели говорить, так что я снова отправился на холмы, где, словно ковчег, утопающий во времени и зелени, покоился в тишине ее сарай; следы от шин "фиатика" уже начали зарастать, окно пристройки затянуло свежей паутиной, дождевая вода в корыте покрылась ряской, под смородиной резвились ежи, и повсюду ароматом сирени, перекличкой дроздов, трелью иволги полыхал май, и даже загаженный выхлопами город не в силах был остановить его нашествие, ощутимое также в безрассудном, будто горячечном буйстве индийской травки: ее задорно растопыренные султанчики и сочные стебли набухали, казалось, на глазах, в этой сверхъестественной и безумной гонке созревая быстрее заключенной в них древней тайны, и я, дорогой пан Богумил, сорвал несколько священных стебельков, самых спелых, чтобы отдать панне Цивле по возвращении – ее бы, наверное, расстроило это чересчур раннее созревание и пропавший урожай, – и зашагал с зелеными побегами вдоль кладбищенской ограды, где покоились бедолаги времен Первой мировой войны, которые, видимо, и заставили меня вновь вспомнить дедушку Кароля, однако на сей раз в роли не автомобилиста, а артиллериста непобедимой императорско-королевской армии Австро-Венгрии, очутившегося после ипритовой атаки в лазарете, где он не один час пролежал без сознания, а проснувшись, увидал перед собой монашеский чепец белее альпийских снегов и воскликнул: – Сестра, воды, пожалуйста, воды! – монашка же, подав ему стакан, заметила: – Вам сперва следует исповедоваться, – и тогда дедушка Кароль схватился за голову и понял, что напоминает мумию, ибо от буйной шевелюры не осталось и следа – санитар-спаситель снял с него противогаз вместе с выпавшими под действием газа волосами; деду, несмотря на раны и лысину, ужасно захотелось жить, и он заявил медсестре: – Умирать я не собираюсь, так что и исповедоваться не стану, – а та, дорогой пан Богумил, оскорбилась, и когда всем тяжелым раненым давали морфий, старалась деда обойти, и тот терпеливо сносил жуткие боли, но все равно не уступил и не исповедался, и в конце концов поправился достаточно, чтобы вернуться для дальнейшего лечения во Львов, и даже волосы у него отросли, правда, огненно-рыжего цвета, о чем я по-

1. Мотлава – река в Гданьске.

*... и заставили меня вновь вспомнить дедушку Кароля, однако на сей раз в роли не автомобилиста, а артиллериста непобедимой императорско-королевской армии Австро-Венгрии...*
**Дедушка Кароль первый справа**

думал уже возле Варшавских Повстанцев, махнув зеленым веником едва не раздавившему меня водителю; мне пришло в голову, что имей дед в своем портсигаре немного засушенных листочков из садика панны Цивле, в лазарете ему пришлось бы куда легче, и в ночном бреду он бы наверняка увидел не кошмар окопов, а вещи значительно более приятные, к примеру маевки в Жиравце или катание на лыжах в Трускавце, где собирались студенты и преподаватели Политехнического института, так что, пожалуй, если бы он мог меня теперь видеть, то не упрекнул бы, что с зеленым пучком индийской травки я сажусь в автобус, компостирую билет и устраиваюсь на свободном месте рядом с водительской кабиной, среди вдов с цветочными горшками и букетами, ежедневно навещающих мужей на Лостовицком кладбище; о да, представляю, как бы он улыбнулся, услыхав вопрос одной из старушек: годится ли вон та зелень, что лежит у меня на коленях, для живой изгороди, или лучше высадить ее в парник, ведь дедушка Кароль, никогда не будучи анархистом, не жаловал чиновников с их запретами, не жаловал глупых политиков и, наверное, здорово бы удивился, что эта фарисейская секта, которая позволяет и призывает чтить Диониса в любое время и в любой точке нашей страны, включая парламент, преследует при этом Шиву, да, дорогой пан Богумил, словно мы не вольны выбирать себе богов и все поголовно обречены чтить одного-единственного, навязанного нам сатрапа в трех лицах: акцизы, НДС, монополия; и по дороге на Уейщиско я вдруг прозрел, подобно Савлу, и чешуя отпала от глаз моих, когда увидел я землю новую, и небо новое, и себя самого, облаченного в серое облако, потому что мне моментально вспомнился Де Куинси[1] с его видениями, и, приехав домой, я сразу отнес эти зеленые кустики на балкон и положил на самое солнце, чтобы они хорошенько подсохли, после чего их можно

1. Томас Де Куинси (1785–1859) — английский писатель, автор "Исповеди англичанина, курильщика опиума" (1822).

будет порезать, раскрошить и, наконец, курить, и как раз в тот момент, когда я закрывал балконную дверь, размышляя, сколько это займет времени, зазвонил телефон и я услыхал чуть звенящий голос панны Цивле, которая поинтересовалась, по-прежнему ли я пребываю в лапах инструктора Жлобека и не желаю ли освободиться, потому что она уже вернулась и теперь к моим услугам, именно так она и выразилась, дорогой пан Богумил: — Я к вашим услугам, — и я чуть было сразу не выложил про сорванные возле ее сарая зеленые побеги, что сушились теперь на моем балконе, но прикусил язык и произнес: — Прямо сейчас, слышите, я хочу позаниматься прямо сейчас! — а она игриво засмеялась и ответила: — Ну ладно, только это будет вечернее занятие в автошколе, вы не против? — и вот мы уже договорились встретиться без четверти восемь на учебной площадке, рядом с ночным магазином, куда я прибыл минута в минуту и стал глядеть на подрагивавшие в трансе фигуры алкашей; на фоне закатного неба они на сей раз напоминали не дервишей, а членов секты святого Витта, которые при виде "фиатика" и появившейся из него инструкторши просто впали в мистический экстаз и принялись выкрикивать свои таинственные заклятия, размахивать руками и падать ниц. — Ну и бардак, — с отвращением заметила панна Цивле, — ладно, смываемся. — И мы, дорогой пан Богумил, смылись, причем весьма стремительно, поскольку Картуская в это время была свободна, а водил я уже вполне прилично. — Ну-ну, — вздохнула панна Цивле, когда с Хучиско я плавно свернул на Валы Ягеллонские, — похоже, инструктор Жлобек времени даром не терял. — Этот хам, — взорвался я, — вечно потный, называет вас исключительно... — Знаю, знаю, — она не дала мне закончить, — да какая разница, ведь успехи налицо, поглядите, как ловко вы теперь включаете четвертую передачу, — и правда, пан Богумил, я был буквально окрылен ее словами, и не только словами, а еще и прикосновением ладони, этим осторожным, будто бы случайным, а может, и в самом деле случайным касанием нежных пальцев, подействовавшим на меня точь-в-точь как дыхание Святого Духа, таинственный шум крыльев Параклита[1], и я был окрылен до такой степени, что в районе вокзала разогнался уже чуть ли не до ста километров в час, на той же скорости вылетел на мост Блендника, на Велькой Алее газанул еще и в мгновение ока добрался до Оперы. — Пожалуйста, немедленно притормозите, — панна Цивле приподняла бровь, — а то мы даже поговорить не успеем. И что, следующий автомобиль вашего дедушки — это ведь был "мерседес-бенц"? — поинтересовалась она как ни в чем не бывало, словно мы прервали разговор накануне вечером, — действительно оказался лучше "цитрона"? — Если уж быть точным, — я снизил скорость до шестидесяти, — не следующий, а следующие, потому что как раз в то время "Мерседес" первым опробовал особую рекламную акцию, заключавшуюся в том, что через двенадцать месяцев подержанную машину можно было сдать и, доплатив пятьсот злотых, уехать из их гаража на новом автомобиле. — Гаража? — удивилась панна Цивле. — Так тогда говорили, — не дал я себя прервать, — ибо слово "салон" не означало, к примеру, парикмахерскую, обувной магазин или прачечную, как сегодня, в ту эпоху салон по-прежнему предназначался для дружеской беседы, музицирования, вина, да еще, пожалуй, партии в бридж; итак, мой дедушка Кароль, — продолжал я, — каждый год выезжал из гаража "Мерседеса" на новой машине, но это всегда была одна и та же модель, причем неизменно цвета гнилой зе-

1. Параклит (*греч.*) — защитник, утешитель; "Дух Истины", возвещенный, согласно Евангелию от Иоанна, Иисусом апостолам.

лени, и такая привязанность к "сто семидесятому" объяснялась, видимо, тем, что во время ежегодной охоты на лис дед всякий раз одерживал на нем решительную победу. — Ну знаете, — панна Цивле махнула рукой, показывая, чтобы на перекрестке у Костюшко я свернул на улицу Словацкого, — вот теперь вы заливаете, охота на лис — игра конная, как можно на четырех колесах гнаться по полям и лугам за "лисьим хвостом", это просто ни в какие ворота не лезет, да если б даже "лиса" передвигалась на машине, тем более ничего бы не вышло, раз уж вы не можете не сочинять, так, пожалуйста, постарайтесь, чтобы я об этом не догадывалась, сцепление, тормозим, — скомандовала она, — в горку едем на более низкой передаче! — Мы поднимались по серпантину на мореные холмы, к аэродрому, через приоткрытое окно в "фиатик" врывались деревенские запахи — сирени, скошенной травы — и холодная тень букового леса, отдающая, несмотря на весну, меланхолией. — Прошу прощения, — возразил я, — но вы недооцениваете смекалку довоенных инженеров; так вот, когда в Мосците прошли первые соревнования среди воздухоплавателей, а именно отборочный матч на кубок Гордона Беннета, когда инженеры, восхищенные великолепием этой небесной феерии шарообразных форм, собрались вечером в клубе, кто-то из них выдвинул синкретическую, почти вагнеровскую идею — объединить любимый автомобильный спорт, которому они были преданы всей душой, с воздухоплаванием; вот таким нехитрым образом, — я заглянул панне Цивле в глаза, — и родился проект совершенно нового, просто-таки революционного и демократического вида охоты на лис, ибо, — невозмутимо объяснял я, — моего дедушку Кароля и его коллег могли, к примеру, пригласить поохотиться к князю Сангушко или даже на весенний бал в Гумниски, но конная охота на лис — это уж вряд ли, тут действовали законы "Готского альманаха"[1], и коль ты не мог похвастаться хотя бы семью зубцами на гербе, ленточками с булавами, портретами, словом, достаточно высоким происхождением, то считался "не комильфо", так что дедушка с паном инженером Крыницким молниеносно разработали правила и устав игры, молниеносно объявили сбор средств на эти соревнования, а прежде всего на воздушный шар, которому предстояло изображать лису, и вот не прошло и двух месяцев, как в одно весеннее утро на лугу позади завода расцвел огромный цветной мяч, воспаривший к небесам в девять часов двадцать одну минуту по местному времени и управлявшийся из подвесной гондолы маэстро аэронавтики, хорунжим авиаполка паном Шубером из Санока, так что можете себе представить, — я вновь посмотрел панне Цивле в глаза, — возбуждение толпы автомобилистов, когда спустя полчаса подали знак рассаживаться по машинам и разъезжаться в поисках гонимого ветром шара, но прежде, чем заработали стартеры, прежде, чем штурманы разложили свои карты, "лису" высматривали в подзорные трубы, чтобы выяснить, в какую сторону она уплыла и следует ли отправляться вслед за ней на север, в Щучин, или, напротив, к Збылитовской Гуре; вот так примерно все и происходило, — продолжал я, — пан Межеевский стремительно усаживался в огромный "паккард", в котором обычно возил восьмерых своих детей, пан Нартовский захлопывал дверцу "ганзы", пан Хеннель срывался с места на великолепной "татре", уже на старте набирал обороты двухтактный "ДКВ" пана Кубинского, а Георгий Гергиадес, которого все принимали за армянина, тогда как он был всего-навсего греком, преследовал

1. "Готский альманах" — издававшийся с 1763 г. в Готе дипломатический ежегодник, в котором публиковались генеалогические сведения о высшей аристократии Европы.

*...не прошло и двух месяцев, как в одно весеннее утро на лугу позади завода расцвел огромный цветной мяч...*

эту шарообразную лису на великолепном "шевроле", пан Ясилковский – на "бьюике", инженер Хобблер же – на двухдверном "БМВ", в отличие от инженера Войнарского, что гнался за шаром на четырехдверном "опеле-олимпии", но, разумеется, это еще не всё, надо упомянуть пана Збигнева Крыстека на "опеле-капитане", пана Жабу на "фиате-504", пана Мровеца на "фиате-1100", пана Крыницкого на "стейре", пана Захаревича на старом "форде", а также пани Кшишковскую на "адлере-юниоре", что же касается "мерседесов" – мы въехали на горку, где я смог, наконец, переключить передачу и прибавить газу, – таких в Мосците насчитывалось целых три штуки – кроме дедушки Кароля на этой марке ездили доктор Сверчевский и инженер Следзинский, причем оба на двухдверном "сто семидесятом", дед же неизменно оставался верен четырехдверной модели, ну а кроме того, в соревнованиях также принимали участие мотоциклисты на "ариэлях", "БМВ", "зундаппах", "БСА", "викториях", "индианах" и "Харлей-Дэвидсонах"... – Да, неплохо, – прервала мою литанию панна Цивле, – разворачивайтесь вон у той просеки, нам ведь в аэропорт не надо, а прервать вас, кстати, совершенно невозможно; этот "мерседес", он и в самом деле был самым лучшим? – спросила она с такой улыбкой, что я едва не упустил руль, – то есть я имею в виду не столько марку, сколько эту конкретную модель, вы же сами говорили, что с ним была масса хлопот, по сути, каждые пятьсот километров. – Тогда все машины были такими, – немедленно возразил я, – это вопрос технологии того времени, а не какой-то отдельной марки или модели, так что "сто семидесятый" четырехдверный неизменно приносил дедушке удачу в соревнованиях, чему, ясное дело, способствовала и бабушка Мария в роли штурмана, а кроме того, прежде чем отправиться в погоню за шаром, дедушка несколько вечеров подряд слушал по радио прогноз погоды, ночью поднимался на крышу – понаблюдать за небом и облаками, а также за движением планет, после чего, запершись в кабине-

те с картой, вычерчивал вероятную траекторию полета шара при всех возможных направлениях и силе ветра, наконец, все это пересчитывал и заносил в блокнот в виде таблиц и графиков, потому, наверное, дед всегда и выигрывал, и приз неизменно доставался ему, ведь, определив сразу после старта местонахождение шара, бабка Мария заглядывала в табличку и сообщала: — Через три четверти часа будет над Закличином, дорога номер тринадцать, вариант первый, на втором перекрестке левый поворот на Зглобице, — и дедушка сразу, кратчайшим путем устремлялся к цели, а если направление или сила ветра вдруг менялись, он на минуту притормаживал, молниеносно водружал на обочине собственноручно сконструированный прибор — ветряную мельницу на штативе, — снятые с нее точные показания бабушка тут же заносила в блокнот, и они опять бросались в погоню, вооруженные навигационной переменной, при помощи интегралов и логарифмов безошибочно определявшей новое положение шара, и им всегда удавалось первыми настичь воздушную лису, будь то в Мшане, Издебной или Вешхославице; представьте себе — мы уже были внизу, на Словацкого, возле прусских казарм, — эту чудесную картину: дедушка Кароль останавливает "мерседес" на обочине разбитой дороги и мчится через луг, чтобы, согласно правилам, максимально приблизиться к гондоле, затем трубит в охотничий рожок, по сигналу которого аэронавту хорунжему Шуберу из Санока полагалось немедленно выключить газовую горелку для подогрева воздуха и прервать полет, и вот они уже видят друг друга и машут руками, хорунжий Шубер бросает якорь с прицепленным к нему лисьим хвостом, дедушка хватает "лису" и всякий раз чувствует себя самым счастливым человеком на свете, ведь по лугу уже бежит бабка Мария, они обнимаются, целуются, поют, пускаются в пляс, а хорунжий Шубер достает из специального деревянного ящика предусмотренную правилами бутылку шампанского и три хрустальных бокала, все пьют за победу, тут, глядишь, подтягиваются и остальные машины и мотоциклы; вероятно, это и впрямь было потрясающее ощущение — выиграть такие соревнования, — я закончил историю на перекрестке Грюнвальдской и Костюшко, — не забывайте, что, по уставу, триумфатором оказывался лишь один из участников вместе со своим штурманом, второе и третье места предусмотрены не были, так же как в конной охоте, где только один наездник хватает лисий хвост и срывает банк, становясь настоящим, то есть единственным королем — на тот вечер, когда в клубе пьют за его здоровье. — А приз большой? — панна Цивле вынула из серебряного портсигара косяк и воспользовалась прикуривателем, — больше, чем то, что получил машинист Гнатюк за раздавленный "ситроен"? — Что вы такое говорите! — я плавно перестроился в средний ряд. — Пан Гнатюк получил премию не за порчу чего бы то ни было, а за рекламу хшановских локомотивов, насколько я помню, ему дали тысячу пятьсот злотых, по тем временам немало, учитывая, что польский "фиат" стоил около пяти тысяч, плюс еще золотую "Омегу" с гравировкой "Герою польских железных дорог — дирекция"; нет, в этих соревнованиях приз был чисто символическим, а именно — латунный значок в виде лисы с надписью "Мосцице, погоня за шаром", ну, и дата; кроме того, в клубе победитель ставил всей компании первые три выпивки, так что если взять материальную сторону вопроса, то за честь и почет приходилось еще и доплачивать. — Не то, что теперь, — вздохнула панна Цивле, — сегодня каждый стремится не прогадать, вот и выходит, что если бы можно было продавать собственное дерьмо, никто бы не поморщился. — Ну, это уж вы преувеличиваете, — воскликнул я, — диалектический материализм,

конечно, уступил место практическому, но разве это основание, чтобы так думать о людях? — Вы не знаете, о чем я говорю, — она снова затянулась, выпустив струйку едкого дыма, — слыхали о докторе Элефанте? — Поскольку я ответил "нет", панна Цивле тут же принялась рассказывать сдавленным голосом, и должен вам сказать, дорогой пан Богумил, я вздрогнул, представив, что мог бы оказаться на месте Ярека и угодить в лапы к доктору Элефанту, который, правда, умел вырезать аневризму мозга, но еще более ловко у него получалось разорять пациентов, требуя взяток сперва за место на больничной койке, потом за бесконечные консультации, наконец, за саму операцию, которую доктор назначал и тогда, когда все было предрешено и он прекрасно понимал, что пациент не выживет, и даже тогда, когда никакая операция не требовалась вовсе; доктор Элефант был чемпионом по сбору денег, ему всегда удавалось вытрясти их из отчаявшихся людей, которые ради спасения ближнего готовы были продать буквально все, да еще и занять в придачу, что и произошло с Яреком и его сестрой: сначала, чтобы попасть в клинику и заплатить за операцию, они продали квартиру, а потом оказалось, что диагноз поставлен неверно и операция не нужна, а сама болезнь редкая и требует длительного лечения; тогда панна Цивле отправилась в кабинет к доктору Элефанту и потребовала вернуть деньги — хотя бы за несостоявшуюся операцию, а тот холодно заявил, что сейчас вызовет полицию и подаст жалобу в прокуратуру, потому что это провокация, это просто неслыханно, чтобы ему бросали обвинения в подобной подлости, к тому же в его собственном кабинете — где, кто и когда, мол, видел, чтобы эта барышня давала ему деньги, да еще такую сумму? — Сукин сын просто выставил меня за дверь, — проговорила панна Цивле со слезами на глазах, — родительская квартира пропала к чертям собачьим, Ярека тут же выписали из больницы, а мне пришлось за несколько дней переделать дачный сарай в зимний дом, иначе спать бы нам с ним на вокзале, хорошо еще, что от родителей хоть этот участок остался, и знаете, — она раздавила окурок о крышку пепельницы, — наш случай — вовсе не исключение; теперь я вожу Ярека к разным кудесникам, которые хоть и не в силах его исцелить, но по крайней мере не обирают нас до нитки, потому что за визит берут не дороже стоматолога, причем сами оплачивают свои кабинеты и всякие налоги, в отличие от доктора Элефанта, лабораторию, кабинет и инструменты которого финансируем мы все из своих взносов, словно последние лохи. — Ничего себе! — воскликнул я. — И его ни разу не поймали за руку? — А как? — панна Цивле вытерла платочком нос. — Давайте сменим тему; у этого дедушкиного "мерседеса" мотор был с верхними или нижними клапанами? — Вы, наверное, меня поймете, дорогой пан Богумил, после всего услышанного рассказы о прежних машинах и автомобильных забавах господ инженеров показались мне ничтожными и совершенно неуместными, к тому же мы как раз проезжали мимо этого принадлежащего Медицинской академии белого здания на углу Конного Тракта и улицы Кюри-Склодовской, где в эпоху Akademie der praktischen Medizin in Danzig[1] профессор Шпаннер[2] варил мыло из человеческих трупов, и мне стало дурно при мысли о фотографиях и свидетельствах очевидцев, про которые Зофья Налковская[3] написала в своих дневниках сразу после войны, как говорится, по горячим

1. Академия практической медицины в Данциге (*нем.*).
2. Разработав метод варки мыла из трупов пленных, профессор Шпаннер во время Второй мировой войны превратил данцигскую научную лабораторию в фабрику.
3. Зофья Налковская (1884—1954) — польская писательница, участвовавшая в работе Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше.

следам, ведь в то время еще не остыл пепел в подсобном крематории, а в котлах лежали разваренные человеческие торсы и клочья содранной кожи; мне стало дурно, когда я осознал, что дух той немецкой Академии практической медицины по-прежнему живет в стенах академии сегодняшней, раз люди, подобные доктору Элефанту, пользуются здесь всеобщим уважением, им пожимают руку, поздравляют с защитой докторской диссертации и именинами, шлют почтительные письма, а ректор вручает награды – невзирая на то, что методы их ни для кого не секрет. – Надеюсь, – я положил ладонь панне Цивле на колено, – гореть ему в адском пламени. – Ад, – недоверчиво засмеялась она, – люди вроде него застрахованы от всего на свете, знаете, доктор Элефант каждую десятую операцию делает бесплатно – мол, в фонд святого Антония, – вероятно, и вправду рассчитывает на его помощь, хотя думаю, если суммировать все случаи детоубийства, должно все же найтись пекло для таких, как он. – Детоубийства? – вскричал я. – Вы хотите сказать, что этот чертов доктор еще и гинеколог и что в своем кабинете, при помощи суперсовременных трубок и насосов он отправляет маленькие желеобразные существа из материнского лона прямиком в канализацию? – Да что вы! – возмутилась панна Цивле. – Этого я не говорила, но, да будет вам известно, доктор Элефант – мастер проволочек, если нужна операция, он выжидает, пока родители не соберут всю сумму целиком, и не стоит, наверное, объяснять, что порой ожидание затягивается и маленький пациент умирает, поэтому Элефанта называют еще доктором Менгеле, ангелом смерти, хотя я бы назвала его скорее доктором экономических законов, ведь, давая шанс выжить, он думает не о национальности или вероисповедании, а об одних лишь финансах, чистых и стерильных банкнотах... – Наступила, дорогой пан Богумил, очень долгая пауза; теперь мы медленно ехали по Конному Тракту, старинной липовой аллее, высаженной здесь более двухсот лет тому назад на деньги Даниеля Гралата, и я подумал, что, будь Шпаннер и Элефант, подобно бургомистру Гралату, сторонниками масонства, они, возможно, никогда бы не запятнали звания врача и сохранили верность Гиппократу, ведь масонские традиции как-никак предполагают самопожертвование и братство, не позволяя мерить человека исключительно штуками мыла или числом нулей на банковском счету, хотя, с другой стороны, масонский дух в этом городе давно уже выветрился, что доказывают названия аллеи, по которой мы с панной Цивле ехали: сначала она была Главной, затем Гинденбурга, потом Гитлера, Рокоссовского и, наконец, Победы, словно каждый следующий хозяин города опасался Гралата и самих воспоминаний о нем, но, вероятно, это было закономерно, раз по аллее из вековых лип от Оперы к Старому городу тянулись факельные шествия, а от Старого города к Опере – первомайские демонстрации, и где-то в незримом потоке времени все эти свастики, серпы, молоты и оркестры сливались воедино, а доктор Шпаннер и доктор Элефант, взирая на происходящее из окон лаборатории практической анатомии, взволнованно пожимали друг другу руки, ибо если после тезы факельных шествий наступила и миновала антитеза коммунистических маршей, то для таких, как эти доктора, пришла наконец эпоха синтеза, неограниченного творчества, арифметики чистой прибыли, освобожденной от шелухи невостребованных идей. – Да-да, коллега, поздравляю вас, – со слезами на глазах восклицал Шпаннер, – вы дожили до прекрасных времен, никогда еще врачи этого учреждения не располагали подобными возможностями. – Ну, милостивый государь, не преувеличивайте, – вежливо возражал Элефант, – ваш вклад в послевоенное развитие косметических

концернов также достоин восхищения и зависти, особенно если учесть, что по ту сторону океана вам пришлось начинать практически с нуля. — О чем вы думаете? — прервала воцарившееся в "фиатике" молчание панна Цивле. — О человеке, который, будучи бургомистром, выложил из собственного кармана сто тысяч на строительство и благоустройство этой дороги, — сказал я. — Невероятно, — воскликнула панна Цивле, — это слишком прекрасно, чтобы быть правдой, вы говорите — из собственного кармана, не из городского? И ведь об этом не трезвонили телеведущие, да и как тут вычтешь из налогов, ведь Бальцерович — настоящий рэкетир, никому не спускает. — Да, — улыбнулся я ей, — но в те времена налоговые законы были совершенно иными, и когда Даниель Гралат писал завещание, предназначая сто тысяч гульденов на озеленение территории — прокладку аллеи, покупку и посадку нескольких тысяч лип, — не существовало никакого Бальцеровича, потому-то эта аллея — вы только взгляните — такая длинная и широкая, единственное место в городе, где до сих пор нет пробок, единственный в городе памятник поистине творческой мысли. — В те времена, — уточнила панна Цивле, — это в каком году и, кстати, кем был этот ваш Гралат? — Я же сказал — бургомистром нашего города, а еще ловчим и бургграфом польского короля, издавшим первую энциклопедию электричества, — я перестроился в правый ряд и у площади Народного Собрания свернул направо, к Градовой Горе, — а еще он занимался тайными науками розенкрейцеров, и многие подозревали бургомистра в принадлежности к масонам, что так и не было доказано, а вот его сын, Даниель-младший, ученик самого Иммануила Канта, тот действительно основал в Гданьске ложу "Под двумя коронованными львами", в библиотеке которой обнаружили немало книг Гралата-отца, в основном о ритуалах посвящения, из-за чего и решили позже, будто Даниель-старший также был масоном, что прекрасно объясняет, почему ни при какой власти, будь то пруссаки, нацисты, поляки, коммунисты или русские, эта чудесная аллея не носила имени своего великодушного создателя, внесшего соответствующий пункт в завещание перед самой смертью, а именно в 1767 году. — Боже, сверните, пожалуйста, к заправке, — воскликнула панна Цивле, — у нас бензин кончился, вместо того чтобы следить за приборами, я все слушаю и слушаю, будто вы из Америки вернулись, вот здесь налево, сейчас заправимся, а вы, как всегда, забыли включить поворотник!!! — Что касается поворотника, дорогой пан Богумил, это был наш вечный спор, вроде припева к каждой поездке; неправда, что я про него забывал, все нет, никогда в жизни, но согласитесь, скажем, на учебной площадке, когда рядом ни машины, ни велосипеда, ни пешехода, или на дороге, вот как возле той бензоколонки, когда никто не ехал ни сверху, со стороны кладбища, ни снизу, от площади Народного Собрания, согласитесь, какой смысл в этом мигающем фонарике, просто-таки маяк средь бела дня, совершенно без толку, однако панна Цивле была иного мнения и каждый раз чуть обиженно повторяла: — Пан Павел, поворотник включаем даже в пустыне, — и я каждый раз ощущал, что жизнь снова описывает круг, эту mimořádnou smyčku[1], ибо вспоминал ваши уроки езды на мотоцикле "Ява" и гадал, напоминал ли вам инструктор при повороте с бульвара Вацлавски Намести, скажем, на Краковскую улицу: — Пожалуйста, вытяните правую руку, — ведь в те времена на мотоциклах еще не было поворотников, и, наверное, эти мгновения, когда вы двигались, придерживая руль одной рукой, стоили вам, не говоря уж об инструкторе,

1. Удивительный круг (*чешск.*).

потери некоторого количества нервных клеток, так вот, у самой этой бензоколонки рядом с кладбищем панна Цивле произнесла свое сакраментальное: — Пан Павел, поворотник включаем даже в пустыне, — но тогда я как раз не успел ни вспомнить вас, ни ответить инструкторше столь же сакраментальным: — Ну так поехали в Гренландию, — ибо перед самым поворотом, на крутом подъеме ее "фиатик" кашлянул, икнул, выстрелил из выхлопной трубы и решительно остановился, так что нам пришлось вылезти и несколько метров толкать машину в горку, затем свернуть налево, а дальше, когда "фиат" уже покатился вниз, к въезду на заправку, вскочить в него одновременно с двух сторон и подъехать к колонке на холостом ходу, при этом мы с панной Цивле продемонстрировали неожиданную синхронность и точность, ну прямо пара фигуристов, постигших таинство танцев на льду, ту математическую, в сущности, формулу зеркальных движений, из которой следует, что симметрия есть не что иное, как постоянство в превращениях, ракурс до и после перемены, вопреки всему предполагающий определенное космическое равновесие: верха и низа, левой стороны и правой, тела и духа, речи и молчания, атома и пустоты, словом, небытия, из которого выклевывается материя, всегда в симметричных противоположностях. — Ну, вставляйте пистолет, — панна Цивле немного повозилась с крышкой бензобака, — я пойду за счетом, — и направилась к кассе, а я, дорогой пан Богумил, держа в руках шланг и низко склонившись над бензобаком "фиатика", оборачивался, подобно жене Лота, чтобы полюбоваться удивительно плавной походкой панны Цивле, ее чудными движениями, не имевшими ничего общего с липкими леденцами, фильмами Евы Орловски[1], атмосферой пип-шоу, нет, панна Цивле плыла к кассе, будто серна из "Песни песней", и должен вам сказать, дорогой пан Богумил, что ее черные джинсы, темная шелковая блузка, воспетые Пильхом лодочки, кожаная жилетка и серебряные клипсы, то и дело посверкивавшие в волнах распущенных медно-каштановых волос, — все это, отразившись в стеклянной стене заправки, многократно усиливало необыкновенное ощущение чуда, парившего в сиреневых майских сумерках, но созерцание длилось недолго, ибо, крайне взволнованная, панна Цивле стремительно выскочила обратно: — Черт возьми! — кричала она. — Отпустите рукоятку, я забыла кошелек, а под залог удостоверения они не дают, у них, мол, таких бумажек уже три ящика, подождите в машине, я сбегаю, здесь же близко. — Зачем подниматься на эту гору? — возразил я, вешая на место шланг. — Я заплачу, — и через минуту мы снова сидели в ее "фиатике". — Можно куда-нибудь поехать, на море например, — она мгновение поколебалась, не решаясь продолжить, — знаете, я обычно, если нападет хандра, сажусь вечером в машину и качу куда глаза глядят, неважно, в какую сторону, человеку просто надо выйти из дому, без всякой конкретной цели; поехали, а вы рассказывайте, мне очень нравится. История дедушки и бабушки с их автомобилями уже опубликована? Мне бы хотелось почитать, может, у вас найдется экземпляр? Ярек бы с ума сошел от радости. — Нет, — я медленно тронулся вниз, к улице Третьего Мая, — мне и в голову не приходило, что об этом можно написать. — Можно? — она вопросительно взглянула на меня. — Даже нужно, это же потрясающе, железнодорожный переезд с "цитроном" или ограда княжеской усадьбы, но охотнее всего я бы послушала и почитала про эти соревнования на воздушных шарах, про охоту на лис



1. Ева Орловски — немецкая порнозвезда.

и клуб автомобилистов. — О чем же вам еще рассказать... — включив поворотник, я свернул на мост Блендника, — последняя охота состоялась не весной, а в августе тридцать девятого года, и дедушка Кароль, как всегда, отлично к ней подготовился, а бабушка Мария с планшетом на коленях, как всегда, сидела рядом в качестве штурмана, но на сей раз шар, а вернее, природа преподнесла им сюрприз, погода стояла прекрасная, по жнивью бродили птицы, но разогретый за долгое жаркое лето воздух был недвижен, ни один ветерок не желал покидать мешок Борея, шар медленно дрейфовал по направлению к Дунайцу и наконец завис прямо посреди реки; некоторые водители начали на пароме переправляться в Вежхославице, рассчитывая, что рано или поздно он перепорхнет на противоположную сторону, другие ждали на этом берегу, предполагая обратное, но тут шар, словно повинуясь чьей-то незримой руке — ибо никто не ощутил ни малейшего дуновения, — полетел на юг, точнехонько вверх по течению, а вернее сказать, поплыл аккурат над руслом Дунайца, над самой серединой резвого потока, можно было подумать, будто шар на канатах тянут устремившиеся к истокам тритоны, так что на сей раз погоня выглядела довольно своеобразно: подобно почетному эскорту, автомобили и мотоциклы двигались по обеим сторонам Дунайца, и шансы на победу, казалось, были у всех равны, во всяком случае, пока ветерок, проснувшись, не подтолкнет "лису" к левому или правому берегу, так что в то время как часть соревнующихся медленно следовала через Войнич, Мельштын, Чхов и Лососину Дольну, не менее многочисленная колонна растянулась от Зглобице, через Закличин, Рожнов до самого Грудека, но это, разумеется, был не Грудек Ягеллонский, тот, что под Львовом, а Грудек-на-Дунайце, — а по какому берегу, — прервала меня панна Цивле, — шел дедушкин "мерседес-бенц"? — В том-то все и дело, — я слегка притормозил на брусчатке Сенницкого моста, откуда открывался вид на мощные тела кораблей и буксиры у освещенных набережных, — дедушка и бабушка ехали через Рожнов, ну и через Грудек тоже, то есть по правому берегу. — У меня такое ощущение, Марыся, — твердил дед, вертя в пальцах давно погасшую сигару, — что он все же перепорхнет к нам. — А я в этом вовсе не уверена, — возражала бабушка, — боюсь, Каролек, что точно так же он может преспокойно полететь к ним и приземлиться где-нибудь под Лимановой, и тогда, — она взглянула на карту, — победа нам точно не светит, потому что ближайшая переправа окажется или в Новом Сонче, или позади, в Чхове. — И представьте себе, — вдоль Мертвой Вислы[1] мы направлялись к Стогам, — шар замер почти в самом конце Рожновского озера, точно между Тенгобуром на левом берегу реки и Збышице, что на правом, и добрых полчаса неподвижно висел в воздухе, так что участники соревнований повылезали из автомобилей, побросали свои мотоциклы, повытаскивали корзинки с провизией и устроили обычный пикник, в котором один лишь дедушка Кароль не принимал участия — он не покинул "мерседес", на крыше которого бабушка Мария установила это их специальное приспособление для измерения силы и направления ветра, ветряную мельничку на штативе со счетчиком оборотов и маленьким барометром. — Что-то дрогнуло, — шепнула наконец бабушка, — чуть-чуть, но к нам. — Бери прибор и садись в машину, — прошептал в ответ дедушка. — И вообразите себе, — теперь мы ехали вдоль трамвайной линии, по сосняку, тянувшемуся до самого пляжа, — что, когда они двинулись обратно к Грудеку, их провожали

1. Бывшее главное устье Вислы (в 1840 г. вследствие ледяного затора река пробила более короткий путь, названный Смелой Вислой).

*... шар <...> добрых полчаса неподвижно висел в воздухе, так что участники соревнований повылезали из автомобилей, побросали свои мотоциклы, повытаскивали корзинки с провизией и устроили обычный пикник...*

удивленные взгляды расположившихся на травке дам и господ, но продолжалось это недолго, ибо как только порыв ветра сдвинул шар в их сторону, все моментально повскакали со своих мест, завели моторы и помчались вслед за дедушкиным "мерседесом", который буквально через пару сотен метров после Збышице свернул в сторону Коженной, то есть на восток, ибо именно туда дул крепчавший с каждой минутой ветер. — Грибов или Ченжковице? — спросил дед, когда на головокружительной скорости шестьдесят пять километров в час они пронеслись мимо последних домов Войнаровой, — скорее Ченжковице, вот здесь налево, — отвечала бабка Мария, и не ошиблась, потому что шар, возникший в каких-нибудь трехстах метрах перед их капотом, теперь довольно быстро двигался именно в этом направлении, но на сей раз выиграть соревнования не суждено было ни им, — я остановился у трамвайного круга, и мы с панной Цивле пошли по тропинке к пляжу, — ни кому-либо другому, ибо когда шар парил над Бобовой, из-за небольшого холма на берегу Бялой грянули залпы зенитной артиллерии, вокруг разноцветного купола с гондолой вспыхнули светлые облачка — и всё: один из снарядов продырявил оболочку, шар, подобно огромному парашюту, опустился на луг, а аэронавт, хорунжий Шубер, был мгновенно окружен и арестован отрядом пограничной охраны, причем разразился жуткий скандал, поскольку у аэронавта, хорунжего Шубера, не оказалось при себе ни лицензии, ни каких-либо иных документов, удостоверявших личность, зато имелся фотоаппарат, так что его приняли за немецкого шпиона, и тщетны были увещевания пришедшего на подмогу дедушки Кароля и подоспевших прочих участников соревнований, тщетно они толковали, будто шар зарегистрирован и имеет маркировку "SP-ALP Мосците", тщетно за хорунжего хором ручались все господа инженеры и техники, капитан Рымвид Остоя-Коньчипольский был непреклонен и приказал, чтобы всю компанию под конвоем препроводили в ресторан госпожи Клюнгман, где следовало ожидать дальнейших распоряжений;

так закончились последний полет шара "SP-ALP Мосците" и последняя охота на лис: в ресторане госпожи Клюнгман подавали перепелов, телячье жаркое, зразы, карпа по-еврейски, украинский борщ, вареники по-русски, гусиную печенку, жареного усача, маринованные грибы, фаршированную утку, свиную отбивную с черносливом, лопатку, ребрышки, говяжий бульон, вареное мясо под хреном, и все это утопало в овощах и салатах, прибавьте сюда пиво "Окочим", "Живец", чешский "Пильзнер", водку Бачевского пяти сортов, коньяки и французское шампанское, венгерские вина из подвалов господина Липпочи, ну а на десерт горячий шоколад, фисташковое мороженое, виноград, пирожные "наполеон", эклеры, торт "Пишингер" и булочки "Цвибак", кофе, чай, напиток "синалко", малиновый сок, лимонад, доступные цены без курортной наценки, ибо куда было Бобовой тягаться с Ивоничем, Трускавцом или Крыницей. — Боже, у меня в животе урчит, — засмеялась панна Цивле, устраиваясь на песке, — в такой кутузке я бы и сама охотно посидела, были бы деньги. Долго их там держали? — Часа три, — я уселся рядом, — одному лишь аэронавту Шуберу не повезло, поскольку его повели допрашивать в полевой штаб ПВО, где дали только стакан воды, ну, а в том ресторане устроили бал под лисьим хвостом, что прицепил к деревянным стропилам дедушка Кароль, произносили тосты за гонки следующего сезона и их победителя, коли в этом все пошло псу под хвост, но, видимо, многие уже предчувствовали, что пьют в кредит — весьма рискованный и с максимальными процентами, — что подписывают бессрочный вексель, который может быть востребован в любую минуту, и, прекрасно это ощущая, дедушка Кароль все подливал и подливал бабушке в бокал, а та возмущалась, потому что не любила, когда у нее шумело в голове, но дед знал, что делает, и вполголоса твердил ей на ухо: — Марыся, счастливы мы уже никогда не будем, так что все эти минуты надо сберечь, словно мушку в капле янтаря, и донести, возможно, до наших внуков. — Ну почему сразу внуков? — удивлялась бабушка, — даже если начнется война, жизнь потом опять вернется на круги своя, так всегда бывает, — она доверчиво взглянула на него. — Хиникс пшеницы за динарий, — горько улыбнулся дед. — Какой еще динарий, о чем ты? — бабушка осторожно прикрыла ладонью дедушкину рюмку и подвинула ее поближе к себе. — В общем, они друг друга не понимали, — объяснял я панне Цивле, — не понимали, потому что опыт той, первой войны, был у них совершенно разным, она почти все время провела в Швейцарии, а он — в окопах, она организовывала благотворительные комитеты, а он изучал новые виды пушек и снарядов, она писала письма, а он описывал артиллерийские карты, а затем, когда они вернулись во Львов и когда можно было наконец перевести дух, разразилась еще одна война, на этот раз уже не мировая, а польско-украинская, и ему вновь пришлось стрелять, а она вновь занималась организацией благотворительного комитета, так что, сами видите, угол зрения был абсолютно различен, и это еще не все, потому что вскоре после той украинской войны пошли в наступление большевики, на этот раз дедушку определили на бронепоезд, и хотя он удобно устроился в стальной башенке с надписью "Смелый", ему вновь пришлось стрелять — и на сей раз не в воздух. — Погодите, погодите, — панна Цивле закурила, — вы хотите сказать, что во время той польско-украинской битвы за Львов ваш дедушка постреливал в воздух, словно какой-нибудь Швейк? — Об этом мне ничего неизвестно, — возразил я, — но он всегда повторял, что война с украинцами была самой большой трагедией в его жизни. — Мы-то победим, — говорил он, — но как потом жить с ними в одном городе, как смотреть друг другу в глаза? —

*... на этот раз дедушку определили на бронепоезд, и хотя он удобно устроился в стальной башенке с надписью "Смелый", ему вновь пришлось стрелять – и на сей раз не в воздух...*
**В бронепоезде; дедушка Кароль первый справа**

Что же касается большевиков, — продолжал я, — то пушки бронепоезда "Смелый" палили уж точно не по окнам Господним, а по скакавшим галопом буденновцам, о них, вероятно, дедушка и думал там, в ресторане под Бобовой в августе тридцать девятого, он наверняка вспоминал этих всадников Апокалипсиса, мчавшихся подобно стае саранчи, и уж во всяком случае, — закончил я, — не питал иллюзий, что надвигающаяся война будет напоминать предыдущую, и, возможно поэтому, садясь в "мерседес", тихонько повторил эту цитату из Откровения Иоанна Богослова о хиниксе пшеницы и динарии, отчего бабушка рассердилась, решив, что дед выпил лишнего и машину лучше вести ей, с чем дед, ясное дело, не соглашался, так что это их последнее совместное возвращение с охоты на лис прошло под знаком безмолвной ссоры; они медленно миновали дом знаменитого цадика, вокруг которого толпились хасиды, потом, включив дальний свет, ехали по извилистой дороге меж погруженных во тьму холмов, мотор ровно урчал, через приоткрытое окно в машину врывался неумолчный концерт сверчков, и эту удивительную атмосферу августовской ночи они запомнили навсегда, ибо и в самом деле, — я осторожно обнял панну Цивле, — никогда уже не были так счастливы. — И представьте себе, дорогой пан Богумил, что, когда я договорил эту последнюю фразу, инструкторша положила руку мне на плечо, и мы сидели неподвижно, словно парочка влюбленных школьников, поглядывая на темно-синий плащ залива с маячившими на нем огоньками кораблей — тех, что стояли на рейде, и тех, что направлялись в Калининград, Стокгольм, Хельсинки, Висбу, Хильверсум и куда там они еще ходят, и ощущалась в это мгновение какая-то удивительная аура, текущий меж нами психологический Гольфстрим, и причиной тому было вовсе не невинное прикосновение, а вещи весьма существенные, можно сказать, фундаментальные: просто, дорогой пан Богумил, мы почувствовали друг в друге родственную душу, то, о чем писали Шелли, Китс, Байрон и Мицкевич, то, над чем смеются сегодня все, включая ученых и художников, о чем не помнят священники, о чем позабыли писатели, словом, нас объединил некий ныне мертвый язык, подобный паутинке бабьего лета,

хотя стоял вовсе не октябрь, а майская ночь, а на небе уже решительно воцарился Арктур в сопровождении столь же ясной Спики из созвездия Девы, Большая Медведица ковыляла из Борнхольма куда-то по направлению к Хелю[1], а ноги наши омывали волны еще холодного в это время года моря. – И вправду чудесно, – прошептала панна Цивле, – "мерседес", скользящий во тьме, сверчки, расскажите же все до конца, что там дальше произошло. – Немецкие самолеты, – ответил я, – которых не достигали снаряды батарей капитана Рымвида Остоя-Коньчипольского, немецкие танки, которые не удалось остановить кавалерийским отрядам, словом, поражение, но прежде, чем все это случилось, за несколько дней до начала войны дедушка успел сделать еще одну фотографию и отдать пленку Хаскелю Бронштайну, так вот, это оказался последний снимок, сделанный им в той Польше, – семейный портрет: слева, у самой обочины стоит бабушка Мария, затем два "батяры", как их называли на львовский манер, то есть мой дядя и отец, ну а дедушка, который, конечно, не мог попасть в кадр, на этой фотографии также присутствует – в

*... семейный портрет: слева <...> бабушка Мария, затем <...> мой дядя и отец, ну а дедушка, который, конечно, не мог попасть в кадр, на этой фотографии также присутствует – в виде отчетливой тени...*

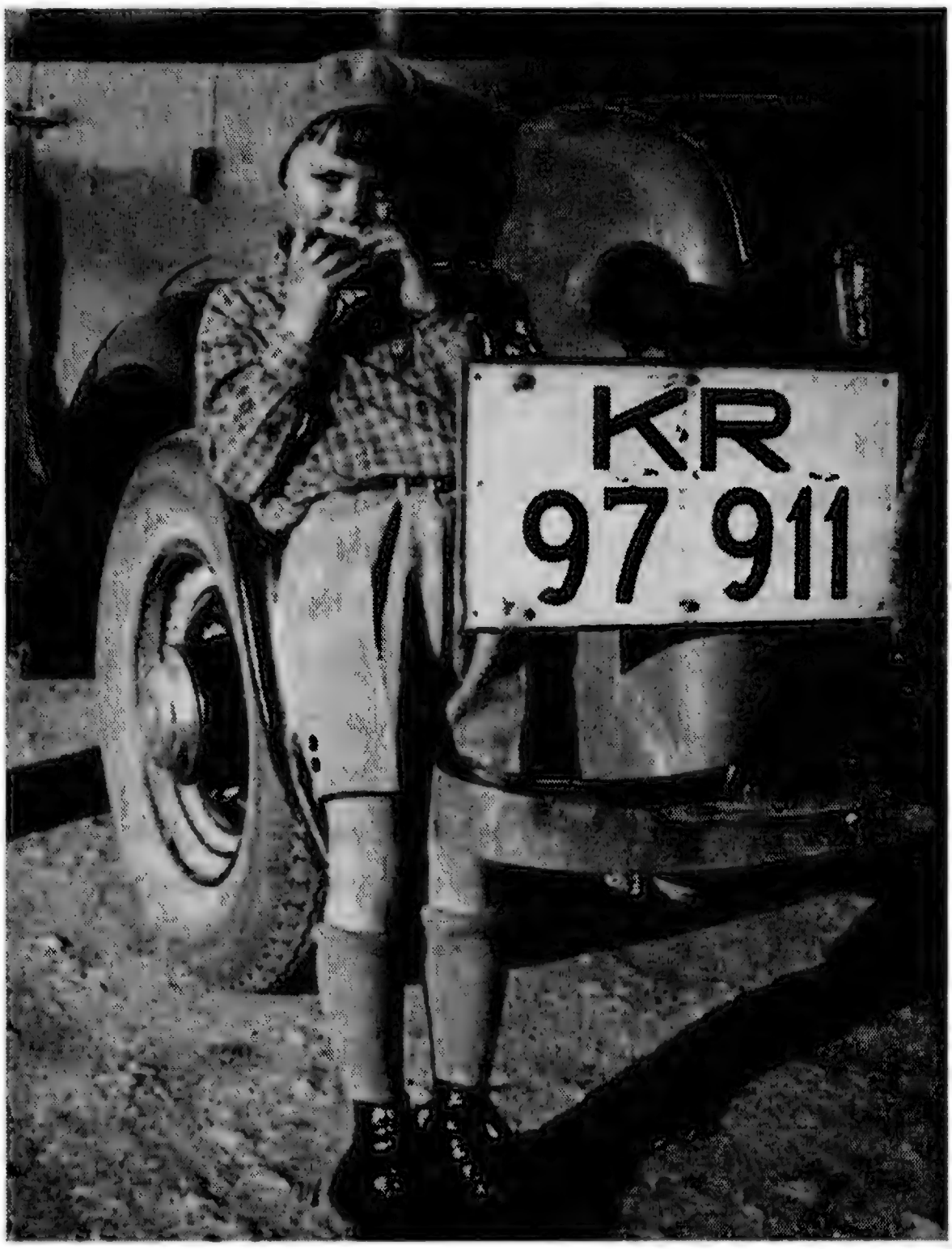
виде отчетливой тени; и должен вам признаться, что каждый раз, глядя на этот снимок, каждый раз, вертя в руках маленькую пожелтевшую карточку из мастерской пана Бронштайна, я испытываю умиление, потому что эта тень – словно предчувствие надвигавшихся событий, словно безмолвное дедушкино отсутствие в ближайшие несколько лет, что же касается "мерседеса", – предупредил я вопрос панны Цивле, – эта фотография оказалась также и прощальной. – Ну да, – вставила она, – его, небось, забрали немцы. – А вот и нет, – возразил я, – уже после начала бомбежек дедушка получил приказ вывезти все документы, в которых содержались тайны химических технологий, на восток, где они будут в безопасности, все ведь думали, что фронт остановится на Дунайце или,

1. Хель – полуостров на балтийском побережье Польши.

в крайнем случае, где-нибудь на Сане и удержится там, пока на помощь не придут французы, но то были лишь благие пожелания, и дедушка, прорывавшийся на "мерседесе" по дорогам, забитым беженцами, на которых отрабатывали свое мастерство пилоты люфтваффе, сомневался, сумеет ли выполнить задание и успеет ли добраться до Львова, где в отеле "Жорж" его должен был ждать агент "двойки"[1], но все вышло совсем по-другому: примерно в двадцати километрах от Львова, уже за Грудеком Ягеллонским, но еще до Зимней Воды он заметил впереди красноармейский дозор, отряд конной разведки, и хотел было сразу повернуть назад, ибо — если уж выбирать из двух зол — предпочитал укрыться и завершить свою миссию где-нибудь на немецкой стороне, но опоздал — пришпорив коней, красноармейцы окружили "мерседес", а командир, рябой лейтенант, при виде автомобиля едва не захлопал в ладоши. — Ну и повезло же нам сегодня, комиссар будет в восторге! — закричал он солдатам, а дедушке — тоже, конечно, по-русски: — Выходи, сволочь! — и представьте себе, — рассказывал я панне Цивле под мерный шум волн, — этот лейтенант даже выдал расписку о реквизиции: — Вот тебе, полячишка, бумажка, чтоб не болтал потом, будто наша армия ворует, — улыбнулся он и похлопал деда по плечу, — знаем мы вашу вражескую пропаганду, — и тот стоял перед рябым лейтенантом и молча брал у него расписку, а бойцы тем временем перетряхивали машину и, к дедушкиному изумлению, швыряли в канаву все лишнее: в заросли лопухов полетел набор автомобильных инструментов фирмы "Бош" в эбонитовом ящике, старый, траченный молью дедов пудермантель, пара калош, масленка, пустой очешник, а также перевязанная бечевкой пачка документов, которые солдаты, к счастью, просматривать не стали — просто вытащили из кожаной папки, которую, разумеется, забрали себе; все это заняло не более семи минут, — пояснил я панне Цивле, — и когда они двинулись обратно по направлению к Львову, дедушка закурил, пристально всматриваясь в облачка пыли, летевшие из-под копыт командирской лошади, — лишившись наездника, конь бежал теперь вольно за "мерседесом", а хозяин его вольно переключал передачи, щелкал поворотниками, опробовал клаксон, сопровождавшие же машину солдаты постреливали в воздух и пели красивую, мелодичную песню о польских панах и псах-атаманах, что запомнят Красную Армию; и только когда они исчезли за поворотом, дедушка бросился к канаве, извлек оттуда свои вещи и потихоньку пошел в сторону Львова, надеясь, что несмотря на эту неожиданную советскую оккупацию миссию ему все же выполнить удастся; я его так себе представляю на этой дороге: вот он шагает в своем старом пудермантеле, медленно, то и дело останавливаясь, потому что эбонитовая коробка с инструментами "Бош" очень тяжелая, а в другой руке, вернее, под мышкой держит перевязанную бечевкой пачку тайных документов Государственного завода азотных соединений в Мосцице, которые в отеле "Жорж" должен ждать агент "двойки". — Прекрасно, — холодная балтийская волна то и дело заливала влажным песком изящные ноги инструкторши; увлекшись этой детской игрой в закапывание и извлечение из серой бесформенной массы собственных конечностей, панна Цивле, казалось, меня не слушала, но поскольку, добравшись до агента "двойки", я умолк, тут же поинтересовалась: — И что, встретились они в этой гостинице? — Отель "Жорж", — продолжал я, — уже был полон советских офицеров, а зал ресторана напоминал воен-

1. "Двойка" (Второе отделение) — польская разведывательная сеть.

ный штаб после победоносного завершения кампании; дедушка приехал туда с улицы Уейского, где переоделся и отдохнул, внутрь он заходить не стал — стоя на тротуаре, заглядывал, словно случайный прохожий, в окно ярко освещенного ресторана и не верил своим глазам: официанты, и молодые, и старые, и мальчики на побегушках, буквально все сновали между столиками, подавая говядину "штуфат", жаркое, баранину, венгерские вина, французский коньяк и водку Бачевского советским офицерам, а те с самым учтивым видом расплачивались какими-то странными бумажками; привстав на цыпочки и прильнув к окну, дедушка разглядел расписки о реквизиции в пользу Красной Армии, точно такие же, как та, которую он получил за свой "мерседес"; зрелище было феерическое — офицеры в раже били рюмки и пили уже исключительно стаканами, словно прекрасно знали: еще пара часов, и подвал отеля полностью опустеет — кто же станет поставлять сюда токай, полынную водку, арманьяк или бордо, поэтому они извлекали из карманов целые книжки расписок и швыряли их на серебряные подносы, а официанты улыбались и благодарили за щедрые чаевые, словно прекрасно понимали — с таким же успехом офицеры Красной Армии могли бы расплатиться за эту возбуждавшую классовую ненависть роскошь не бумажками, а свинцом; и отойдя от окна, дедушка направился к Гетманским Валам, удрученный и потрясенный не столько неожиданной оккупацией и утратой "мерседеса", ведь для Центральной Европы сие не новость — скорее своего рода естественный, данный свыше порядок вещей, — а тем, что эта темная и зловещая сила вдруг ворвалась в пространство, ранее не ведавшее аннексий или вторжений и потому казавшееся безопасным, словом, тем, что вся эта машина медленно, но решительно занимает территорию его памяти, фрагмент за фрагментом уничтожая ее нежную плоть, обескровливая ясные и отчетливые картины, с корнем вырывая прошлое и пропуская его через специфический, ни с чем не сравнимый и тогда еще неведомый народам Центральной Европы фильтр; шагая по Гетманским Валам, дедушка ощутил это интуитивно, осознав, что все его воспоминания об отеле "Жорж" и Мариацкой площади, все мгновения встреч с невестой, друзьями или коллегами по Политехническому никогда уже не будут прежними, ибо навеки пропитаются пением и тостами советских офицеров, дымом их папирос, резким запахом "адекалона" и пота, звуками гармошки, хрустом битого стекла под их сапогами, и если, к примеру, ему однажды вспомнится разговор с невестой, когда та рассказывала о своей матери-венгерке, трагически погибшей в ранней юности, а он повествовал о прапрадедушке, враче наполеоновской армии, скандалисте и гуляке, если он восстановит все сложные ингредиенты той давней встречи вместе с облаками над площадью, грохотом конных повозок, трамвайными звонками и солнечными лучами, освещавшими через окно ресторана их столик, то на эту картину непременно наложится череда багровых, потных лиц, околыши покоящихся на скатертях фуражек или пачка расписок о реквизиции, швыряемая официанту, и согласитесь, — неутомимо продолжал я, а панна Цивле вынула ноги из воды, — такие мысли не слишком поднимали настроение в городе, чуть ли не на каждой улице которого уже висели красные транспаранты "Слава освободителям Западной Украины", "Долой буржуазию", "Рабочий народ — со Сталиным", и, словно этого было недостаточно, где-то в районе памятника Собескому дедушка заметил промелькнувший по другой стороне аллеи "мерседес-бенц", четырехдверный "сто семидесятый" цвета гнилой зелени, в котором узнал собственный автомобиль, а точнее говоря, автомобиль, решительно поменявший хозяина, и в этот момент за-




*... дедушка <...> принялся целыми днями рассматривать старые фотографии, разбирать архив, подписывать на оборотах карточек даты, имена и названия мест...*
Отец автора перед "ситроеном"

ди раздалось: — Пан инженер Кароль? Пожалуйста, не оборачивайтесь, идите рядом как ни в чем не бывало, да, хорошо, что вы не стали заходить в отель, там полно агентов, ну, в случае чего наш человек вас бы встретил и вывел через кухню, да, все осложнилось, но ситуация под контролем, лучше, конечно, не глядеть на тот "мерседес" и не привлекать к себе внимания, я вам скажу, кто в нем сидит, это комиссар Хрущёв, мы о нем еще не раз услышим, да, кстати, а бумаги у вас с собой? — Они сели на трамвай и поехали на улицу Уейского, — когда мы медленно покидали пляж, я взял панну Цивле под руку, — и там, в бывшей бабушкиной квартире, распили целую бутылку полынной водки, поэтому не стоит удивляться, что разговор сперва зашел о ликеро-водочном заводе Бачевского, который несколько дней назад разбомбили люфтваффе. — Сгорел девятого сентября, — сухо сообщил агент "двойки", — да, а сегодня утром русские арестовали обоих господ Бачевских, Стефана и Адама. — Чтобы выдать им расписку о реквизиции? — удивился дедушка. — Это называется "ликвидация чуждых элементов", — объяснил агент, — бежим вместе в Венгрию и Францию, а спустя год через покоренный Берлин вернемся в Варшаву. — Ну а эти вот? — дедушка кивнул на приоткрытое окно, за которым грохотал танк. — Франция и Англия эту аннексию никогда не поддержат, — заявил ас разведки, — кроме того, мы обратимся в Лигу Наций. — Но мой дедушка, — мы с панной Цивле уже садились в "фиатик", — как-то не слишком доверял союзникам, не говоря уже о Лиге Наций, а потому на следующий день двинулся обратно в Мосцице — через свежую, еще не вскопанную немцами и русскими границу, а добравшись, наконец, до дому, вместо того чтобы явиться на отошедший теперь немцам завод, принялся целыми днями рассматривать старые фотографии, разбирать архив, подписывать на оборотах карточек даты, имена и названия мест, он догадывался, что этот вновь развернувшийся свиток времени — уже нечто совершенно иное, нежели каталог обычных воспоминаний, чувствовал, что мгновения, остановленные когда-то бесстрастным затвором "лейки", образуют абсолютно новую Книгу, о создании которой он и не помышлял и которая склады-

вается из случайных минут, изломов света, фрагментов материи и давно отзвучавших голосов, и Книга эта — словно нежданно распахнувшаяся потайная дверь, открывающая перед удивленным прохожим совершенно новую перспективу, словно изумляющая зрителя круговерть временных и пространственных фантомов, подобных золотистым столбикам пыли в старом темном амбаре. И дедушке захотелось повидаться с паном Хаскелем Бронштайном, — мы вновь переезжали по Сенницкому мосту мертвую ленту портового канала с напоминавшими туши экзотических спящих чудовищ корпусами кораблей, — чтобы, — продолжал я, — поделиться своими наблюдениями и купить пару пленок про запас, потому что с начала немецкой оккупации ежедневно вводился какой-нибудь новый запрет, и дед опасался, как бы и фотографирование вот-вот не было полякам запрещено, подобно радио, лыжным прогулкам, симфоническим концертам, не говоря уже о публичных лекциях по геологии в Обществе натуралистов, которое, как и прочие общества и вузы, было попросту закрыто; и он отправился на велосипеде в Тарнов, чтобы купить у пана Бронштайна бумагу и пленки "Геверт", но мастерская была заперта, и только в подсобке еще кто-то возился, так что дедушка зашел во двор и осторожно постучал три раза. — Инженер, — обрадовался пан Хаскель, — я слыхал, вас русские во Львове арестовали, стало быть, вранье, — он подал гостю стул. — На сей раз, — уточнил дедушка, — я отделался только потерей машины, а следующего ждать не стал, вернулся. — Да здесь не лучше, — пан Хаскель указал на свою повязку со звездой, — я закрываю мастерскую и уезжаю в Аргентину. — В Аргентину? — удивился дедушка. — Как это? — Не спрашивайте как, молитесь, чтобы мне удалось вывезти семью, этот паспорт я купил за две недели до начала войны, но только на свое имя, а их отправят в гетто, квартиру у нас отобрали, вы себе не представляете, какие взятки мне пришлось дать в нашей гмине, чтобы устроить им хоть комнату с кухней, ну да ладно, продержатся как-нибудь, вас-то хоть с завода не погонят, вот, пожалуйста, возьмите от меня на память, — и пан Хаскель Бронштайн протянул дедушке несколько коробочек с фотобумагой и десяток пленок "Геверт", а когда тот все же попытался заплатить, фотограф вспыхнул и заявил, что с лучшего клиента в городе, который даже тогда, когда "эндеки"[1] намалевали на витрине мастерской: "Не ходи к жидам!", демонстративно останавливал свой "мерседес" перед входом и покупал куда больше, чем было нужно, нет, чтобы с такого клиента он брал теперь деньги! Уже на пороге, после того, как они тепло простились, дедушка добавил только: — Знаете, на завод я больше не хожу, пусть немцы сами там управляются, — и вышел во двор, но велосипед исчез, его просто украли, и дедушка зашагал вниз по Краковской улице, мимо патрулей немецкой жандармерии, размышляя, что же будет дальше, раз французы не наступают, англичане не сбросили на Берлин ни одной бомбы, а немцы и русские устраивают совместные шествия, и вспомнил, как открыл когда-то в Вольном городе Гданьске маленькую фирму по импорту химических препаратов, как его изводили проверками, как присылали записки "Полячишка, вон отсюда", как, наконец, подожгли его склад, а потом еще и оштрафовали, выяснив, что он подал жалобу в Комиссариат Лиги Наций, вот с такими мыслями он и вернулся домой в Мосците, где его уже ждала повестка в полицию. — Не ходи, — ломала руки бабушка Мария, — может, лучше тебе вернуться во Львов и там переждать? — Ничего они мне не сделают, —

1. Разговорное обозначение членов движения НД (Национальная демократия).

пожимал плечами дедушка, — дело наверняка в том, что я не сдал "мерседес", как было приказано, так я скажу, что был у родственников на восточной границе, и покажу им вот это, — и дедушка вынул красноармейскую расписку о реквизиции, — они же сотрудничают, может, даже обменяют эту машину, чтобы статистика сходилась. — И представьте себе, — я взглянул на панну Цивле, — отправившись в полицию, дедушка взял с собой эту бумажку, которая, впрочем, не произвела особого впечатления на допрашивавшего его гестаповца, поскольку речь шла о том, что дедушка не является на службу, бойкотируя таким образом приказ Arbeitsamt[1], а завод этот, да будет вам известно, — объяснил я, — выпускал не только сельскохозяйственные удобрения, но и взрывчатку, так что гестаповец открыл папку с дедушкиным делом, вынул оттуда копии его экспертиз и патентов и швырнул на стол со словами: — Нам все известно, и это последнее предложение: поскольку по происхождению ты австриец, то с этой минуты из полячишки становишься немцем, а завтра выходишь на работу. — В тот же день, — моя повесть подходила к концу, — дед очутился в тарновской тюрьме, из которой его перевезли в Висьнич, где находилось уже несколько сотен подобных ему нежелательных элементов, а уж оттуда все отправились в Освенцим, где получили маленькие, трехзначные, номера и буквы "П" на пришитых к арестантским робам треугольниках. — Ну а если б он послушался вашей бабушки, — панна Цивле была взволнована, — если б ему все же удалось добраться до Львова? — Тогда, вероятно, он оказался бы в Донбассе, — "фиатик" сворачивал с моста Блендника на Третьего Мая, — подобно Стефану и Адаму Бачевским, погибшим там в сороковом году. — Дорогой пан Богумил, мне было очень жаль панну Цивле, ведь вместо того, чтобы рассказать что-нибудь забавное и отвлечь — ей-то было совсем худо, а точнее говоря, она жила без надежды на перемены к лучшему, вместо того, чтобы вручить ей букет имевшихся у меня в запасе смешных происшествий, я выдал трагическую повесть, сам толком не понимая, как же вышло, что в моей интерпретации безоблачные пикники на берегу Дунайца, катание на лыжах в Трускавце или охота на воздушную лису закончились реквизицией и дедушкиным трехзначным лагерным номером, закончились страшной гибелью семьи Хаскеля Бронштайна в общей могиле Бучинского Яра и не менее ужасной смертью Бачевских в штольнях Донбасса, да, я чувствовал себя виноватым, глядя на ее погрустневшее лицо, и вдруг, в тот самый миг, когда мы уже сворачивали на разбитую дорогу между садовыми участками Охоты, я понял, что не все, связанное в моей семье с фирмой "Мерседес Даймлер-Бенц", завершилось траурным маршем и горьким поражением, ведь спустя много лет, уже здесь, в Гданьске, жизнь приписала к той повести еще одну кульминацию, которая вполне способна развеселить панну Цивле; поэтому, дорогой пан Богумил, я сбавил скорость и произнес: — А знаете, жизнь все же описала удивительный круг, ибо мой отец, который в коммунистической Польше всегда был бедняком, однажды пришел с работы чуть позже, собственно, даже не пришел, а приехал, — но мне, дорогой пан Богумил, не удалось развить сей утешительный сюжет и завершить мрачную партитуру солнечной и светлой кодой, ибо, вглядевшись в темноту, панна Цивле заметила плясавшие вокруг ее деревянного сарая языки пламени, зрелище и в самом деле жуткое — огонь, казалось, поднимался выше окружавших домик кустов. — Боже мой, жмите же на газ, Ярек, Ярек!! —

1. Биржа труда (*нем.*).

кричала она, твердя имя брата, я нажал на газ, забуксовал в песке на повороте, "фиатик" вильнул задом, и на короткой финишной прямой я разогнался так, что затормозили мы уже у самой деревянной калитки, панна Цивле одним прыжком перемахнула через сломанный штакетник и бросилась к сараю, готовая кинуться в огонь, вытаскивать Ярека и спасать дом, что, к счастью, не понадобилось — когда я, отогнав "фиат" и освободив на всякий случай место для пожарной машины, бежал обратно, то услыхал ее громкий смех: — Физик, вечно ты со своими фокусами, я уж думала, что все кончено, а тебе, Штиблет, обязательно надо такой огонь разводить, у меня прямо сердце оборвалось, познакомьтесь, — я как раз подошел к костру, у которого стояла коляска Ярека, торопливо поедавшего придерживаемую Штиблетом сардельку, — это мой ученик, а это соседи по участку. — Мы тут не морковку выращиваем, — Физик подал мне руку, — а просто живем, вот как она. — И время от времени заглядываем на огонек с ворованным куренком, — засмеялся Штиблет, — Ярека угостить. — Я принесу ветчину и свиную шейку, — панна Цивле направилась к двери сарая, — а ты, Физик, тащи решетку, она там, где всегда, — через пару минут, дорогой пан Богумил, Физик принес из деревянной будки решетку, Штиблет сбил огонь и подложил несколько сучьев потолще, а я тем временем держал жареную сардельку, от которой Ярек, чавкая и довольно урча, понемножку откусывал, и после каждой порции я платком вытирал ему измазанные жиром губы и подбородок, но последний кусок он есть не стал, показав глазами, что это для меня — я ведь, небось, голоден, — и я принял угощение, похлопал Ярека по плечу, а он в ответ наклонил голову, коснулся ею моей ладони и протянул: — Ууу-ууу-ууу, — что означало "спасибо", панна Цивле же тем временем разложила на установленной Физиком решетке ломтики свиной шейки, перекладывая их ветчиной и луком, посыпая зеленью и сбрызгивая маслом, Штиблет подавал бутылки "Гевелиуса", а Физик из серебряной коробочки, похожей на миниатюрную сахарницу, высыпал на блюдце немного белого порошка и достал из кармана стеклянную трубочку, через которую втянул эту пудру в нос, после чего передал тарелочку и трубку Штиблету, который весьма удовлетворенно, хоть и не спеша, последовал его примеру, и, чего уж скрывать, дорогой пан Богумил, я догадывался, что последует дальше и, пожалуй, дал бы себя уговорить, если бы не панна Цивле, шепнувшая мне на ухо: — Не надо, у меня есть кое-что получше, погодите... — поэтому когда Штиблет предложил мне нюхнуть, я вежливо отказался, и блюдце со стеклянной трубочкой отложили в сторону; мы ели запеченное мясо, запивая его охлажденным в цинковом тазу "Гевелиусом", а Физик рассказывал о самом счастливом своем калифорнийском лете, когда фортуна улыбалась ему, когда у него было полно "зеленых", его любили женщины, у него брали интервью, а началось все здесь, в Польше, потому что Физик — тут, дорогой пан Богумил, мне следует кое-что пояснить — и в самом деле был физиком, младшим ассистентом нашего университета, но зарабатывал такие гроши и так рвался в Америку, что принялся здесь, на садовых участках, отливать из бетона строительные блоки, а поскольку дело происходило на закате генеральского правления[1] и товар расхватывали "на ура", то довольно быстро Физик определил на свою мануфактуру полкафедры и набрал на вожделенный билет до Чикаго и обустройство в Америке приличную сумму, но там, за океаном, все пошло не так гладко, о работе по специальности нечего было и мечтать, деньги моментально растаяли,

1. Т. е. Войцеха Ярузельского.

он хватался за любое предложение, виза закончилась, словом, кранты; и вот, когда Физик уже опустился на самое дно и ночевал в самых вонючих дырах, настал тот волшебный миг, о котором мечтает каждый иммигрант, нежданный дар судьбы, голливудский поворот сюжета: в Миннеаполисе валил мокрый снег, Физик в сношенных кроссовках брел по улице и уже обдумывал самоубийство, но прежде, чем окончательно поставить на всем крест, решил где-нибудь погреться и заглянул в художественную галерею, в которой как раз демонтировали выставку — некие деревянные инсталляции, надпиленные деревянные балки. Физик наблюдал за рабочим, таскавшим эти грубые конструкции, и тут подошел к нему молодой человек при галстуке и заявил: — Сегодня у нас закрыто, через три дня открывается новая экспозиция, не мешайте, пожалуйста, работать, — а Физик в ответ: — Отвяжись, парень, я европейский художник, ничего я не мешаю — присматриваюсь, какие у вашего зала возможности. — Что еще за возможности? — переспросил тот. — Мобильные возможности, дурак, ты, небось, и не слыхал об этом виде искусства, ну да, Америка, давшая нам Поллока, Бейса и Уорхола, Америка, на которой все мы выросли, теперь уже выдохлась и пожирает собственный хвост, душа истинного искусства вновь поселилась в Европе, — произнеся эти слова, Физик демонстративно закурил папиросу и, не обращая внимания на юнца при галстуке, принялся расхаживать по большому залу, подсчитывая шаги, поглядывая на потолок, прикрывая пальцами глаза от света галогеновых ламп и ожидая, что его вот-вот погонят из теплого помещения, на полу которого мокрые кроссовки оставляли грязные следы; желая оттянуть сей неприятный момент, он отправился в туалет, и, дорогой пан Богумил, как оказалось впоследствии, не ошибся, потому что, проходя мимо приоткрытой двери в офис, он услышал, как тот, при галстуке, орет в трубку: — Ты, видно, спятил, Ли! Придурок! Через три дня выставка, а ты никак не просохнешь, хоть бы что-нибудь с тебя получить, но ты и носу не кажешь, хватит с нас! — а художник, похоже, в ответ нахамил, потому что обладатель галстука бросил лишь: — Да пошел ты... Ли! — и на том разговор закончился, Физик же спокойно зашел в туалет, умылся под краном, потом снял эти чертовы насквозь промокшие кроссовки и грязные носки, пустил воду погорячее и, задирая, словно акробат, заледеневшие на улицах Миннеаполиса ноги, стал по очереди греть их под теплой струей, и тут в уборную зашел малый при галстуке, их взгляды встретились в зеркале, и прежде, чем тот успел открыть рот, Физик рявкнул во весь голос: — Не выношу, бля, когда кто-нибудь подглядывает за моими ритуалами! — Мужик при галстуке прошептал: — Простите, — и немедленно ретировался, Физик же выбросил свои вонючие носки в мусорную корзинку, обернул ноги бумажными полотенцами и надел уже немного подсохшие кроссовки, но вместо того, чтобы покинуть галерею, вернулся в опустевший зал, постоял в центре, затем осмотрел углы, бормоча себе под нос: — Неблагоприятная атмосфера, это меня нервирует, эта статичность, бля, невыносима, — а тот, при галстуке, разглядывал Физика из-за двери, и когда он, наконец, вновь вышел на самую середину комнаты, лег навзничь и, заложив руки за голову, уставился в потолок, парень подошел и спросил: — Можно с вами поговорить? — Это и оказался, дорогой пан Богумил, поистине переломный момент, звезда гения засияла уже назавтра, когда в тех же кроссовках, но в новом пальто Физик вошел в галерею и бросил ее шефу обширное портфолио с рецензиями на свои выставки, фотографиями произведений и фрагментами теоретических исследований, освещавших феномен “mobart”, то есть “mobile

building art"[1]; да, Физик без сомнения был гением, кому же еще под силу за одну ночь сотворить компьютерную мистификацию, столь цельную, убедительную и одновременно насквозь фальшивую, и пусть останется тайной, где он в ту ночь отыскал деньги, компьютер, сканер, бумагу и принтер, а также все прочие материалы, необходимые для создания несуществующего искусства не существующего еще художника, важно то, что разноязычные газетные заголовки, названия рецензий, а главное, цветные фотографии перформансов привели владельца галереи в восторг. — Это возвращение к истокам, — заявил он с горящими глазами, — сам Господь мне тебя послал, ну а послезавтра ты что покажешь? — Физик же вместо ответа положил на стол смету мероприятия, заявив, что настоящий художник никогда заранее не раскрывает своих планов, действуя спонтанно и новаторски, ломая всяческие схемы и традиции, и это произвело еще более благоприятное впечатление, ибо хозяин галереи не моргнув глазом выписал Физику чек — его заботило лишь, "пойдет" мобарт или "не пойдет", однако гений Физика оказался неисчерпаем, ибо, вы только себе представьте, дорогой пан Богумил, в день выставки взорам многочисленных критиков, яппи и знатоков искусства предстал пустой зал, а примерно в центре его — два куба, две коробки, сделанные, видимо, из легких бамбуковых каркасов, обтянутых плотной черной пленкой, — но это был не болгарский перформанс Христо[2], этакая банальная идейка контраста внешнего и внутреннего, и собравшаяся публика поняла это, как только Физик сорвал черный покров с первого, гигантских размеров куба; у всех дух захватило — да, там на деревянных направляющих обнаружилась поставленная "на попа" бетономешалка, такая же, как та, что была у Физика на садовом участке на Охоте, — метров семь в высоту, в верхней части стальной клепсидры воронка для песка, цемента и воды, снизу кран, через который смесь льется в подставленную форму; и вот началось рождение искусства, бетономешалка заработала, двое ассистентов забегали с болванками, третий чуть погодя вкатил в зал мощное поддувало для сушки бетонных блоков, а Физик тем временем раскрыл второй куб, поменьше, и зрители увидали двух человек, сидевших на плетеных стульях, — обнаженная пара молча и недвижно глядела вдаль, и лишь теперь, когда подсохли первые блоки, прояснился глубокий художественный замысел мероприятия: Физик с помощником приступили к возведению четырех глухих стен, замуровывая мужчину и женщину в незримой пока камере; боже, какой это имело успех, особенно когда Физик вышел к публике и принялся раздавать добровольцам мастерки, объясняя, как следует укладывать блоки, чтобы линии получались перпендикулярными; желающих, дорогой пан Богумил, оказалось больше, чем рабочих мест, так что им приходилось сменяться каждые пятнадцать минут, стены росли, бетономешалка стрекотала, гудела и выплевывала все новый строительный материал, поддувало сушило предусмотрительно заготовленный Физиком быстрозастывающий цемент, ну а критики искусства, яппи и знатоки, все в известке, скинув пиджаки и закатав рукава сорочек, трудились буквально наперегонки, причем не только укладывали блоки, но и сами торопливо таскали их от бетономешалки к поддувалу, а оттуда на стройплощадку, и все это запечатлевали телекамеры крупнейших каналов,

1. Мобильное строительное искусство (*англ.*).
2. Христо Явачев, американский скульптор, известный своими "пакетами" — строениями, временно обернутыми в синтетические ткани, в частности, перформансом "Обернутый рейхстаг" (1995).

которые успел известить влиятельный критик, усмотревший в этой идее и этом действе — надо заметить, не посоветовавшись с художником — символ Холокоста: бездушное общество, мол, возводит камеру для первых людей, Адама и Евы, которым суждено задохнуться во тьме; итак, когда этих голышей и в самом деле замуровали к чертовой матери, в зале галереи Миннеаполиса уже работали, не считая мелочевки вроде отдельных фоторепортеров и писак, представители не менее пятнадцати телеканалов и десяти радиостанций, иные из них даже специально прерывали программу, чтобы дать прямой эфир и доложить о действиях Физика, поскольку происходящее тут же, немедленно объявили крупнейшим художественным событием сезона, но Физик и здесь проявил свою гениальность, ибо, когда к нему подбегали с камерой или микрофоном, орал во все горло: — Бля, я вам говорил, не сейчас, я внутри, в самом центре пространства и потока времени, я человек, я в него превращаюсь, отвяжитесь, это мое рождение, подождите, пока я выплыву из околоплодных вод, — ну уж после такого dictum[1] журналисты просто обезумели, от восторгов стало не продохнуть, напряжение росло, словно перед грозой, и тогда Физик с помощью огромного пульверизатора выкрасил этот бетонный бункер в черный цвет, а затем громко заявил: — Граффити — дерьмо, граффити умерло, сейчас вы создаете мегалитературу знака, — и вот, дорогой пан Богумил, все гости, вооружившись пульверизаторами, которые раздали Физик с помощниками, кинулись к свежевыкрашенным стенам — одни писали свои инициалы, другие — лозунги, вроде "к черту процентные ставки", кое-кто оставил отпечаток ладони, а иные дамы, невзирая на камеры или, напротив, вдохновленные их присутствием, снимали трусики, покрывали краской ягодицы и запечатлевали на бетонном саркофаге оттиск собственной попы, из чего, дорогой пан Богумил, видимо, можно сделать вывод, что в свое время им довелось посмотреть фильм Иржи Менцеля[2], и вот, когда все четыре стены оказались разукрашены таким образом, в зал по знаку Физика внесли кирки, и публика принялась пробивать в стене дыру, которую влиятельный критик назвал позднее вратами к центру света, победой личности, ключом к пониманию трагедии угнетенных, и каждый смог прильнуть к этой пробоине, дабы увидеть, как совокупляются те двое; тут следует пояснить, что репродукторы оглашали галерею симфонией дождевых капель, раскатов грома, шума стекающих в водостоки струй, а Адам с Евой еще дополняли сей музыкальный фон: каждое действие, каждое движение любовного акта он сопровождал громким восклицанием "Килиманджаро!", а она отвечала нежным бархатистым альтом: — Муллувуэвуэ! Муллувуэвуэ! — что в своем достопамятном эссе влиятельный критик позднее интерпретировал как трансгрессию уцелевших из сферы подсознания в сферу вербализованной мечты, то есть эмансипацию вне пола, общественной жизни и массовой смерти, которую несут напалм и атомные бомбы, — да, в Калифорнии я достиг самых вершин, — продолжал Физик, втянув в ноздри очередную порцию белого порошка, — после двух лет постоянного взлета, когда мое mobile building art приносило кучу бабок, я был всемогущ, словно Господь Бог, серии пирамид, валов, пространственных ромбов, блюдец, ледников и галактик сравнивали с произведениями Леонардо, хотя это преувеличе-

1. Высказывания, изречения (*лат.*).
2. Речь идет о фильме "Поезда под особым наблюдением" по одноименной повести Б. Грабала. Иржи Менцель — знаменитый режиссер, один из легендарных представителей чешской "новой волны".

ние, ведь он создавал практические, но нереальные проекты, а я воплощал на практике идеи универсума, ну да пусть их, — Физик передал блюдце со стеклянной трубочкой Штиблету, — и кабы не этот сукин сын Ли, пьяница и дегенерат, кабы не жуткая зависть бледнолицего англосакса к безродному бродяге, кабы не его маниакальная ярость, я бы и сегодня посиживал себе под пальмами или ехал по бульвару Заходящего Солнца в открытом "трехсотом мерседесе", ибо, скажу как на духу, последней каплей, переполнившей чашу горечи этого неудачника, возомнившего, будто я, мол, в Миннеаполисе украл у него славу, так вот, последней каплей оказался именно мой "мерседес": спортивное coupé[1], автоматическая коробка передач, кожаная обивка, кондиционер; когда он увидал, как я скольжу по аллее, вальяжно, медленно, словно крадучись, когда до него, наконец, дошло, что свиньи, которых он мне подкладывал, преследуя по всем Штатам, — взять к примеру звонки перед каждым вернисажем насчет якобы заложенной бомбы, — ничего не дали, когда он сравнил собственную ничтожность с моим триумфом и, как я уже сказал, узрел своего врага и Бога номер один на этом "мерседесе", в него вселились демоны, холодные демоны расчета, и впервые за всю жизнь Ли с пользой употребил башку, а именно — наслал на меня федеральных псов, которые моментально, без всякого труда, обнаружили в моей машине полкило колумбийского кокаина, думаю, не надо вам объяснять, что я его и в глаза не видел, но даже адвокаты оказались бессильны, виза была просрочена, я превратился в пустое место, моя счастливая звезда, взошедшая в Миннеаполисе, опускалась в Тихий океан, и почти никто не обратил на это внимания, "мобарт" уже наскучил, как раз росли ставки "неофлюксуса", и не спрашивайте меня, что это за ублюдочное порождение Нью-Йорка, меня депортировали, и ничего мне так не жаль, как этого "мерса", переправить бы его через океан — хоть какие-то бабки были бы на первое время, но эти сволочи мало того, что влезли в мои счета, они еще и тачку конфисковали, параграф об орудии преступления, и точка. — Интересно, сколько можно повторять одно и то же? — Штиблет передал блюдце со стеклянной трубкой Физику. — Столько, сколько нужно, чтобы до вас дошло, — отрезал Физик, — имея врага, не покупай себе "мерседес". — Ага, — засмеялась панна Цивле, поглядывая в мою сторону, — как раз собираемся. — Это еще что, — Штиблет похлопал Физика по спине, — вы бы его видели, когда он вернулся из Америки, замер вот тут, посреди участка, в зарослях крапивы, глядит на ржавую бетономешалку, поглаживает ее... представляете, он сразу бросился ко мне и говорит: — Штиблет, возвращаемся к истокам, почем сегодня бетон? — а я ему в ответ, что в одну реку дважды... ну и так далее, а он никак не хотел понять, что героическая эпоха случайных кооперативов сделала нам ручкой, причем некоторым этой ручкой основательно поддала под зад, не верил, что денежный поток уже раз пять сменил русло, и все не в наших краях, но Физик этого так и не принял, погрузился в депрессию, запил, заперся в своей норе и только кидал птицам хлебные крошки, и вот, дамы и господа, когда он кормил этих воробьев, трясогузок, зябликов, чижиков и дроздов, что-то у него в башке щелкнуло, просветлело, и он вспомнил прочитанное некогда жизнеописание святого Франциска — подкармливая птичек, Божий проповедник вроде искал вдохновения. — Ерунда, — прервал его Физик, приканчивая бутылку "Гевелиуса", — уже набрался, — пояснил он нам, — сейчас скажет, будто эти птицы

1. Купе (*франц.*; зд.: двухместный автомобиль).

на моих глазах обращались в змей и пауков и у меня были видения в пустыне, ничего подобного. — А что такое твоя хибара с сорняками до потолка, — вспылил Штиблет, — если не пустыня, ну, в крайнем случае, пу́стынь, а ты сам если не мученик, то проповедник. — Довольно, — снова перебил его Физик, — видите, опять он все перепутал. — Вот что, — вмешалась вдруг панна Цивле, — или вы прекращаете орать, или закрываем лавочку, — но это, дорогой пан Богумил, особого действия не возымело, соседи моей инструкторши парили уже в таких эмпиреях, откуда возможно было спорхнуть разве что на дельтаплане, хотя, признаюсь, меня это вовсе не смущало, тем более что из спутанных фраз и противоречивых аргументов вырисовывалась отчетливая картина их пионерского предприятия, задуманного Физиком, но осуществленного, наверное, лишь благодаря Штиблету; итак, Физик, ни больше ни меньше, установил в своем сарайчике компьютер, подключился к Интернету и, болтая однажды с викарием из прихода Суха Гурка, узнал, что молодому ксендзу, как тот весьма откровенно признался, предстоит назавтра произнести проповедь, но сочинение чего-либо хоть сколько-нибудь умного и притом удобоваримого и доступного прихожанам для него — истинная мука: ну сколько можно поносить пьяниц и в сотый раз сотрясать воздух по поводу грехопадения разведенных, и тогда Физик предложил Штиблету, прекрасно образованному филологу, по-христиански помочь человеку, то есть подбросить парочку идей, Штиблет же забавы ради написал для викария из Сухой Гурки блестящую речь "Скитания святого Франциска по супермаркету", с тех пор, дорогой пан Богумил, они и занимаются своей гнусной деятельностью, успех был феноменальный, в иную неделю на них обрушивалось более сорока заказов со всех концов света, так что Физик взялся за логистику, а Штиблет бросил школу и писал шпаргалку за шпаргалкой, но потребности клиентов превысили их скромные возможности, спрос превосходил предложение как минимум вчетверо, и тут Штиблет выдал идею не менее гениальную, чем Физик: на своем сервере они стали продавать не шпаргалки, а отдельные риторические фигуры, фрагменты текстов, созданные по лучшим образцам, поэтому, если прихожане обвиняли радомского ксендза в грехе гордыни, Штиблет извлекал соответствующий файл под названием "скромность" и предлагал тому готовую формулу, что-нибудь в стиле Цицерона: "собственно, мои дорогие, я последний, кому следует вас поучать, но сложившаяся на сегодняшний день ситуация вынуждает меня..." и так далее, а когда приходский священник из Овчаркова собирал подписи против новой конституции, Штиблет, щелкнув мышкой по рубрике "Argumentatio"[1], выдавал классическую цитату из ксендза Скарги, а именно что "плохой закон хуже суровейшего из тиранов", служившую, разумеется, доказательством того, что коммунисты — еще цветочки, детские игрушки в сравнении с нынешней еврейско-либеральной диктатурой с Уолл-стрит, каноник же, нуждавшийся в орудии борьбы с Дарвином, получал тридцать третий совет из "Эристики" Шопенгауэра, то есть фразу "Может быть, это справедливо в теории, но на практике совершенно ложно"[2], уже через неделю они принялись за вопросы теологии, и помимо отдельных тем на сайте можно было легко отыскать готовую цитату из блаженного Августина, Паскаля, Фомы Аквинского или Ньюмена, а спустя примерно три месяца трудившаяся на Штиблета студенческая ко-

1. Изложение доказательств, приведение доводов (*лат.*).
2. "29 уловка" в издании: А. Шопенгауэр. Эристика, или Искусство побеждать в спорах. Перев. с нем. Н. Л. Д'Андре. СПб., 1900.

манда создала уникальную конструкцию, каркас, универсальную схему проповеди, из которой даже самый привередливый священник мог тем или иным способом составить любой вариант шедевра гомилетики[1]: от вселенского экуменизма до железобетонного лефевризма[2]. Да, дорогой пан Богумил, я внимал всему этому, погрузившись в нирвану, потому что, уложив Ярека спать, панна Цивле принесла мне уже прикуренный косячок, и пока Физик со Штиблетом спорили по поводу прелата Янковского, который на прошлой неделе затребовал проповедь о своем "мерседесе", что оказалось непросто, ибо подобный сюжет ни на одном сервере, ни под одним адресом не упоминался, пока они ломали голову, подступиться ли к этой проблеме с точки зрения Божьего Провидения или, может, лучше этики труда, ибо сам преподобный, делая заказ, сие уточнить не соизволил, пожелав прежде всего дать отповедь таким-сяким светским журналистам, наперебой проклинавшим — как именно, я уж опущу — прелата с его, мягко говоря, сибаритством; я чувствовал, как с каждой затяжкой из меня уходит усталость, накопившаяся за день и за все годы, о которых я рассказывал панне Цивле во время нашей ночной поездки, ощущал, как фантастически легко делается у меня на душе, как чисты и невинны мои желания, бесплотно тело, стремительна мысль, и вдруг увидал сад в Мосците: дедушка Кароль читает в плетеном кресле, на лоб надвинута летняя панама, бабушка Мария подрезает чайные розы, и ее фигура, залитая ярким светом, выделяется светлым пятном на фоне каменной кладки оранжереи. — Это твоя невеста? — спрашивает дедушка, откладывая книгу, когда мы с панной Цивле подходим к террасе. — Инструкторша, — отвечаю я смущенно, — учит меня водить машину. — Да, — сказала бабушка Мария, не отрываясь от своих роз, — теперь так принято. — А ты закончил Политехнический? — пристально смотрит на меня дедушка. — Но это же не ваш сын, — улыбается панна Цивле, — это ваш внук. — Да, да — прерывает ее дедушка, — это понятно и чудесно, — он поднимается с кресла, подходит к панне Цивле, берет ее за руку и исподволь рассматривает профиль, — я имел в виду ваши черты, они неповторимы, если позволите, я отлучусь на минутку за фотоаппаратом, хочу сделать ваш портрет. — Как красиво он со мной говорил, — шепчет панна Цивле, когда дедушкина фигура исчезает в холодной части дома, — пожалуй, хорошо, что ему не придется слушать Физика или Штиблета, а то он мог бы сделать чересчур поспешные выводы. — Не слишком его утомляйте, — бабушка Мария проходит мимо с букетом роз, — он истощен собственным временем, ему следует находиться в тени, — с этими словами она скрывается за стеклянными дверьми оранжереи. — А он правда, — спрашивает панна Цивле, — хочет сделать мой портрет? — Солнце в зените, нагретый воздух дрожит над выгоревшей зеленью сада, тесня сладкий цветочный аромат под своды райской яблоньки и абрикосов, а жара, подобно шутнику портному, облачает нас в облегающие влажные костюмы, хоть и прозрачные, но невыносимо тяжелые, словно хитиновые панцири, и мы на целую вечность замираем на этой террасе, будто оцепеневшие в летаргическом сне насекомые, и лишь потом — медленно, преодолевая сопротивление раскаленного воздуха — входим, наконец, в дом, где стоит полная тишина и молчаливые грузчики сносят со второго этажа ящики и сундуки, в комнатах, гостиной и библиотеке царит неописуемый хаос разбросанных, предоставленных самим себе вещей. — Вы только взгляните, — поднимаю я с пола

1. Гомилетика — раздел богословия, посвященный проповеднической деятельности.
2. Лефевризм — ортодоксальное течение в католицизме, оппозиционное Ватикану.

*... поднимаю с пола фирменный конверт мастерской пана Хаскеля Бронштайна, <...> отогнув клапан, я вытаскиваю серый прямоугольник фотобумаги "Геверт"...*

фирменный конверт мастерской пана Хаскеля Бронштайна, — там внутри что-то есть, — отогнув клапан, я вытаскиваю серый прямоугольник фотобумаги "Геверт", на котором не проявилась никакая картинка, — прочтите, это почерк моего деда, — и, склонив голову над листком, панна Цивле читает вполголоса: "И взяли они меня и перенесли на место, в котором находящиеся там были подобны пылающему огню, и, когда они желали, они появлялись как люди"[1], — а потом переворачивает листок и зачитывает другую фразу, написанную дедушкой Каролем: "Затем я направился туда, где не было ничего". — Ну вы и накурились, — засмеялась она громко, подбрасывая в огонь пару щепок, — завтра никаких поездок, кстати, мне бы хотелось послушать, что же сделал ваш отец, вернувшись с работы. — Я сейчас не могу объяснить, — едва ворочая языком, я глядел, как мои слова порознь воспаряют в воздух, потом внезапно распадаются на отдельные буквы, которые черными хлопьями кружат в языках пламени и, наконец, исчезают в огне, — слишком крепкий, — я отдал косяк, — к тому же я допустил ошибку. — Я же показывала, как надо: потихоньку, осторожненько, — панна Цивле выпустила струйку дыма, — а вы словно паровоз, — но я, дорогой пан Богумил, прервал поучения инструкторши и признался, что виноват, что сорвал в ее отсутствие пару пучочков, которые теперь сушу на балконе в надежде просветить душу и освободить тело, она же не рассердилась и не одернула меня, а лишь рассмеялась: — Ну и ученик мне достался, просто натуралист какой-то, да ведь травка, — она согнула сорванный стебель, — черпает силу из чистоты и девственности; то, что у меня в руках — "мужское" растение, зацветая, оно стремится опылить, — панна Цивле сорвала другой кустик, — о, вот как раз такой "женский" экземпляр, но тогда весь труд идет прахом, опыленная трава теряет всю свою силу, все магические свойства, поэтому во время цветения "мужские" особи следует вырывать с корнем, — она бросила один из побегов в огонь, — тогда "женские" соцветия и стебли вырастут и набухнут. — Словно невесты Христовы, — с притворной наивностью вставил я. — Чтоб вы знали, — панна Цивле строго сдвинула брови, — ничего смешного в этом нет, сверхъестественная сила духа всегда приобретается ценой отречения, это было известно всем святым и ведьмам, только теперь об этом не говорят вслух. — Вы с ума сошли, — теперь уже я громко засмеялся, — мы живем в свободной стране. — Свободной для кого? — резко спросила она. — Для доктора Элефанта? Физика? Штиблета? А может, это пара-

1. Книга Еноха, глава 17.

доксальным образом относится ко мне — вот уж правда, просто воплощенная свобода! Я вам кое-что скажу, — она глубоко затянулась, — в ту первую зиму, когда мы с Яреком здесь очутились, я чуть не спятила, не было печки, проточной воды, сортира, к тому же ни денег, ни хоть какой-нибудь работы. Так что я танцевала в баре "Лида" у шеста, на качелях, в душевой кабинке, но с шефом у меня была договоренность: руки не распускать; Жлобек каждый вечер приходил на меня посмотреть — он прямо исходил слюной и потел от желания, постанывал, приманивал, ставил коктейли и заверял: — Ради тебя я готов на все, — так продолжалось неделю за неделей, пока, наконец, я не спросила: — Правда на все? — Все, что хочешь, — пустил тот слюни, — чего только пожелаешь. — Когда я ему ответила: — Ладно, лицензия инструктора и собственный "фиатик", — он чуть с табурета не свалился. Месяц Жлобек меня не беспокоил, но когда, появившись вновь, выложил на стойку удостоверение инструктора и ключи от машины, я сама чуть не грохнулась прямо рядом со своим шестом. Я вам еще кое-что скажу, — она бросила окурок в догорающий костер, — я до этого никогда с мужиками не трахалась, была девицей, ах, пардон, настоящей нежной барышней, как говорили прежде в приличном обществе, вероятно, и в салоне ваших дедушки с бабушкой тоже. — Я молчал, дорогой пан Богумил, а панна Цивле присыпала угли землей с грядок и добавила еще, что стебли, которые сушатся у меня на балконе, никуда не годятся, я сорвал их слишком рано, к тому же это, небось, "мужские" растения. Я хотел попрощаться, поблагодарил за ужин, но панна Цивле возразила: — И думать забудьте, ну куда вы пойдете в таком виде, и не смейте никогда больше курить, вы не держите удара, у меня такая же штука с алкоголем, — и мигом принесла из сарая гамак, два одеяла и подушку, — надеюсь, вас не пугает подобное соседство, — она взглянула на изгородь, за которой безмолвствовало старое кладбище. — Спасибо, — сказал я, — пойду потихоньку вниз, к такси, завтра занятий нет, так, может, договоримся на послезавтра? — и двинулся к калитке, но ноги мои медленно оторвались от земли, словно вместо туфель на мне были сандалии Гермеса с маленькими крылышками, и в таком блаженном состоянии невесомости я проплыл несколько метров, впрочем, совсем невысоко, затем приземлился, точь-в-точь как Армстронг на Луне, и, по-детски радуясь этому ослабевшему земному притяжению, сделал следующий шаг и вновь взлетел, засмеявшись еще громче, а потом вдруг случилось нечто странное, ибо земля, вместо того чтобы принять меня в свои мягкие объятья, побежала, удаляясь, от моих ног, и я внезапно очутился высоко над деревьями, над холмом и кирпичной готикой ганзейского города, ощущая ту удивительную бесплотность и ничтожность бытия, состояние, которое иные мистики достигали лишь под конец жизни, и устыдившись, я попытался придать своему телу вес, способный опустить меня вниз, но это оказалось непросто, дорогой пан Богумил, и я, видимо, очень долго пребывал в состоянии подвешенности, пока, наконец, не услыхал оклик панны Цивле, поразивший меня чуть ли не в самое сердце, словно снаряд зенитной батареи капитана Рымвида Остоя-Коньчипольского, и тогда я, наконец, полетел на землю, но не как лопнувший шар "SP-ALP Мосците" на луг под Бобовой, а подобно ржавому "Туполеву" со сгоревшими моторами; последовал страшный удар, после чего я, мокрый насквозь, стал медленно подниматься, а панна Цивле, помогая мне выбраться из корыта с дождевой водой, громко возмущалась: — Если человек ходить не научился, так нечего браться за полеты, вы, похоже, из тех, у кого бутерброд всегда падает маслом вниз, хорошо еще, что в компост не приземли-

лись. — Чудесно, — уверял я, похлопывая ладонью по корыту, — видите, сия купель вернула меня общественности, и, облачившись в новые одежды, — я выкручивал штанины, — я обрел и новый дух, будто заново родился. — Ну не знаю, — произнесла панна Цивле, укладывая в гамак подушку, — мне пора ложиться, спать осталось три часа, — но прежде, чем исчезнуть в дверях деревянного сарая, она, дорогой пан Богумил, подошла ко мне и, подав на прощание руку, сказала: — Спасибо, — а я замер перед ее домиком, изумленный до глубины души, ну с какой стати ей было меня благодарить, скорее это я мог испытывать признательность за обалденный вечер в обществе Штиблета и Физика, за ускоренный курс современного искусства, за это ноу-хау интернет-фирмы "Пророк", наконец, за полученный урок — как не надо курить травку, если ты в этом деле новичок; я шел вдоль кладбищенской ограды, размышляя обо всем этом и, честно говоря, вновь погружался в меланхолию; над верфью и заливом висел густой туман, откуда-то из порта доносился стон навигационного гудка, где-то рядом зазвонил на стрелке незримый трамвай, воздух был клейким от безмерно тяжких снов, что в кирпичных домах, переулках и садах все никак не могли дождаться развязки; и вновь зарастал крапивой, пыреем, лебедой город, который я никогда не любил, тот чужой, недобрый, ненастоящий город, что каждый год миллиметр за миллиметром погружался в химеру собственных мифов, словно ему постоянно не хватало солнечного света, словно извечный запах селедки, смолы, ржавчины, сажи и агар-агара покрывал непроницаемым саваном жирную воду каналов, прогнившие останки мостков, блочные дома эпохи социализма и по сей день не отреставрированные лабазы. — Кисло же вы день начинаете, — доброжелательное, в общем-то, лицо таксиста напомнило мне все роли Клауса Кински[1], вместе взятые, — если имеется желание, по пути можем пивком затариться, круглосуточный сервис, при Ярузеле это было unmöglich[2], а теперь möglich[3], все möglich, — разбитый "мерседес" из тех, с "крылышками", едва не развалился на повороте Картуской, дизельный мотор из последних сил выплевывал клубы выхлопных газов, заклекотали дверцы, застучали амортизаторы, упало незакрепленное стекло, освежитель воздуха наполнял салон густым душным облаком, кажется, это была мятная разновидность, — ну, тогда я на момент выскочу за куревом, — раскрыл водитель свои намерения, — вы тут обождите полминутки, — он остановил машину перед ночным магазином, недалеко от учебной площадки, — сейчас вернусь, — дверца заскрежетала и хлопнула, — вы только не засыпайте, — я глядел на горевший возле мусорного контейнера под каштаном небольшой костер, на дервишей, алкашей, приверженцев святого Витта, любителей денатурата, водяры и бормотухи обоего пола, гревших свои лохмотья в мерцающем кругу, картинку то и дело затягивало все сильнее сгущавшимся туманом, а лицами, обликом, медленными и расчетливыми движениями они, дорогой пан Богумил, напоминали утомленных долгим маршем повстанцев, которые, оторвавшись на несколько минут от армии оккупанта, стремятся насладиться иллюзией краткого отдохновения, иллюзией, ибо исподволь подкравшийся рассвет принесет им лишь неминуемую смерть, гнусную и ничем не примечательную; мы поехали дальше на этом кошмарном "мерседесе", а так-

1. Клаус Кински (1926—1991) — известный немецкий актер театра и кино, много снимавшийся в триллерах и фильмах ужасов.
2. Невозможно (*нем.*).
3. Возможно (*нем.*).

сист продолжал плести свой монолог, и я почувствовал, что мое вечернее и ночное занятие в автошколе еще не окончено, ему суждено получить продолжение, подобно тому, как продолжение имела история "сто семидесятого мерседеса", но не того, украденного русскими — он ездил на бензине, — а того, что благодаря моему отцу в один прекрасный весенний день семьдесят второго года появился в Верхнем Вжеще, на углу Хшановского, с дизельным мотором и гораздо большим пробегом, что, впрочем, явно тянуло на эпилог, — вот только панна Цивле, — размышлял я, расплачиваясь с таксистом, — захочет ли она вернуться к этой теме, захочет ли совершить очередной круг в нашем курсе вождения? — И представьте себе, дорогой пан Богумил, она захотела, потому что, когда я на следующий день шел по улочке Совинского в фирму "Коррадо" — гарантируем водительские права по самым низким в городе ценам, — из окна "фиатика" высунулась ее прелестная головка, и я услыхал: — Эй, пан Павел, вы опоздали на пятнадцать минут, вечно вы, мужчины, усложняете самые простые вещи. — Я был сконфужен, ведь накануне, из-за всей этой травки, мы не договорились на конкретный час, а потому я молчал, пристегиваясь и устанавливая зеркало, но у нее и в самом деле было хорошее настроение, и как только я тронулся, она сказала: — Сегодня отрабатываем перекрестки, для начала едем на Хучиско, а я, наконец, хочу услышать, что сделал ваш отец, надеюсь, это как-то связано с дедушкиными автомобилями. — Конечно, — я въехал на Картускую, — но прежде, чем начать рассказ, следует ознакомить вас с так называемым фоном, так вот, — я остановился на светофоре перед мэрией, — он был исключительно сер и убог, мы жили весьма скромно, отец, правда, был инженером, но, не являясь представителем нового, передового, здорового класса, на протяжении многих лет получал меньше тракториста в госхозе, разметчика на верфи, доярки или каменщика без всякого образования, однако ни разу не пожаловался, лицо его ни разу не исказила кислая гримаса, и даже если перед получкой мы садились на хлеб со смальцем, он улыбался и замечал: — И не такое переживали, — и никогда не позволял себе предаваться воспоминаниям о старых добрых временах, потому что всегда полагал и неизменно верил, что рано или поздно наступят времена еще более замечательные, хотя, честно говоря, — мы все еще стояли в пробке перед мэрией, — я так и не понял, откуда у него этот благородный оптимизм, которым он уж точно не мог быть обязан собственному опыту — скорее, неким спрятанным в недрах души залежам наивной доброты, иначе откуда бы отец черпал уверенность, — мы медленно удалялись от самого уродливого в городе здания, — что станет легче, когда делалось все тяжелее? — Может, он был верующим? — вопросительно взглянула на меня панна Цивле, — если это чувство глубокое, не показное, то человек, даже доведенный до крайности, полагает, что несмотря на временные трудности дело, в сущности, идет на лад. — Что ж, может, вы и правы, — засмеялся я, притормозив у Ракового базара, — хотя его вера в Бога опиралась скорее на дух квантовой физики, нежели на исторические примеры, но как бы то ни было, — вернулся я к нашему сюжету, — отец, питавший к выходкам прогрессивного, авангардного, здорового класса эстетическое отвращение и реагировавший на все их акции, митинги, марши и истерические выкрики сдержанным молчанием, лишь в одном случае изменял своим принципам и громко поминал прошлое, а именно, когда речь заходила о машинах. — Ему не нравились "сиренки" и "вартбурги"? — вновь прервала меня панна Цивле. — Не то слово, — пояснил я, — понимаете, когда мама или мы с братом иной раз говорили отцу: — Ах, как приятно было бы ездить на пляж хоть на несча-

стной "сиренке", вместо того чтобы целый час толкаться в раскаленном трамвае, как хорошо было бы возвращаться с Кашуб с корзинами, полными грибов, хоть на несчастном "трабанте", вместо того чтобы ждать под дождем последнего, битком набитого автобуса, который проезжает мимо остановки, даже не замедлив ход, — так вот, когда мы порой робко замечали, что, мол, кто-то из соседей или знакомых, отказывая себе во всем, накопил, наконец, на "сиренку" или, вытянув счастливый лотерейный билет, приобрел "вартбург", отец отвечал, что не каждая таратайка о четырех колесах и с мотором имеет право называться машиной, подобно тому, как не каждый, кто толкает с трибуны речь, непременно является государственным мужем, и закрывал дискуссию, заявляя, что если когда-нибудь и сядет за руль, то это непременно будет такой автомобиль, на каком они путешествовали с дедом, ну а нам оставалось лишь облизываться, потому что одна только мысль, одна лишь мечта о том, чтобы отправиться на сопотский пляж или кашубские озера на "мерседесе", казалась сошедшей со страниц книги фантастических пророчеств; шли годы, на улицах уже появились польские "фиаты", в "Деликатесах", отстояв в очереди всего один раз, можно было купить две пачки кофе и банку ананасного компота, изредка кто-нибудь привозил из Западного Берлина сильно подержанный "фольксваген", в Гдыне иные моряки носились по Свентоянской на "тальботах" или "понтиаках", но отец был непреклонен, и представьте себе, — я проехал каких-нибудь пять метров, и мы вновь застряли в пробке, — тот апрельский вечер, когда мы услыхали под окном нашей маленькой квартирки характерное стрекотание хорошо отлаженного дизеля, услыхали радостный ребячий хор, возбужденно скандировавший вслед медленно приближавшемуся "мерседесу-170 DS": — Гестапо! Гестапо! — да, в жизни моего отца это был и в самом деле великий миг, на наших глазах его время описало удивительный круг, "сто семидесятый" с дизельным мотором, послевоенная модель, почти не отличался от прежнего, с бензиновым двигателем, — глядя на знакомые по фотографиям растопыренные крылья, знакомый вытянутый нос с радиатором и знакомый толстозадый багажник, мы ждали, что из машины вот-вот появится дедушка Кароль, но вместо него вышел отец и радостно замахал нам, предлагая совершить первую поездку по улицам Вжеща, и мы катили по Хшановского, потом по Полянкам, восхищаясь приборной доской с "бошевскими" циферблатами, ровным урчанием мотора, мягким покачиванием подвесок, а отец рассказывал, какого труда ему стоило разыскать отсутствовавшие детали, как он рыскал по свалкам металлолома и старым мастерским, как вытачивал на токарном станке то, что купить или найти оказалось уже невозможно, ибо да будет вам известно, — я заглушил мотор "фиатика", — ремонт этого пострадавшего в аварии "мерседеса", который отец приобрел у знакомого механика, продолжался два года, причем в строжайшей тайне, ведь главным было сделать сюрприз, изумить. — Потрясающе, — панна Цивле закурила косяк, — ваш отец, наверное, был романтик. — Скорее инженер, — возразил я, заводя двигатель, чтобы проехать два метра и вновь остановиться, — ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем поломка; порой, во время долгого путешествия, когда мы отправлялись в горы и ничего не происходило, ничего не портилось, отец вел машину молча, явно утомленный монотонностью существования, но лишь только что-то начинало поскрипывать в тормозах, постукивать в дифференциале, у него загорались глаза и он немедленно принимался высказывать предположения, ставить диагнозы, выдвигать гипотезы, ну а прибыв на место, вместо того чтобы хо-

дить с нами на экскурсии, раскладывал инструменты и, вымазавшись по локти в масле, с утра до вечера копался в моторе и бывал счастлив, обнаружив, наконец, спустя несколько дней, когда мы уже собирались возвращаться, протечку в резиновой прокладке тормозного цилиндра или какой-нибудь винтик с сорванной резьбой — тут уж начиналась настоящая битва со временем и материей, которую отец ни разу не проиграл, ремонт неизменно заканчивался без пяти двенадцать, и мы ехали по шоссе домой, а легкую меланхолию, в которую отец снова впадал из-за отсутствия очередной поломки, скрашивала реакция водителей на вид и состояние старого "мерседеса"; порой они мигали нам фарами, порой махали рукой и гудели, но самыми волнительными были обгоны — какой-нибудь "трабант" или, скажем, "запорожец" догонял нас, пару мгновений водитель ехал следом на безопасном расстоянии, дивясь, что сей музейный экспонат тянет аж девяносто километров в час, однако тут же прибавлял скорость, включал поворотник и начинал обгон, тогда отец слегка нажимал на педаль и на скорости примерно сто десять по левому борту мелькало искаженное страшной гримасой, взволнованное и потное лицо владельца "москвича" или "трабанта" — глаза вылезают из орбит, язык высунут, — потому как наш спидометр показывал уже сто двадцать километров в час, что отнюдь не было пределом для мурлыкавшего мотором и чуть покачивавшего боками "мерседеса", так что если нас в конце концов и обгоняли, то отец улыбался сам себе и, поглаживая руль, замечал: — Негоже утомлять пенсионера, — но порой "трабанту" или "запорожцу" приходилось прятаться за наш багажник, так как с противоположной стороны мчался грузовик, и тогда водитель буквально впадал в амок, сидел у нас на хвосте, гудел, мигал фарами, после чего бросался на обгон уже невзирая на подъемы и повороты, не обращая внимания на сплошную линию, и дважды это закончилось печально, хоть и не трагически, а именно — в первый раз "трабант" с келецкими номерами не вписался в поворот и врезался в стог сена, в другой раз то же самое случилось с румынской "дакией" из Познанского воеводства — она закончила свой полет в пруду; отец, разумеется, тут же тормозил и поворачивал обратно, дабы оказать помощь, но, похоже, его поведение противоречило современному этикету, ибо водитель "трабанта" обозвал нас идиотами, мудаками и обманщиками, водитель же "дакии", стоя по щиколотку в воде, грозил кулаком и орал, что гданьские — все до одного злодеи: мало того, что не даем проехать порядочному человеку, так вдобавок катаемся на металлоломе, доставшемся в наследство от гитлеровских чиновников, в общем, жаль, что нас в семидесятом году не добили. — Да что вы! — воскликнула панна Цивле, — и ваш отец не дал ему по морде?! — Пришлось бы лезть в воду, — объяснил я, — а кроме того, сталкиваясь с подобным хамством, он не злился, а впадал в меланхолию. — Выпустите рыбок из багажника, — посоветовал папа тому идейному товарищу из Познанского воеводства, — что, должен вам сказать, — я наконец тронулся на первой скорости, — возымело эффект куда больший, чем если бы он стал барахтаться с этим типом в луже, ибо, услыхав про рыбок, водитель "дакии" буквально побагровел, потерял дар речи, злобно пнул дверцу своего автомобиля и двинулся к нам — бодрой трусцой, ну и споткнулся раз, потом другой, мы видели, как он вылезает на берег пруда, по уши в тине, однако "мерседес" уже уносил нас по шоссе, а отец, переключив передачу, сказал нам с братом: — Теперь вы знаете, почему на поворотах не следует идти на обгон. — Очень поучительно, — засмеялась панна Цивле, — я бы удачнее не придумала, а эти ремонты и поломки — прямо как из рассказа Грабала, погодите, в каком же это было сборнике, там,

где он разбирал двигатель? — "Красивая скорбь", — ответил я без запинки, дорогой пан Богумил, — Францину еще каждый раз требовался помощник — придерживать винты. — Вот-вот, — панна Цивле внимательно взглянула на меня, — у вас тоже так было? — Нет, — мы черепашьим шагом ползли вдоль небольшого сквера, где два здоровенных крана пытались сдвинуть с места советский танк, памятник освободителям города, — у отцовского приятеля был гараж с мастерской, правда, в Гдыне, так что если требовалось перебрать двигатель или покопаться в шасси, он уезжал на целый день и возвращался во Вжещ последней электричкой; "мерседес" все чаще нуждался в починке — на каждую уходило по два, а то и три дня — так что отец, взяв с собой спальник и бутерброды, ночевал прямо в мастерской и приезжал домой на отремонтированной машине — усталый, в грязном комбинезоне, пропахший бензином, однако мама радовалась уже меньше, чем когда автомобиль впервые появился на нашем дворе. — Посмотри на свои руки, — переживала она, подавая отцу ужин, — ты часами лежишь на цементе, — но тот и в самом деле был оптимистом. — Скоро все наладится, — возражал он, — немного терпения, и мы снова отправимся в горы. — Ну да, конечно, — не уступала мама, — исключительно ради того, чтобы ты снова неделю не расставался с инструментами, успокойся, наконец, на тебе лица нет, мы вполне обойдемся и без машины, а впрочем, — гладила она его по голове, — можешь продать ее в музей. — Например, в немецкий? — саркастически уточнял отец, — у них наверняка есть такая модель, причем в значительно лучшем состоянии, это у нас, полячишек, с запчастями дефицит, мы плохие, грязные, пьяные и ленивые, знаешь, сколько я этого за войну наслушался! — Ну ладно, — сдавалась мама, — делай как хочешь. — Тут, дорогой пан Богумил, мне пришлось объяснить панне Цивле, что почти всю оккупацию отец по одиннадцать часов в сутки трудился в авторемонтной мастерской, почему его и не вывезли в рейх на принудительные работы — гараж обслуживал снабженческие фирмы и армию. — Делай как хочешь, — отвечала мама, хотя прекрасно понимала, что отец от "мерседеса" не откажется, ведь тот значил для него гораздо больше, чем просто автомобиль, и даже больше, чем просто "мерседес", так вот, когда, в конце концов на час езды стало приходиться около тридцати девяти часов ремонта, — продолжал я, подъезжая, наконец, к перекрестку Хучиско, — мама обиделась и заявила: — Я в эту колымагу больше не сяду, — и сдержала слово, а отец, когда двигатель в очередной раз не завелся, хлопнул дверцей, спрятал ключи в буфет и больше к машине, стоявшей у садовой ограды, не прикасался. — А дальше что было? — спросила панна Цивле. — Они так и не пришли к компромиссу? — Не пришли, — продолжал я, — потому что злились и друг друга не слушали, причем оба были абсолютно правы, а "мерседес" тем временем ветшал на жаре и морозе, под дождем и снегом и еще два года зарастал, словно пароход в русле высохшей реки, — крапива, пырей, лебеда были уже почти по крышу, воры разбили окно и отвинтили приборную доску с "бошевскими" циферблатами, коты метили кресла, дети сняли покрышки и поотламывали зеркала и эмблемы, а остальное довершили ржавчина и влага, пока наконец... — Прошу прощения, сверните вот здесь, — прервала меня панна Цивле, — в этом городе по-человечески уже не проедешь, за час мы не сделали и километра, — и я, дорогой пан Богумил, свернул на перекрестке Хучиско перед резиденцией бывших комиссаров бывшей Лиги Наций бывшего Вольного города Гданьска, что оказалось вовсе не так просто, светофор не работал, движение регулировали двое молодых полицейских, не справлявшихся с автомобильной рекой, с этим напи-

равшим со всех сторон механическим потоком, звонили трамваи, гудели грузовики, машины ползли, словно улитки, в раскаленном воздухе последнего майского дня, а я осознал, что делаю последний круг на маленьком "фиатике" моей инструкторши. — Вот если бы метро было, — продолжала тем временем панна Цивле, — или отдельная полоса для трамваев, или хоть велосипедные дорожки, и чем они только заняты? — она взглянула на мрачную глыбу мэрии. — Право, не знаю, — вернулся я к нашей теме, — но раньше они, во всяком случае, интересовались хотя бы останками автомобилей, ибо после того, как "мерседес", заросший диким виноградом и походивший на огромную стрекозу с пустыми глазницами от фар, простоял под забором целых три года, нас посетил чиновник из отдела эстетики и велел убрать эту, как он соизволил выразиться, уродливую развалину, поскольку ее вид, мол, негативно сказывается на самочувствии жителей; так и закончилась в нашей семье, — добавил я, поворачивая наконец с Хучиско в Нове Огроды, — эпоха "мерседесов", полный, как говорится, финиш — машина отправилась на свалку, где среди старых локомотивов, кранов, строительных лесов, цистерн и железнодорожных рельсов ей предстояло дожидаться своей очереди в переработку, под гигантский пресс, отец же спрятал права и никогда и ни с кем больше не разговаривал на автомобильные темы. — Другими словами, капитулировал, — отозвалась панна Цивле, — догадываюсь, что он чувствовал, но эти несколько лет, должно быть, оказались для него своеобразными каникулами. — Да, — подтвердил я, — никогда ни до, ни после я не видел отца таким счастливым и оживленным — это были солнечные дни, настоящий праздник, компенсация за потерянные годы и иллюзии, ибо, да будет вам известно, — мне удалось пробраться в средний ряд, — в первые послевоенные годы ему пришлось довольно несладко, дедушка Кароль принадлежал к числу так называемых врагов народа и, явившись сразу после войны на завод, услышал, что лучше ему было погибнуть в своем Освенциме, потому как буржуазные инженеры больше не требуются и идет ускоренная чистка научных рядов от реакционных элементов, а когда он поинтересовался у партсекретаря, что же буржуазного тот усмотрел в его исследованиях и патентах, был арестован за провокацию, и таким образом его жизнь описала удивительный круг, потому что когда дед наконец вышел на свободу, в Моцице ему поселиться не позволили — лишь трижды в месяц он мог навещать бабушку Марию, причем каждый раз по специальному разрешению; итак, чтобы покончить наконец с этим печальным сюжетом, скажу вам, что отец, осевший после войны в Гданьске и поступивший в здешний политехнический, когда ему приходилось заполнять в анкете пункт "происхождение", всегда очень волновался и не спал по ночам, потому что хотя указываемое им "из интеллигентов" в значительной степени и соответствовало действительности, однако хватило бы малейшего доноса какого-нибудь хунвейбина, чтобы его обвинили в замалчивании фактов, а замалчивание в те времена считалось делом весьма предосудительным, так что отец мучился бессонницей, опасаясь, как бы его не попрекнули родством с врагом народа, этим образчиком буржуазной инженерной науки в эпоху чисток. — Ну прямо как у Грабала, — засмеялась панна Цивле, — только тот был писателем в эпоху чисток, а ваш дедушка Кароль — упраздненным инженером-химиком. — Да, занятная параллель, — согласился я, вновь останавливая "фиатик" в районе Ракового базара, — особенно если учесть удивительную живучесть сей гнусной процедуры, ибо, видите ли, когда генерал Ярузельский вывел на улицы танки, я был молодым неоперившимся журналистом... — Погоди-

те, я угадаю, — не дала мне закончить панна Цивле, — ваше место работы ликвидировали. — Вот именно, — теперь мы оба засмеялись, — и больше я к этому занятию так и не вернулся, — тут, дорогой пан Богумил, нас прервали, и я не успел поведать инструкторше, как сильно эта последняя чистка повлияла на всю мою жизнь, сколь многим я обязан генералам Барыле, Житу и Оливе[1], ведь это благодаря им у меня появилась пишущая машинка, вынесенная из здания "Солидарности", и благодаря им вместо того, чтобы бегать по пресс-конференциям, готовить бюллетени или любоваться, как Лех Валенса размазывает по стенке Анджея Гвязду[2], именно благодаря этим генералам вместо того, чтобы редактировать депеши и телексы, мне удалось написать первую книгу, печатать которую никто, правда, на мое счастье, не стал, но которая, дорогой пан Богумил, и по сей день лежит в ящике моего стола, напоминая мне порой те прекрасные мгновения, наши первые настоящие каникулы, фестиваль свободы, ветер с моря[3], который мы вдыхали с таким упоением и который сменился — впрочем, далеко не сразу — неизбежным политическим болотом, мукой повседневности, поэзией афер, эпикой обманов, ярмаркой тщеславия, словом, нормальной жизнью с кредитом и дебетом, однако ничего этого я панне Цивле не сказал, поскольку на Раковом базаре, где два огромных крана как раз поднимали советский танк "Т-34", ветераны Армии Людовой, гражданской милиции, отрядов дружинников-добровольцев и, наверное, десятка других родственных организаций демонстрировали свое возмущение, пытаясь помешать уничтожению памятника: махали транспарантами "Спасибо освободителям", "Нечего фальсифицировать историю", "Достоинство и правда", взбирались на гусеницы и укладывались там, мешая крановщикам подцепить танк, орали, распевали фронтовые куплеты, расстегивали, подобно эксгибиционистам, лагерные робы, а полиция реагировала сонно и формально, словно эти пожилые, полуседые господа разыгрывали хеппенинг "Ностальгия по Красной Армии", картина и в самом деле была забавная — едва с постамента стаскивали нескольких пузатых старичков и подавали крановщикам знак, что можно начинать, на гусеницы танка уже карабкались следующие, иной раз вяло и беспомощно, водители же, застрявшие в пробке, принялись один за другим сигналить, и это был потрясающий комментарий, потрясающий гомон, словно дело происходило во время футбольного матча, хотя должен вам сказать, дорогой пан Богумил, разобраться, на чьей же стороне моторизованные болельщики, что им не по душе или что их восхищает в этом спектакле, было не так-то просто, вы ведь прекрасно знаете, что в моей стране бунтарей, столицу которой сровняли с землей, как и на вашей родине компромиссов, столица которой — одно из семи чудес света, так вот, в обоих этих случаях и пространствах абсолютное большинство граждан не подвергалось классовой чистке, ибо никогда не ездило, подобно вашему отчиму Францину, на чудесном "БМВ", не сидело, подобно моему дедушке, за рулем "мерседеса", не владело акциями пивоваренного или химического завода, словом, не всегда и не все они чувствовали себя неуютно в мифическом революционном отечестве, на митингах, демонстрациях и парадах; и, глядя на этих жалких ветеранов, которых наконец вытеснили в

1. Генералы социалистической Польши.
2. Анджей Гвязда — один из создателей Свободных профсоюзов, заместитель Леха Валенсы в Межзаводском забастовочном комитете в 1980 г. (позже пути этих двух политиков разошлись).
3. Ассоциация с романом Стефана Жеромского (1864—1925) "Ветер с моря" (1922), посвященного истории извечной борьбы славян за выход к морю.

угол сквера, я подумал о той фразе Паскаля, где он говорит о неравенстве, его неизбежности и необходимости, хотя как только мы с ним миримся, начинается невиданная эксплуатация, и, быть может, именно поэтому, дорогой пан Богумил, советский танк, уравнявший всё и вся, представлял для этих ископаемых не столько символ их утраченной власти, сколько знак утопии, в которую они по-прежнему верили, и, возможно, поэтому многие из раздававшихся у Ракового базара гудков звучали неоднозначно и нерешительно. — Они что, спятили? — заметила панна Цивле. — Да ведь эти танки сожгли весь наш город. — Он тогда еще не был нашим, — возразил я, — но вы правы, в центре, да и во Вжеще с Сопотом эти танки разбойничали еще несколько дней после капитуляции немцев, въезжали во дворы, в магазины, в костелы и, если грабить оказывалось нечего, давали залп осколочными снарядами, потом добавляли зажигательными, а о иных эпизодах погони даже песни потом сложили: вот здесь, у канала Радуни, увидав красавицу Грету, лейтенант Зубов немедленно сменил курс и прибавил ходу, Грета же в отчаянии бросилась в реку, но был март, паводок, высокая вода, течение тут же подхватило ее, и девушка исчезла в серо-бурой пучине, а въехавший на танке в канал лейтенант Зубов, увидав, что жертва ускользает, выгнал бойцов из машины и приказал им, стоя по пояс в бурлящем потоке, искать Грету, а сам тем временем вращал пушку своего "Т-34" и в сердцах палил направо и налево, в результате чего обрушились фасад отеля "Ванслов" и несколько соседних домов, а также красивейшие здания с лоджиями на краю Иррgартен, а сам танк лейтенанта Зубова, так и оставшийся в реке, извлекли из Радуни только в сорок шестом году и установили здесь же в знак благодарности Красной Армии, хотя финал этой истории был бы, вероятно, совсем иным, — мы, наконец, тронулись с виадука, — выиграй в конце концов войну немцы и вернись они в Гданьск, скажем, осенью сорок пятого, тогда в этом сквере стоял бы вовсе не советский танк, а бронзовое изваяние красавицы Греты с надписью: "Лучше смерть, чем позор" или что-нибудь подобное в пангерманском духе, и каждый год в марте оркестр играл бы здесь Вагнера, а девушки торжественно присягали, что, подобно Грете, скорее предпочтут погибнуть в волнах Радуни, нежели отдадут свою германскую честь недочеловеку, пусть даже временно одержавшему верх. — Ну, и болтун же вы, — засмеялась панна Цивле, — это ведь точь-в-точь Ванда, что не хотела немца[1], а вообще-то, — добавила она, когда мы снова проезжали мимо мэрии, — кто посеет ветер, тот пожнет бурю, — так что, дорогой пан Богумил, последнее слово осталось за панной Цивле, ибо пробку наконец прорвало, и теперь мы быстро катили вверх по Картуской, поскольку наше последнее занятие в автошколе уже подходило к концу и, как это бывает в жизни, вопреки ожиданиям обошлось без кульминации, коды, заключительного аккорда или чего-либо подобного, и мы стояли перед офисом фирмы "Коррадо": панна Цивле, опершись на дверцу "фиата", и я в точно такой же позе, только напротив, по другую сторону машины, она угостила меня последним косяком, в котором я ощутил вкус травки, смешанной с обычным табаком. — Большое спасибо, — сказал я, — поездки и в самом деле были потрясающие. — Не забывайте про поворотники и знайте: желая вас запутать, — она выпустила струйку дыма, — экзаменаторы имеют обыкновение давать неправильные команды, любимая их

1. Согласно легенде, Ванда, дочь польского короля Крака, не пожелав выходить замуж за немца, бросилась в Вислу.

ловушка – запрещение поворота. – Да, – согласился я, – буду смотреть на знаки, а можно мне после экзамена навестить вашего брата? – Ярека? – удивилась она. – Да, – повторил я, – Ярека, может, я отыщу те несколько старых фотографий, они бы ему наверняка очень понравились, знаете, у меня тоже есть брат, с ним, правда, такой беды не случилось, но он уже несколько лет в инвалидной коляске – рассеянный склероз – и из дома, по сути, не выходит, потому что живет на четвертом этаже, да еще без лифта, вот и радуется каждому гостю. – Да, – согласилась она, – конечно, приходите, когда захотите, а я думала, в вашей жизни, в вашей среде не бывает таких вещей... трудных, – она замялась, – и неблагодарных. – К чему мне было вам рассказывать? – я докурил косяк. – Этого у каждого хватает. – Ну, до свидания, – она подала мне руку, – и не обгоняйте на поворотах, особенно если перед вашим "фиатиком" окажется "мерседес-бенц", – так все и закончилось, дорогой пан Богумил, я шагал по улице Совинского вниз, к автобусной остановке, а панна Цивле в это время усаживала за руль новую ученицу, и еще мгновение до меня доносился ее громкий смех, женщина рассказывала, что они с мужем как раз вернулись из Германии, и она себе даже не представляла, что можно учиться на чем-либо подобном, там, в Германии, такую развалюху не то что на курсы, даже просто на улицу бы не выпустили, наконец гул Картуской заглушил это бесконечное стрекотание, стоя на остановке, я еще разглядел сворачивавший к учебной площадке "фиатик" панны Цивле, но больше не думал ни об алкашах под каштаном, ни о коридоре из резиновых столбиков, ни об инструкторе Жлобеке, я устал от жары, пробки на Хучиско, воспоминаний, советского танка и этого катастрофически тесного города, который, казалось, задыхался и терял остатки своей сомнительной красоты, и, дорогой пан Богумил, вдруг жутко позавидовал вашим занятиям в автошколе, ведь на мотоцикле "Ява" вы с инструктором носились по самым красивым на свете местам; я принялся вспоминать Кампу, Малу Страну, Градчаны, Старе Место, Юзефов и Виноградцы, бары и пивные с их чудесными, тенистыми летними террасами, модерн, буквально на каждом шагу спорящий с классицизмом и барокко, а на это немедленно наложились виды Львова и Вильно, отобранных русскими и возвращавшихся теперь к украинцам и литовцам в качестве их законных территорий, и хоть я не страдал по этому поводу никакими патриотическими комплексами, мне все же стало чего-то жаль, ведь города, доставшиеся нам взамен, были полностью разрушены, сожжены, подобно Гданьску и Вроцлаву, изнасилованы и поруганы, в то время как Львов и Вильно, хоть и измученные советской оккупацией, коммунистической грязью и коростой, выжили, их новую жизнь я бы сравнил с обретением сил и прежней красоты после перенесенного тифа, а Гданьску и Вроцлаву требовались ампутация конечностей, трансплантация сердца, почек и печени, вставная челюсть, да еще длительная терапия сломанного позвоночника, куски которого хоть и сложены воедино, но уже не гарантируют полноценного наслаждения существованием, как и пересаженная кожа на местах многочисленных ожогов, из чувства такта умолчим уж об искусственном глазе и протезах, заменивших пальцы; я, дорогой пан Богумил, сел в автобус и, возвращаясь на Уейщиско, решил больше обо всем этом не думать, освободиться от истории "мерседеса", сожженных городов, изгнания, упраздненных профессий, мне хотелось вспоминать панну Цивле, ее профиль, взгляд, запах волос, тембр голоса, и я вдруг осознал, что, хотя мы только что расстались, я уже забыл, какого цвета у нее глаза, забыл, какими она пользуется духами, да, дорогой пан Богумил, я вдруг осознал, что на протяжении этих недель, когда я за-

нимался в автошколе, панна Цивле была подобна прекрасному лицу, встреченному в метро, где за несколько минут перед нашими глазами проносится сотня человек, а мы запоминаем одного, в лучшем случае двух, и начинаем ломать голову, кто же эта прекрасная незнакомка, мечтаем обменяться с ней хоть парой слов и обещаем себе навсегда сохранить в памяти ее брови и изящные миндалевидные веки, — но как только мы выходим и бежим дальше по улице, как только вновь попадаем в жизненный водоворот, встреча наших взглядов в вагоне метро, мимолетная и тайная, становится уже далеким прошлым, кратким мгновением, запечатлевшим, подобно старому фотоаппарату, этот удивительный образ — затем лишь, чтобы поместить его в глубины нашего подсознания, однако спустя годы секунда эта еще не раз вернется — внезапно, по какой-нибудь случайной ассоциации, в ответ на звук или запах, и тогда мы напишем стихотворение или предадимся размышлениям, но не о том конкретном лице, которое нам, разумеется, уже не воссоздать во всех деталях, а о времени и его странных механизмах, что управляют нашими снами и нашим воображением; так случилось и на этот раз, дорогой пан Богумил, панна Цивле вернулась ко мне нежданно-негаданно, совсем в другом времени и пространстве, хоть и с вашей помощью; да, это был тот роковой февральский день девяносто седьмого года, когда в первый и единственный раз за всю свою историю выпуск телевизионных новостей оказался на высоте и вместо того, чтобы подражать Си-эн-эн или какой-нибудь другой коммерческой станции, ведущие повели себя достойно порядочного канала центральноевропейского государства, сообщив в качестве главной новости о вашем полете с шестого этажа больницы на Буловце, об этом вашем прыжке в пропасть, о вашей смерти, дорогой пан Богумил: я сидел тогда в пабе "У ирландца" с друзьями, за окнами, на главной магистрали Вжеща; моросил дождь со снегом, мы болтали о том о сем, и вдруг все замолчали, услыхав: "Он кормил голубей и, высунувшись из окна ортопедического отделения, упал во двор с шестого этажа", — это прозвучало словно максима, и все поняли, что именно теперь и лишь теперь закончилась эпоха — вовсе не бархатной революцией, падением Берлинской стены, победой "Солидарности", "Бурей в пустыне", обстрелом Сараева, а этим вашим полетом, этой кодой, кульминацией, удивительным кругом, который описала ваша жизнь, этими книгами, которые, как никакие другие, помогли нам пережить худшие годы, утешая и вдохновляя, утирая слезы и ничего не требуя взамен; мы немедленно заказали пива, и обычная пирушка превратилась в поминки, в древний обряд призывания духов, нам явились и дядюшка Пепин, и ваш отчим Франтин, и ваша чудесная матушка, и безумный Владимир, и Пипси, и все ваши коты в Керске, и все ваши восторги и фантазии, и вы были среди нас, словно знаменитый цадик из Бобовой в окружении преданнейших хасидов: каждую вашу строчку мы знали чуть ли не наизусть, каждую цитату способны были поворачивать то одним, то другим боком, смакуя ее звучание, мудрость, свет, да, так оно и происходило, дорогой пан Богумил, в баре "У ирландца", пока вы, в морге, уже ждали медицинского освидетельствования и своей очереди в пражский крематорий; каждый из нас громко произносил цитату, а остальные отгадывали, откуда она — из "Сокровищ всего мира", а может, из "Поездов под особым наблюдением", из "Я обслуживал английского короля" или "Прогалин", угадавший первым получал приз — ему ставили лишнюю кружку, но если кто выскакивал с неверным ответом, так уже он должен был ставить всей компании выпивку, пани Агнешка то и дело приносила на наш стол кружки "Гиннесса", "Живеца" и "Джона Булля",

ее поднос с полными рюмками "бехеровки" постоянно курсировал между стойкой и нашей разоравшейся братией, а я, дорогой пан Богумил, подумал, что это, пожалуй, самая лучшая награда для писателя и самая прекрасная плата — то, что в незнакомом городе, за тысячи километров к северу от Праги, на главной улице, называвшейся когда-то Хауптталлее[1], затем Гинденбурга, потом Адольфа Гитлера, Рокоссовского, ну а теперь именовавшейся Грюнвальдской, какие-то не первой молодости мужики перебрасываются отрывками из его книг, спорят по поводу каждой запятой и обзывают идиотом любого, кто допустит грубую ошибку, перепутав, скажем, "Bambini di Praga" с "Домом на продажу", и я сказал об этом вслух — что вы бы, пожалуй, обрадовались такой награде, и тут поднялась настоящая буря, потому что все вспомнили, что это вам следовало дать Нобелевскую премию, а не Ярославу Сейферту[2], хотя против Ярослава Сейферта никто из собравшихся ничего не имел, а многие из нас даже восхищались его лирикой, вдохновленной пражской атмосферой, но поэтов уровня Ярослава Сейферта в Чехии, Европе и мире никак не меньше нескольких десятков, а прозаиков, подобных Богумилу Грабалу, — только он сам; и мы орали, перебивая друг друга, словно за нашим столиком "У ирландца" сидел представитель почтенной Академии: неужели вы считаете, что можно принимать во внимание, плавно ли кандидат вальсирует со шведской королевой, гладко ли произносит речь, не слишком ли много бокалов шампанского способен выпить, или, о ужас, не выплеснет ли он это самое шампанское в вазу, дабы потребовать обыкновенного "Пильзнера", да как вы смеете опасаться, что кандидат отпустит, скажем, пару нецензурных слов или дернет его королевское величество за полу фрака, ведь Билл Клинтон прибыл в Прагу с единственной целью — попить в "Золотом тигре" пивка с Богумилом Грабалом, ибо американский "Будвайзер" — просто моча в сравнении с каким-нибудь "Старопрамеском", а Джон Ирвинг, к примеру, напиши он даже десять очередных томов "Человека воды" и преврати их в голливудский сериал, все равно достоин лишь подавать Богумилу Грабалу стакан, да как вы думаете, ослы шведские, зачем, к примеру, Миттеран отправился в Прагу — чтобы полюбоваться памятником Яну Гусу или чтобы признаться Богумилу Грабалу: — Начав вас читать, я обхожусь без воды "Виши", — да как могли вы, господа академики, не заметить, что Богумил Грабал был самым современным, самым авангардным прозаиком двадцатого века, не имея при этом ничего общего с авангардными варварами, этим продажным сбродом, который в состоянии лишь скопировать парочку гэгов цюрихского "Кабаре Вольтер"[3], так вот, Богумил Грабал из самых последних крупиц, из лохмотьев предложений, ошметков образов, обоев, фотографий, звуков и запахов лепил совершенно неповторимые фразы, удивительные конструкции, феерии миров и повестей, причем в этих его вибрирующих словах всегда таились элегантность Моцарта, сила Бетховена и меланхолия Шопена, что же, невежественные растяпы, вы думаете, кому-то еще под силу жестом фокусника извлечь из мусорного контейнера нашей истории, нашей чудесной цивилизации самый обычный предмет и, подобно Бруно Шульцу[4], обратить обрывок старой газеты в страницу Книги, страницу, сияющую собственным, а не отра-

1. Т. е. Главная (*нем.*).
2. Ярослав Сейферт (1901—1986) — чешский поэт, лауреат Нобелевской премии (1984). В 1994 г. на соискание Нобелевской премии по литературе выдвигался Б. Грабал.
3. Артистический клуб в Цюрихе, с открытием которого в 1916 г. связано образование группы дадаистов.
4. Бруно Шульц (1892—1942) — польский писатель.

женным светом? — Но шведские академики, дорогой пан Богумил, и не думали к нам прислушиваться, так что, потребовав у пани Агнешки почтовую бумагу, конверт и марки, мы принялись писать в Стокгольм письмо, в котором категорически настаивали, чтобы эту самую Нобелевскую премию вам, дорогой пан Богумил, присудили хотя бы посмертно, чтобы оправили диплом в горный хрусталь и возложили на вашу могилу в Керске, где наверняка станут нежиться на солнышке все ваши коты, причем мне пришлось исполнять роль писаря, что оказалось непросто, ибо все наперебой кричали мне в ухо: — Это уже написал? А об этом не забыл? И еще скажи, что поляки впервые проявили подобное единодушие, — и вот, склонившись над столом, я записывал все эти требования к почтенной Академии, когда краем глаза заметил на экране хорошо знакомое лицо — из потока политических новостей мне улыбался не кто иной, как инструктор Жлобек, на котором теперь, разумеется, не наблюдалось мокрой от пота рубашки на трех пуговках, да и инструктором он больше не был, а также, по-видимому, не матерился, во всяком случае, насколько я мог видеть и слышать; из обрывков долетавших до меня фраз я заключил, что он теперь — высокопоставленный чиновник по делам пересмотра собственности, занимающийся принудительной приватизацией того, что еще не приватизировано, борьбой за новый облик чудовищно отставшей польской экономики, и, должен вам сказать, дорогой пан Богумил, сия короткая информация, долетевшая до меня в тот самый миг, когда я записывал адресованные Шведской академии фразы, вовсе не показалась мне странной и поразительной, напротив, я счел случившееся апофеозом политических устремлений партии, в которую инструктор Жлобек так меня призывал, но в тот день, дорогой пан Богумил, на нашем телевидении, видно, прохудился мешок с новостями, потому что спустя несколько минут, когда я давал подписать наше письмо сперва друзьям, а затем совершенно случайным людям, также пожелавшим внести свой вклад в дело присуждения вам Нобелевской премии, когда я обходил паб, держа в руке листок, на котором появлялись все новые и новые фамилии, на телеэкране возникли Физик и Штиблет — с зачерненными лицами, ибо таково неотъемлемое право обвиняемых, — и я замер перед телевизором, не на шутку потрясенный и изумленный; да, это вне всяких сомнений были они, величайшие хакеры независимой Польши, прокурор как раз зачитывал обвинительный акт с массой мудреных параграфов, но суть дела была ясна: объединившись, виртуальный гений Физика и пророческий дар Штиблета дали неожиданный эффект — не существовало фирмы, банка, почты или военного штаба, взломать который им было бы не под силу, они преодолели врата Пентагона, коды Брюсселя, банковские шифры и повсюду чувствовали себя как дома, повсюду находился подходящий товар, нет, дорогой пан Богумил, Физик со Штиблетом не залезали в банковские счета, они рыскали в поисках конфиденциальной информации, которую потом продавали за хорошие деньги, Швейцарский банк мог раздобыть у них любые данные, касающиеся азиатских фирм-конкурентов, русские — последние стратегии звездных войн, американцы — план любимой компьютерной игры Ельцина, палестинцы — документы израильского Моссада, Моссад — адреса арабских террористов, меделинский картель — отчеты агентов ФБР, "Ситроен" — новейшие разработки "Мерседеса", "Мерседес" — "Тойоты", "Тойота" — "Ситроена"; адвокат заявил, что процесс этот беспрецедентный и закончится помилованием, поскольку ни одна из пострадавших организаций не выдвинула официального обвинения, все жалобы поданы на компанию, зарегистрирован-

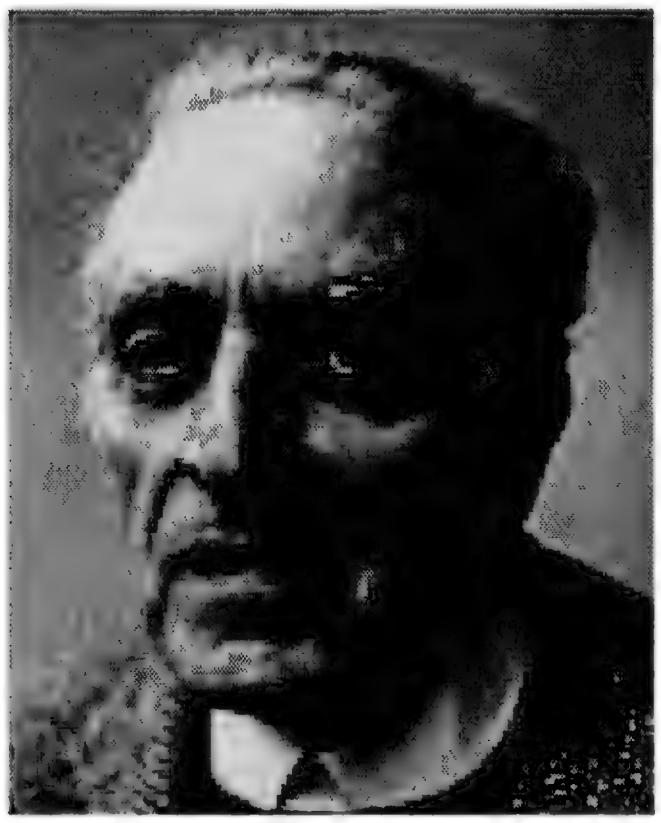
ную под названием "Bahama Fizyk & Shtibl Corporation" и, по существующим законам и налоговым правилам, лежащую за пределами польской юрисдикции, хотя владельцами ее и являются поляки, словом, дорогой пан Богумил, я, как говорится, застыл разинув рот, ибо превратить проповедническую фирму в что-либо подобное, по электронной реке выплыть из дачного сарая на такие моря-океаны — неплохой результат для парней с Охоты, и даже если не все делалось легально и законно, зато они прославили мой город не меньше, пардон, чем Беня Крик — Одессу; камера показала двухкомнатный офис Физика и Штиблета на последнем этаже нового высотного здания, затем соскользнула на паркинг, где стояла пара одинаковых серебристых "мерседесов", на этом репортаж закончился; усевшись за стол, я отдал приятелям письмо в Нобелевский комитет, те принялись внимательно его изучать, я же отстраненно и спокойно пил "бехеровку", потом пиво, а затем снова "бехеровку" и ни о чем больше не думал, дорогой пан Богумил, кроме вас и панны Цивле: где-то теперь моя инструкторша, что давала брату читать ваши рассказы и романы, смотрит ли она телевизор, а может, узнала о вашей смерти по радио, наверняка огорчилась и, подобно мне, подумала об этой тьме, в которую вы шагнули и которой не избегали на протяжении всей своей жизни, тьме, что столько раз вас манила, ведь, глядя на Франца Кафку, стоявшего на балконе дворца Кинских, смотревшего вниз и колебавшегося, прыгать или нет, описывая охвативший его ужас, вы имели в виду себя, да, думаю, мы с панной Цивле поняли бы друг друга без слов, она чувствовала, что ваша горькая меланхолия, это окончательное осознание небытия — основа и тема вашего смеха, шуток и иронии, а вовсе не бегство; она понимала — все эти кружки пива, что выпиты вами в барах, и все рассказы, что вами записаны, были способом выжить, вечным сизифовым трудом, реакцией на суетность, штопаньем черной дыры, и, вероятно, потянувшись за травкой, она почувствовала, что сама находится в схожей ситуации: еще шаг — и тропка оборвется; как и вы, панна Цивле вряд ли верила в Агуру Мазду[1], строительные мостки на тот берег, позволяющие душам перейти в вечность, и, пожалуй, говори мы с нею теперь о вас, — подумал я, — об этом прыжке и полете с шестого этажа больницы на Буловце, я бы, вероятно, вспомнил двенадцатую табличку Гильгамеша, на которой запечатлены стенания вызванного из подземного мира духа Энкиду, эти страшные слова о том, что тело его содрогается от рыданий и подобно истлевшему тряпью, и, как истлевшее тряпье, точат его черви, дорогой пан Богумил, будь эти слова известны Гомеру, призрак Ахилла, явившийся живому Одиссею, плакал бы, наверное, горше, и если бы мы хоть раз воочию узрели то, что видел Орфей, но не возвеличенное сценой, музыкой или религиозной благодатью, а представшее перед нами в тот единственный миг самого настоящего кошмара, то, быть может, от ужаса, дорогой пан Богумил, не смогли бы пить чай, писать письма, заниматься любовью, есть и даже умирать, и если бы мы с панной Цивле сидели теперь, — подумал я, — здесь, "У ирландца", или у нее, в дачном сарайчике, если бы служили вдвоем эту траурную мессу, эту панихиду, эти белорусские "дзяды"[2], то, вероятно, вместо того, чтобы писать письмо в Шведскую академию, вместо того, чтобы перекрикиваться через залитую пивом и "бехеровкой" столешницу, мы

1. В зороастризме Агура Мазда — божество "светлого начала", боровшееся с божеством "злого начала" (Ариманом) за победу света над тьмой.
2. Языческий обряд поминовения душ усопших; здесь, вероятно, аллюзия на поэму Адама Мицкевича "Дзяды".

молчаливо и неспешно покуривали бы травку, и это стало бы нашей молитвой за вас, нашим сосредоточенным говеньем, нашим воздаянием почестей тому, кто, ступая по узкому мостику и зная, каков будет финал, спокойно улыбался, махал рукой и без устали воспевал солнечные дни, словно не желая отвращать ближних от стремления жить и искать, ибо рано или поздно кому-нибудь, возможно, удастся найти то, чего так и не обрел Гильгамеш, а потому, дорогой пан Богумил, вы оказались мудрее всех современных философов, которые, мало что смысля, дерут глотку и рвут на себе одежды, вы же знали, но вместо того, чтобы уподобиться им, вместо невнятного лепета о деконструкции или синтезе плели свои чудесные длинные фразы, подобные ленточкам, привязываемым к священному дереву дервишей, и, пожалуй, мы с панной Цивле тихонько обменялись бы по этому поводу парой слов, а потом, накурившись, взяли несколько ваших книг, уселись в ее "фиатик" и отправились бы на учебную площадку, к каштану, под которым каждую ночь горит костер, и принялись бы развешивать на нем ваши сборники, будто жертвенные подношения на священном деревце, а злые, грязные, отвратительные, другими словами, обыкновенные и несчастные люди глядели бы на нас, словно на двух ангелов, медленно спустившихся с небес и прикрепивших к ветвям таблички с магическими сентенциями, и, пожалуй, не было способа лучше почтить вашу, дорогой пан Богумил, смерть — подумал я, приканчивая последнюю "бехеровку", — невозможно придумать лучший финал, — и я встал, и вышел в эту кошмарную февральскую ночь, и зашагал по Грюнвальдской, свернул в Собутки, где жил уже несколько лет, с тех пор, как расстался с Анулей, и поднялся по лестнице в свою высокую мансарду, чтобы достать из ящика стола несколько снимков, отыскавшихся во время последнего переезда с Уейщиско во Вжещ, и, наконец, сделав это, я вызвал такси и велел ехать на холм, по которому тянулись садовые участки, и брел, по щиколотку проваливаясь в мокрый снег, но вместо деревьев, сараев и деревянных домишек увидал погруженную в сон строительную площадку, а вокруг — забор из некрашеных досок с желтой табличкой, информировавшей, что микрорайон этот будет называться "Олимп"; ямы и фундаменты позволяли представить силуэты будущих домов, стены которых, без сомнения, взметнутся на этом месте весной, делать здесь мне было теперь нечего, я ощутил, как время вновь описывает удивительный круг, и попытался перевести это на чешский, чтобы первая фраза письма, которое я как раз в тот момент и решил написать, была вам ближе, и когда я вернулся в Собутки и уселся за стол, разложив небольшую пачку фотографий из фирменного конверта пана Хаскеля Бронштайна, эта первая фраза сложилась сама собой, и вам она уже известна: *Milý pane Bohušku, a tak zase život udělal mimořádnou smyčku*[1], — писал я в полной тишине, никуда не торопясь.

1. Дорогой пан Богумил, вот и вновь жизнь описала удивительный круг (*чешск.*).

# Луиджи Малерба



## Рассказы

*Перевод с итальянского* Ф. Двин

### *Электрический ветер*

Я называю его “электрическим ветром”, потому что он, совсем как ветер, неизвестно откуда налетает и куда девается. Нечто похожее бывает со всеми: возвратившись вечером домой, мы иногда чувствуем его, когда причесываемся или снимаем шерстяной пуловер. Если небо затянуто низкими черными тучами, а воздух насыщен электричеством, я, поднося ключ к замочной скважине входной двери, случалось, отчетливо видел в темноте электрические искры, но никогда не придавал значения таким пустякам. А беспокоиться начал в тот день, когда у меня в руках зажглась лампочка.

Я никому ничего не сказал, даже жене, которая пользуется любым поводом, чтобы посмеяться надо мной. В данном случае мне было не до смеха. Нет. Попробовал повертеть в руках другую лампочку и убедился, что и она загорелась, когда я пальцем одной руки прикоснулся к патрону, а пальцем другой — к свинцовому контакту. Минут через десять свет начал слабеть, потом совсем погас. Но стоило поменять пальцы местами, как лампочка загоралась вновь. Короче говоря, мои пальцы превратились в два полюса электрической цепи.

Я всегда отличался взрывным характером, часто бывал каким-то наэлектризованным и чрезвычайно чувствительным к электромагнитному излучению, но с особой силой эта моя особенность проявилась с то-

© Luigi Malerba, 2003
© Ф. Двин. Перевод, 2004

го момента, когда меня взяли бухгалтером в одну солидную стоматологическую клинику. Там я сразу заметил, что со мной стали происходить странные вещи и что за день работы я заряжался электричеством больше обычного. Кабинет, в котором я работаю, находится на последнем этаже здания, сплошь состоящего из железобетона и стекла. Во всех помещениях там полно довольно изящных черных трубок: в них упрятаны провода, подсоединенные к зубоврачебной аппаратуре. Естественно, что из-за этих проводов образуются мощные магнитные поля. Вот почему я каждый вечер возвращаюсь домой насыщенный электричеством, как батарейка. Правда, сравнение это несколько хромает, так как разряженную батарейку выбрасывают, а я автоматически перезаряжаюсь. Вернее сказать, я больше похож на аккумулятор — вроде тех, что устанавливают в автомобилях. Но и это сравнение нельзя назвать вполне точным, потому что аккумуляторы заряжаются от динамомашин, а я — от индукции магнитных полей.



Проработав в этой клинике всего несколько дней, я как-то вечером воткнул штепсель телевизора в стенную розетку и увидел, что вокруг моих пальцев появилось странное зеленоватое свечение, а телевизор вышел из строя. Пришлось вызывать мастера. Он успокоил меня, сказав, что ничего страшного не произошло: просто перегорел предохранитель. По-видимому из-за молнии. Конечно, я не сказал ему, что "молнией" был я сам.

Я уже говорил, что не хотел ставить жену в известность об этом факте, но она все равно что-то заподозрила. И только из-за моей неосторожности. Как-то утром, когда я брился электрической бритвой, выключили свет. А поскольку я выбрился лишь наполовину, то отсоединил вилку от шнура и концы провода взял в руки. Бритва заработала, и я продолжил бритье. Жена, как раз проходившая мимо двери в ванную, услышала жужжание бритвы и во что бы то ни стало захотела узнать, как это я бреюсь, если нет света. Пришлось рассказать ей правду.

Что тут началось! Она потребовала, чтобы я включил телевизор, радиоприемник, проигрыватель, кухонный комбайн, машинку для натирания сыра и кофемолку. Потом очередь дошла до утюга, пылесоса и электрополотера. Ее не обеспокоило, что мой организм до такой степени насыщен электричеством, нет, это обстоятельство просто привело ее в восторг. Она у меня женщина умная, но чересчур экономная: вечно делает долгосрочные расчеты или, как она говорит, вырабатывает перспективу. Сэкономить тысячу, другую в день — это, по-моему, пустяк, она же высчитывает, что за год они складываются в огромную сумму. Можно ли ее выбросить? Нет, на это не способен даже я. Так, например, пару месяцев тому назад она заставила меня купить новую посудомоечную машину, потребляющую меньше электроэнергии, чем прежняя. Я потратил семьсот тысяч лир, и трата эта окупится — я ведь бухгалтер и тоже умею делать долгосрочные прогнозы — примерно за двадцать лет. Жена уже подсчитала, сколько электроэнергии мы сэкономим, используя мою личную энергию. Зачем нам дарить деньги государству, если мы можем пользоваться моей дармовой энергией?

Когда я, уставший после трудового дня, возвращался вечером домой, жена совала мне в руки две клеммы от электропровода, питавшего наш телевизор. Бывало, я приходил домой под таким высоким напряжением, что летели предохранители. Жена купила учебник по электротехнике и сразу сумела покончить с этими маленькими недоразумениями.

Она подсоединила меня к трансформатору, обеспечивавшему на выходе 220 вольт, и к стабилизатору, регулирующему перепады напряжения в сети. И еще жена заметила, что, когда я нервничаю, напряжение резко возрастает и я могу вывести из строя домашние электроприборы. Она вдруг сделалась такой специалисткой и стала очень непринужденно рассуждать о вольтаже, амперах, сопротивлении, индукции, магнитных волнах, проводниках и тому подобном. А я по-прежнему путал ватты с вольтами. Теперь, когда мне вовсе даже не хотелось смотреть телевизор, жена заставляла меня усаживаться в кресло, совала мне в руки две клеммы, а сама уходила в кухню, где, пользуясь удлинителем, включала свои приборы. Однажды ее так ударило током, что она испугалась. Я надеялся, что на какое-то время жена оставит меня в покое, но она купила себе туфли на пробковой подошве и продолжала свои электродомашние хлопоты.

Как-то вечером она дала мне в руки клеммы, а сама удалилась с удлинителем, но вскоре вернулась и накинулась на меня с обидными упреками: я, мол, не в состоянии заставить работать как следует даже посудомоечную машину. По ее словам, машина включилась, но, набрав воду, тут же выключилась.

— Наша машина берет слишком много энергии, — попытался оправдаться я.

— Ты заряжаешь даже электрогриль для жарки бифштексов, — ответила она, — значит, можешь и посудомоечную машину заставить работать как следует.

А я и не знал, что бифштексы, которые жена подавала к ужину, когда у нас бывали гости, она жарила на моем электричестве. Почему она это от меня скрывала? В общем, мне было неприятно, что она хочет повесить на меня еще и мытье посуды.

Несколько дней я с ней почти не разговаривал. Но тут ее осенила новая идея: поскольку я аккумилировал энергию от магнитных полей, почему бы мне не подключаться непосредственно к сети?

— Умная какая, — сказал я, — если я это сделаю, какой счет мы получим в конце месяца?

Но, оказывается, жена мыслила шире: она полагала, что мне надо подключаться к сети по месту работы.

— Так это же воровство, — заметил я.

Тут жена стала выступать с нападками на моих работодателей, которые платят мне какую-то ерунду и зарплату повышать отказываются. Разве тебе не известно, что дантисты зарабатывают сотни миллионов в год и при этом даже налогов не платят?

— Я никогда и ни у кого воровать электроэнергию не буду, — отрезал я. — Даже у дантистов, потому что я не вор. И главное — для чего? Для того, чтобы мыть посуду? По-твоему, я должен ради этого запятнать свое честное имя? Нет, и не подумаю.

Но все же я не устоял. Однажды, воспользовавшись удобным случаем, я незаметно подключился к штепсельной розетке в зубоврачебном кабинете, взял один провод в правую руку, а второй — в левую и так продержал их целых три часа. Возвратившись домой, я сказал себе: посмотрим, заработает ли посудомоечная машина. Мне было просто любопытно. Жена тотчас усекла что к чему и не стала задавать никаких щекотливых вопросов. Машина заработала на славу и довела мытье по-

суды до конца. Жена была в восторге и даже не возразила, когда я сказал, что это всего лишь эксперимент.

Я уже понимал, что в конце концов сдамся. Так я стал похитителем электроэнергии. Теперь вечерами я возвращаюсь с работы домой с таким электрическим зарядом в теле, что каждый, кто ко мне неосторожно прикоснется, рискует быть испепеленным. Мне надо проявлять большую осторожность, так как я уже не только вор, но и потенциальный убийца. Однажды, чем-то раздосадованный, я подумал было, что не мешало бы поразить током жену, но, если не считать той истории с мытьем посуды, я вообще-то ее люблю и не смог бы без нее обходиться. Ну да, она меня эксплуатирует, но делает это в интересах округления семейного бюджета, а не для того, чтобы накупать себе наряды и шубы, как поступают многие жены. Так что я смирился и привожу в действие не только всякие мелкие электроприборы, но и посудомоечную и стиральную машины и даже водонагреватель в ванной. Недавно мы установили в квартире кондиционер: летом он нам очень пригодится. Но своей жизнью я недоволен. Понемногу я утрачиваю свою индивидуальность и вечерами, когда я полностью разряжаюсь, меня охватывает такая тоска, а в голову лезут такие вопросы, которых человек никогда не должен себе задавать. Жена ничего не замечает и продолжает эксплуатировать меня как какую-нибудь электростанцию и временами даже, подшучивая надо мной, называет электрическим человеком. Но, думаю, все-таки настанет момент, когда она снимет свои туфли на пробковой подошве, а я крепко-крепко ее обниму...



## *Самокритика*

ЗЛЫЕ языки утверждают, будто я толкнул ее, и она полетела в воду, но это неправда. Мы совершали круиз на яхте одного моего приятеля и находились вблизи Эоловых островов. Море лишь слегка волновалось, небо было ясное, мы шли от Панареа до Липари, намереваясь провести ночь на рейде неподалеку от порта. Я сидел в шезлонге на корме, а вторая супружеская пара и моя жена пили кофе в салоне. Я уже начал задремывать, как вдруг увидел стадо дельфинов, резвившихся и совершавших причудливые кувырки на самой поверхности. Они внезапно выскакивали из воды, взлетали в воздух и снова уходили в глубину. Я сразу же позвал жену:

— Скорее сюда, смотри, дельфины!

Сибилла до безумия любила дельфинов. Она прибежала, чтоб не упустить такое зрелище, но не задержалась у борта, а, перегнувшись через него, полетела головой вперед в воду. Повторяю, я вовсе не толкнул ее, она упала, потому что потеряла равновесие. К сожалению, Сибилла не умела плавать. Я тоже не умею.

Яхту сразу же остановили, спустили надувную моторку и стали описывать круги по воде, но жена исчезла бесследно. Что поделаешь, так мы ее больше и не увидели. Она пошла на дно, как кусок свинца.

То, что мы с Сибиллой не ладили, никак не связано с происшедшим. Я и полиции заявил, что не имею к этому никакого отношения. Друзья, бывшие с нами на яхте, ничего не видели: когда все случилось, они сиде-

ли в салоне и пили кофе. Так что никаких нежелательных выпадов от них ждать не приходилось.

И все же из-за их болтовни у меня действительно возникло некоторое чувство вины. Чувство вины может испытывать и ни в чем не повинный человек. После этого ужасного случая спать я стал беспокойно, меня даже кошмары начали мучить. Но хочу рассказать кое о чем еще.

Я работаю в Неаполе, в одном страховом агентстве, но сразу замечу, что моя жена не была застрахована, так что после ее исчезновения я не получил никаких денег. Какая вульгарность! Подобные истории больше не обыгрываются даже в самых низкопробных фильмах.

Как-то после обеда в субботу мы вышли из агентства вместе с одним коллегой и решили прогуляться по набережной. Вдруг я заметил, что с моей тенью творится что-то неладное. Обычно мы не обращаем внимания на свою тень, но в тот день с тенью было что-то не так. Она стала какой-то неправильной, искаженной. Я занервничал, но ничего не сказал. Однако друг заметил эту внезапную перемену настроения.

— Что с тобой?

— Нет-нет, ничего, просто голова немного закружилась.

— Может, нам лучше передохнуть?

Мы зашли в кафе, а через пять минут меня отвезли домой на машине.

Когда приятель ушел, я снова спустился на улицу и принялся ходить по солнечной стороне. Да, все было именно так: моя тень больше мне не соответствовала. Она неизменно сопровождала меня, как это бывает с каждым человеком на земле, когда он выходит на солнце, но эта тень была не моя, она принадлежала другому человеку. Скажу точнее: тень была женская.

Идентичность тени определить трудно. Я ходил по залитой солнцем улице взад-вперед, стараясь разобраться в происходящем. Конечно, у меня были подозрения, но в том, что это тень Сибиллы, я убедился, когда она быстрым жестом два-три раза подряд поправила прическу. Это было так характерно для нее. Я шел, спокойно держа руки в карманах, а моя тень поправляла волосы. Такая вот неприятная ситуация.

Я стал брать командировки в своем страховой компании. За несколько месяцев изъездил вдоль и поперек весь наш полуостров. Неумолимая тень повсюду следовала за мной. Я был очень обеспокоен. Если всем станет об этом известно, сколько сплетен начнется! Станут говорить, что это месть моей жены и, следовательно, подтверждение того, что именно я столкнул ее в море. Я теперь плохо спал, по нескольку раз за ночь просыпался и часто видел во сне жену, которая сверлила меня отчаянным взглядом.

Я сходил к врачу, но о тени, естественно, ничего ему не сказал. Он прописал мне успокоительное. По существу речь шла о том, чтобы устранить причину, а не следствие, но не мог же я рассказать врачу все как есть. В глубине души я еще надеялся, что в какой-то момент это преследование прекратится. А тем временем проклятая тень не отставала от меня. Ясно, что Сибилла на том свете была уверена, что именно я столкнул ее в воду.

Тщательно изучив весь свой путь от дома до работы, я стал придерживаться только теневой стороны, а с друзьями выходил лишь по вечерам. И все же странная тень преследовала меня даже при свете уличных фонарей или луны.

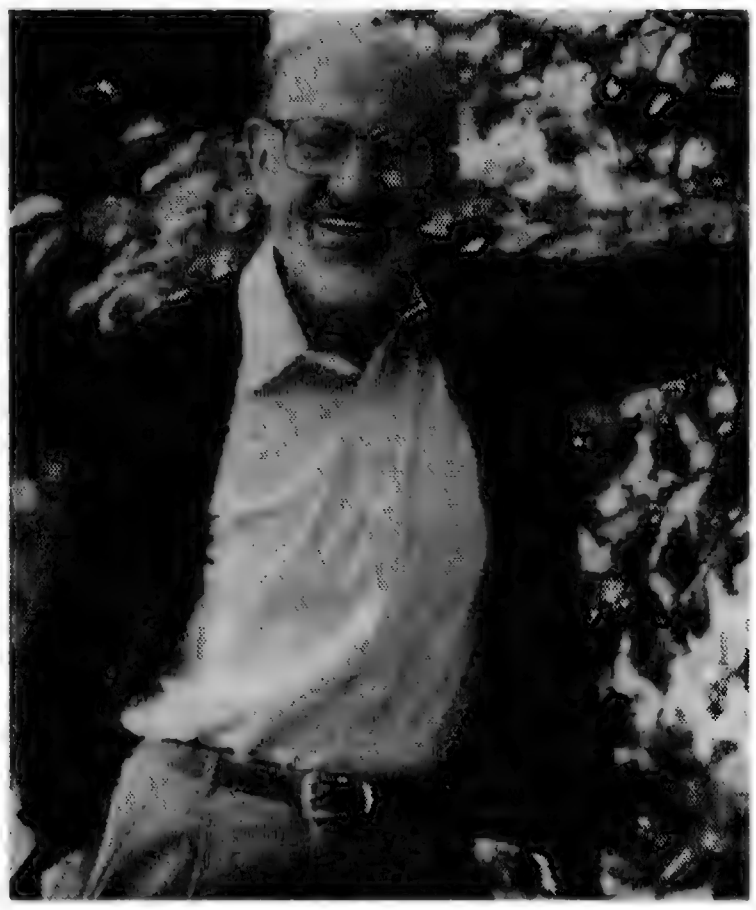
У этой истории с тенью грустный конец. Мне удалось добиться перевода в Милан – город, который я ненавижу. В Милане почти всегда серое небо, туман, дождь, снег. Летом я беру месячный отпуск и провожу его в Финляндии.



Однажды августовским днем, когда в Хельсинки светило бледное солнце, я прогуливался в саду, позабыв о своей тени, но тут какие-то мальчишки стали указывать на меня прохожим. Сначала я не заметил, что все дело в моей тени, но, осознав, что происходит, поспешно ушел, сел в такси и назвал адрес отеля. На следующий же день я уехал в Осло.

Каждый год я провожу отпуск в одиночестве, в малосолнечных странах Северной Европы. Тень Сибиллы повсюду следует за мной как злой рок. Я думал, что привыкну к ней, потому что тень, в сущности, менее неприятна, чем живой человек. Тень не говорит, не раздражает, не наскучивает. А что, говорил я себе, может, стоит пойти в полицию и признаться, что это я столкнул Сибиллу в море? Тогда ее тень оставит меня в покое. Но после такого признания конечно же меня ждет судебный процесс и приговор. Пожалуй, несколько лет тюрьмы – это не так уж и страшно, возможно, я их заслужил. Но что, если и после тюрьмы тень по-прежнему будет меня преследовать?

# Говард Фаст



# *Книгоноша*

Рассказ

*Перевод с английского* М. Лорие

*Послесловие* И. Бернштейн

Мы были очень бедны, но не так бедны, как солдаты. До войны все было иначе, но с тех пор как началась война, мы жили все беднее и беднее, а все-таки были не так бедны, как солдаты.

Солдаты стояли лагерем в долине возле нашего дома. Было это в конце года — кажется, тысяча семьсот восьмидесятого. Зима еще только-только начиналась, и в тот день, когда они пришли, снег запорошил всю долину, спускавшуюся к реке, которая видна была из нашего дома. Наш дом стоял на холме, высоко над долиной, и рекой, и заречными полями. Мать все, бывало, смотрела в долину. Она говорила, что, когда вернется отец, мы увидим, как он едет вверх по долине от реки. Отец был капитаном, служил в 3-м Континентальном полку. Все это случилось еще до того, как его убили.

Солдаты пришли берегом реки по проселочной дороге и завернули в нашу долину, чтобы здесь расположиться лагерем. Это были бойцы Пенсильванских регулярных войск, все худые, кожа да кости, и с усталыми лицами. Мы побежали их встречать, и они махали нам в знак приветствия. Мне было совестно перед ними, такой я был толстый и здоровый.

Во главе колонны ехал верхом командир, а чуть позади него — адъютант. Увидев меня, командир пустил лошадь в галоп, подскакал ко мне, осадил лошадь и перегнулся через луку.

— Здорово, сынок, — сказал он.

Я ничего не ответил, потому что боялся, что он думает о том, какой я толстый, а сам он такой худой. Мундир на нем был разорван и весь в

© М. Лорие, наследники. Перевод, 2004
© И. Бернштейн. Послесловие, 2004

грязи, треуголка уныло обвисла. Но лицо его мне понравилось. Оно было худое, суровое, но небольшие синие глаза смотрели весело.

Однако мне не хотелось, чтобы он счел меня круглым дураком, и я лихо отдал ему честь.



— Так-так, — улыбнулся он, — из тебя выйдет хороший солдат. А сколько тебе лет?

— Десять, сэр.

— И как же тебя зовут?

— Бентли Корбатт, сэр.

— Ты, наверное, живешь в том большом доме на холме? А это твоя сестра?

— Да, сэр, — отвечал я, немного сконфуженный тем, что Энн такая маленькая. — Но у меня и еще есть, сэр.

— Еще один дом? — спросил он, по-прежнему улыбаясь.

— Нет, сэр. Еще одна сестра, она гораздо старше вот этой, Энн. А вы к нам не заедете, сэр?

— Пожалуй... Вы, значит, не за англичан?

— Что вы, сэр, — быстро сказал я, а потом добавил: — У меня отец служит в 3-м Континентальном полку. Он капитан, — закончил я гордо.

— Так, — сказал он, теперь уже без улыбки. Он задумчиво посмотрел на меня, потом перевел взгляд на наш дом. — Так, — повторил он. Потом продолжал: — Я генерал Уэйн. Ты, надеюсь, не откажешься познакомить меня с твоей матерью?

— Она умерла, сэр.

— Прошу прощенья. Тогда с твоей сестрой, раз она теперь хозяйка дома.

Я кивнул. Он наклонился, подхватил меня и посадил в седло впереди себя. Потом сделал знак адъютанту, тот посадил к себе Энн, и мы поехали к дому.

— Когда умерла твоя мать, сынок? — спросил он меня по дороге.

— Около трех недель, сэр, совсем недавно.

Я рассказал ему, как она все смотрела в долину.

— Отец, понимаете, еще не знает про нее. Сестра думает, что лучше ему не сообщать.

— Понятно. — Он серьезно кивнул головой, но синие глаза его были ласковые и веселые; они, кажется, никогда не теряли своего веселого блеска. Я изогнулся в седле, чтобы посмотреть, как войска втягиваются в долину. Солдаты уже шли через наш фруктовый сад, и многие нагибались на ходу и подбирали с земли гнилые яблоки. Он проследил за ними взглядом.

— Трудное это дело — война, особенно для солдат, верно? — Он словно и меня включал в их число.

— Не такое уж трудное, — ответил я спокойно, — для солдат.

Джейн поджидала нас на пороге, лицо у нее было очень серьезное, как всегда с тех пор, как умерла мать. Мы подъехали, и генерал спустил меня с седла прямо на ступеньку. Потом он спешился, отвесил Джейн учтивый поклон, сняв треуголку изящным жестом, точно она не была вся мятая и рваная.

— Мисс Корбатт? — осведомился генерал.

Джейн наклонила голову.

— Я — генерал Уэйн, Континентальная армия, Пенсильванские регулярные войска. У меня две тысячи солдат, которых я хотел бы размес-

тить в этой долине — всего на несколько недель, надеюсь, но, возможно, и почти на всю зиму. Это, очевидно, ваша земля?

— Да. — Джейн сделала реверанс. — Да, это земля моего отца. Входите, пожалуйста. Мы поговорим в комнатах.



Генерал Уэйн переступил порог следом за Джейн, за ним шел его адъютант, а я шел за адъютантом. Энн попробовала было войти за мной, но я оттолкнул ее и сказал строго:

— Девчонкам здесь не место.

В гостиной меня не заметили, и я притаился в уголке. Джейн сидела на стуле, красивая как картинка, а оба военных стояли перед ней навытяжку.

— Видите ли, — говорил генерал Уэйн, — нам нельзя быть слишком далеко от англичан, и слишком близко тоже нельзя. Здесь для нас самое подходящее место.

— Кажется, я понимаю.

— Но вы знаете, что такое солдаты — две тысячи оголодавших солдат.

— У меня отец в армии, сэр.

— Ну, тогда спасибо. Вы храбрая девушка.

— Нет-нет, — быстро перебила его Джейн. — Благодарить меня не за что. Мне самой будет спокойнее, если рядом войска.

Генерал Уэйн улыбнулся печально.

— Едва ли. Не так уж приятно, когда твой дом превращают в поле сражения. Как ни взгляни, а война — жестокое дело.

— Я знаю, — сказала Джейн.

— Дом мы взяли бы под штаб-квартиру. Это значит — постой для меня и двух-трех офицеров. И комната, где заниматься делами.

Джейн кивнула.

— Я надеюсь, вам будет здесь удобно.

— Вы очень добры. А теперь разрешите откланяться и договоритесь, пожалуйста, обо всем с капитаном Джонсом.

Генерал вышел из комнаты, я за ним. Во дворе он с любопытством оглянулся на меня.

— Надо полагать, — сказал он задумчиво, — ты, когда вырастешь, тоже захочешь быть солдатом.

— Да, сэр.

Лицо его было очень серьезно, губы вытянуты в нитку. Одной рукой он взъерошил мои длинные волосы; другая то сжималась в кулак, то разжималась.

— Давай-ка, — заговорил он, — давай-ка я назначу тебя при себе особым адъютантом, чтобы помогать мне, если я за чем недогляжу.

Меня так и распирало от гордости, я был до того рад, что чуть не заорал во весь голос; но я сдержался, отдал ему честь и сказал только: "Очень хорошо, сэр". И долго еще стоял, глядя ему вслед, пока он спускался в долину.

Я не мог сразу вернуться в дом. Мне нужно было побыть одному в своей славе; и я стоял тихо-тихо, глядя вдаль, туда, где река под лучами заходящего солнца казалась блестящей красной лентой. Постояв так немножко, я вошел в сени.

Из гостиной доносился смех Джейн, это меня удивило: со смерти матери она еще ни разу не смеялась. Я вошел — и правда, она стояла там с адъютантом и смеялась каким-то его словам. Увидев меня, она умолкла, а капитан Джонс шагнул ко мне, протягивая руку.

– Здравствуйте, сэр, – сказал я с достоинством, помня, что я теперь военный.

– Здравствуйте, – ответил он.

– Капитан Джонс, генерал Уэйн и еще несколько офицеров будут жить у нас, Бентли, – сказала Джейн.

– Знаю.

Я пошел прочь и в дверях услышал, как капитан Джонс сказал:

– Уж вы извините мой мундир. Мы все теперь смахиваем на нищих.

Следующие несколько дней были, кажется, самые интересные в моей жизни. Я всегда считал, что наш дом – скучное место, потому что мне не с кем было играть, кроме Энн и Джека, сына сторожа. А тут сразу две тысячи солдат – и в саду, и на лугах, и вдоль длинного спуска к реке. За одну ночь всюду, как пузыри, повыскочили палатки, а под навесами и возле них стояла целая сотня лошадей. На лужайку перед домом вкатили шестнадцать пушек – черных, безобразных, но я просто глаз не мог от них отвести.

А солдаты! Я подружился со многими из них до того, как явился книгоноша, но про книгоношу я расскажу после. Генерал Уэйн, как видно, всем дал знать, что произвел меня в офицеры, потому что солдаты стали звать меня "лейтенант", и я очень этим гордился, хоть и старался не показывать вида. Я таскал для них на кухне лепешки и хлеб – у нас у самих было не так уж много, но у них вовсе ничего не было; и все свободное время я проводил в лагере. Солдаты рассказывали мне всякие истории, кое-кто из них знал моего отца. Иногда они позволяли мне взять в руки мушкет, но мушкеты были большущие, больше меня, и такие тяжелые, что я еле-еле их поднимал. От того, что я видел в лагере, мне порой становилось скверно на душе. Люди вечно мерзли: им не хватало одежды и одеял; редко у кого были башмаки, а уж худые все были – смотреть жалко. У меня становилось скверно на душе, и я уже сам не знал, хочу ли я быть солдатом. Но они не переставая толковали о том, что когда-нибудь им пришлют из Филадельфии жалованье – и тогда все будет не в пример лучше.

Надвинулась зима, а солдаты всё стояли у нас в долине. Их подходило всё больше, пока не набралось около трех тысяч. По ночам их костры поблескивали в темноте, как светляки, а днем у них шли сплошные ученья и разводы. Я не мог понять, к чему им столько муштры, но однажды капитан Джонс объяснил мне: затем, чтобы помнили, что они солдаты, и забывали, что голодают. Я дивился, как это можно голодать и все-таки жить так долго. Но война – очень странная вещь, в ней многое непонятно.

В доме у нас стало людно. Гостиная служила генералу Уэйну штаб-квартирой, иногда он проводил там целые дни – писал, сидя за столом, принимал курьеров, отправлял курьеров. Я знал, что если он пишет – значит, требует денег и провианта для своих солдат, все разговоры вертелись вокруг этого. Целыми днями верховые подъезжали к дому и отъезжали, и не раз, проснувшись ночью, я слышал, что у крыльца бьет копытом лошадь.

Наверно, капитан Джонс успел приглянуться нашей Джейн, да и неудивительно, ведь он столько времени проводил у нас в доме и такой был видный молодой джентльмен, и здоровый, и румяный, не то что генерал Уэйн.

Солдаты уже недели три жили в нашей долине, когда явился книгоноша. Теперь таких книгонош почти не осталось. Они ездили по стране, продавали на фермах книги и сообщали всякие новости. Некоторые и

сами писали книги, печатали их и продавали, вот как пастор Уимс — свои рассказы из жизни генерала Вашингтона.

Так вот, книгоноша появился однажды под вечер, приехал верхом, но не от реки, а по тропинке, что вела к нам из-за холмов. На нем было поношенное домотканое платье и старая широкополая шляпа, а к седлу с обеих сторон приторочены пачки книг. Он не стал подъезжать к дому, а остановился у сарая, и я побежал к нему поглядеть, что он привез. Я знал, что это книгоноша, и знал, что за войну они почти совсем перевелись.

— Эй, — закричал я, — эй, книгоноша, здравствуйте!

Он посмотрел на меня очень серьезно, и сразу мне ужасно понравился. Глаза у него были маленькие, синие, блестящие, как у генерала Уэйна, длинные льняные волосы падали на плечи. Тогда он показался мне старым, как почти все взрослые, но едва ли ему было многим больше тридцати лет.

— Здравствуйте, сэр, — сказал он. Выговор у него был странный, но как будто знакомый. Я решил, что он приехал издалека, из самой глуши. — Как поживаете?

— Очень хорошо, — отвечал я. — А у вас есть книжки из Англии? Мы бы купили, хоть Джейн и говорит, что сейчас их нельзя читать.

— Почему же их сейчас нельзя читать? — спросил он.

— А у нас же, знаете, война.

— Да, это я знаю. Я сюда еле добрался из-за этих окаянных часовых.

Послушать его, так выходило, будто он не одобряет, что во время войны выставляют часовых. Потом взгляд его скользнул мимо меня, в долину. Он увидел, сколько там солдат и палаток, и сказал с удивленным видом:

— Ого, какой большой лагерь.

Я гордо кивнул головой.

— Да, тут чуть не все Пенсильванские регулярные войска.

Но ему, видно, не хотелось говорить об армии и о войне.

— Ты какие книги любишь? — спросил он, приглядываясь ко мне.

Тут я спохватился, какой я невежа.

— Зайдите в дом, — пригласил я его, — выпейте чего-нибудь, погрейтесь. Моя сестра, наверно, тоже захочет посмотреть ваши книги.

Он подхватил свой товар и пошел за мной на кухню, и пока Мэри, кухарка, ставила чайник на огонь, я побежал за Джейн. Джейн всегда радовалась, когда появлялся книгоноша, — все-таки живой человек.

— Простите, что мы принимаем вас в кухне, — сказала она, — но дом наш превратился в самый настоящий бивак. Я бы предложила вам чаю, да чая у нас теперь нет — вы сами знаете.

— Вы, наверно, очень лояльная семья? — спросил книгоноша.

— Мой отец служит в 3-м Континентальном, — тихо ответила Джейн.

Книгоноша посмотрел на нее, точно знал, о чем она думает — что, мол, такому крепкому мужчине куда больше пристало бы служить в армии, чем разъезжать по дорогам со связкой книг. По губам его поползла улыбка, и он сказал:

— Кто-нибудь должен же продавать книги. Они нужны не меньше, чем война.

— Может быть, — сказала Джейн.

Тут меня позвала Энн, и мы с ней пошли в долину. Когда я вернулся, книгоноша показывал Джейн свой товар.

Книги были разложены на полу, а они с Джейн стояли на коленях, близко друг к другу, и в сумерках его льняные волосы красиво выделялись рядом с темными волосами Джейн. Когда я вошел, Джейн подняла голову.

— А ты не хочешь посмотреть книжки, Бентли?

— Я был в долине, — ответил я важно. — Там большое оживление. Думаю, войска скоро выступят, пожалуй, в конце этой недели, а то и раньше.

Книгоноша глядел на меня очень внимательно, у меня даже мелькнула мысль, что это странно, раз он совсем не интересуется войной. Но я тут же забыл об этом и стал разглядывать книжки вместе с Джейн. У него было много детских книг с разноцветными картинками, мы таких почти и не видели. И все их он, видно, прочел — я еще не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил о книгах. И о книгах для Джейн он тоже говорил, и я видел, что многое в нем нравится Джейн так же, как мне.

Я пообедал, и, когда кончил обедать, Джейн все еще разговаривала с книгоношей о книгах и обо всяких других вещах. Тогда я вышел на крыльцо, где капитан Джонс курил трубку.

— Это что за оборванец? — спросил меня капитан Джонс.

— Да так, просто книгоноша.

— Ах, просто книгоноша?

— Да, — кивнул я и подсел к нему для компании.

В тот вечер я сидел на кухне и слушал книгоношу. Он рассказывал не про войну, как солдаты, а про далекие чужие страны. Я чувствовал, что понравился ему, а меня к нему тянуло так, как никогда еще не тянуло к постороннему человеку. Позже пришла Джейн и тоже подсела к огню, и тогда книгоноша стал больше обращаться к ней. Кое-что из его слов я запомнил.

— Египет... словно старинное запястье в песке. Там три огромные пирамиды, они стоят все вместе, и когда смотришь, как за ними садится солнце... — И все в том же роде. Казалось, нет той страны, где бы он не побывал, хотя как было попасть туда книгоноше — этого мы не могли себе представить.

— А война? — один раз спросила его Джейн.

— Я иногда думаю о войне, — отвечал он, — но не знаю, нужна она или нет. Эта новая страна такая большая, такая пустынная — к чему из-за нее воевать?

— Наша Америка — очень красивая страна, — сказала Джейн.

— Да, и в ней много красивых женщин.

Не знаю, рассердилась ли Джейн на эти слова, только она ничего не сказала.

— Страна храбрых мужчин и красивых женщин, — продолжал книгоноша. — Вон солдаты там, в долине, медленно умирают с голоду — разве я не знаю? Как ни безобразна война, все мы ради нее делаем больше, чем в человеческих силах.

— И все-таки вы не настолько в нее верите, чтобы идти воевать?

— И без меня достаточно льется крови.

— Может быть.

— Я люблю книги, — сказал книгоноша. — Когда-то я мечтал о просторном доме, где мог бы спокойно доживать свои дни, и чтобы вокруг было много-много книг... и мир. Я часто мечтал об этом.

— Я понимаю, — кивнула Джейн.

— О чем только не мечтаешь, правда?

Когда я пошел спать, Джейн все еще сидела и разговаривала с книгоношей. Она сказала: "Спокойной ночи, Бентли", а книгоноша пожал мне руку и сказал: "Не увлекайся войной, малыш".

Ночью мне снилось то, о чем рассказывал книгоноша. Его устроили ночевать в сарае, потому что в доме не было места, и я уже предвкушал, как увижу его утром.

На следующий день в лагере было и того оживленнее. Все утро шел снег, но солдаты, высыпав из палаток, и под снегом продолжали учение, и к ним прибавлялись все новые и новые. Дома генерал Уэйн бушевал так, что я не решался заглянуть в гостиную. Среди дня к крыльцу подъехал высокий усталый офицер с двумя адъютантами и больше часа пробыл у генерала Уэйна. Я слыхал, как часовые шептались, что это — генерал Вашингтон, но это был совсем не тот великий человек, о котором я столько слышал, а просто высокий усталый мужчина в залатанном мундире.

Я побрел в кухню поглядеть на книжки, и пока я там был, вошел сам книгоноша. Я обрадовался, что он еще не уехал. Мне хотелось, чтобы он очень понравился Джейн и она уговорила бы его погостить у нас недельки две. Я готов был без конца слушать его мягкий, баюкающий голос.

— Вот, почитай-ка это, — сказал он, протягивая мне книгу Мэлори про короля Артура, и я пристроился с ней к огню.

Прошло еще два дня, книгоноша гостил у нас, и я заметил, что Джейн проводит с ним все больше времени. А капитану Джонсу это было явно не по душе. Прежде я видел раз, как он обнимал Джейн, и, когда Джейн говорила о нем, взгляд у нее делался какой-то странный, словно задумчивый. Даже теперь, когда у нас гостил книгоноша, Джейн становилась все печальнее по мере того, как войскам подходило время выступать.

— Но книгоноша останется у нас, — сказал я ей однажды.

— Да, — отвечала Джейн.

Войска должны были выступить на следующее утро. В тот день они начали сниматься с лагеря, и пушки укатили с нашей лужайки на дорогу, к реке. В гостиной генерал Уэйн заканчивал свои дела, и видно было, до чего он волнуется.

— Старый лис что-то задумал, — сказал мне один из часовых.

— Недаром он шушукался с генералом Вашингтоном, — добавил другой.

Мне тут делать было нечего, раз все были так заняты, и я отправился искать книгоношу. Я полез под крышу сарая, где он жил в каморке над сеновалом, решив подкрасться к нему потихоньку. В двери была щель, я заглянул в нее. Книгоноша сидел на полу и писал что-то, держа на колене тетрадку. Тогда я постучал. Он сразу насторожился. Бумагу, на которой писал, он сложил и засунул в щель между половицами, а письменные принадлежности закрыл сеном. Потом пошел к двери. Увидев, что это всего-навсего я, он как будто успокоился.

— Да, — сказал он, — я как раз хотел поговорить с твоей сестрой. Я скоро уезжаю, надо выяснить, какие книги она возьмет.

— Вы уезжаете?

— А тебе не хочется меня отпускать, паренек? Но всем нам рано или поздно надо отправляться в дорогу. Может, я еще когда-нибудь вернусь.

Я пошел вместе с книгоношей к дому, совсем забыв про бумагу. Потом вспомнил и под каким-то предлогом отстал от него. Не думая о том, что делаю, я бегом вернулся на сеновал, в его каморку. Теперь я весь дрожал от волнения, потому что твердо решил узнать, кто же такой наш книгоноша.

Я вытащил бумагу из щели и прочел:

"Ваше превосходительство!

Я сделал, что мог, однако обнаружил весьма немного. Сейчас здесь сосредоточено не менее трех тысяч войск при двадцати двух орудиях. В то утро, когда Вы получите это письмо, они выступят на север — возможно, на соединение с генералом Вашингтоном..."

Я пробовал читать дальше, но все расплывалось перед глазами. Сначала я плакал, и мне было очень стыдно; потом сообразил: нельзя, чтобы книгоноша застал меня здесь. Зажав бумагу в руке, я спустился с сеновала прямо в снег, и холодный воздух прояснил мне мозги. Все вокруг меня кружилось и падало.

— Почему именно он? — сказал я тихо.

Я пошел в кухню взглянуть на него еще раз, наверно для того, чтобы проверить, неужели это он, мой чудесный книгоноша. Я тихо отворил дверь. В кухне книгоноша целовал Джейн.

— Уходите отсюда, — прошептала она.

— Но ведь ты меня любишь, — сказал он.

— Не знаю... не знаю.

— Так я тебе скажу. Ты меня любишь, но очень уж много забрала в свою очаровательную головку. Я — оборванец, бродяга, который заворожил тебя своими рассказами, и глупо губить себя ради такого, как я. Но ты меня любишь.

— Да.

Джейн покачала головой, и я помню, что даже тогда подумал, какая Джейн молодчина.

— Нет, — сказала она. — Я не жалею. К чему жалеть? Я вас люблю, вот и все.

— Значит, ты понимаешь. За те несколько дней, что я пробыл здесь, ты поняла.

— Да, я поняла.

Лицо книгоноши было видно мне сбоку, я, кажется, никогда не видел такого печального лица. И такого красивого. Да еще эти его льняные волосы, спадавшие до плеч... Даже не пойму, как у меня хватило сил стоять и смотреть на все это, зная его тайну.

— Если бы ты знала все... но, слава богу, ты не знаешь. Слушай, Джейн. Я тебя поцеловал один раз. Больше я тебя не поцелую... если только не вернусь сюда когда-нибудь. Ты будешь ждать?

— Я вас люблю, — сказала Джейн. — Я знаю, что никогда никого не полюблю так, как вас.

Больше я не мог этого выдержать. Я ушел к себе и расплакался. Потом я вспомнил, что солдаты не плачут. Кажется, я вспомнил, что произведен в офицеры.

Генерала Уэйна я застал в гостиной и сразу увидел, что он не рад моему приходу, потому что очень занят. Но он кивнул мне.

— По какому делу, сэр? — осведомился он.

— Можно у вас спросить одну вещь?

Он отодвинул свои бумаги. Глаза его уже блестели, и я знал, что теперь он меня не прогонит. Он всегда хорошо ко мне относился.

— Что, если солдат убежит? — спросил я.

— Бывает, что и самые лучшие солдаты бегут — приходится, — улыбнулся генерал.

— Но если он знает, что его долг — наступать?

— Тогда он, значит, трус и изменник, — медленно произнес генерал, глядя на меня очень внимательно.

— Тогда он трус, сэр?

— Да.

Я протянул ему смятую бумагу. Но я не заплакал, а смотрел прямо ему в глаза.

— Что такое? — Он прочел все до конца, поджал губы, перечитал снова. — О черт, — пробормотал он. — Где ты это взял, сынок?

Я ответил. Сказал, где можно найти книгоношу, а потом спросил:

— Можно мне теперь уйти, сэр? — Я знал, что, если сейчас же не уйду, что-то у меня внутри оборвется.

В тот вечер книгоношу расстреляли. Капитан Джонс пытался удержать Джейн дома.

— Тебе нельзя это видеть, — уговаривал он ее. — Ради бога, Джейн, ну зачем тебе это видеть?

— Зачем? — Она посмотрела на него удивленно, потом обеими руками коснулась его лица. — Ведь ты меня любишь, Джек?

— Пора бы тебе это знать.

— И ты знаешь, что делает с человеком любовь. Ну так вот, я должна это видеть, должна.

Но он не понял. И я в то время тоже не понял.

Пока они разговаривали, в комнату вошел генерал Уэйн. Он остановился, поглядел на нас, потом сказал отрывисто:

— Пусть смотрят, капитан, если им хочется. Я думаю, Бентли это не повредит. Этот шпион — храбрый человек.

Книгоношу поставили к стене сарая, спиной к каменному фундаменту. Когда ему хотели завязать глаза, он только улыбнулся и попросил, чтобы ему не связывали руки.

— Можно мне с ним поговорить? — спросил я.

— Можно, только недолго.

Лицо у книгоноши было усталое. Пока я не подошел к нему, он не отрываясь смотрел на Джейн. Тут он взглянул на меня.

— Прощай, паренек, — сказал он.

Глаза у меня были полны слез, я видел его как в тумане.

— Хорошие солдаты не плачут, — улыбнулся он.

— Я знаю.

— Ты хочешь сказать мне, что видел, как я прятал бумагу, верно?

— Да.

— А теперь тебе жаль?

— Я не мог поступить иначе.

— Я понимаю. Дай мне руку, паренек.

Потом я вернулся к Джейн, и она обняла меня за плечи так крепко, что стало больно. Я все смотрел на книгоношу.

— Сэр! — крикнул он вдруг. — Доведите до сведения моего командования. Меня зовут Энтони Энгл. Чин — подполковник.

Генерал Уэйн кивнул. А потом грянул залп, и книгоноши не стало...

* * *



Этой небольшой публикацией сотрудники и авторы журнала хотели бы воздать должное памяти одновременно двух известных литераторов XX века: американского писателя Говарда Фаста (1914—2003) и русского переводчика Марии Федоровны Лорие (1904—1992).

Говард Фаст был страстным и убежденным другом Советского Союза — до того дня, когда узнал от нас же, что его преданность была отдана большой неправде, и тогда так же страстно предал нас анафеме. Его произведения — исторические и политические — в больших количествах переводились и печатались на русском языке, про него писались статьи и диссертации, его творчество преподавали студентам. "Рожденные свободой", "Непобежденные", "Гражданин Том Пейн", "Дорога свободы" и др. — эти названия были знакомы всем, кто так или иначе соприкасался с американской литературой. В 50-е годы Фаста печатали и в нашем журнале в переводе выдающихся мастеров; статьи о нем публиковали в "ИЛ" видные литературоведы и критики. Но в 1956 году он издал книгу "Голый бог" ("The Naked God") и исчез с наших страниц. Теперешние студенты подчас даже имени его не слышали. А жаль. Говард Фаст был хороший писатель.

Совсем другое дело — Мария Федоровна Лорие. Она, слава богу, не была бойцом идеологического фронта. Она просто переводила книги, главным образом английскую и американскую классику. В ту пору, когда у нас мало печатали иностранных авторов, она сделала столько, что список ее работ занимает десять страниц. Диккенс, Теккерей, И. Во, Гарди, Голсуорси, О. Генри, Джек Лондон, Г. Мелвилл, Айрис Мердок, У. С. Моэм — вот имена навскидку.

Но помимо этого М. Ф. (как и некоторые ее коллеги) учила и наставляла следующую генерацию переводчиков. Никем не понуждаемая и не оплачиваемая — в то время и в применении к данному человеку такие слова прозвучали бы кощунственно, это была так называемая общественная работа, — сначала в ЦДЛ, а потом у себя дома она собирала своих учеников, и под ее руководством мы анализировали работы друг друга, обсуждали наиболее значительные события в англоязычных и русской литературах. И еще она за нас "заступалась", когда нас третировали как молодых и неопытных. От М. Ф. мы переняли три заповеди художественного перевода: переведенный текст должен быть художественным — это первое. Во-вторых, он должен быть максимально правдив и точен, то есть текст надо понимать, для чего необходимо знать язык и реалии той жизни, на материале которой он написан. И в-третьих, переводчик должен знать язык русской литературы, должен постоянно читать русские книги. И вообще книги. Кстати, и стихи. Во всем этом М. Ф. была не только учительницей, но и примером. И все мы, ее подопечные, ей очень многим обязаны. С тех пор мы не перестаем учиться.

В январе 2004 года — ее столетний юбилей. Печатая рассказ Фаста в переводе М. Ф. Лорие, мы пользуемся случаем, чтобы лишний раз с благодарностью поклониться ее памяти.

[202]
ИЛ 1/2004

# Мервин Пик
# *Стихи*

*Перевод с английского и вступление* Максима Калинина

Мервин Пик с самого рождения был загадочным и необычным. Родился он в Китае. Но заинтригованного этим фактом читателя ждет разочарование, коль скоро он примется искать в творчестве Пика мудрую созерцательность, аскетичную простоту слога, скупые, но емкие образы — словом, то, что присуще всему, написанному тушью. Пик, напротив, любил причудливую и живописную образность, а своим красноречием с налетом архаики просто упивался. Писатель не мог воспринимать Китай как востоковед, ибо там прошло его детство, и у сына врача

© М. Калинин. Перевод, вступление, 2004

при религиозной миссии вряд ли проявился бы интерес к Ду Фу либо к Ли Бо. Он сполна насмотрелся на стихийные бедствия и экзотичные восточные болезни. Надо добавить, что христианских миссионеров в Азии не любили. Еще в конце XIX века "...их ненавидели, бросали в них камнями, а то даже рубили саблями, если представлялась к тому возможность"[1]. В соседней Японии до 1873 года проповедование христианской веры каралось смертью.



В 1921 году семья Пика перебирается в Англию. Там Пик приобретает известность как художник. Он блестяще иллюстрирует "Алису в стране чудес", "Охоту на Снарка", "Остров сокровищ", то есть классику детско-взрослой литературы.

В 1946-м выходит его роман "Титус Гроанский", а затем в течение 50-х еще два романа-продолжения: "Замок Горменгаст" и "Одиночество Титуса". На ура читающей публикой был принят лишь первый роман, остальные два она просто не заметила. И только после смерти Пика трилогию стали называть классикой XX века, что также загадочно и необычно. Романы эти были созданы всецело ради решения субъективной творческой задачи, в них не было пророчеств, они не пытались дать ответ на животрепещущие вопросы современности и не являлись дневником писателя — в общем, не было ничего того, что придает литературному произведению дополнительную значимость, помимо художественных достоинств.

О чем трилогия Пика, не определишь в двух словах. Ее можно цитировать, но пересказать своими словами невозможно. Это повествование об исполинской твердыне, словно самостоятельно выросшей из недр земли, необъяснимой "вещи в себе", выпестовавшей в своих угрюмых стенах не одно поколение обитателей и весьма неохотно с ними расстававшейся. Сами же обитатели обуславливают смысл своего существования отправлением многочисленных ритуалов, придуманных кем-то когда-то. Время в замке движется лениво, жителям Горменгаста торопиться некуда. Порою кажется, что смотришь на них сквозь стекло кунсткамеры. В первой части трилогии рассказывается о появлении на свет нового наследника правящей династии Гроанов — Титуса, взбудоражившем косное бытие Горменгаста. Во второй — о столкновении Титуса со злодеем Стирпайком, бывшим кухонным мальчишкой, долгое время терроризировавшим обитателей замка. В третьем романе Титус покидает замок, но затем, словно желая убедиться в реальности своего прошлого, возвращается к его стенам, чтобы уйти вновь.

Вот, собственно, и все. А искать четкую концепцию романов Пика — занятие неблагодарное. О чем они? О поисках выхода на свободу? О кошмарном сне, от которого невозможно избавиться и который едва ли страшнее тех, кому он снится? ("Пришел сон и увидел меня", как сказала одна маленькая девочка.) О закосневшей человеческой душе, обуреваемой страстями, где происходят стычки не только добра и зла, но и разнообразных зол между собой? Нет. Эти книги ни о том, ни о другом, ни о третьем. Они даже не о Титусе Гроанском. Они писались автором всецело о замке Горменгаст. Тем они необычны. Потому и стоит Горменгаст в литературе обособленно, не поддаваясь штурму, сиречь классификации. Его можно либо разрушить, либо сделать достопримечательностью. В силу своей неоспоримой художественной мощи, замолчан критикой он быть не может и потому причислен последней к классике. Самого Мервина Пика (так как слово "сказочник" в наше серьезное время стало рутинным) называют автором стиля "фэнтези", хотя этому жанру не присущ столь глубокий и изысканный психологизм, бе-

1. Житие святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. (*Прим. перев.*)

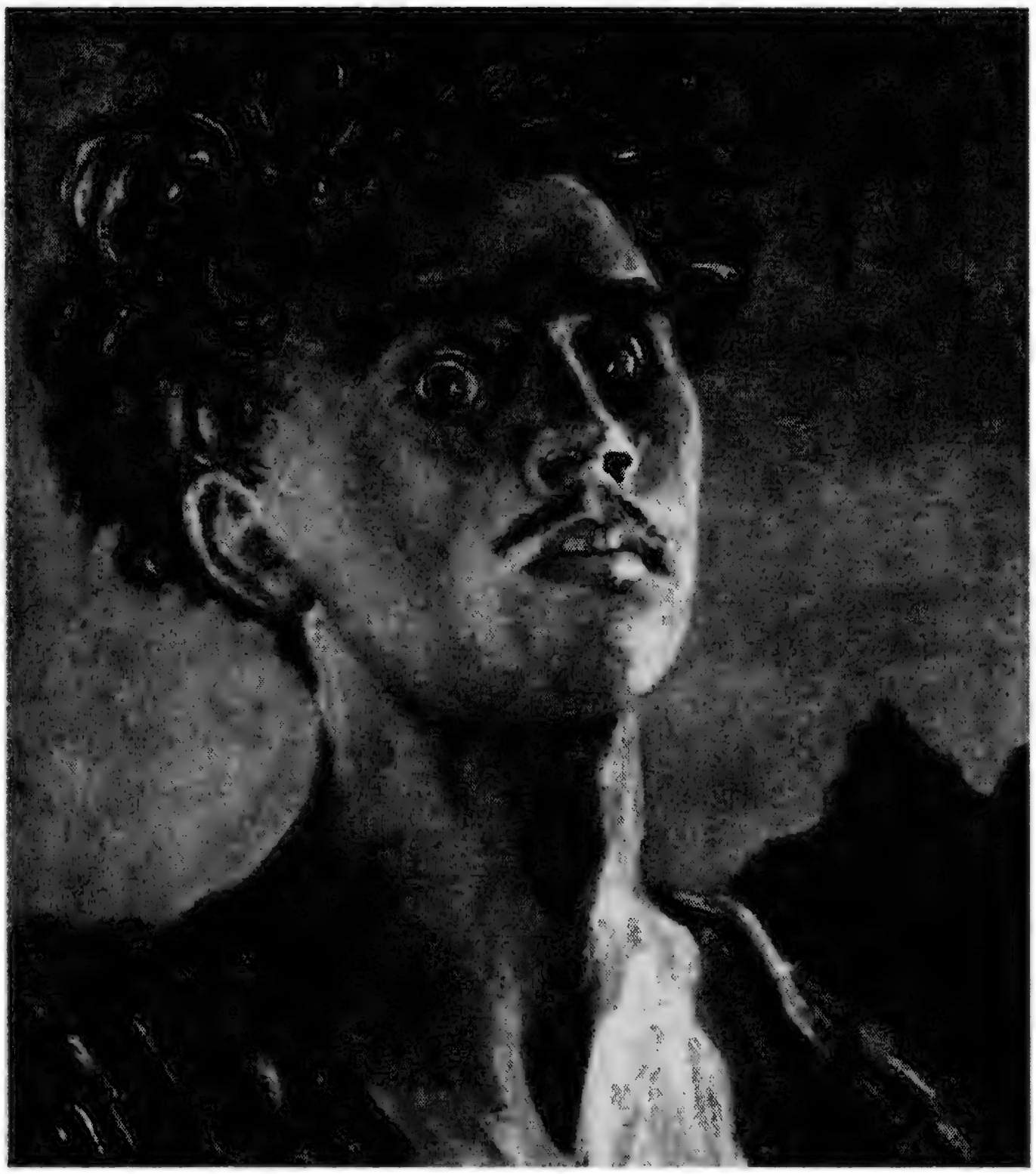
зупречный вкус и убежденность в реальности нереального. Но я уже говорил, что человек он загадочный и необычный.

Мервином Пиком продолжают интересоваться. Были попытки сделать его творчество достоянием массовой культуры, не в виде книжного слова, но в звуках и образах. В 1998-м участник рок-группы "Кэн" Ирмин Шмидт поставил рок-оперу "Горменгаст". По оценке "Таймс", "это звучит так, как если бы Штраус писал рок-музыку". А совсем недавно на Би-би-си прошла премьера телесериала по первым двум книгам трилогии о Титусе Гроанском. Сериал в четыре серии фурора не произвел, но отмечалось, что за последние тридцать лет это единственный фильм, созданный Би-би-си так, чтобы, как говорится, "и уму и сердцу".

В 1992 году "Иностранная литература" познакомила читателей с работами Пика-художника — с его иллюстрациями к книгам английских классиков Ч. Диккенса, Р. Л. Стивенсона, Л. Кэрролла и других. В 2002 году на страницах журнала появился первый роман трилогии "Титус Гроанский". Теперь пришла пора замкнуть цепочку и представить Пика-поэта. Именно поэта, а не стихотворца, не прозаика, балующегося рифмами от случая к случаю. Пускай поэтическое наследие Пика невелико в сравнении с трехтомной твердыней "Горменгаста", но оно является как бы маленькой потайной комнаткой в этом замке, местом, где можно, наконец, отдохнуть от его мрачных обитателей и обмануть хитрую систему "наблюдения за наблюдателями", сработанную вредоносным Стирпайком, местом, где можно вздохнуть свободно, если, конечно, не замучат дурные сны.

Мервин Пик писал стихи на протяжении всей жизни. Был дружен с одним из величайших творцов минувшего века Диланом Томасом. Еще до появления "Титуса Гроанского" вышли в свет две поэтические книги Пика: "Образы и звуки" (1941) и "Рифмы без причины" (1944). Затем последовали "Стеклодувы" (1950), "Стихи падающей бомбы" (1962), "Мечтания скелета" (1967). После смерти автора продолжали выходить собрания его стихов, в том числе и ранее не издававшихся, среди которых следует особо отметить "Книгу нонсенса" (1972) — сборник веселых чепуховин в духе Эдварда Лира с рисунками автора. Пик вообще любил иллюстрировать свои произведения. Сохранились его рукописные сборники стихов в основном юмористического характера, где обитают летающие груши, воинствующие червяки, зверь с огненной бородой, который мог бы стать украшением любого средневекового бестиария.

Несмотря на обилие поэтических книг, Пиком создано немногим более ста стихотворений. Писал он их редко, ждал, пока закристаллизуются образы. Тем выше качество его стихов: проходных вещей практически не встретишь. Пика-художника сравнивают с Тенниелом, прозаика — с Диккенсом, словно боятся признать его очевидную самобытность. Поэтому не хочется искать для Пика-поэта родственного ему предшественника, да и непросто это сделать. Лучше сравнить стиль его поэзии с филигранной манерой средневековых мастеров книжной иллюстрации. Если они изображали короля, то ни у кого не оставалось сомнений, что это человек, правящий страной, если крестьянина, то было очевидно, что сейчас он примется мотыжить землю, а потом поплетется в кабак. Столь строгий и реалистичный подход делает существование всех фантастических персонажей, например тигролюдей, правдоподобным и несомненным. Не отнимешь у Пика и счастливого дара истинного поэта говорить извечные истины своими словами так, чтобы создавалось впечатление новизны и первичности. В целом в своей поэзии Мервин Пик остался романтиком, видевшим пестрокрылых коней на улицах двадцатого заасфальтированного века.



*Автопортрет художника*

## *Вокзал Виктория, 6.58 пополудни*

Часы на башне вскрикнули контральто,
И загорелся палевый огонь,
Когда из-под унылого асфальта
На волю прянул пестрокрылый конь.

Султан венчал макушку яркой вспышкой,
Венок созвездий холку оплетал.
Прохожий с черным зонтиком под мышкой
Остановился и захохотал.

## *Когда, коней пришпорив, тигролюди...*

Когда, коней пришпорив, тигролюди
Умчались под грохочущие своды,
Как воздух под копытами горел,
Я проглядел.

Как быстрые кентавры после ливня
Топтали серебро зеркал вприпрыжку,
И плеск волос осколками блестел,
Я проглядел.

Как человек с оленьими рогами
Нырнул в рассвет и канул крик предсмертный
За меркнущего дня водораздел,
Я проглядел.



## *Скользя сквозь полутьму*

Чудовища, скользя сквозь полутьму,
Находят путь к сознанью моему.
Они, пока горит луны ночник,
Меня не оставляют ни на миг.

И даже днем, когда все страхи спят,
Они под дверью разума галдят.
Черны тела в трепье, а меж морщин
У каждого на лбу назрел рубин.

## *Как древний город*

Как древний город, множество ходов
Таящий под безмолвием камней,
Я дал внутри себя укромный кров
Безумцам, схоронив, где потемней.

Я чувствую костями, как они
Шуршат в ночи лохмотьями. Их цель —
На площади груди возжечь огни
И приступом идти на цитадель.

## *Что день, что ночь*

Что день, что ночь, различия не строги —
Приходит мрак по смолкнувшим часам.
Ведут в обход полдневные дороги,
Полночные — стучат по черепам.

Вновь мраку — срок, не снимешь окруженья
С земель, навеки погруженных в тень,
Где плоть живет без признаков движенья
И календарь роняет черный день.

## На чудо нам осталось уповать

[207]
ИЛ 1/2004

На чудо нам осталось уповать,
Чтоб научиться жить и умирать,
Дотла сгорать
В огне любви.
Никчемные, плетемся мы опять
Справлять делишки жалкие свои.

## Что, если бы под топором

Что, если бы
Под топором
Текла из веток
Кровь ручьем?

Ушел бы с миром
Дровосек,
Не оборвав
Древесный век?

## Как-то раз, прогуливаясь вдоль дороги

Как-то раз, прогуливаясь вдоль дороги, я вздрогнул от страха:
Вспыхнули звезды, и я осознал как планету
Землю у себя под ногами.
Я больше не топтал дороги Уилтшира,
Я стоял на краю планеты,
Мчавшейся вокруг солнца.
Я был в опасности.
И вся невозмутимость вязов, и тупое
Самодовольство домов со всеми их пристройками,
И отрешенность пашен по правую руку
Были в опасности.
Окаменелость кружила по Вселенной,
Обрядившись людьми, домами и деревьями.
И я дрожал от страха в пещеристых эрах.

## *Десятый ноготь*

Когда Господь постриг себе
Все ногти на руках,
Обрезки он пересчитал
И громко вскрикнул: “Ах!”
Всего лишь девять было их
На блюде в облаках.

Кричали ангелы: “Держи!”
Вослед, что было сил,
А грешный ноготь, серебрясь,
По небесам скользил.
Его над крышей видел я,
И это — месяц был.

## *Назойливое солнце допекло*

Назойливое солнце допекло
Меня, я ненавижу эти вязы
И сорняков сереющие язвы,
И сетки веток, хрупких, как стекло.

Я ждал от ветра весть, что бытие,
Родное мне, есть на вселенском лоне —
Земном, морском, — и вновь пусты ладони,
Как сердце ослепленное мое.

С презрением смотрю из-под ресниц,
Как все вокруг и мерзко, и убого:
На луг не ляжет тень единорога,
А в роще не услышишь райских птиц.

Пронзило солнце тысячами жал
Мой мозг, напомнив, как я слаб и мал.

## *Ты выпей небо*

Ты выпей небо, звезды съешь
И ветер сжуй.
Пускай тебя замучает изжога,
Пускай случится заворот кишок!
Луну-горбунью проглоти, дружок.
Придумывай историю свою,
Которых много...

Которых много было на земле
Придумано, чтоб Вечность запугать.
Удар по струнам сердца — выпей небо!
Враз проглоти и выплюнь шар земной,
И стихнет голос боли ледяной
И канет в небыль.



## *Стук из чащи сознанья*

Стук из чащи сознанья,
Тихие содроганья
Воздуха... Кто подает этот знак?
Может, дятел лесной
Клювом то тук, то так? Нет, кто-то иной
Скрыт густою листвой.
Ни призрак, ни птица, ни зверь...

Детство стучится в далекую дверь.

Я подумал — ты рядом

Я подумал — ты рядом,
Здесь, сейчас, в настоящем
Смотришь взглядом блестящим,
С тьмой вступая в игру,
Как зайчонок из чащи
Прибежавший к костру.
Но мечты мне солгали,
И тебя рядом нет.
Просто ветка качнулась,
Просто ветер метнулся
Сквозь тускнеющий свет.

# Олдос Хаксли

# *Искренность в искусстве и другие эссе*

*Переводы с английского*

## *Искренность в искусстве*

**В одной недавно вышедшей книге о коммерческой стороне литературы Майкл Джозеф, литературный агент, рассуждает о бестселлере. Какой должна быть книга, чтобы ее раскупали, как "форды", мыло или овсяные хлопья? Пожалуй, всем нам интересен ответ на этот вопрос. Владей мы драгоценным секретом, мы бы тотчас отправились в магазин канцелярских товаров, купили пачку бумаги за шесть пенсов, исписали ее волшебными письменами и продали за шесть тысяч фунтов. Нет материала более благодарного, чем бумага. Фунт железа, превращенный в часовой механизм, дорожает в несколько сотен, а то и тысяч раз; но фунт бумаги, ставший популярным романом, можно продать с поистине миллионной прибылью. Только бы знать рецепт превращения бумаги в популярную литературу! Но увы, даже мистеру Джозефу он неизвестен. Иначе мистер Джозеф, конечно, писал бы бестселлеры, ведь это выгодней, чем его нынешняя работа, состоящая в том, чтобы их продавать. Бест-**

© А. Власова. Перевод, 2004

селлер должен быть искренним — вот все, что может сказать мистер Джозеф. Замечание совершенно верное, столь безусловно верное, что пользы от него немного. Всякая литература, всякое искусство, хорошо оно продается или плохо, должно быть искренним. Умышленная подделка, кого бы ни имитировал ее автор — Чарльза Гарвиса[1] или Шелли, — не может вводить в заблуждение значительное число людей на протяжении значительного количества лет. Автор преуспевает, только будучи самим собой. Это очевидно. Только бестселлерный ум напишет бестселлер и только такой ум, как у Шелли, — "Освобожденного Прометея". Создатель подделок едва ли обманет современников и уж точно не обманет потомков.



В истории литературы, правда, умышленные подделки редкость. В числе их создателей — елизаветинец Грин, копировавший "Эвфуэса" и подделывавший поэтический стиль Марло в надежде снискать одобрение, которым публика встречала пьесы Марло и романы Лили[2]. Собственный стиль Грина, когда он к нему прибегает, пленителен и мил. Но чужим пером он владеет слишком неубедительно, чтобы на кого-нибудь произвести впечатление.

Другой, позднейшего времени автор, сделавший имя на литературных подделках, — француз Катюль Мендес[3]. Читая его сшитые по шаблону, отвратительно складные произведения, удивляешься, что они обманули столь многих, — такой дешевый у его золота блеск и так похожи бриллианты на театральный реквизит. Чем могут заинтересовать люди, подобные Мендесу? Их сочинения ничто или почти ничто с точки зрения искусства, их прозрачная натура не способна вдохновить психолога на любопытные и тонкие исследования. Эти люди сродни тем, кто ради денег подделывает сиенскую живопись или чиппендейловские кресла. Но если неискреннее искусство неискренне случайно, а не намеренно, если оно неискренне вопреки желанию автора быть искренним, оно достойно внимания психолога.

В обыденной жизни искренность зависит от воли. Мы решаем, быть нам искренними или нет. Так не парадокс ли это — утверждать, что произведение искусства может быть неискренним вопреки стремлению автора к искренности? Если он хочет быть искренним, скажут мне, — пожалуйста, кроме его собственной злонамеренности, ничто ему тут не помешает. Но это не так. Чтобы быть искренним в искусстве, одного стремления к искренности недостаточно.

Нетрудно назвать целый ряд художников, чьи творения неискренни, хотя в жизни их авторы были образцами искренности. Таков, например, Бенжамин Роберт Хейдон, друг Китса и Шелли, создатель громаднейших и помпезнейших религиозных полотен. Его автобиография — одна из лучших книг этого рода, по глупости издателей полвека не выходившая в свет, — свидетельствует об искренности Хейдона в жизни, его благороднейшем идеализме, вспышках вдохновения и бесчисленных, но милых сердцу читателя неудачах. Однако взгляните на картины, в ко-

1. Чарльз Гарвис (1833–1920) — американский писатель, автор второсортных детективов. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Джон Лили (1553/54–1606) — английский писатель, драматург, автор романов "Эвфуэс, или Анатомия остроумия" (1579) и "Эвфуэс и его Англия" (1580).
3. Катюль Мендес (1841–1909) — французский поэт-парнасец.

торых жизнь его и страсть. Взгляните на них — если только вы их найдете, потому что на стенах галерей их нет, они хранятся в музейных подвалах. Величие здесь фальшиво, страсть холодно условна, чувство — пародия и риторика. Живопись Хейдона "неискренна" — именно это слово невольно приходит на ум.



Разительный контраст между человеком и художником представляет собой и бельгийский живописец Вирц, чья мастерская в Брюсселе привлекает больше людей, чем городская галерея изящных искусств, — но не потому, что картины Вирца обладают эстетической ценностью и волнуют душу, а потому, что они кошмарных размеров и ужасающе сентиментальны. Их автор, восприемник снов Микеланджело, стал Барнумом[1] в живописи, в его музей ходят, словно в комнату ужасов.

Альфьери[2] тоже принадлежит к категории искренних и глубоких людей, чьи произведения неискренни и ходульны. Трудно поверить, что его автобиография и эти деревянные, напыщенные, шаблонные трагедии написаны одним человеком.

Дело в том, что искренность в искусстве зависит не от воли, не от нравственного выбора между честностью и бесчестностью. В основном она зависит от таланта. Человек порой всем сердцем хочет написать искреннюю, глубокую книгу, но ему не хватает таланта. Вопреки его намерениям, книга выходит безжизненной, лживой, она полна условности и театральщины; ее трагедия превращается в позу и притворство, драма — в плоскую мелодраму. Читая все это, критик зевает и морщится. Книга неискренна, решает он. Автор, писавший ее с лучшими намерениями, возмущен вердиктом критика, который на первый взгляд ставит под сомнение его порядочность и нравственное достоинство, но на самом деле клеймит его интеллектуальные способности. Ибо "быть искренним" на языке искусства означает "быть психологом и обладать даром воплощения мыслей и чувств".

Все люди испытывают по большей части одни и те же чувства, но очень немногие точно знают, что́ они чувствуют, и могут догадаться о чувствах других. Психологическая наблюдательность — особый талант, как способность к математике или музыке. И среди тех немногих, кто им обладает, только два-три процента рождаются со способностью облекать свои наблюдения в художественную форму. Вот очевидный пример. Многие — может быть, почти все — когда-нибудь в жизни страстно влюбляются, но при этом, как правило, не умеют понять своих чувств, и лишь единицы способны их выразить. Любовные письма, зачитываемые в судах при разводах или в ходе расследований романтических самоубийств, доказывают художественную беспомощность большинства мужчин и женщин. Они переживают, они страдают, они дышат искренним чувством, но писать не могут. Напыщенное, шаблонное, полное расхожих фраз и мертвой риторики письмо обычного влюбленного было бы признано в высшей степени неискренним, попадись оно в романе. Я читал подлинные предсмертные письма самоубийц, которых я обвинил бы в совершенной неискренности, если бы писал на их письма рецен-

1. Финиас Тейлор Барнум (1810–1891) — американский импресарио, создатель кунсткамеры и цирка, демонстрировавший "русалок с острова Фиджи", "последнего оставшегося в живых мастодонта", "160-летнюю няньку Дж. Вашингтона" и т. п.
2. Витторио Альфьери (1749–1803) — итальянский поэт, автор трагедий, комедий, сонетов, сатир и книги "Жизнь Витторио Альфьери из Асти, рассказанная им самим".

зию. Однако существует ли более убедительный аргумент в пользу искренности чувств, чем добровольная смерть из-за них? Только талантливые самоубийцы пишут "искренние" с художественной точки зрения письма. Прочие, будучи не в силах выразить то, что они испытывают, неизбежно впадают в банальную "неискреннюю" риторичность второсортного романа.



То же и с письмами влюбленных. Нас завораживают любовные письма Китса, в которых ярким, сильным языком описаны страдания души, всецело сознающей свою муку. Их "искренность" (следствие гениальности автора) делает их интересными; благодаря ей письма Китса столь же художественно значимы, как и его стихи, — возможно, даже более значимы. Теперь представьте себе любовные письма какого-нибудь другого юного помощника провизора[1] той эпохи. Он мог так же безнадежно, как Китс, любить свою Фанни Брон, но писать пустые, скучные, отчаянно "неискренние" письма. Немногим лучше писали герои канувших в Лету сентиментальных романов того времени.

Вот почему, определяя произведение искусства как "неискреннее", следует отдавать себе отчет, что только то произведение неискренне в прямом, этическом смысле слова, которое, как подделки Грина или Мендеса, является сознательной копией или стилизацией. В большинстве же случаев "неискреннее" искусство свидетельствует лишь о неумелости автора, об отсутствии у него необходимых для художника таланта психолога и дара воплощать мысли и чувства.

## *Дальше — тишина*[2]

Чистое чувство и постижение прекрасного, боль и радость, любовь, мистический восторг и смерть — все глубинное, наиболее значимое для человеческой души можно пережить, но не выразить. Дальше — всегда и везде тишина.

После тишины невыразимое лучше всего выражает музыка. (Замечательно то, что тишина составляет неотъемлемую часть всякой хорошей музыки. По сравнению с Бетховеном и Моцартом Вагнер с его бесконечным наплывом звуков молчанием беден. Возможно, это одна из причин, по которой он представляется не таким глубоким. Его музыка меньше говорит нам, потому что все время говорит.) На свой лад, в другой плоскости бытия, музыка отвечает самым важным и невыразимым переживаниям человека. Благодаря таинственному родству с человеческой душой она воскрешает в нас призрак чувства или чувство как таковое; это зависит от силы восприятия: призрак смутен, реальность близка и ярка. Что́ подарит музыка — решает случай или провидение. Замирания сердца не прогнозируются.

Еще одно свойство музыки — ее способность (присущая в какой-то мере искусству вообще) воскрешать опыт в его полноте и целостности (полнота и целостность в данном случае зависят от восприимчивости слушателя к тому или иному переживанию), какими бы половинчатыми,

1. Одно время Джон Китс работал в аптеке.
2. У. Шекспир. Гамлет. Акт 3, сц. 1. Перев. Б. Пастернака.

темными и противоречивыми ни были изначально чувства, к которым она возвращает. Мы благодарны художнику, особенно музыканту, за то, что он "ясно сказал о том, что мы чувствовали, но выразить не могли". Слушая выразительную музыку, мы переживаем – не чувства автора, нет (они от нас слишком далеки – не цветет репейник розами), но чувства лучшие из доступных нашей натуре, чувства более яркие и глубокие, чем те, которые нам довелось испытать не в музыке, а в жизни.

Свойство музыки выражать невыразимое признавалось величайшими художниками слова. Тот, кто написал "Отелло" и "Зимнюю сказку", был способен вложить в слова все, что они в принципе могут вместить. Тем не менее (спасибо Уилсону Найту[1] за его очень интересное эссе на эту тему), когда дело касалось прозрений и встреч с таинственным, Шекспир, чтобы полнее выразить замысел, зачастую прибегал к помощи музыки. Мой ничтожный театральный опыт свидетельствует, что он прибегал к ней не напрасно, коль скоро его музыкальный выбор был удачен. В последнем акте пьесы, созданной на основе моего романа "Контрапункт", отрывки из медленного ля-минорного квартета Бетховена становятся полноправной частью драмы. Ни постановка, ни музыка не мои, поэтому я позволю себе заметить, что Heiliger Dankgesang[2], исполняемый во время действия, производит, насколько я могу судить, глубочайшее впечатление.

"Владей мы временем и миром..."[3]. Но этим-то как раз театр и не владеет. Из укороченной сценической версии пришлось исключить почти все – и смутные, и четкие – "контрапункты", которые смягчают (по крайней мере, призваны смягчать) в романе резкость "пунктов". В целом пьеса получилась до странности жесткая и жестокая. Внезапное вторжение Heiliger Dankgesang в ее неприглаженно резкий мир кажется чем-то сверхъестественным. Как будто и впрямь в чудесном облаке неизреченной безмятежности на землю сошло божество, величественно прекрасное, внушающее и трепет, и надежду.

Будь мой роман хоть Книгой Иова, а Кембелл Диксон, создатель его сценической версии, автором "Макбета", все равно: невзирая на наши таланты, невзирая на наши усилия, мы столкнулись бы с абсолютной невозможностью выразить при помощи слов и сценического действия то, что с такой силой донесла до чуткого слушателя трех-четырехминутная игра на скрипке.

Когда требовалось выразить невыразимое, Шекспир откладывал перо и обращался к музыке. А если и музыка оказывалась бессильной? Что ж, всегда можно было позвать тишину. Потому что всегда, всегда и везде, дальше – тишина.

## *Трагедия и "только правда"*

Шестеро храбрейших спутников героя. Стоящий на носу Одиссей, обернувшись, успел увидеть, как они взлетели над кораблем, барахтаясь в

1. Джорж Уилсон Найт (1897–1985) – английский литературовед.
2. Священная благодарственная песнь (*нем.*).
3. Начало сонета "Его робкой возлюбленной" английского поэта Эндрю Марвелла (1621–1678).

воздухе, крича, повторяя в отчаянье его имя. Оставшиеся в живых только беспомощно смотрели, как Сцилла "их сожрала перед входом пещеры, кричащих громко и руки ко мне простирающих в лютом терзанье"[1]. Одиссей добавляет, что это было самое страшное и скорбное зрелище из тех, которые ему случалось "зреть в продолжение странствий". Мы ему верим; нас убеждает скупой (слишком яркие сравнения вставлены позже) гомеровский рассказ. Миновав опасность, Одиссей с товарищами пристали к сицилийскому берегу на ночлег и приготовили ужин — по словам Гомера, приготовили "проворно". Двенадцатая песнь "Одиссеи" заканчивается так: "Свой удовольствовав голод обильным питьем и едою, стали они поминать со слезами о милых погибших... скоро на плачущих сон, усладитель печалей, спустился".



Правда, только правда и ничего, кроме правды, — как редко древняя литература ее говорит. Полуправду говорит; каждая хорошая книга, если она и впрямь хорошая, хоть сколько-нибудь правдива. Но только правду — нет. Среди величайших художников прошлого правдивых невероятно мало. Гомер, автор "Одиссеи", — из их числа.

"О чем вы? — спросит читатель. — Дважды два — четыре? Королева Виктория взошла на трон в 1837 году? Скорость света составляет 187 миль в секунду?" Нет, конечно, речь идет не о правде факта. Правдивость, о которой я говорю, — не более чем приемлемое правдоподобие. Когда события, отраженные в литературе, соответствуют нашему реальному опыту или опыту потенциальному — то есть такому, который, как мы думаем (поскольку умеем делать более-менее ясные выводы на основе знакомых фактов), мог бы стать нашим собственным, — мы почти наверняка решаем, что прочли "правдивую вещь". Но не все так просто. Случай из практики в учебнике по психологии тоже правдив с научной точки зрения, коль скоро это верное изложение неких фактов. И он может поразить читателя, примеряющего его на себя, своей правдивостью, то есть узнаваемостью, вероятностью, соответствием реальным или потенциальным переживаниям человека. Но учебник по психологии не произведение искусства, во всяком случае художественность — его случайное и второстепенное свойство. И одного только правдоподобия описываемых автором переживаний, простого их соответствия чувствам, доступным памяти или фантазии читателя, недостаточно для того, чтобы сделать художественное произведение правдивым. Хорошее произведение искусства сверхправдиво: то, что оно стремится до нас донести, более узнаваемо, более вероятно и убедительно, чем сама действительность. Это закономерно; ведь художник наделен чуткостью, силой внушения, он рождает яркие образы, тогда как события и люди, с которыми они происходят, как правило, заурядны. Опыт учит лишь тех, кто учится, а их совсем не так много, как подразумевает любимая поговорка папаши миссис Микобер[2]. Художники — прекрасные ученики и прекрасные учителя. Они извлекают из происходящего больше, чем обычно извлекают люди, и передают воспринятое с пронзительной силой, которая оставляет в душе читателя глубокий след. Наиболее распространенная реакция на подлинно художественное произведение от-

1. Цитаты из "Одиссеи" здесь и далее в переводе В. Жуковского.
2. Миссис Микобер — героиня романа Ч. Диккенса "Дэвид Копперфильд". "Жизнь всему научит", — говаривал ее папаша.

ражена в известной фразе: "Это то, что я всегда чувствовал и думал, но не мог выразить, даже для себя самого".

Теперь пора объяснить, что мы имели в виду, называя Гомера художником, который говорит правду. Мы имели в виду, что отображаемый им опыт прекрасно соотносится с нашим реальным и потенциальным опытом, причем не на узком участке, а на всем психофизическом пространстве нашей личности. Кроме того, Гомер отображает человеческий опыт с проникновенной художественной силой, что делает его вдвойне узнаваемым и убедительным.



Итак, быть правдивым в литературе непросто. Гомер, повторяю, был правдив. Как любой другой великий поэт скорее всего закончил бы рассказ о нападении Сциллы на корабль Одиссея? Шестеро его спутников были схвачены и проглочены на глазах у своих товарищей. Что сделали бы выжившие в любой другой поэме? Конечно, как и у Гомера, они стали бы оплакивать погибших. Но разве они предварили бы свои слезы ужином, да еще умело приготовленным? Разве позаботились бы о том, чтобы сначала вдоволь наесться и напиться? А после оплакивания, или даже во время него, разве смогли бы они мирно заснуть? Нет, разумеется, ничего такого они бы себе не позволили. Они просто предались бы слезам, жалуясь на злой рок и скорбя об ужасной судьбе товарищей, и песнь окончилась бы трагическим плачем. Гомер, однако, предпочитает говорить правду. Он знает, что даже понесшие жесточайшую утрату должны есть, что голод сильнее скорби и в первую очередь следует утолить его. Он знает, что мастера своего дела продолжают делать его мастерски и находят в этом удовольствие, даже если их товарищей съели и даже если все дело состоит в приготовлении ужина. Он знает, что, когда чрево сыто (и только когда оно сыто), люди могут позволить себе горевать и что скорбь после ужина — почти роскошь. Он, наконец, знает, что если голод опережает скорбь, то вызываемая скорбью усталость кладет ей предел и растворяет ее во сне, приносящем забвение и оттого особенно сладостном. Словом, Гомер отвергает трагическую трактовку событий. Он предпочитает правду.

Другой правдивый автор — Филдинг. "Том Джонс" — одна из немногих написанных в Европе со времен Эсхила книг, подобных "Одиссее". Подобных "Одиссее" своей нетрагичностью; Филдинг отнюдь не трагичен, о каких бы скорбных и ужасных, возвышенных и прекрасных вещах ни шла у него речь. А такие вещи в его книге случаются; Филдинг, как и Гомер, говорит обо всем, ни от чего в жизни не отворачивается. И как раз потому, что ни тот ни другой ни от чего в жизни не отворачиваются, их произведения лишены трагизма. Ведь среди реальных вещей, от которых Филдинг и Гомер не отворачиваются, всегда есть место несообразностям, смягчающим характеры и ситуации, о химической чистоте которых заботятся создатели трагедий. Вспомним, например, случай с Софьей Вестерн, этой прелестнейшей, почти идеальной молодой женщиной. Филдинг очевидно восхищается ею (считают, что прототипом Софьи послужила первая горячо любимая жена автора). Но несмотря на все свое восхищение, он не думает превращать ее в один из тех дистиллированных, а значит, зауженных характеров, которые живут и страдают в мире трагедии. Хозяин гостиницы, снявший измученную Софью с лошади, вовсе не обязан был падать. Ни в одной трагедии он не мог бы (точнее, не позволил бы себе) рухнуть под тяжестью ее тела.

Прежде всего, вес в контексте трагедии неуместен, ее героини выше законов гравитации. Однако мало того, что он упал. Вы помните, что за этим последовало? Рухнув на спину, он потащил за собой Софью головой вниз, она приземлилась на его живот как на подушку и таким образом счастливо избегла ушибов. Но голова вниз значит ноги вверх, и значит все умопомрачительные прелести на виду, и мужичье у дверей ухмыляется и гогочет; бедная Софья, когда ее поставили на ноги, залилась краской мучительного стыда и оскорбленной благопристойности. Решительно нет ничего невероятного в этой истории, которая, без сомнения, отмечена печатью художественной правдивости. Но какой бы правдивой она ни была, с героиней трагедии подобное ни за что не случится. В трагедии такое просто невозможно. Однако Филдинг игнорирует трагедийное вето; он допускает все: абсурдные несуразности среди утонченных переживаний и катастроф, не менее абсурдные вторжения горькой действительности в радость и счастье. Он не хочет быть трагиком. И краткого жемчужного сияния несравненного зада Софьи оказалось достаточно, чтобы изгнать музу трагедии из "Тома Джонса", так же как двадцать пять веков назад вид горюющих с перерывом на ужин и сон людей изгнал ее из "Одиссеи".



В своих "Принципах литературной критики" А. А. Ричардс[1] утверждает, что настоящая трагедия нейтрализует иронию и абсурд, что она может вобрать в себя все и при этом остаться трагедией. Для него способность вбирать в себя нетрагическое и антитрагическое — пробный камень для проверки трагедии на качество. При таком подходе практически все греческие, все французские и большинство елизаветинских трагедий оставляют желать лучшего. Только некоторые из шекспировских выдерживают испытание. И то хорошо, заключает мистер Ричардс. Прав ли он? Не могу в этом не сомневаться. Трагедии Шекспира в самом деле пронизаны иронией и цинизмом, подчас ужасающим, но этот цинизм — только вывернутый наизнанку идеализм героев, а ирония — негатив их романтизма. Если белое в характере Троила сделать черным, а черное белым, получится Терсит. Яго — это Отелло и Дездемона наоборот. Негатив светлой Офелии — ирония Гамлета и явная непристойность ее же безумных песен, а цинизм сошедшего с ума Лира — густая тень характера Корделии. Но и эта тень, и непристойное безумие отнюдь не случайны. Шекспировские ирония и цинизм не расширяют мир его трагедии, а придают ему глубину. Если бы они его расширяли, как расширяют вселенную "Одиссеи" гомеровские несообразности, мир шекспировских трагедий автоматически перестал бы существовать. Например, сцена, в которой осиротевший Макдуф ест ужин, пьет виски, скорбит об убитых жене и детях и засыпает в слезах, правдоподобна, но не годится для трагедии. Введение такой сцены кардинально изменило бы пьесу; написанный как "Одиссея", "Макбет" трагедией бы не был. Или, например, Дездемона. Очевидно, что грязные замечания Яго на ее счет имеют к интриге пьесы самое прямое отношение. Это негатив истинной натуры Дездемоны и ее чувств к Отелло, подлинный негатив трагической героини-жертвы, по которому неизменно угадывается сама

1. Айвор Армстронг Ричардс (1893–1979) — английский поэт, критик и теоретик литературы. "Принципы литературной критики" (1924), наряду с другими его работами, стали классикой англоязычного литературоведения.

Дездемона. Но если бы, сходя на берег Кипра, она упала так, как упала не менее благородная Софья, и продемонстрировала фантастическое белье шестнадцатого века, пьеса Шекспира была бы вовсе не той, какую мы знаем. Яго может изойти цинизмом, может язвить и очернять в два и в три раза больше — "Отелло" останется "Отелло". Но доля филдинговского смеха уничтожит пьесу, уничтожит именно как трагедию, ведь ничто не помешает ей стать великолепной драмой другого рода. Поскольку трагедия и то, что я называю "только правдой", несовместимы; где одна, там не может быть другой, и наоборот. Существуют вещи, которые даже лучшая, даже шекспировская трагедия вобрать в себя не способна.

Чтобы создать трагедию, художник должен ограничиться частью человеческого опыта и работать исключительно в заданных пределах. Трагедия — вытяжка из "только правды", она выпарена из нее, как эссенция из живого цветка. Трагедия — продукт химически чистый. Поэтому она будит отклик так властно и быстро. Всякое химически чистое искусство захватывает нас властно и быстро. Например, химически чистая порнография (в тех редких случаях, когда она написана убедительно и ярко) действует на чувство как наркотик — быстрее и намного сильнее, чем "только правда" о чувственности, а зачастую даже сильнее, чем собственно прикосновения и объятия. Именно благодаря своей химической чистоте трагедия так успешно обеспечивает катарсис. Она фильтрует, направляет наши эмоции, придает им форму и делает это мощно, мгновенно. При соприкосновении с трагедией части нашей личности на какое-то время складываются в прекрасный, стройный образ — так под действием магнита собираются железные опилки. Образ этот может видоизменяться, но по существу всегда тот же. Прочитав или посмотрев трагедию, мы расстаемся с ней, чувствуя, что "они с тобой — восторги и страданья, любовь и твой непобедимый дух"[1]; расстаемся — в героической уверенности, что, обрушься на нас страдания, мы тоже были бы непобедимы, что и среди страданий мы продолжали бы любить и даже пытались бы ликовать. Трагедия ценна тем, что делает нас такими. А в чем ценность художественной "только правды"? Чем замечательно ее действие? Давайте посмотрим.

Художественная "только правда" выходит за рамки трагедии и дает нам знать, хотя бы намеками и обиняками, что́ предваряет трагическое событие, что́ за ним следует и что́ одновременно с ним происходит вокруг (это "вокруг" может включать в себя все уголки душ и части тел героев, не вовлеченных в трагический конфликт здесь и сейчас). Трагедия — водоворот, произвольно отделенный от широкой реки, которая величественно и неудержимо обтекает его снизу, сбоку — с разных сторон. Художественная "только правда" охватывает жизнь реки с ее водоворотами целиком. Ничего общего с трагедией, пусть повествование с позиции "только правды" и содержит все для трагедии необходимое. (Одно и то же в разном контексте теряет свою тождественность и воспринимается нами как разное.) В таком повествовании страдания могут быть не менее подлинными, а любовь и непобедимый дух не менее сильными и впечатляющими, чем в трагедии. Жертвы Сциллы страдают так же, как проглоченный чудовищем Ипполит у Расина; душевная мука То-

1. Заключительные строки сонета У. Вордсворта "Туссену Лувертюру".

ма Джонса, потерявшего, как ему кажется, Софью, и потерявшего ее по своей вине, едва ли слабей терзаний Отелло после убийства Дездемоны. (То обстоятельство, что способность Филдинга выражать мысли и чувства ни в коем случае не равна шекспировской, разумеется, простая случайность.) Но пишущий "только правду" писатель включает страдания и неистовства в другой, более широкий контекст, вследствие чего они теряют сходство с абсолютно такими же страданиями и неистовствами трагедии. И действие, которое оказывает на нас "правдивая" книга, совершенно иное. Читая ее, мы далеки от героического восторга; мы смотрим на вещи просто и прямо. (Простой взгляд на вещи тоже может быть героическим.) Не будучи химически чистой, художественная "только правда" не потрясает нас так быстро и мощно, как трагедия или другая разновидность химически чистого искусства. Но думаю, ее действие длительнее. Вызванные трагедией восторги подобны мимолетной опьяненности. Мы не можем удержать трагический образ. Стоит убрать магнит, и опилки снова лягут как попало. Но простой, всеобъемлющий образ, дарованный нам художественной "только правдой", хотя и не столь волшебно прекрасен, обладает (возможно, как раз по этой причине) устойчивостью. Катарсис трагедии бурен и апокалиптичен, более мягкий катарсис "правдивой" литературы длителен.



В последнее время литература все больше заостряет внимание на "только правде", великом океане разнородных вещей, идей и событий, бескрайнем, куда бы автор ни взглянул и какой бы остров (характер, сюжет) для обзора ни выбрал. Произвольно суживать этот океан, как того требует жанр трагедии, становится все труднее, все невозможнее для тех, кто слышит голос современности. Конечно, это не значит, что писатель в наше время обязан быть натуралистом. Дать почувствовать "только правду" можно и без добросовестной инвентаризации всех попадающихся на глаза вещей. Образы в книге могут быть совершенно фантастическими и все-таки косвенно говорить "только правду". Ни одно из наиболее значимых современных произведений не является чистой трагедией. Все наиболее значимые современные авторы предпочитают так или иначе писать "только правду". Всех их объединяет стремление к художественной правдивости, как бы ни отличались их стиль, иерархия ценностей, философская, этическая и эстетическая направленность. Пруст, Лоуренс, Андре Жид, Кафка, Хемингуэй — вот пять безусловно замечательных современных писателей. Более непохожих авторов трудно себе представить. Но их объединяет то, что они не создают трагических произведений в чистом виде, — им дорога литературная "только правда".

Иногда я спрашиваю себя: а вдруг трагедия как форма искусства исчезнет? Но поскольку в нас по-прежнему будят отклик великие трагедии прошлого, поскольку, несмотря на хороший вкус, мы можем неравнодушно смотреть в театре и кино даже скверные современные трагедии, я убеждаюсь, что время химически чистого искусства не прошло. Трагедия переживает период упадка, потому что все выдающиеся писатели нашего века слишком заняты исследованием нового — или старого, но заново открытого — мира художественной "только правды", чтобы обращаться к трагедии. Но нет оснований считать, что подобное положение вещей никогда не изменится. Трагедия слишком нам дорога, чтобы ей было позволено умереть. Кроме того, нет причин, по которым два вида

искусства — дистиллированный и недистиллированный, художественная "одна только правда" и художественная "только часть правды" — не могут существовать одновременно, каждый сам по себе. Человеческий дух одинаково нуждается в обоих.



*Перевод* А. Власовой

# *Новый романтизм*

На долю романтиков с лихвой выпало всевозможной брани. Классицисты пеняли им за их истеричное сумасбродство. Реалисты объявили их лжецами и трусами, которых пугает неприглядная правда. Моралисты осуждали за экзальтацию. Философы сетовали на их предубеждение против разума и апелляцию к дешевому мистицизму. Социалистов и прочих верующих в силу власти коробил их индивидуализм. Каждый пустил свою стрелу. Но стрелы можно подать назад. Романтики вправе возразить классицистам, что те унылы, рациональны и холодны, реалистам — что на уме у них одни лишь мерзости да нажива, моралистам — что их идеал подавления чувств глуп, ибо всегда бесплоден, философам — что пресловутый чистый разум приблизит их к тайнам космоса не больше, чем корову — чистый инстинкт, а сторонникам сильной руки и социалистам — что их государственная тирания и коллективизм по меньшей мере так же противоестественны, как неограниченный индивидуализм. Говорил горшку котелок: уж очень ты черен, дружок, — но цвет их, подсказывает поговорка, почти одинаков. Большинство врагов романтизма столь же сумасбродно и пристрастно (иначе говоря, романтично), как и сами романтики.

Наша эпоха неопределенна и разнолика. Нет ни одной доминирующей литературной, художественной, философской тенденции. Повсюду мешанина идей и столкновение теорий. Но во всей этой разноголосице можно различить один и тот же занимательный мотив, повторяемый в миноре и мажоре разными инструментами во всех земных пределах. Это мелодия нашего нового романтизма.

Меня тотчас поправят, что никакой век не был так далек от истинных романтиков, как нынешний. И возражение это мной с ходу принимается. В современном романтизме ничего нет от романтизма Мура, Мюссе или Шопена, не говоря о романтизме Шелли, Гюго, Бетховена. На деле речь идет о крайних противоположностях. Современный романтизм есть вывернутый наизнанку романтизм старый, с перекройкой всех его ценностей. Прежние плюсы — теперь минусы, сегодняшнее благо — былая скверна. Что тогда было черным, стало белым, что тогда было белым, сделалось черным. Наш романтизм — фотографический негатив того, что расцвел в соответственные годы прошлого столетия.

Различие между этими двумя романтизмами наиболее отчетливо проявляется в области политики. Революционеры столетней давности были демократами и индивидуалистами. Высшей политической ценностью для них являлась та самая личная свобода, которую Муссолини обо-



© С. Нещеретов. Перевод, 2004

звал разложившимся трупом и которую большевики осмеивают как идеал, выдуманный праздными буржуа себе на потребу. Те, что агитировали в 1832 году за билль о парламентской реформе в Англии и вынашивали Парижскую революцию 1830 года, были либералами. Индивидуализм и свобода были для них высшим благом. Целью же коммунистической революции в России стало лишение человека всяких прав, всяких признаков личной свободы (включая свободу мысли и право обладать душой) и превращение его в ничтожную клеточку великого "коллективного человека" — того исполинского механического монстра, которому в эру большевизма предстоит вытеснить неорганизованное скопище "обремененных душою" людей, населяющих ныне землю. Большевику отвратительно лицезреть нечто столь "хаотически живое", столь "таинственно органичное", как личность, обладающую душой, своими собственными вкусами и особыми талантами. Людей нужно организовать, так сказать, в обход жизни; коммунистическому строю нужны не люди, а поршни и шестерни гигантского "коллективного механизма". Для большевистского идеалиста утопия неотличима от конвейера Форда. При этом недостаточно ежедневно проводить восемь часов в условиях цеховой дисциплины. Жизнь за воротами фабрики должна точь-в-точь напоминать жизнь в ее стенах. Досуг следует планировать так же тщательно, как и труд. В христианское Царствие Небесное внидут лишь те, кто уподобится младенцам. Большевистский рай земной распахнется пред теми, кто уподобится машинам.



Чтобы читатели не подумали, будто я шаржирую коммунистическое учение, позволю себе отослать их к подлинным документам, цитируемым герром Фюлопом-Миллером в его очень интересной книге о культурной жизни Советской России "Мышление и подлинное лицо большевизма". Из нее ясно видно, что политические теории, развитые Лениным и его приверженцами, прямо противоположны революционному либерализму, который проповедовал Уильям Годвин и горячо воспевал Шелли сто лет тому назад. Годвин и Шелли верили в чистый индивидуализм. Большевики верят в чистый коллективизм. Одна вера столь же сумасбродно романтична, как и другая. Человеку не прожить в изоляции от общества и без организации. Но равным образом жизнь его немыслима без некоторой толики отъединенности и личной свободы. Бескомпромиссный идеализм Шелли отрицает очевидные особенности человеческой биологии и экономики. Ленинский бескомпромиссный материализм отрицает не менее очевидные и основополагающие особенности непосредственного духовного опыта человека. Романтизм революционеров-либералов проявлялся в отказе признать человека общественным животным, а не только лишь вместилищем неповторимой души. Большевики романтичны, поскольку не признают, что человек есть нечто большее, чем общественное животное, способное при надлежащей дрессировке стать совершенным механизмом. И те и другие сумасбродны, потому что однобоки.

Современный романтизм свойствен не одной лишь России и ни в коей мере не сводится к политике. Ибо проник в мышление и искусство многих стран. Коммунизм не успел себя навязать иным странам, помимо России, но присущее большевикам романтическое пренебрежение к духовным и личностным ценностям повлияло — в большей или меньшей степени — на "молодые" искусство и литературу всех народов Запада.

Так, "кубистское" направление в современном искусстве (приятно отметить, что живописцы и скульпторы в массе своей противодействуют кубизму) глубоко симптоматично для того бунта против души и личности, который получил у большевиков практическое и политическое, равно как художественное, выражение. Кубисты сознательно вытравляли из своего искусства все "мистически органичное", прибегая взамен к голой геометрии. То были враги всякой "сентиментальщины" (излюбленное словечко из ругательного лексикона большевиков), всякой чистой литературы — иначе говоря, всех духовных и личных ценностей, придающих значимость отдельно взятой жизни. Искусство, провозглашали они, — вопрос чистой формы. Полотно кубиста свободно от всего, что может быть близко человеческой душе как таковой. Оно обращается исключительно (и, признаем, зачастую делает это мастерски) к абстрактному эстетическому человеку, который так же далек от сложнейшего реального человеческого существа, как экономический человек социалистов и механизированная частица большевистского коллективного человека.

Кубистской дегуманизации искусства нередко сопутствует романтически-сентиментальное восхищение машинами. Деталями машин и механизмов пестрит сегодняшняя живопись. Находятся и скульпторы, усердно воспроизводящие рожденные инженерами формы. Передовые архитекторы замахнулись на создание жилых домов, неотличимых от фабрик; дом, по слову Ле Корбюзье, есть "машина для жилья".

В любовании машинами "молодые" писатели не отстают от "молодых" художников. Какие гимны во славу машинерии, облеченные в свободный стих, неслись с американского Среднего Запада! В Старом свете передовые писатели выдумали себе на радость совершенно мифические Чикаго и Нью-Йорки, где каждый дом — небоскреб и каждый небоскреб — фабрика, начиненная беспрестанно вращающимися колесами, вдоль каждой улицы тянется надземная рельсовая дорога, над крышами кружат аэропланы, с каждой глухой стены бьет световая реклама, автомобили мчатся на скорости не ниже шестидесяти миль в час, и шум стоит, как в семидесяти преисподних. Вот строчки Маяковского о Чикаго:

Город <...> стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.
<...>
В Чикаго
на версты
в небо
скачут
дорог стальные циркачи.
<...>
Тоннелем
в метро
подземные версты выроем
и выйдем на площадь.
Народом запружена.
Версты шириною с три.

Описания Востока у Томаса Мура в "Лалла Рук" далеко не так баснословно романтичны, как здесь.

Страсть к машинам, столь характерная для современного искусства, есть разновидность обратного движения во времени, то есть возврат к детству. В двенадцать лет все мы бредили локомотивами, машинными отделениями пароходов, заводскими станками. Каждый мальчишка видел себя в будущем кочегаром или машинистом — кем угодно, лишь бы ежечасно соприкасаться с обожаемой машиной. Однако, взрослея, большинство из нас постигало, что души людские, на самом деле, более загадочны и занимательны, чем самые изощренные машины. Современный художник словно бы растет вспять — он вновь переживает увлечения детских лет. Его манит первобытность. Стоит напомнить, манила она и романтичного Руссо. Но тогда как у Руссо дикарь благороден, утончен, разумен, тот первобытный человек, на которого жаждут походить наши теперешние художники, есть помесь трущобного апаша, негра-африканца и пятнадцатилетнего школяра. Наши современные Руссо ни в грош не ставят психологию (как рьяно атаковали Пруста все самые передовые молодые люди Парижа!), они осмеивают метафизику в любой форме, презирают разум и порядок и, хотя преспокойно пишут и рисуют, против всякой логики считают искусство пустой тратой времени. Идеальна, по их разумению, такая жизнь, где царят спорт, техника, грохот и панибратский ажиотаж.



Что касается меня, то оба романтизма мне не слишком нравятся. Если придется выбирать между ними, думаю, я предпочту более ранний. Душа и личность превыше всего, отказ от материальности, общественных институтов, техники и организации — это хоть и натяжка, но в нужную сторону. Новый романтизм, сколько я понимаю, прямиком устремлен к смерти. (Конечно, то, что я называю смертью, новые романтики назвали бы жизнью, и наоборот.) Все же выбирать что-либо одно я бы остерегся; будь по-моему, я выбрал бы нечто среднее. Единственная жизненная философия, которая, видимо, всегда в цене, — это такая философия, которая вбирает в себя все: сознание *и* материю, инстинкт *и* интеллект, индивидуализм *и* коллективизм. Мудрец избежит обеих крайностей романтизма и выберет реалистичную золотую середину.

*Перевод* С. Нещеретова

# Элина Драйтова

## *Лицедейство – комедия или трагедия?*

Произошедшее в 1999 году значительное литературное событие – первое издание на русском языке, в прекрасном переводе М. Рудницкого, сборника пьес австрийского писателя Томаса Бернхарда[1] – получило продолжение в году 2002-м, когда одна из пьес сборника ("Лицедей") была поставлена Миндаугасом Карбаускисом в Московском театре-студии под руководством О. Табакова. Среди премьер прошлого мая "Лицедей" получил высокую оценку и набрал самое большое число баллов при опросе московских театральных критиков, проведенном по горячим следам журналом "Ваш досуг" (№ 23, 2002). С тех пор прошел год с небольшим. Спектакль удержался на сцене и пользуется неизменным успехом у публики.

Тем не менее имя Т. Бернхарда и его творчество, в том числе драматургическое, пока не очень известно в России. Виной ли тому неуживчивость самого писателя, всегда сторонившегося европейских литературных тусовок, как утверждает текст программки спектакля в "Табакерке"? Или Бернхарда, как принято говорить, недостаточно "раскрутили"? Или к его творчеству нужно привыкать постепенно? Не зря же театральный обозреватель "Вечерней Москвы" Ольга Фукс охарактеризовала пьесу "Лицедей" словом "странная".

В принципе все пьесы Бернхарда достаточно странны. События в них почти отсутствуют, количество действующих лиц минимально, и, наперекор привычному представлению, будто драма состоит из диалогов – *общения* персонажей, писатель строит свои пьесы практически на упорном, вращающемся вокруг одних и тех же мыслей монологе главного героя. Другие герои вынуждены выслушивать мономана, отвечая краткими репликами или жестами, выполняя его указания либо просто занимаясь своими делами. Эта особенность пьес Бернхарда позволила назвать его "альпийским Беккетом", однако нельзя не согласиться с В. Шмидтом-Денглером[1], что "параллель с Беккетом стоит считать верной лишь отчасти. Именно благодаря монотонии Бернхард создает на сцене напряжение".

В изданных К. Хофманом "Разговорах с Томасом Бернхардом" приводится следующее высказывание писателя: "У каждого человека свой путь, и каждый путь правильный. На свете сейчас, по-

© Э. Драйтова, 2004

1. Т. Бернхард. Видимость обманчива и другие пьесы. Сост., вступительная статья, перев. и примеч. М. Рудницкого. М., 1999.

1. В. Шмидт-Денглер. Томас Бернхард: смысл и значение. Послесл. к книге Т. Бернхард. Стужа. Спб., 2000, с. 475.

моему, пять миллиардов человек и, значит, пять миллиардов правильных путей. Несчастье людей, однако, в том, что каждый своим собственным путем идти не хочет, а норовит пойти чьим-то другим. Люди стремятся стать не собой, а кем-то другим. Каждый человек — незаурядная личность, неважно, рисует он, пишет или улицу метет. Но люди всегда хотят чего-то другого. Это и есть главная наша беда на 98 %, если не на все 99"[1].

Эта мания, это желание людей надеть чужую личину, вжиться в образ, который в их глазах выглядит более престижным, ценным, благородным, славным, этот самообман, не дающий человеку быть собой, заставляющий его тянуться к принятым обществом "высоким образцам", причем не от внутренней потребности, а от сознания того, что они высокие, выше его самого, — все это очень часто становится темой произведений Бернхарда, можно сказать, в "98 % случаев, если не во всех 99".

Об этом же и пьеса "Лицедей" (1984). Ее главный герой, "артист государственных театров" Брюскон, вместе с маленькой труппой, состоящей исключительно из членов его семьи, ездит по глухим провинциальным городкам, показывая свою, как он полагает, гениальную пьесу "Колесо истории". Всю жизнь он твердит себе: "...мы не можем идти навстречу заурядности" — и жалуется, что "...духовный продукт приходится метать перед свиньями". Он тиранит жену, сына, дочь, заставляя их выполнять его прихоти во имя великого искусства. Ведь его искусство, несомненно, великое. Предлагая местному пожарному инспектору собственный автограф, Брюскон поясняет:

...как-никак эта подаренная
мною подпись
когда-нибудь будет стоить
целое состояние
когда я прославлюсь не
только как актер
но и как драматург
как великий Брюскон...

Шекспир Гёте
Брюскон
вот она правда...

И о другой "правде" Брюскон запрещает себе думать, хотя однажды, в момент наивысшего нервного напряжения, она все-таки проскальзывает:

Я вот сейчас подумал
кабы я мог просто разливать пиво
стоять за стойкой засучив
белые рукава
и разливать пиво
какое счастье
Я ведь и правда когда-то
хотел стать трактирщиком.

Я и вправду пожизненно
обречен страдать от того
что должен быть актером
Но если себя не истязать
то пожалуй
так ничего и не
достигнешь[1].

Однако даже истязая себя, Брюскон достигает немногого — лишь относительного успеха в маленьких городках, а уж в захолустном Уцбахе, где происходит действие "Лицедея", перед самым поднятием занавеса дождь, гроза

1. М. Рудницкий. По ту сторону видимости. В кн.: Т. Бернхард. Видимость обманчива и другие пьесы. С. 10.

1. Т. Бернхард. Видимость обманчива и другие пьесы. С. 607. Перев. М. Рудницкого.

и начавшийся пожар и вовсе разгоняют публику.

Так о чем же спектакль? Об одержимости? О властном навязывании культурой фальшивых устремлений и самооценок? О самодурстве помешанного мужа и отца? О заразительности лицедейства? Об инертности захолустья? Скорее всего о том, о чем говорят все великие пьесы: о человеке.

И еще один вопрос: комедия это или трагедия? Вопрос типичный для Бернхарда, заявлявшего, с одной стороны, что "все смешно, если подумаешь о смерти", с другой же — утверждавшего, что поскольку сама жизнь "стала для нас трагедией... мы способны в лучшем случае превратить ее в комедию."[1] Так и выходит: посмотришь на происходящее глазами Брюскона — получается трагедия; взглянешь на него самого со стороны — комедия; сравнишь оба взгляда да еще поищешь сходство с самим собой — получается просто жизнь. Вполне в соответствии с этими превращениями точек отсчета создатели спектакля в "Табакерке" вынесли в подзаголовок пьесы слова, которыми Брюскон характеризует свое "Колесо истории": "Комедия, которая на самом деле, конечно же, трагедия, или наоборот".

Миндаугасу Карбаускису удалось добиться главного: спектакль постоянно балансирует на этой грани. Неизбежные при постановке сокращения текста сделаны весьма бережно: убраны некоторые повторы (но не те, что отражают стиль мышления Брюскона), некоторые детали, более понятные австрийскому зрителю, нежели российскому. В целом этих изменений не замечаешь. Бернхардовский гротеск, отмеченная многими критиками выстроенность действия, "искусственный, словно бы механический, шарманочный ритм, сообщающий событиям на сцене привкус подвоха"[1], подчеркнуты в спектакле точно рассчитанным сценическим движением: здесь нет ни одного лишнего шага, непродуманного жеста, незапланированной паузы — все движется, как того пожелал бы Брюскон (а может быть, и Бернхард), окажись он на месте Карбаускиса. Сценическое время заполнено до отказа. Монологи Брюскона идеально вписываются в мизансцены, причем некоторые отсутствуют у автора (например, ряд деталей брюсконовских репетиций или стыдливая попытка Трактирщика примерить театральный костюм — удачные импровизации режиссера). И кто различит: где жизнь, а где эстетика?

Исполняющий роль Брюскона Андрей Смоляков не впервые изображает актера на сцене театра-студии Табакова: он играет весьма непохожих друг на друга Черного ("Смертельный номер" О. Антонова) и Актера в "На дне". И вот — Брюскон, лицедействующий не только на сцене, но и в жизни. У Смолякова Брюскон чуть мягче, чем у Бернхарда, и оттого более человечен, больше похож на нас с вами. Изможденный (говорят, актер взял себе за правило ничего не есть в день спектакля), с лихорадочным блеском в глазах, Брюскон Смолякова, конечно же, смешон, но одновременно и трагичен. При этом он неуловимо напоминает самого Бернхарда. Создается впечатле-

1. Т. Бернхард. Ребенок как ребенок. Повести австрийских писателей. М., 1988, с. 482.

2. М. Рудницкий. По ту сторону... С. 19.

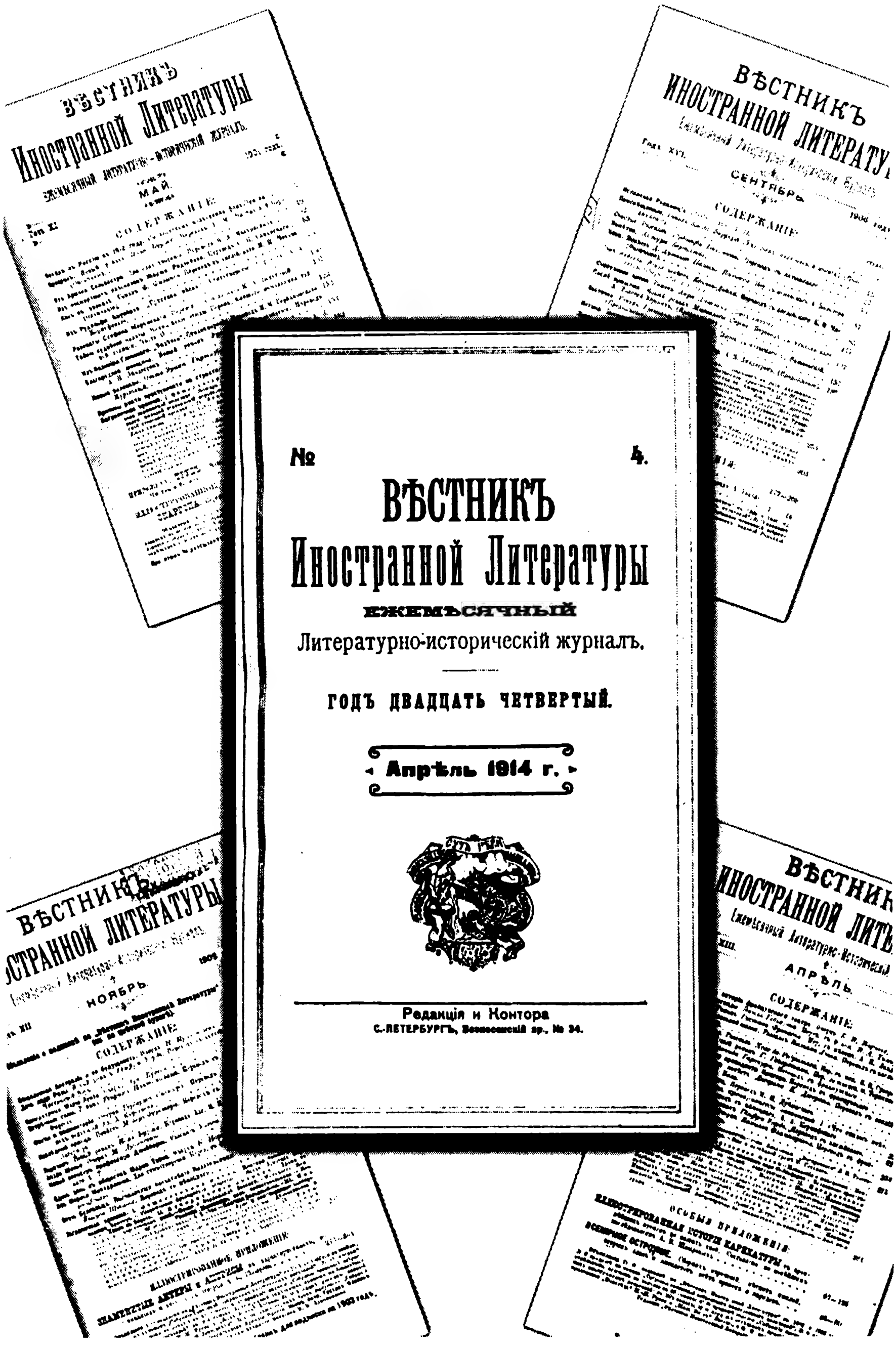
ние, что грим так и был задуман. Не случайно также и то, что, впав в лирическое состояние перед началом своего безумного "Колеса истории", Брюскон вдруг доверительно сообщает семье и зрителям, что задумал новую пьесу, и тут же пересказывает начало пьесы Бернхарда "Сила привычки", главный герой которой — директор цирка Карибальди — тиранит свою труппу, "во имя великого искусства" заставляя актеров исполнять шубертовский квинтет "Форель"... Параллель между Карибальди и Брюсконом неоднократно проводилась критикой. Параллель между ними обоими и Бернхардом — находка театра, и вполне оправданная: писатель, относивший себя к тем, кто "всех беспокоит и раздражает", и считавший своей задачей "делиться наблюдениями, не обращая внимания на то, как их будут воспринимать"[1], не исключал себя из списка объектов наблюдения, и кто знает, может быть, какие-то движения собственной души навели его на идею создания "Лицедея".

Монологичность главного героя вовсе не означает, что немногословные второстепенные персонажи не важны для пьесы. Их молчание, жесты, краткие реплики, напротив очень существенны для понимания авторского замысла и для творческого самовыражения режиссера и актеров. "Существует лишь немного драматургов, которые умеют столь суверенно, как Бернхард, обращаться с великим искусством молчания"[2]. В московском спектакле этим прекрасно владеют все исполнители. Добродушный Трактирщик (Александр Воробьев), впервые так близко столкнувшийся с профессиональными лицедеями, почтительно поддакивает Брюскону, пытаясь хоть как-то примирить этот новый жизненный опыт с привычным видением мира. Мало способный к ремеслу актера сын Брюскона Ферруччо (Алексей Усольцев) с помощью великолепной мимики доносит до зрителя и собственное безразличие к "высокому искусству", и снисходительно туповатое отношение к отцу. Дочь артиста Сара (Лина Миримская) разрывается между стремлением к блеску и усталостью от вечных заумных разглагольствований Брюскона, между злостью на деспота-отца и жалостью к нему. Самый молчаливый персонаж пьесы — жена Брюскона (Надежда Тимохина) — именно молчанием передает свою скорбь о загубленной жизни и под конец разражается приступом истерического смеха. Монологи Брюскона и скупые реплики других действующих лиц оказываются столь же точно подогнаными друг к другу, как движения, и в результате возникает единое целое.

В заключение хотелось бы заметить, что, хотя хорошая пьеса, хороший перевод и хорошая постановка, несомненно, образуют триаду, необходимую для успеха, нужен еще и четвертый элемент: хороший зритель. Бернхард неоднократно сокрушался по поводу того, что на его комедиях-а-на-самом-деле-трагедиях зрители не смеялись. То ли большинство зрителей отождествляло себя с запутавшимися в жизни персонажами (до смеха ли тут); то ли их пугало неожиданное открытие в себе того, что они видели на сцене; короче, чаще всего пьесы приводили к скандалам, а не к смеху. В "Табакерке" же зрители смеются. И это замечательно!

1. Т. Бернхард. Подвал. Перев. Р. Райт-Ковалевой. "ИЛ", 1983, № 11.
2. В. Шмидт-Денглер. Томас Бернхард: смысл и значение... С. 475.

# *Вестник иностранной литературы, 1910–1916*



**"Во всех книжных магазинах Империи..."**

Продолжая знакомить читателей с одним из дальних предшественников "ИЛ" — журналом "Вестник иностранной литературы", мы подошли к последнему периоду его существования (1910—1916), хотя, казалось, мало что предвещало скорый конец этого издания. Журнал, по мнению редакции, успел "в достаточной степени определить свое направление" и доказать, что "отвечает потребностям и запросам русской читающей публики". Он выходил стабильно, и подписка на него действительно принималась "во всех книжных магазинах Империи", как гласило специальное уведомление. Подводя итоги первого десятилетия XX века, редакция писала:

*"Вестник иностранной литературы" по разнообразию и богатству содержания превосходит другие журналы, т. к., не будучи связан ни политической программой, ни обязательными контрактами с иностранными писателями, печатает на своих страницах лишь то, что действительно представляет литературно-художественный интерес и служит в то же время показателем общественной и умственной жизни Западной Европы, связанной с нами общностью культурных стремлений.*

Судя по такому "автоопределению", создатели журнала превыше всего ставили "солидность" и нейтральность собственных позиций. Профиль издания характеризовало также его неучастие в бушевавших вокруг политических, общественных и эстетических сражениях. Достоинство журнала — довольно широкий охват зарубежных авторов (Джозеф Конрад и Карл Ларсен, Эса де Кейрош и Бласко Ибаньес, Эдгар По и Элиза Ожешко, Сельма Лагерлёф и Герхарт Гауптман). Его недостатки — невысокий уровень некоторых переводов, но главное (обратная сторона нейтральности) — отсутствие собственной литературно-критической линии, отсутствие "штатных" критиков и обозревателей, а следовательно, и принципиально значимых — "резонансных" — статей по той или иной тематике.

Журнал, как уже было сказано, последовательно выполнял ознакомительные функции, и только, чем отличался от прочих толстых журналов "обычного русского типа". Иными словами, читая "Вестник", трудно было составить представление о процессах, которые стремительно развивались в России, понять, что страна находится на пороге величайших и трагических перемен. Во многом поэтому "Вестник" не слишком страдал от цензуры, ставшей после событий 1905 года настоящим бичом для российской прессы (в ту эпоху никого не удивляли белые пятна на страницах газет и журналов — след цензурных ножниц). Естественно, совсем избежать неприятностей не сумел даже этот весьма умеренный и осторожный журнал. В № 12 за 1914 год читатели "Вестника" среди рекламных объявлений нашли и такой текст, помещенный в узорную рамочку:

*19 декабря редактор ежемесячного журнала "Вестник Иностранной Литературы" ст. сов. С. А. Рехтзамер в окружном суде без участия присяжных заседателей привлекался к ответственности по 74 ст. улож. о наказ. за кощунство. Подсудимому вменялось в вину напечатание в редактируемом им журнале пересказа небезызвестного романа современного польского писателя Даниловского: "Мария Магдалина", в котором было усмотрено кощунство. Дело слушалось при закрытых дверях. С. А. Рехтзамер признан виновным и приговором суда, произнесенным при открытых дверях, приговорен к аресту на один месяц. Защитник обвиняемого прис. пов. П. Н. Переверзев подает апелляционную жалобу.*

Но то были уже другие времена. Шла мировая война. 25-летний юбилей журнала пришлось отмечать в обстановке, когда об "общности культурных стремлений" народов Европы говорить стало неуместно. Теперь "Вестник" из номера в номер печатал "Иллюстрированную историю Великой европейской войны", и этой истории, по мнению редакции, надлежало стать "настольной книгой каждого русского человека", а среди рубрик выделялись "Военная хроника" и "Военные новости и мелочи". Естественно, ежемесячный журнал не мог соперничать с ежедневными изданиями в освещении хода боевых действий и прочих актуальных событий,

*к которым с такой жадностью, с таким душевным трепетом прислушивается вся великая Россия, как один человек... Но волей-неволей нам приходится довольствоваться скромной ролью летописца, сообщать о фактах, совершившихся за неделю, за две до того, когда книжка "Вестника" очутится в руках читателя. Две недели в нынешнее время, когда самые оглушительные события следуют друг за другом непрерывной вереницей, срок очень большой. Наша работа была бы почти бесполезна, если бы нас не утешала мысль, что, описывая минувшие события, мы можем отнестись с большей вдумчивостью, можем глубже проанализировать их, чем это делается в газетах...*

Отметим, что мировая война заставила редакцию журнала нарушить обет нейтральности. Характер комментариев и выбор материалов из зарубежной прессы не оставляют сомнений: "Вестник" примкнул к "патриотическому" лагерю и в пику "пораженцам" помогал — порой почти с карикатурным пафосом — создавать образ врага — Германии. Ненавистью к немцам пропитаны даже объявления о планах журнала:

*...В. И. Л. не упускает из виду основной своей задачи в сфере новейшей беллетристики. При этом редакция никоим образом не намерена следовать примеру немцев, решивших не переводить произведения английских, французских и русских авторов, а, наоборот, — исходя из той точки зрения, что знание врага есть первое условие для победы над ним, — предлагает своим читателям все, что так или иначе может дать ключ к пониманию психологии культурных варваров-немцев, что позволяет проникнуть глубже в дух германизма и прусского юнкерства, накинувшего на весь цивилизованный мир мертвую петлю милитаризма. Предлагаемый читателям В. И. Л. роман "Соль земли" Рудольфа Штраца является одним из наиболее ярких образцов духа юнкерства и исключительной заносчивости, царивших в Германии накануне войны.*

При этом не стоит забывать, что "Вестник иностранной литературы" был и оставался журналом коммерческим, то есть он не столько направлял и воспитывал своего читателя, сколько старался отвечать его запросам и заботился о том, чтобы подписчикам можно было еще и "приятно отдохнуть на чем-нибудь, что ни с какой стороны не соприкасается ни с современными событиями, ни с современными заботами, и укрыться под сень творчества человеческого гения, чтобы дать отзвучать в нашей душе всей шкале человеческих чувствований". Тем не менее война ставила неодолимые препятствия перед изданиями подобного толка. Все чаще "Вестник" извинялся за длительные перерывы в выпуске номеров, уведомлял о выходе сдвоенных книжек или о повышении цены на подписку. Причины: "недостаток бумаги", "непомерное увеличение сметы расходов", "разные независящие от издательства технические осложнения" и т. д. К тому же "секретарь ре-

дакции и некоторые из сотрудников должны были сменить перо на более современное оружие". "Вестник" объявил подписку на 1916 год, но надежды на "восстановление правильной жизни журнала" не оправдались. Издание прекратило свое существование. Почти двенадцать лет спустя, в 1928 году, начал выходить новый "Вестник иностранной литературы", но теперь редакция его находилась в Москве, и он стал органом Международного бюро революционной литературы (МБРЛ).

Надеемся, что публикуемые ниже материалы, которые мы разделили на две части — "до" и "после" начала Первой мировой войны, — донесут до наших читателей нечто большее, чем голую информацию и колорит далекой эпохи, что они помогут освежить взгляд на замутненные временем события и подскажут исторические параллели.



# I
# *Литература и искусство*

## *Присуждение Нобелевской премии*

Шведским миллионером и изобретателем динамита Нобелем, умершим в Канне в 1901 году, был оставлен специальный капитал, на проценты с которого ежегодно выдаются премии: в Стокгольме, за наилучшие заслуги в области физики, химии и медицины, а также наиболее выдающемуся литератору, без различия национальностей; а в Христиании особый комитет во главе с председателем стортинга присуждает так называемую премию мира — за труды по упрочению вечного мира.

Каждая премия равняется двумстам тысячам франков, то есть приблизительно семидесяти пяти тысячам рублей, и вручается на торжественном акте лично королем, а теперь, после разрыва унии, королями Швеции и Норвегии...

Мы не станем здесь касаться заслуг тех или других ученых, которые за эти годы были удостоены Нобелевской премии, так как это слишком отдалило бы нас от избранной нами темы... Правильно или нет присуждает эти премии комитет — судить не беремся. Во всяком случае в компетентных кругах до сих пор как будто протеста не раздавалось.

Несколько иначе зато обстоит дело с присуждением литературной премии. Правда, за границей сейчас нет писателя, который имел бы такое значение, какое в свое время имели Гёте, Диккенс, Гюго; тем не менее в европейской литературе немало имен, пользующихся мировой известностью, безусловно талантливых, может быть, даже гениальных — говорим "может быть", потому что гениальность очень часто признается лишь последующими поколениями.

Между тем, как это ни странно, премии по литературе все время присуждаются (за исключением двух-трех случаев) таким именам, которые невольно застав-

# ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА
# „Вѣстникъ Иностранной Литературы".

| | | |
|---|---|---|
| Эктор Абреу. Эспада. Романъ | — | р. 50 к. |
| Яковъ Вассермакъ. Личины Эрвина Рейнера. Романъ. | — | „ 75 „ |
| „ „ Золотое зеркало | — | „ 75 „ |
| Іосифъ Вейсенгофъ. Унія. Романъ | — | „ 75 „ |
| К. и А. Вильямсонъ. Мнимый вожатый | — | „ 50 „ |
| „ „ Какъ лордъ Левеландъ открылъ Америку | 1 | „ — „ |
| „ „ Золотое безмолвіе | 1 | „ 50 „ |
| Въ путахъ бреда. Сборн. разск. № 2 | — | „ 80 „ |
| Герг. Гауптманъ. Атлантида | 1 | „ — „ |
| К. Гелльрупъ. Вѣчные странники. Оккультный романъ | 1 | „ — „ |
| Г. Гейерманс. Глаза. Фантаст. романъ | — | „ 50 „ |
| „ Нѣтъ возврата | — | „ 50 „ |
| Кристиансонъ. Два брака | — | „ 50 „ |
| Юрій Жулавскій. Побѣдитель | 1 | „ — „ |
| „ „ Старая земля | — | „ 85 „ |
| Записки современниковъ 1812 года | — | „ 90 „ |
| Ж. Казоттъ. Влюбленный дьяволъ. | — | „ 30 „ |
| Конанъ Дойль. Затерянный міръ | — | „ 90 „ |
| Эса де-Кересъ. Кузенъ Базиліо. | — | „ 25 „ |
| Альфредъ Капюсъ. Робинзонъ | — | „ 90 „ |
| Свенъ Ланге. Древо познанія | — | „ 30 „ |
| Пьеръ Лоти. Индія | — | „ 60 „ |
| Любовь въ маскахъ. Сборн. разск. № 5 | 1 | „ — „ |
| Викторъ Маргеритъ. Золото | — | „ 75 „ |
| Октавъ Мирбо. Собраніе сочиненій въ 4 томахъ: | | |
| первые 3 тома по | 2 | „ 25 „ |
| 4-й томъ | 2 | „ 50 „ |
| На островахъ Таити. Сборн. разск. № 7 | 2 | „ 25 „ |
| Несостоявшійся бракъ. Сборн. разск. № 3 | 1 | „ 20 „ |
| Элиза Оржешко. Гекуба | — | „ 40 „ |
| Камилла Перъ. Болотный цвѣтокъ | — | „ 75 „ |
| Эдгаръ По. Собраніе сочиненій въ 2 томахъ | 4 | „ 50 „ |
| Рони-старшій. Этрусская любовь | — | „ 40 „ |
| Эри. Серао. Глава каморры | — | „ 75 „ |
| Страшная исторія. Сборн. разск. № 6 | 1 | „ — „ |
| Тайны духовнаго міра. (Очеркъ оккультныхъ знаній всѣхъ временъ и народовъ) | 2 | „ 25 „ |
| Эд. Штильгебауеръ. Столпы школы | — | „ 90 „ |
| Тяжелая ночь. Сборн. разск. № 4 | — | „ 90 „ |
| Гект. Флейшманъ. Шпіонка Императора | 1 | „ — „ |
| „ „ Любовныя похожденія Наполеона. | — | „ 40 „ |

## СКЛАДЪ ИЗДАНІЙ:

С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 34.

Выписывающіе непосредственно изъ склада не менѣе трехъ книгъ за пересылку не платятъ.

ляют задумываться, чем руководился комитет.

Возьмем в виде примера Францию. Уж тут ли нет имен, которые пользуются известностью во всех пяти частях света? Нобелевская премия была дважды присуждена французским писателям. Но каким?.. Сюлли-Прюдому и Фредерику Мистралю.

Имя Сюлли-Прюдома, поэта, скончавшегося года два тому назад, более или менее знакомо многим, хотя бы понаслышке. Его лирические стихотворения с философским уклоном в свое время читались, но теперь понемногу забываются. Во всяком случае Сюлли-Прюдом никогда, даже в пору расцвета своего поэтического таланта, не считался чем-нибудь выдающимся, и такой его современник, как Хозе Мария Гередиа, превосходил его красотою и звучностью стиха. О других поэтах, как Верлен и пр., мы не упоминаем, так как, принадлежа к другой школе, они не подлежат сравнению с парнасцем Сюлли-Прюдомом. Несмотря на это Сюлли-Прюдом получил одним из первых премию Нобеля.

Вскоре после него та же премия была присуждена Фредерику Мистралю. Если первого поэта большинство образованных людей знают хотя бы понаслышке, то Мистраль для многих — совершенно чуждое имя.

Это тем более понятно, что Мистраль пишет стихи на южном, провансальском наречии, которое и для французов-то неудобочитаемо. Если даже знать это наречие, то и тогда стихи Мистраля не произведут особого впечатления, потому что для того, чтобы в полной мере наслаждаться красотою стиха, нужно не только знать язык, но проникнуться духом его... Каким образом холодные шведы прониклись солнечной поэзией провансальского старца, остается загадкой, и искренность их в данном случае ставится под большое сомнение.

В нынешнем году Нобелевская премия присуждена немецкому писателю Паулю Гейзе. Это тоже писатель не из тех, к голосу кого прислушивался бы кто-нибудь теперь. За П. Гейзе длинный литературный путь, но он еще не почил на лаврах и изредка продолжает печататься; но вещи его, если и пользуются успехом, то этот успех является лишь данью за прошлое...

В настоящее время, однако, большинство произведений Гейзе устарело. Так больше не пишут. Раскройте любую его новеллу, и через несколько страниц вас начнет угнетать скука. Для XX века это слишком наивно.

В 1910 году Гейзе исполнилось 80 лет, и в конце этого же года ему присудили Нобелевскую премию. Мистраль удостоился ее тоже в год своего 80-летнего юбилея. Сюлли-Прюдом в свою очередь получил ее на склоне лет, года за два до смерти. Скончавшемуся русскому гению Л. Н. Толстому она была предложена тоже после того, как он перевалил за девятый десяток. Только Сельма Лагерлёф и Киплинг были удостоены премиями после полувекового периода жизни.

Это совпадение раскрывает нам до известной степени, чем руководится комитет при назначении премий за литературную деятельность. Он просто сличает год рождения наиболее известных писателей и самому старому присуждает премию, так сказать, за дожитие. Но этого ли хотел завещатель? Неужели благородный и щедрый Нобель хотел разыграть собою льва из басни Крылова, ко-

# Подписка на 1915 годъ

**XXV** годъ изд. **НА** ежемѣсячный литературно-историческій **ЖУРНАЛЪ** годъ изд. **XXV**

## ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вступая въ 1915 году въ 25-й, **юбилейный** годъ изданія, Редакція В. И. Л. вправѣ считать, что журналъ не нуждается болѣе ни въ широковѣщательной рекламѣ, ни въ подчеркиваніи задачъ, преслѣдуемыхъ имъ: за двадцатипятилѣтній періодъ существованія В. И. Л. въ достаточной степени **опредѣлилъ свое направленіе**, а все еще расширяющійся кругъ его читателей служитъ показателемъ, что **журналъ отвѣчаетъ потребностямъ и запросамъ** русской читающей публики.

Въ виду военныхъ событій изданіе юбилейнаго нумера со сводкой четвертьвѣковой жизни журнала переносится до болѣе благопріятнаго момента, пока же Редакція В. И. Л. не можетъ не отмѣтить съ чувствомъ законнаго удовлетворенія, что юбилейный годъ завершается **двумя крупными вкладами** въ отечественную литературную сокровищницу. Прежде всего Редакція Б. И. Л. учитываетъ чрезвычайное вниманіе русскаго общества къ трагедіи, разыгрывающейся на поляхъ титаническихъ битвъ, и поэтому съ январьской же книги журнала издается

### ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРІЯ
## ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЙНЫ,

составленная по образцу подобныхъ же изданій, выпускаемыхъ „Times“'омъ, „Navy and Army“, „Illustrazione Italiano“ и др.

Текстъ, изобилующій всѣми фазисами борьбы, какъ на морѣ, такъ и на сушѣ, разными эпизодами войны, выдающимися геройскими подвигами и пр., будетъ чередоваться съ многочисленными иллюстраціями, представляющими собой копіи рисунковъ, набросковъ и этюдовъ съ натуры, а также съ фотографическими снимками, планами и чертежами.

Такимъ образомъ **Иллюстрированная исторія Великой Европейской войны**, издаваемая В. И. Л., явится наиболѣе полнымъ, наиболѣе исчерпывающимъ произведеніемъ такого рода и будетъ настольной книгой каждаго русскаго человѣка.

Въ 1915 же году заканчивается печатаніемъ

**первое и единственное въ Россіи ХУДОЖЕСТВЕННОЕ изданіе безсмертнаго шедевра БОККАЧЧІО**

## ДЕКАМЕРОНЪ

**съ многочислен. (до 300!) автотипіями, фотогравюрами и виньетками.**

За этими двумя задачами В. И. Л. не упускаетъ изъ виду основной своей задачи въ сферѣ **новѣйшей** иностранной беллетристики. При этомъ Редакція ни коимъ образомъ не намѣрена слѣдовать примѣру нѣмцевъ, рѣшившихъ не переводить произведеній англійскихъ, французскихъ и русскихъ авторовъ, а наоборотъ, исходя изъ той точки зрѣнія, что знаніе врага есть первое условіе для побѣды надъ нимъ, — предлагаетъ своимъ читателямъ все, что такъ или иначе можетъ дать ключъ къ по-

"ИЛ": истоки и история

торый прислал целый воз орехов белке в награду за ее усердную службу, когда у нее не осталось уже ни одного зуба во рту?

1912 г., № 3

## *Что читают женщины?*

Что читали и что читают теперь наши дамы и девицы — это вопрос, на который не так уж просто ответить. В старину представительницы прекрасного пола вполне удовлетворялись сантиментальными романами; в пятнадцатилетнем возрасте романы эти прочитывались тайком от взрослых, в восемнадцатилетнем — с их разрешения, и душевный покой девственного сердца ничем не нарушался. Большею частью это были самые шаблонные любовные романы с неизменно благополучным концом, последнее и являлось необходимым условием для их успеха. В те далекие времена роман пользовался исключительным успехом в дамском обществе, но он нимало не был похож на современный роман; с ним в руках приятно было посидеть и отдохнуть вечером после дня, полного разных хозяйственных забот и хлопот, помечтать, а иногда... и заснуть...

Читательницы не требовали от романа ни сложной фабулы, ни изображения психологии героев, ни защиты идеи женского равноправия — в то время ни о каких правах им и в голову не приходило, и они хорошо помнили только о своих обязанностях! Немецкие женщины плакали тогда над романами Онэ, и судьба героев Вернера и Марлитта вызывала в их сердцах самое горячее сочувствие...

Исподволь и незаметно менялись вкусы женщины; понемногу хозяйство и дети отступали на задний план... Тут впервые становится интересным вопрос: куда читательницы пойдут в своих исканиях и каким кумирам суждено занять места старых излюбленных авторов?

Пользуясь данными, собранными за много лет двумя большими книжными фирмами Берлина, мы можем теперь говорить с уверенностью о том, куда склонились литературные вкусы немецких читательниц.

Так называемой специальной дамской литературы сейчас вовсе не имеется — в настоящее время женщина читает все! Однако большей частью она отдает предпочтение северным авторам, у которых на первом плане всегда изображение сложных душевных переживаний современного человечества. Наиболее любимыми ее писателями стали: Бьернсон, Гамсун, Лагерлёф, Банг, Михаэлис и некоторые другие, менее известные.

Этим, однако, не ограничились перемены во вкусах и привычках женской читающей публики.

Дамы и барышни наших дней сделались серьезней и относятся к своему чтению гораздо сознательней, чем представительницы предшествующих поколений. Изменившиеся условия жизни отразились и на литературных вкусах женщины, и вместо пустых и глупых романов широкие круги читательниц начали интересоваться биографиями и перепиской знаменитых людей. Такие книги, как "Дневник Башкирцевой", "Записки социалистки", "Фанни Эльслер" и т. п., имели необычайный успех у дамской половины общества. И это было уже серьезное чтение, знакомившее с действительной жизнью человечества...

Широкие симпатии читающих женщин приобрели затем исторические мемуары, рисующие

[236]
ИЛ 1/2004

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

# ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

## ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

на журналъ 7 р. 50 к., а вмѣстѣ съ 5 выпусками художественнаго альбома (въ оригиналѣ они стоятъ свыше 20 рублей).

| | | |
|---|---|---|
| Съ перес. и дост. . . . . | 9 р. — к. | въ годъ. |
| Безъ доставки въ Петроградѣ . | 8 „ — „ | „ |
| „ „ „ Москвѣ . . | 8 „ 50 „ | „ (въ конторѣ Н. Н. Печковской). |
| За границу . . . . . | 12 „ — „ | „ |

Ежемѣсячно отдѣльныя книги журнала 75 к, наложеннымъ платежомъ 1 р. Перемѣна адреса 50 к.

Желающіе получать художественное приложеніе, въ виду цѣнности его заказной бандеролью и въ особой упаковкѣ—приплачиваютъ 1 р. 50 к. Приплата за первые 5 выпусковъ Декамерона—четыре рубля; за 2 папки для двухъ томовъ Декамерона по 75 коп.

## Допускается разсрочка:

3 р. 50 к. при подпискѣ и по 2 р.—1-го Марта и 1-го мая.

За первые 5 выпусковъ Декамерона: 2 р. при подпискѣ и по 1 рублю 1-го Марта и 1-го Мая.

Разсрочка допускается лишь для выписывающихъ непосредственно изъ конторы журнала. Доставляющіе подписку книжные магазины, земскіе склады, библіотеки и агенты по пріему подписки въ разныхъ учрежденіяхъ могутъ удержать за комиссію 5% съ каждаго годового экземпляра—только при передачѣ сразу полной годовой платы.

## ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

**ВЪ ПЕТРОГРАДѢ:** въ конторѣ редакціи Вознесенскій пр., 34, тел. № 419—80;
въ книжн. магазинѣ «Новаго Времени», Невскій 40 и въ филіальн. отд:
въ книжн. магаз. Т-ва М. О. Вольфъ, Гостин. дворъ, Невская линія и Невскій пр., 13.

**ВЪ МОСКВѢ:** въ конторѣ Н. Н. Печковской, Петровскія линіи;
въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и т-ва М. О. Вольфъ. Торговый домъ „Гонецъ".

**ВЪ ОДЕССѢ:** въ книжномъ магазинѣ «Трудъ», Дерибасовская, 25.
въ книжномъ магазинѣ «Одесскихъ Новостей», Дерибасовская, 20 и

## Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Имперіи.

**ТАКСА ОБЪЯВЛЕНІЙ ВЪ ЖУРН. «ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»**

| | | | |
|---|---|---|---|
| На внутр. сторонѣ передней обложки стр. | 100 р.; | 1/2 стр. 60 р.; | 1/4 стр. 35 р. |
| „ „ „ задней „ „ | 80 р.; | 1/2 „ 45 р.; | 1/4 „ 25 р. |
| до текста страница . . . . . | 60 р.; | 1/2 „ 35 р.; | 1/4 „ 20 р. |
| послѣ текста: страница . . . . . | 45 р.; | 1/2 „ 25 р.; | 1/4 „ 15 р. |

Для авторовъ: Мелкіе разсказы, статьи и стихотворенія возврату не подлежатъ. Рукописи же размѣромъ больше печатнаго листа сохраняются въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, а затѣмъ, непринятыя обратно или не оплаченныя почтовыми марками для обратной почты,—уничтожаются.

Редакторъ-издатель С. А. Рехтамеръ.

Типографія Петрогр. Т-ва Печат. и Изд. дѣла «Трудъ» Кавалергардская, 40.

"ИЛ": истоки и история

прежнюю или современную придворную жизнь и нравы. В этом отношении наибольший успех выпал на долю исторических произведений французской литературы. Жизнь французского двора несомненно ведь была самой красочной! Сколько богатого материала для подобной литературы могла дать одна эпоха Людовика XV, получившего у современников имя "возлюбленного короля", или полная приключений жизнь Наполеона! Но скоро читательницы перестали удовлетворяться такого рода произведениями. Они пошли дальше. Конечно, знакомство с биографиями знаменитых людей было уже хорошей умственной подготовкой. Наряду с историческими личностями интерес среди женской читающей публики стали вызывать к себе и знаменитые музыканты и художники. Достаточно назвать такие книги, как "Вольтер" Штрауса, "Завещание Фейербаха" или "Жизнь Рихарда Вагнера"...

Иллюстрированные монографии прославленных художников возбудили в свою очередь интерес к изучению общей истории искусств. Мало-помалу все области литературы вошли в круг женского чтения. Особенным расположением читательниц пользуются даже такие вещи, как описания путешествий и книги естественно-научного содержания, написанные для большой публики, как, например, "Гренландия" Нансена, "Путешествия по Америке" Рузвельта, "Весна в Греции" Гауптмана, "Любовь в природе" Бельше и т. п.

Вместе с условиями и обстановкой жизни коренным образом изменились и самые взгляды женщин. В прежнее время за всякой женщиной, которая, не интересуясь пустыми и глупыми романами, искала себе более возвышенной духовной пищи, утвердилась кличка "синего чулка", и всем известно, какое отношение в обществе встречали те, кто носил эту кличку.

Чтение книг, в которых затрагивался, например, половой вопрос, признавалось тогда прямо-таки неприличным для женщины. Невежество охотно отождествлялось обществом с невинностью, и хороший тон требовал, чтобы женщины возможно менее позволяли себе касаться подобных тем. Теперь же, когда женщина вошла в круг всех духовных интересов мужчин и отношение к ней совершенно изменилось, наши дамы и барышни свободно читают таких авторов, как Мопассан, Стриндберг и Фибих...

Пикантная литература не встречает себе почти никакого сочувствия в дамской среде; это объясняется, конечно, здоровым и неиспорченным вкусом женщин.

Нельзя затем не отметить еще одного весьма любопытного явления! Прямо-таки обращает на себя внимание та недоверчивость, с какой дамская читающая публика относится к произведениям вроде женских дневников, писем, исповедей женской души, мемуаров женщин и т. д., наводняющим современный книжный рынок. Книги эти, авторами которых являются женщины, по большей части вовсе не находят себе читательниц!..

1912 г., № 2

## *"Праведный" дон Жуан*

Оказывается, что уже более двухсот лет всякие кардиналы, архиепископы, епископы и монашествующие разных орденов ходатайствуют перед папским престолом о канонизации дон

[238]
ИЛ 1/2004

## Съ 1-го ноября

# ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1916 годъ

**Какъ и въ первыя 25 лѣтъ,**

**Вѣстникъ Иностранной Литературы** будетъ выходить ежемѣсячными книгами, съ сохраненіемъ тѣхъ же основныхъ трехъ отдѣловъ, т. е.

I. **Отдѣлъ повременныхъ романовъ**, включающій, всѣ лучшія крупныя беллетристическія произведенія повременной міровой литературы.

II. **Отдѣлъ миніатюры и юмористики**, который содержитъ больше 100 новеллъ, юморесокъ, жанровыхъ картинъ и пр., переведенныхъ со всевозможныхъ языковъ.

III. **Отдѣлъ заграничной хроники**, который является какъ-бы журналомъ журналовъ всего міра.

---

**Въ видѣ ОСОБЫХЪ безпл. ПРИЛОЖЕНІЙ намѣчены:**

**1. Великая Европейская война.** Иллюстрированная лѣтопись войны 1914—1915 гг.

**2. Собраніе сочиненій новѣйшихъ англійскихъ корифеевъ:** Киплинга, Хитченса, Хорнунга, Гельсуорти, Беннета, Морисона, Крокера Хуартона и Уатсъ-Дентона.

---

**ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:**

**въ годъ 8 р., съ пересылкой и доставкой 9 р**

**Допускается разсрочка: 4 р. при подпискѣ, 3 р. 1-го марта и 2 р. 1-го мая.**

**Подробная программа въ октябрьской книгѣ.**

"ИЛ": истоки и история

Жуана. "Как? — спросите вы. — Дон Жуан, этот соблазнитель "тысячи и трех" женщин, этот безбожный развратник будет прославляться церковью, будет почитаться всеми верующими как святой? Да этого быть не может!" Однако в архивах французской Национальной библиотеки в Париже открыта целая серия документов, вывезенных при Наполеоне I из Ватиканских хранилищ и трактующих о добродетельной жизни, подвигах самоотречения и чудесах Мигуэля Маньяра из Севильи, монаха ордена Каридад, которые дают ему право на причисление к лику святых.

Разумеется, тот, о ком говорят эти документы, имеет мало общего с гордым нечестивцем, каким является дон Жуан у Мольера, с тем Прометеем в парике, который продолжает богохульствовать, когда даже огонь с неба готов спалить его. Из этой личности романтические писатели, слегка изменив почему-то правописание фамилии героя, и создали бессмертный тип дон Жуана де Маранья, дерзкого соблазнителя и безжалостного хищника, который в погоне за удовлетворением своей чувственности убивает на своем пути соперников-мужчин и заставляет проливать слезы всех женщин, делающихся его жертвами.

Настоящий дон Жуан родился в Севилье в 1626 году; родителями его были дон Томазо Маньяра и Жиролама Анфриано — оба уроженцы острова Корсики. Итак, дон Жуан, оказывается, корсиканского происхождения, и, значит, маленький остров Средиземного моря может гордиться тем, что отсюда вышли два великих завоевателя. Да кто знает, ведь на Корсике все жители более или менее родственники друг другу, и, может, между обоими завоевателями существует кровная связь. Наиболее верную картину жизни дона Мигуэля между двадцатью и тридцатью его годами, когда он обратился на путь истины, мы находим у Мериме в его "Душах чистилища". Ни одна женщина не могла противостоять его обольстительности, его бурной, вечно неугасаемой страсти. Он соблазнил и поверг затем в отчаяние своей изменой длинный ряд жертв, в числе которых были и знаменитые куртизанки, и женщины городских сословий, и герцогини, и поселянки; во главе обширного списка его побед значится имя женщины, забывшей для него о своем духовном союзе с Христом, а рядом с ней стоит возлюбленная самого Папы. Оно и понятно: живший в дон Жуане темперамент корсиканца неустанно зажигал в его душе, как потом и у великого его соотечественника, жажду побед и завоеваний, только вместо пролития крови на своем пути на долю дон Жуана выпало более утонченное удовольствие — сознавать, что ради него проливаются целые потоки женских слез...

Впрочем, добрые ходатаи за дон Жуана и не оплакивают особенно бурных увлечений его молодости; напротив того, они склонны видеть здесь "немалые указания на ожидающую его святость". Известно, что когда тело предается излишествам, то это нередко означает, что наша душа в своем стремлении освободиться от его уз и слиться с бесконечностью увлекает своего временного спутника в самую гущу земной грязи. Если дон Жуан так жадно гнался здесь, на земле, за обманчивым призраком греховного наслаждения, то это объясняется тем, что он думал найти таким образом высокое удовлетворение, которого властно требовала душа. Если иметь это в виду, то не приходится удивляться, что в

записке, подписанной известным Хименесом, генералом ордена иезуитов, содержится целая глава, посвященная восхвалению целомудрия дон Жуана...

Тридцати лет от роду дон Жуан женился. Его женою стала Жиролама Карильо де Мендоза, "тысяча четвертая" возлюбленная дон Жуана, которая и оказалась в то же время единственной. Он безумно влюбился в нее: больше, чем когда-либо, ему казалось, что он нашел наконец ту, в которой воплощено все очарование, вносимое в наш мир дочерьми Евы. Но увы! Несравнимая с другими, единственная женщина, в которой ему не суждено было разочароваться, умерла по прошествии всего нескольких месяцев их брачной жизни. Последний поцелуй, который запечатлел дон Жуан на холодном лбу дорогого ему трупа, навеки оставил в его душе сознание ничтожества всего существующего. Его горячее воображение тотчас же нарисовало в его уме страшную картину разложения, которым кончается здесь, на земле, всякая красота. Это событие и было в его жизни ударом, обратившим его на путь покаяния.

Раздав бедным половину своего имущества, дон Жуан вступил в число братий монастыря Каридад в Севилье. Его воображение не знало границ в изобретении истязаний, которыми он умерщвлял свою плоть. На теле он носил постоянно власяницу из грубого конского волоса; ложем ему служил деревянный гроб, который был так короток, что в нем нельзя было вытянуться во всю длину. Питался дон Жуан одними кореньями, отваренными в воде, а для умерщвления в нем духа гордости каждый день при его пробуждении монастырский повар обязан был давать ему пощечину. Дон Жуан основал госпиталь, где сам прислуживал больным и бедным, со смирением исполняя самые отталкивающие обязанности.

Одетый в рубище, грязный, возбуждая ужас своим видом, бродил он по улицам, собирая подаяние для бедных. Нередко случалось стучаться ему в дома, где жили, неутешно проливая по нему слезы, его прежние возлюбленные, и вот того, который был некогда неотразимым победителем сердец, гнали прочь от дверей, как назойливого бродягу. Он просил милостыню, собирая на приданое бедным девицам, чтобы спасти их от опасностей соблазна...

Умер дон Жуан в прекрасное весеннее утро – 9 мая 1679 года. Он завещал похоронить себя за оградой кладбища, у самого входа, так, чтобы все посетители кладбища могли попирать его прах ногами. Согласно его воле на могильной плите была сделана надпись: "Здесь лежит худший из людей, какие когда-либо жили на земле". Но братия монастыря Каридад перенесла впоследствии останки дон Жуана в монастырскую часовню...

Процесс канонизации дон Жуана был возбужден его почитателями скоро после его смерти и закончился в 1778 году, когда Римский Папа согласился признать дон Мигуэля Маньяра "праведным".

Надо сказать, что в вопросах канонизации Римская курия различает три степени: умершее лицо может быть признано "праведным", "блаженным" и, наконец, "святым". Самый процесс канонизации связан с крупными издержками, которые увеличиваются в зависимости от того, о какой из ее степеней идет речь...

Неизвестно, остановились ли монахи Каридад пред крупными расходами настоящего процесса или, может быть, духовные заслуги дон Жуана показались в глазах

судей Римской курии недостаточными, но во всяком случае ему приходится пока довольствоваться саном "праведного".

1912 г., № 2

## *Кинематографическая литература*

Кинематограф за последние годы так вошел в жизнь, что пройти мимо него и его значения не представляется возможным.

Одно время своего рода отец современной кинематографии Патэ возымел счастливую идею пригласить к соучастию для составления кинематографических картин выдающихся немецких писателей, но, к сожалению, затея эта ничем хорошим не закончилась. Над писателями, выразившими желание примкнуть к участию, сильно потешались; они даже попали на столбцы юмористических журналов ("Simplicissimus" посвятил им специальный номер), а, между тем, мысль сама по себе была прекрасна.

Новый орган кинематографии "Erste internationale Film-Zeitung" в своем последнем номере опубликовал анкету, сделанную между немецкими писателями, выразившими свои мысли и мнения, какие картины всего более подходят для демонстраций.

Профессор Макс Дессуэр предпочитает картины естественно-научного и медицинского содержания; Рудольф Шперац — патриотического содержания; Георг фон Омптеда — на злобу дня; Товоте — научного содержания; Ганс Эверс — путешествия и картины из коммерческой жизни; Поль Геккер — современные. При этом все вышепоименованные писатели в высшей степни предубедительно относятся к так называемым сантиментальным драмам. Эверс еще возмущается "тоновыми картинами", которые демонстрируют под жалкий аккомпанемент охрипшего фонографа. Приходится согласиться, что до сих пор полезной и интересной кинематографической литературы нет. Единственно удавались кинематографу картины путешествий и забавные сценки парижского производства, не лишенные эксцентричности и юмора. Но едва только кинематограф пытается дать сцену из современной жизни, отклик на злобу дня — как попытки его рушатся самым жестоким и смешным образом. Кому пришлось видеть в кинематографе землетрясение в Мессине, тот признает, что выдумка и фантазия доморощенных кинематографистов-художников больше чем слаба. Такого рода картины и образы совершенно извращают все значение "светового театра". Картины на злобу дня тогда лишь хороши, когда они сняты с натуры. И в этом отношении Патэ блестяще доказал, на какое искусство он способен.

Какого рода драматические сюжеты можно рекомендовать кинематографу? Конечно, таких сюжетов великое множество, и их вовсе не нужно изобретать: их можно целиком перенести из неисчислимого количества опер, балетов, драм, комедий. Кинематографисты, напав уже однажды на истинный путь, однако, почему-то свернули и стали предлагать неприхотливой публике всевозможную дребедень вроде гордо звучащих исторических драм с богатыми декорациями, костюмами и различными театральными эффектами.

А наичаще демонстрируются всевозможные и до ужаса скучные: увозы, покушения на чужую

собственность и честь, похищения детей, погоня за ворами и т. д. ... Это правда, что для истории и изображения всевозможных экстраординарных приключений кинематограф словно создан: с этой стороны он достиг максимального совершенства. Но в таком случае необходимо использовать это качество кинематографа и дать ему интересный и вполне подходящий материал для воспроизведения. Здесь может и должен придти на помощь здравый и развитый литературный вкус, который может посоветовать использовать неисчерпаемый материал из сказок и рассказов По и Гоффмана. Почему не перенести на фильмы очаровательные и уморительные путешествия Мюнхгаузена? Ведь для кинематографа при современной технике ничего невозможного не может быть. Изобретательность кинематографистов иногда достойна удивления и даже поклонения, но — увы! — фантазия слишком примитивна! И вот почему из соучастия кинематографистов и литераторов могут получиться самые желательные и плодотворные результаты...

Конечно, должное место должно быть отведено и юмору... С неменьшим удовольствием смотрит публика на такие сравнительно недавно появившиеся картины, как сцены из жизни ковбоев, индейцев, доисторических племен. Большим успехом пользуются "Падение Трои", "Клеопатра", "Торквиний Гордый" и другие в том же роде. Но вполне понятно, что главным притягательным номером являются драмы из современной жизни.

"Северная Фильма" в Копенгагене поставляет главным образом такой материал и в известной мере достигла значительного улучшения, но все же верх берет разная дребедень, к настоящей жизни никакого отношения не имеющая. Такое положение дел, при котором кинематограф, имея на то много данных, не сможет являться изобразителем текущей жизни, будет продолжаться вплоть до тех пор, пока писатели, люди облагороженной фантазии, будут держаться в стороне.

Необходимо помнить, что кинематографические предприятия владеют громадными капиталами. Основной капитал Патэ — 6 ооо ооо франков; на фабрике работают тысячи рабочих, которые ежедневно изготовляют до 65 километров фильм, то есть два миллиона картин... Но при всем том ведение дела далеко от совершенства, ибо страдает творческая часть: мало художников, режиссеров, декораторов! Необходимы еще люди творческой фантазии, необходимы создатели сюжетов. Писатели смотрят на участие в компоновке кинематографических сюжетов как на неподходящее, унижающее их дело. Для них кинематограф — забава! И забавой он, конечно, останется до тех пор, пока не будут разбиты предрассудки и люди не поймут, какое громадное орудие прогресса лежит в том, что служит теперь только на потеху.

1911 г., № 6

## *Айседора Дункан*

О танцах Айседора Дункан говорит с пафосом и серьезностью, которых в самом деле заслуживает это прекрасное искусство, находящееся ныне на распутье. Это-то положение вопроса и придает статье талантливой танцовщицы особенный интерес, и мы предоставляем нашим читателям дословный перевод ее.

Было время, когда я своими заметками заполняла целые тетради. Я считала себя апостолом своего искусства и была полна самых дерзостных и наивных планов.

В то время я мечтала реформировать весь внешний вид человеческой жизни, обдумывала мельчайшие детали новых костюмов, нового распорядка дня и т. д.

Это было еще только десять лет назад. За это время я имела достаточно возможности убедиться в тщете моих благородных, искренних намерений и теперь ограничиваюсь теми задачами и радостями, которые непосредственно связаны с моим искусством.

Я всегда была того мнения, что только танцуя можно изложить принципы и цели танцев. Словесные объяснения даже в самом лучшем изложении вряд ли достигнут цели. Сущность того или иного вида искусства должна быть ясной для всех: только в таком случае можно говорить о принадлежности этого вида искусства к искусству вообще.

Поэтому я раз навсегда решила не говорить о своих теориях, не излагать своих принципов. Но в то же время, далекая от всякой мысли поучать и проповедовать, я хочу рассказать, что́ руководит мною во время танцев.

По-моему или, правильнее, для меня танцы — чудесное, драгоценное и многогранное зеркало, в котором отражается человек со всеми своими душевными переживаниями. Танец — не совокупность па, более или менее красивых и искусственных. Кто думает противное, ошибается. Для меня танец — только средство, но не цель.

Я тщательно и долго изучала историю всех времен и всех народов и нигде не нашла ни малейшего указания на то, что люди когда-либо ходили на кончиках пальцев или в выражении того или иного чувства поднимали ногу выше головы. Эти ложные и безобразные приемы совершенно не в состоянии выразить той дионисийской радости, в которой находится и должен находиться танцующий.

Кроме того, необходимо понять, что движения не изобретаются, а открываются, приходят сами по себе. Точно так же в музыке гармонии не сочиняют! Она — плод вдохновения.

Единственный, главный принцип, которому я подчинялась, — единство формы и движений, прекрасное безупречное единство, которое лежит на всем в природе. Воды, ветер, растения, живые существа, мельчайшие атомы нашей сферы подчиняются этому совершеннейшему из законов.

Природа не знает скачков, резких, негармоничных переходов. И если танцор не желает быть простым плясуном, он в своем искусстве должен всегда считаться с этой особенностью натуры. Искать в природе наиболее совершенные формы и найти движения, которые суть души этих форм: в этом искусство танцора.

Танцор, подобно скульптору, с которым он имеет так много сходного, — только в природе может черпать вдохновение. Роден говорит: "Скульптору вовсе не приходится копировать античных гениев. Ему надо вглядеться в природу, и тогда он поймет, что антики только потому и бессмертны, что они верны жизни".

Роден прав. И ошибаются те, кто думает, что я копирую женщин на греческих вазах, фресках и скульптурах. Нет, они только научили меня понимать и созерцать природу. И если во многом мы сходны, так потому, что и античные ваятели и я черпали из одного источника.

Меня вдохновляет игра деревьев, волн и облаков; страсти меня учит буря, а нежности и порывистости — ветер. Я всегда стараюсь вложить в свои танцы что-нибудь от того божественного единства, что дает жизни такую неизбывную прелесть.

Конечно, мало только двигать руками и ногами. Наиболее совершенные и простые создания искусства требуют максимума наблюдений, творчества и художественного синтеза. И величайшие мастера знают, чего стоит просто подойти к природе.

О своем искусстве я мечтаю с детства, а над техникой своей работаю двадцать лет. Повторяю, что для меня танцы — не цель, а средство. Средство же необходимо готовить.

Танцами своими я хочу выразить самые благородные и возвышенные порывы своей души — порывы от Диониса, Пана, Вакха, Афродиты. Танцы должны быть лучшей частью нашей жизни, и богохульник тот, кто видит в них лишь легкое и приятное развлечение.

Есть непрестанная связь между духом и телом, с этой связью не переставали считаться древние, но мы ею преступно пренебрегаем. Платон плясал, и вместе с ним плясали гетеры, воины, судьи и верховные представители античных республик. Этот прекрасный обычай придавал их жизни прелесть и устойчивость, незнакомые нашей эпохе. И это вполне естественно: состояние души зависит от позы. Стоит с самым незначительным порывом откинуться назад головой, как все существо наше охватывает чисто вакхическая дрожь блаженства, страсти и упоения.

Все жесты наши находят непосредственный и немедленный отзвук в душе.

Повторяю то, что говорила много-много раз: танцующему следует учиться у природы. Всякое движение у моря, которое не гармонирует с ритмом волн, всякое движение в лесу, которое не гармонирует с колебанием листвы, каждое движение в степи, под знойным солнцем, ласкающим нагое тело, которое (движение) не гармонирует с величием и простотой пейзажа, — движения ложные, надуманные, нарушающие прелесть от века сотворенных линий.

1911 г., № 3

# Мода

## *День парижанки*

Русские журналы считают для себя как бы унизительным помещать статьи о модах. Но разве моды не отражают ярким образом состояние культуры и вкусов общества? Нам кажется, что теперь, когда кончается суровое время года и теплая весенняя погода заставляет дам мечтать о новых шляпах и легких тканях, будет не лишним, если мы побеседуем о модах и их создательнице — изящной парижанке.

Минувшая зима ничего не дала в области мод типичного или нового. Не было ни одного фасона шляп, который сразу бы приняли все женщины, не было такого костюма, который оказался бы обязательным для каждой модницы.

Правда, во второй половине зимы разгорелась было целая война по поводу юбки, но партизаны "женских невыразимых" очень бы-

стро сдались, и теперь этот вопрос уже не возбуждает страсти. Все дело, по-видимому, свелось к тому, что англичане называют bluff, который был придуман каким-то недогадливым портным, не сумевшим понять и осуществить тайные желания женщин. Желания эти, по-видимому, клонятся больше в сторону костюмов в стиле Директории, и, по всей вероятности, прелестный пол в недалеком будущем облачится в соблазнительные костюмы "энкрояблей", и таким образом намерение "опанталонить" дам шло как раз вразрез с их личными намерениями. Лучшим доказательством служит тот факт, что парижанки, несмотря на всю шумиху, до сих пор не вырядились в модные шаровары.

Но если зима оказалась неблагоприятной в смысле создания новых мод, зато гораздо удачнее ожидается лето. Чтобы отметить наиболее важные грядущие новости, мы обратимся к старому, испытанному методу и проследим жизнь парижанки во все часы дня.

Когда маленькие часики в спальной начинают бить семь часов утра, парижанка пробуждается и почти мгновенно встает с постели. Она поднимается рано, так как теперь это так принято, это считается здоровым и очень шикарным. Кроме того, ей это необходимо, потому что она каждое утро совершает прогулку пешком. Встав с постели, она набрасывает на себя со-дю-ли, род кимоно из легкой материи нежного нюанса с отделкой из кружев.

Приблизительно с минувшего лета в Париже вошло в моду, что дама сама должна варить свой утренний чай, и поэтому в спальне через несколько минут появляется кипятильник и чайник, с которыми ловко справляется светская женщина.

После того как выпит чай и съеден поджаренный хлеб, парижанка приступает к трудной работе — к туалету. Сперва начинается умывание, душ, растирание тела перчаткой, смоченной одеколоном, а затем на сцену появляются массажистка и маникюрша, современные специалистки по изготовлению красавиц.

Массажистка растирает тело, чтобы придать свежесть и гибкость мускулам, не оставляя без внимания и лицо, которое подвергается обработке при помощи маленьких инструментов из слоновой кости и каучуковых шариков, которые разминают нервы, укрепляют ткани, уничтожают или разглаживают морщины и пр. Потом приходит черед горничной, которая накладывает на лицо и шею слой какого-нибудь излюбленного дамой крема, пудрит и подрумянивает щеки и легким прикосновением синего карандаша подрисовывает вены на висках, так как у современных аристократок далеко не всегда "голубая кровь". В глаза она пускает каплю какого-то азиатского зелья, которое заставляет их блестеть почти неестественным блеском, и наконец делает прическу. Теперь все готово!

Если парижанка остается дома, она надевает простое дезабилье: нечто вроде муслиновой рубашечки, декольтированной и отделанной старинными кружевами, стянутой на груди широкой лентой бирюзового цвета. Поверх этого надевается манто из черного муслина с большим треном.

Если же, наоборот, она уходит из дома, что случается гораздо чаще, тогда парижанка надевает утренний тальер из голубой или коричневой саржи, короткую юбку, не слишком узкую, но такую, чтобы в ней можно было свободно шагать, с разрезом, доходящим

несколько выше щиколотки, короткую жакетку – почти болеро – и маленькую шляпу, украшенную кокардой, или один из тех "цветочных горшков", в который так глубоко уходит голова.

Пешеходный спорт теперь пользуется большой популярностью в Париже. Он представляет для хорошенькой женщины массу удобств: во-первых, не позволяет ей оставаться дома, во-вторых, отвечает ее вечному желанию и потребности к движению, и, наконец, парижанка глубоко верит, что прогулка пешком сохранит ее фигуру и не даст потолстеть. В силу этих причин парижанка уже около десяти часов, а иногда и раньше, появляется на улице, направляясь в Булонский лес. По возвращении домой и после легкого завтрака она опять уходит из дома, чтобы пройтись по Елисейским Полям, сделать несколько визитов и завернуть в один из чайных ресторанов, где можно всегда встретить двух-трех хороших знакомых, с которыми приятно поболтать и посплетничать. Для этого выхода надевается суконный тальер, непременно какого-нибудь причудливого, необыкновенного цвета – например, цвета серого облака – с лентами цвета бильярдного сукна. Тальер теперь делается с огромными реверами и короткими рукавами. Юбка надевается очень узкая, иногда стянутая сзади, иногда же с разрезами с обеих сторон.

Наконец наступает час конференций. Эта мода сильно укоренилась в последнее время в Париже. Собственно умные или научные вопросы здесь отодвинуты на задний план, на конференцию идут больше ради того, чтобы людей посмотреть и себя показать, позлословить, посмеяться и, наконец, просто из снобизма. Предпочтение отдается больше всего историческим конференциям: XVIII век, Революция, Вторая Империя – вот наиболее излюбленные темы. Каждый истый парижанин мнит себя скептиком, и отсюда такой успех тех докладчиков, которые разрушают старые исторические легенды. Самый большой успех можно предсказать такому историку, который попытается доказать, что Бастилия не была вовсе взята штурмом или что Дантон был главной опорой монархии. С большим удовольствием слушают также конференции о путешествиях, в особенности в тех случаях, когда не лишенные поэтического чутья путешественники пытаются "показать душу" той или другой страны. Восток, Египет, Турция, Тунис, Дальний Восток, Персия, Багдад, Китай и Тибет – все находит внимательную и сочувственную аудиторию, среди которой нередко слышатся восхищенные возгласы: "О, как это прекрасно!" и т. п. Только полюсы после истории с Куком и Пири оставляют парижан холодными. Самой последней новостью являются "посмертные конференции", на которых происходит чтение последних мыслей умершей знаменитости. Эти чтения устраиваются родственниками или друзьями покойного.

Да, нужно признать, что у парижанки немало всевозможных занятий и развлечений. В особенности они увеличиваются с наступлением весны. Мы не упомянули здесь о такой важной необходимости, как посещение портнихи, у которой нужно окончательно решить относительно новых летних платьев, и о спорте, который все больше и больше входит в моду во Франции.

Для лета готовятся костюмы в жанре Виже-Лебрэн и Шарлотты Корде, а кроме того костюмы в стиле Директуар, узкие, удлиняющие фигуру платья, которые шьются из

тонкой ткани, легкого крепдешина и "покрывала Омфалы". Летние шляпы будут отделываться орхидеями, розами и ветками розовой сирени и украшаться нумидийскими эгретками. Говорят, большим успехом будут пользоваться шляпы-кабриолеты с лентами, какие носили в эпоху Второй Империи. Вечерние туалеты... Здесь царят затканные золотом и серебром ткани, легкие вуалевые материи, шелковый муслин, газ всех оттенков с яркими цветочками — одним словом, целая симфония легких, тонких материй, отделанных кружевами, драгоценными металлами и инкрустациями из камней.

Заговорив о вечерних туалетах, позвольте сообщить несколько советов относительного того, как держать себя в обществе, если хочешь в настоящее время прослыть "шикарным" человеком. За столом полагается говорить немного и считается дурным тоном острить и вообще выказывать себя умным; главное — будьте всегда скептиком. Принято рассказывать о своих путешествиях. Можно вскользь, и не придавая этому большого значения, сказать: "Я только что вернулся из Индии" или: "Когда я был в Сенегамбии"... Если с подобной фразой к вам обратится сосед, не выказывайте на лице удивления и не восхищайтесь, а просто выслушайте его с вежливо-рассеянным видом и промолчите. Только о политике можно говорить умно, зло и серьезно.

Прически для обедов, театров и т. п. украшаются эгретками "колонель", которые прикрепляются широкой лентой, расшитой золотом и покрытой драгоценными камнями.

Чулки надеваются под цвет платья. На вечерах носят чаще всего ажурные чулки с большими просветами, в которые вставлены медальоны из кружев Шантильи, прикрепленных золотыми нитями. Башмаки делаются в стиле Людовика XVI с высокими прямыми каблуками в восемь-десять сантиметров, как это ни странно, обшитыми черным бархатом. Очень часто надевают золотые и серебряные башмачки.

1911 г., № 5

# II
# *Великая война*

Эмиль Верхарн

## *Германская культура*

*Перевод* Зин. Львовского

Во имя благоденствия всех народов нельзя допустить, чтобы какой-либо народ жил только для самого себя. Такого мнения придерживаются все, кроме Германии, которая желает подавить всё и вся на своем пути. Она раз навсегда объявила себя господской нацией, которой должны покориться все остальные нации на земле. Она считает себя вправе думать и желать и за себя, и за всех других. Она определяет, разрешает и разъясняет и то, что дозволено, и то, что никому никоим образом дозволено быть не может. Она узурпировала в нашей планете роль не только Судьбы, но и Бога. Нисколько не колеблясь, она объявляет себя ставленницей Господа Бога на земле.

Абсолютно лишенная чувства такта и деликатности Германия уверила себя в том, что моральная победа вплотную соприкасается с победой материальной и физической. По ее мнению, дисциплина — или вернее, тирания! — является нераздельной частью всякой социальной организации. Она никогда, ни на единое мгновение не задумалась над тем, что именно такое ее отношение к дисциплине препятствует и всегда будет препятствовать признанию немецкой гегемонии. Не думает она и о том, что ее манера властвовать есть вернейший путь к тому, чтобы совершенно потерять власть, что ее представление о силе есть самая слабая и уязвимая сторона ее. Уж это одно доказывает, что не ей дано судьбой руководить народами европейскими, не ей предписано подавлять и ослеплять мир! Ей недостает самого важного, главного, существенного — недостает величия, недостает благородства и выдержки, что так необходимо всякому владыке. Бедная, она и не догадывается об этом...

Для того чтобы укрепить и расширить свою тиранию, Германия не считается с другими народами и всяческими мерами готова подавить индивидуальность подвластных и зависимых от нее наций. Страшным препятствием она становится на пути их к расцвету. Как может, она противится развитию их особенностей и индивидуальных черт. Она объявляет войну не на жизнь, а на смерть всему оригинальному, независимому, характерному. Каждый по-своему понимает жизнь, счастье и радость, но Германия не желает допустить этого. Она желает, чтобы все и каждый в отдельности приняли тот катехизис, который отпечатан ею.

Чужих шедевров, чужих гениев, чужих пророков она не признает. В безумном ослеплении своем она верит, что она делает, мыслит, вершает, правит и судит лучше всех. То, что она делает, — мудро. Она воюет не только с настоящим, но и с прошлым. Никакое творение — будь то бронза, или дерево, или камень — не представляет абсолютной ценности, раз оно не создано согласно всем правилам германской эстетики. Факты на лицо! Был Реймс и собор — прекрасный, как день и как ночь, и уже нет его! Ипр и чудеснейшие строения его превращены в груду развалин... Отошли в вечность бесподобная церковь Св. Петра в Лувене, лувенская библиотека и бесчисленные сокровища Термонда... Всем скорбящим и страдающим Германия неизменно отвечает одно и то же: разрушенное она заменит своими творениями. По ее представлению, пострадавшие только выиграют от того. Ее сатанинская гордость укрепляет ее в этом убеждении...

Немцы верят, что величие миру могут дать только они. Правда, на земле хранится много чудес, но они в кратчайший срок должны перейти в тевтонские руки — иначе им грозит затеряться и исчезнуть. Эти чудеса нуждаются еще в том, чтобы к ним немцы "руку приложили" и тем придали им окончательный блеск. Немцы желали бы, чтобы лучшие особенности человеческого существа находились под постоянным их контролем. Боже упаси дать волю сарказму и иронии! Вольный человеческий дух надо посадить на цепь! В тиски — вдохновение и чудесные порывы! Конечно, ученые, философы, художники, поэты не мешают, но Германия и об этом позаботится и в кратчайший срок создаст целые полки философов, ученых и музыкантов, которые будут рождаться, развиваться и творить согласно строго разработанному и

одобренному парламентом регламенту.

Довольно властвовать над нами свободному искусству! Мир не так уж молод, чтобы позволять себе подобные вылазки. Надо побольше серьезности, важности, грузности. Некоторая доля скуки, притворства и лицемерия делу не повредит! Искусство должно принять более определенные, строгие формы и оказывать такое же острое, резкое впечатление, как удар меча.

Нечего говорить, что весь мир содрогается при мысли о том, что когда-либо могут воцариться подобные жестокие формы искусства. Всем нам, нелицемерно любящим искусство, известно, что, постепенно эволюционируя, красота находила единство исключительно в разнообразии. В избранных, отмеченных Божиим перстом странах она расцветала либо единовременно, либо в разные, но последовательные периоды. Исключительное положение выпало в этом отношении на долю Франции, Фландрии и Италии. Но никогда и ни единая из этих стран не пожелала посредством жестоких мер внушить всем остальным нациям и народам свои представления о прекрасном, перевести их в свою эстетическую веру. Художественные влияния и веяния были взаимны и покоились на самых мирных и счастливых основаниях. Случались удачные совпадения. Так, в XV и XVI веках Италия представила всему миру на радость и удивление Фра-Анжелико, Верроккио, Ботичелли, Моссакио, а Фландрия ответила Ван-Эйком, Ван-дер-Гоэсом, Мемлингом, Давидом, Ван-дер-Войденом.

Несколько позже наряду с Рени, Доминикеном, Албаном, Каравахом стали Рубенс, Ван-Дейк, Сегер Корнель де-Восс, Крейер, Жорден, Тениер. Испания в свою очередь и в то же время выдвинула: Веласкеца, Эррера, Рибера, Цюрбарна, Мурильо. Голландия — Рембрандта, Вермера, Рюисделя, Гобемма, Фабрициуса, Стеена, Галса, Питера де-Гоога. Франция — Пуссена, Клода Лоррена, Дюге, Лезюра и Калло.

Во все времена и эпохи, в зависимости от страны, в которой искусство развивалось, оно было либо спиритуалистическим, либо реалистическим и принимало то аскетические, то сенсуальные формы. Вдоль стен XV и XVII веков тянулась единственная гирлянда, но гирлянда эта была сплетена из самых разнообразных цветов. Такого могучего тяготения к красоте наши времена, пожалуй, не знают. Можно смело сказать, что средние века уподобились античным, если только не превзошли их.

Если бы Германия вышла победительницей из настоящей войны, никогда не было бы места подобному расцвету искусства, даже при том условии, если бы мир родил такое же количество гениев, как в XVII веке. Германия систематически и докторально — иначе выразиться нельзя! — рвет все те нежные и тонкие нити, которые соединяют артиста с его средой. Желание Германии править, властвовать, милитаризовать все, что попадается на пути, пугает творца шедевров. Вполне возможно, что в Германии вскоре будет издан приказ, согласно которому все произведения искусства должны создаваться по мюнхенским или же берлинским образцам.

Надо думать, что после войны к новой жизни возродится национальное и даже националистическое искусство. Покорив тевтона, каждый из нас вдвое, втрое больше и сильнее привяжется к тому

клочку земли, которого он чуть было навеки не лишился. Несомненно народятся новые, но и воскреснут старые школы, и, быть может, в ближайшие мирные времена расцвет искусства достигнет величайших степеней. Как после Иены, Германия сконцентрируется в узких своих границах. Она соберет воедино все оставшиеся силы и с присущей ей энергией, подбодряемая отчаянием и чувством мести, станет залечивать свои тяжкие раны. Искусство, которое было отведено на самый задний план в период безумств и насилия, будет возвращено на подобающее ему место. Это явление встретит горячий и сочувственный отклик во всех друзьях цивилизации.

Ресурсы народа – подобны слоям земли. То обрабатываются глубочайшие слои, то средние, то самые поверхностные, открытые нашему глазу. Очень возможно, что тотчас же с окончанием войны немцы начнуть эксплуатировать те самые слои, которые некогда подарили нам Гёте и Шиллера, и надолго в пренебрежении останутся слои, вскормившие Молтке и Бисмарка.

Мы от всей души должны будем приветствовать расцвет германского искусства. Во-первых, во имя счастья и Красоты мира. Во-вторых, из желания, чтобы новые, пышные цветы затянули страшное болото преступлений, которыми Германия поразила весь свет.

Все те, кто мечтает о полном уничтожении Германии, забывают, что невозможно уничтожить, извести молодой и сильный народ. Это не удается даже по отношению к древним и дряхлым народам, которые вымирают постепенно и все же стойко цепляются за каждую возможность.

Германию нельзя уничтожить, но с ней надо, необходимо бороться. Франция, Англия и Россия должны отныне жить не только в доверии друг к другу, но и в недоверии к врагу, который в любую минуту, набравшись сил, может повторить старое и страшное. До поры до времени за Германией следует наблюдать и подавлять все ее преступные порывы. Ее руки должны немедленно в полном безволии вытянуться вдоль бедер тотчас же после того, как они с грозным видом подымутся над Европой и миром. Повторяю, мы не должны стремиться к тому, чтобы убить Германию. Достаточно того, что в течение известного промежутка времени она будет зажата в наших тисках. Никто до войны не стремился к тому, но во имя грядущего мира известное насилие нужно, полезно и разумно. Еще более крайние меры надо принять по отношению к германскому императору, пребывание которого на свободе грозит большими последствиями.

1915 г., № 9

# Военная хроника и мелочи

## Мучительный вопрос

На столбцах французских газет и журналов определенно поставлен страшный вопрос: "Должен ли появиться на свет Божий ребенок преступника?" В последней книжке журнала "Revue Hebdomadaire" сообщаются первые результаты анкеты под названием "L'enfant du crime doit-il naitre?" Повсюду, со всех сторон слышится один и

тот же вопрос: "Как быть?" Начинают выясняться результаты постыдных действий насильников, и необходимо теперь же принять решительные меры. Согласно официальным сведениям, число пострадавших и подвергшихся насилию женщин и девушек гораздо больше того, чем можно думать. Католические священники, равно как и протестантские пасторы, должны определенно ответить на вопрос: "Как же быть?" К разрешению этого вопроса следует отнестись как можно более деликатно и осторожно.

Редакция журнала "Revue Hebdomadaire" задумала устроить анкету и обратиться к выдающимся общественным деятелям, желая узнать их мнение, выслушать их совет. Полученные ответы дадут возможность выработать меры, с выполнением которых необходимо будет поспешить.

Вопросы расчленяются:

1. Должен ли родиться ребенок преступника?

2. Какими мерами следует предупредить появление на свет Божий этого ребенка?

3. Должна ли пострадавшая пользоваться своими средствами или же заботы об изгнании плода должна взять на себя административная власть?

4. Что делать с детьми, которые все же родятся? Можно ли их оставить и воспитывать с остальными французскими детьми? Должно ли всех незаконнорожденных детей отцов-немцев отдать в специальный воспитательный приют?

Редакция обратилась с покорной просьбой ответить на поставленные вопросы с наибольшей искренностью.

В последней книжке журнала помещены ответы следующих лиц, отозвавшихся раньше всех остальных: философа Т. Рибо, моралиста и вице-председателя Академии моральных и политических наук Анри Жоли, известного эмбриолога М. Геннеги, прославленного аббата эльзасца Веттерле, писателя Виктора Маргерита и супруги покойного писателя Альфонса Доде.

**Т. Рибо пишет в ответ:**

"Позволю себе думать, что разрешение этого вопроса в каждом отдельном случае требует индивидуального разрешения. Я боюсь одного: несчастные младенцы, неповинные в подлом поведении своих отцов, со временем создадут особый клан париев".

**А. Жоли:**

"Постараюсь ответить на ваш вопрос с возможной определенностью. Одно дело — оправдывать известный поступок женщины или девушки. Другое дело — посоветовать этой женщине или девушке убить зародыш в чреве своем. К сожалению, в последнее время к этому вопросу относятся с непростительной мягкостью. Я лично не беру на себя смелость сказать твердо: "Убейте дитя!" Никто из нас не имеет права сделать это. Вот мой ответ на первый вопрос. Что же касается детей, то скажу следующее: всех родившихся от немцев детей должно немедленно отправить в специальное учреждение, таким образом с первого же дня будет порвана связь младенцев с матерями. Принять в свою среду немцев или хотя бы их детей мы не можем и не смеем".

**М. Геннеги:**

"С принципиальной точки зрения, ребенок должен исчез-

нуть с лица земли. Отпрыск подлых убийц не смеет носить французское имя. К матерям, которые найдут в себе силу убить младенца, мы должны отнестись с почтением и даже преклонением. Но, конечно, не от всех матерей мы можем ждать такой решительности. Аборт как убийство является преступлением, но убить врага на поле сражения — геройский подвиг. Каждый врач должен немедленно отозваться на призыв жертвы, против своей воли зачавшей. Если же в отдельных случаях дитя и появится на свет, то оставлять его во французской семье невозможно. Всех, рассуждающих иначе, можно только пожалеть. Можно усомниться также в их патриотизме. Я пойду дальше и заявлю, что матери, которые намереваются в своем же доме воспитывать детей от немцев-отцов, — изменницы, которых необходимо расстрелять. Впрочем, в виде наказания их можно выдать замуж за немцев. Выйдут прекрасные парочки. Я знаю, меня обвинят в жестокости, но ничего другого я не могу предложить".

**Аббат Веттерле:**

"Ни божеские, ни человеческие законы не допускают умерщвления плода в чреве матери. Недопустимо преступными мерами уничтожать плод преступления. Dura lex, sed lex. Но в то же время я считаю вполне законным, если мать найдет необходимым тотчас же по рождении нежеланного ребенка избавиться от него еще до того, как впервые взглянет на него. Ребенок этот всегда останется для нее живым источником горестных воспоминаний и страданий. Я полагаю, что все имеющие родиться младенцы от немцев-отцов должны быть внесены в списки незаконнорожденных и отправлены в специальные приюты для подкидышей".

**Супруга Альфонса Доде:**

"Уверена, что ваш призыв найдет горячий отклик в душах всех патриотов и вообще людей, сочувствующих горю ближних. Полагаю, что нет никакого закона, который позволил бы убивать то, чему сам Господь Бог дал жизнь. С другой стороны, я хочу указать на тот взгляд, которого всегда придерживался великий врач Потэн: "Появлением своим ребенок обязан исключительно матери. И после появления на свет ребенок больше подвергается воздействию матери, нежели отца". Это факт, который почти не нуждается в доказательствах. Поэтому я категорически восстаю против мысли об аборте, но всецело присоединяюсь к предложению, что для незаконнорожденных детей от немцев необходимо учредить специальный приют и тем раз навсегда порвать связь ребенка с матерью. С течением времени можно будет создать большую колонию, преследующую благотворительные цели".

**В. Маргерит:**

"Дитя, о котором идет речь, должно родиться! Имеются высшие законы, с которыми мы не можем не считаться. Я неоднократно оправдывал случаи аборта, принимая во внимание те или иные обстоятельства. Я старался отбросить эгоистические соображения и нередко выносил оправдательный вердикт тем, кого осуждали судьи. Весьма возможно, что и в данном случае гг. судьи не пожелают считаться с трагическими обстоятельствами, при которых имело место зачатие, и предадут той или иной казни женщину, прибегшую к аборту. В настоящем случае

я отрицательно отношусь к аборту по совершенно иным соображениям. Эти дети должны будут явиться живым и страшным укором немцам-варварам. Указывая на них, мы всегда будем напоминать варварам, на какое отношение с нашей стороны они могут рассчитывать. О лучшем реванше с нашей стороны и думать нельзя. Само собой, что все эти дети должны быть собраны в особом учреждении, которому можно дать хотя бы такое наименование: "Немцам в назидание".

1915 г., № 5

## *Золото – залог победы*

Золото — нерв войны! Так в одной из своих речей выразился французский министр финансов Рибо. Выяснив в парламенте все значение золотой наличности, он обратился на имя управляющего государственного банка Республики со следующим письмом:

"Милостивый государь, г. Паллен! Часть депутатов французского парламента выразила желание, чтобы государственный банк открыл временное отделение для приема золотых монет и золота в разных видах от частных лиц. Золото это должно приниматься в обмен на государственные кредитные билеты. Идя навстречу такому желанию, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой принять все зависящие от Вас меры для того, чтобы желания депутатов вылились в реальные формы..."

Письмо это было отправлено в последних числах июня сего года, а 1 июля открылся прием золота в государственный банк и его отделения. У нас имеются официальные данные с 1 июля по 12 августа включительно, и по этим данным мы можем судить, насколько горячо французское население отозвалось на призыв г. Рибо.

За шесть недель французский банк получил золота на 415 000 000 франков. Следует признать, что в этом отношении французы оставили далеко позади себя и англичан, и русских, и немцев, и итальянцев.

Из кого главным образом вербуется контингент сдающих золото? Из самых разнообразных классов населения! В одинаковой мере свое здоровое патриотическое чувство проявили мужчины и женщины, богатые и бедные, рантье и люди, живущие трудами рук своих, буржуа и крестьяне, лица духовного звания, педагоги, военные, школьники, ремесленники и родовитые аристократы. В первый день открытия кассы для приема золота у решетчатого окошечка ждало два клиента: один принес золота на 500 франков, другой — на 20 франков. Через три часа у кассы стоял хвост в 75 человек. 16 июля в банк явился некий неизвестный в сопровождении слуги, который с видимым усилием нес кожаный чемодан. В этом чемодане оказалось золота на 200 000 франков. Неизвестный получил квитанцию, но отказался открыть свое имя.

За первую неделю, с 1 по 8 июля, парижское и провинциальные отделения банка получили золота на 13 миллионов 500 тысяч франков. Вторая неделя принесла 41 500 000 франков. Третья неделя — 64 800 000 франков. Четвертая — 78 миллионов. Пятая — 92 миллиона. Шестая — 101 миллион. Золото продолжает поступать в возрастающей прогрессии. Полезную в этом отношении пропаганду вели наставники в школах, священники в храмах и высшие военные чины в своих

частях. Весьма интересно указать на то, что только одни солдаты с позиций прислали золота на 700 000 франков.

1915 г., № 10

## *Удушливые газы*

Много тяжких грехов на душе современных немцев, но несомненно самым тяжким грехом надо признать применение ими удушливых газов, на которые наши враги возлагали особые надежды.

Нельзя думать, что немцы, прибегнув к этому страшному, смертоноснейшему из средств, действовали вслепую, не отдавая себе отчета в последствиях. Долгие и многочисленные опыты производились в тиши ученых кабинетов и лабораторий. После лабораторий опыты были перенесены в так называемые "опытные траншеи", куда были согнаны несколько десятков, а затем и несколько сотен собак. "Опытные траншеи" были вырыты под Гентом, вблизи знаменитого гентского университета. На собак были выпущены струи страшных газов, и "великие немецкие ученые" с радостью констатировали благоприятные результаты напряженных трудов: все собаки до единой погибли в страшных мучениях.

Эти жестокие опыты наглядно доказали немцам, что смерть от химического удушения хоть и не наступает немедленно, но все же неизбежна... Правда, вскоре после первых немецких опытов к пользованию удушливыми газами перешли и союзные войска, но одновременно же французские и английские источники довели до всеобщего сведения, что газы французского или английского происхождения, в отличие от немецких газов, производят лишь временный паралич воли и нисколько не отражаются на организме пострадавшего.

Первые опыты были произведены немцами 22 апреля над канадскими войсками. Воспользовавшись легким северно-восточным ветром, немцы выпустили в сторону врагов довольно многочисленные струи удушливых газов, которые легким туманом стали подыматься над землей. Вслед за туманом поднялось зеленое облако, которое также на высоте двух-трех метров держалось над землей. Канадские солдаты, не подозревая опасности, таящейся в газах, не отступали и, напротив, с любопытством следили за приближением зеленого тумана. Газ выходил из вражеских траншей в виде клубов дыма.

Немедленный анализ выяснил, что основными частями газов были: сера, хлор и бром. Сернистые газы немцы добывали следующим довольно простым способом: они бросали серу на деревянный уголь или же кокс. Громадные костры были расположены вдоль германских траншей. Солдаты, пользуясь подходящими моментами, подбрасывали на костры серу и при помощи мехов направляли струи газов в сторону врагов. Вначале "операторы" явились первыми же жертвами этих опытов. Солдаты не считали нужным во всем придерживаться должных инструкций и жестоко поплатились за это. Ввиду большого числа жертв в германских траншеях первое время дежурили врачи, подававшие немедленную помощь.

Производство хлорных газов, столь же опасное, как и производство сернистых газов, поставлено, однако, на более строгую и научную почву. Газ доставляется в

траншеи в особых медных бутылях и находится в них под давлением пяти и больше атмосфер. Бутылки эти особым образом укрепляются на парапетах траншей, и с помощью приспособлений газ направляется в намеченную сторону. Производство жидкого хлора издавна поставлено в Германии на большую высоту. Эти газы являются в большинстве случаев отбросами производства, а ввиду того, что химическая промышленность развита в Германии как ни в какой другой стране Европы, легко понять, что у немцев нет недостатка в удушливых газах. Имеются известные основания уверждать, что значительные запасы удушливых газов были сделаны еще задолго до начала войны. Так, указывают на тот факт, что Крупп уже много лет назад изготовил пушку, которая заряжается бомбами с удушливыми газами. Описание этой пушки появилось во Франции еще два года назад. Если это утверждение верно, то несколько странным является тот факт, что немцы так поздно прибегли к пользованию удушливыми газами. Они неоднократно бывали в чрезвычайно критических обстоятельствах, и газы могли бы оказать им существенную пользу. Следует указать еще на то, что во время великих боев на Марне и Изере атмосферические явления были в пользу немцев, которые несомненно использовали бы это преимущество, имей они малейшую возможность. Ведь для пользования удушливыми газами, как и всякими газами вообще, необходимо содействие ветра. В период марнских боев ветер почти все время дул по направлению норд-зюд или же норд-вест – зюд-вест. Важно также, чтобы ветер был умеренной силы, в противном случае газы начинают кружиться в воздухе и одинаково губительно отражаются как на отравляющих, так и на отравляемых. Усвоить себе этот принцип может всякий, кто хоть раз следил за струей пара, вырывающегося из локомотива скорого поезда... Большую часть года атмосферные явления сказываются в пользу французов. Доминирующие ветры – западные и юго-западные – дуют по направлению от французских траншей к немецким. Таким образом, при "немецком отношении" к делу французы могли бы при помощи удушливых газов убить такое количество врагов, как и с помощью огнестрельного оружия и штыков, но до такой низости наши союзники еще не дошли. За целый год лишь сорок пять дней ветер дует в противоположную сторону и способствует планам немцев...

Учитывая тот несомненный факт, что пользование удушливыми газами в высшей степени опасно для немцев же, германский генеральный штаб решил иметь дело с теми же газами в несколько иной форме. Эти газы входят в состав бомб, которыми заряжаются особого устройства пушки. В ядра газ вводится под большим давлением. Нельзя сказать, чтобы такого рода дьявольское орудие борьбы приносило немцам большую пользу. Техника дела далеко еще не усовершенствована, но немцы не отчаиваются и надеются в скором времени устранить главный недостаток, который заключается в том, что вследствие сильного давления внутри газовые ядра разрываются еще до заряжения ими пушки. Ясно, что в таких случаях первыми жертвами взрыва являются те же немцы.

Немцы не успели, так сказать, еще наловчиться и привыкнуть к обращению с новыми средствами борьбы, как французы и англича-

не нашли отличное противодействие в виде антигазов, которые в последнее время находят большое применение и у нас, в России...

Немцы, предполагая, что французы пожелают применить к ним те же варварские средства, одновременно с газами придумали и средства борьбы с ними. Немцы преимущественно пользуются особого рода вентиляторами, которые рассеивают газы. Мы уже говорили выше, что для распространения газа необходимо содействие довольно слабого ветра. Чем сильнее ветер, тем слабее распространяется газ. И вот немцы пользуются для разбития хлористых, бромистых и сернистых испарений сильными вентиляторами или же пропеллерами, напоминающими пропеллеры воздухоплавательных машин. Благодаря этим аппаратам вредные газы рассеиваются и теряют до восьмидесяти процентов своей силы.

Повторяем: несмотря на тяжелые положения, в которых бывали союзные войска, против немцев не применялись такие возмутительные средства борьбы, как удушливые газы. Немцам это должно быть поставлено на вид. Война не будет продолжаться до бесконечности. Рано или поздно она кончится. Тогда же будут подведены счеты, и, надо думать, что если немцы не совсем потеряли Бога, они устыдятся всего содеянного и покаются в своих ужасных прегрешениях. И за применение удушливых газов, причиняющих невыносимые страдания и мучительную смерть, они должны будут поплатиться прежде и больше всего. Есть мера попустительству и прощению. Такие "выдумки" прощать нельзя.

1915 г., № 12

# Негритюд по-апдайковски

Д. Апдайк. *Переворот. Бразилия.* Романы / Перев. с англ. Т. А. Кудрявцевой, Н. В. Рейн. М.: ООО "Издательство АСТ", 2003

За Джоном Апдайком прочно закрепилась репутация умелого, хотя и скучноватого бытописателя американской провинции — по-кроличьи плодовитого автора пресноватых романов (не радующих ни сюжетной остротой, ни разнообразием характеров), в которых изысканным слогом описываются нудные будни благополучных американских обывателей. К счастью, время от времени "литературному лазутчику в Америке средних классов, бесплатных школ и супермаркетов" (как аттестовал себя Апдайк в книге мемуаров) надоедало тратить свои неисчерпаемые стилистические богатства на банальные адюльтерные истории из жизни сексуально озабоченных домохозяек и рефлектирующих торговцев автомобилями: несколько раз он выбирался из накатанной колеи и, как мог, осваивал новые территории.

Изданные под одной обложкой "Переворот" (1978) и "Бразилия" (1994) — девятый и шестнадцатый апдайковские романы, — появились как раз после подобных вылазок. Поскольку "Бразилия", эта гремучая смесь "магического реализма" с мыльной оперой, уже знакома российским апдайколюбам (в 1996 году "Вагриус" выпустил добротный перевод А. Патрикеева), поговорим-ка лучше о романе "Переворот", в свое время собравшем богатый урожай хвалебных отзывов в англоязычной прессе, а в нашей отчизне сразу же погребенном в недрах спецхранов. Даже малодоступный журнал "Современная литература за рубежом", обычно оперативно откликавшийся на новинки западного книжного рынка, не удостоил "Переворот" рецензией. Оно и понятно: в эпоху "застоя" такой роман не мог быть допущен до простых граждан, ибо в нем с непочтительной иронией повествуется о просоветски настроенном правителе западноафриканского государства Куш, по воле Апдайка возникшего на месте французской колонии Нуар.

Территория — 126 912 180 гектаров; плотность населения — 0,3 человека на гектар; средняя продолжительность жизни — 37 лет; "валового национального продукта на душу населения производится на 79 долларов, грамотность составляет 6 процентов"; основные статьи экспорта — земляные орехи и соль. "Форма правления — конституционная монархия, при этом действие конституции приостановлено, а монарх низложен. Исполнительную власть на переходный период осуществляет Чрезвычайный Верховный Революционный и Военный Совет (ЧВРВС) <...>; он же является законодательным органом. Все свои решения Совет принимает исходя из положений чистого и окончательно победившего социализма, каким представлял его себе Маркс, и теократического популизма реформаторских направлений ислама".

В Совете заправляет главный герой романа — полковник Хаким Феликс Эллелу, от чьего лица и ведется повествование. Некогда солдат французских колониальных войск, сражавшийся в Индокитае и дезертировавший после

перевода в Алжир, затем студент колледжа Маккарти во Фрэнчайзе (Висконсин), испытывавший к приютившей его Америке мучительную любовь-ненависть, по возвращении на родину он выбился в ближайшие помощники "ставленника галльских империалистов" короля Эдума IV, а после присоединился к революционной хунте, которую в конце концов и возглавил, убрав конкурента (о чем бегло упоминается в начале романа).

Не подумайте, что перед нами изворотливый и кровожадный изверг, вроде тирана из "Осени патриарха". Герой-повествователь "Переворота", любящий власть столь же сильно, сколь и свою затерянную среди песчаных пустынь родину, скорее является литературным потомком злополучного Сета из "Черной напасти" — такой же бескорыстный пленник идеи. Правда, в отличие от императора-реформатора, он люто ненавидит западную цивилизацию, погрязшую "в материализме и его свинском удушении духа", и лелеет мечту об особом пути для Куша. Только вот незадача: Куш, этот "край изысканной, чудесной пустоты", опровергает все проверенные марксистские схемы. После переворота Эллелу и его сподвижники обнаружили, что в стране нечего национализировать. "Наш министр промышленности стал искать заводы для национализации — их не оказалось. Министр сельского хозяйства искал крупные земельные угодья, чтобы отобрать их и разделить, и обнаружил, что бóльшая часть земли в юридическом смысле слова никому не принадлежит. Нищета была налицо, а угнетения не было — как такое возможно?" — жалуется пламенный революционер в минуту тягостных сомнений.

Тем не менее апдайковский герой, фанатически преданный смутным идеалам "исламского марксизма", стремится "освободить Куш от тирании материального мира" и всячески противится экономической экспансии "белых дьяволов", стремящихся "приобщиться" к природным ресурсам его чахлой державы. Во время пятилетней засухи, поразившей Куш, он даже сжигает присланный из США груз дешевой гуманитарной помощи, а заодно — не в меру ретивого американского дипломата, догадавшегося соблазнять подыхающих от жажды аборигенов чипсами и порошковым молоком.

Словно Гарун-аль-Рашид, неутомимый председатель ЧВРВС переодевается нищим или торговцем апельсинами (что при отсутствии апельсинов в истощенной засухой стране выглядит несколько комично) и в сопровождении небольшой охраны рыщет по Кушу, выявляя крамолу, а при необходимости — обрушивая на малосознательных граждан бурные потоки громоподобной риторики, в которой марксистские формулы перемежаются цитатами из Корана. Увы, словесное изобилие мало помогает диктатору-идеалисту: оградить Куш от тлетворного влияния "неверных" ему не удается. Даже его любимая жена (у него их четыре) непатриотично слушает западные радиостанции и распевает американские шлягеры. Во время очередной поездки незадачливый правитель обнаруживает свободную экономическую зону, которая возникла благодаря тайным переговорам его прагматичных соратников с коварными янки, намертво присосавшимися к новонайденному месторождению нефти. Попытка зажечь массы вдохновенной речью и подвигнуть их на уничтожение нефтедобывающего комплекса заканчивается позорной неудачей. Толпа награждает Эллелу плевками и зуботычинами: обещанная американцами бесплатная раздача пива привлекает кушитов гораздо больше, чем его пафосные филиппики. Некогда всесильный диктатор превращается в бесполезную по-

гремушку. В довершение всех бед ему изменяет ближайшее окружение; он отстраняется от власти и отправляется в почетную ссылку на юг Франции.

В общем, уже из беглого пересказа фабулы можно понять, что в "Перевороте", высмеивающем как циничное политиканство сверхдержав, так и карликовые диктаторские режимы с их комичными потугами на "особый путь", Апдайку наконец-то удалось создать яркий и запоминающийся характер, а также устранить роковой изъян прежних романов, на который указывали многие критики: дисбаланс между цветистой роскошью стиля и сюжетом (как правило, беспозвоночным и малокровным). Едва ли по части изящных сюжетных поворотов и композиционной изобретательности автор "Переворота" превзошел создателей "Черной напасти" или "Осени патриарха", однако нельзя не признать, что в этом романе (на мой взгляд, одном из лучших за всю его писательскую карьеру) Апдайк удачно совместил выразительную пластичность описаний с увлекательным сюжетом, едкую сатиру — с лиризмом, фарс — с трагедией и главное — направил свою острую наблюдательность гораздо глубже гладкой поверхности устоявшегося быта и современных ему общественных нравов (которой довольствовался, скажем, в "Супружеских парах" или "Давай поженимся"). Под радужной пленкой распрекрасных политических лозунгов, как "либеральных", так и "почвенных", писатель сумел разглядеть кипящую лаву эгоистических страстей, разрушающих и государства, и человеческие души, — страстей, разодравших на клочки и нашу, казалось бы незыблемую, державу.

Что ж, остается пожелать российским книгочеям приятных впечатлений от "нового" Апдайка, а также посетовать на то, что писатель не так уж часто позволял себе плодотворные творческие командировки — подальше от скучных супермаркетов и асфальтовых пустырей бытовизма.

Николай Мельников



# Писатель и его тень

В. Тейтельбойм. *Два Борхеса: Жизнь, сновидения, загадки* / Перев. с исп. Ю. Ванникова. СПб.: Азбука, 2003

Почти все великие книги, написанные в XX веке, уже переведены на русский язык. Некоторые из них перечитаны много раз, некоторые еще только читаются. Но насыщение уже произошло, и желание *чтения* сменилось желанием *понимания*. Понимание же текста невозможно без знания того, кем он написан. Вероятно, поэтому сейчас так возрос интерес к дневникам, письмам, интервью многих зарубежных писателей, которые лет двадцать-тридцать назад существовали для русского читателя лишь в виде короткой строки в каком-нибудь журнальном обзоре. Теперь же настает время их подробных биографий.

Первые сборники Хорхе Луиса Борхеса (1899—1986) на русском языке вышли без малого два десятилетия назад. Несмотря на их вынужденную неполноту, они уже тогда смогли дать представление о его творчестве, глубину и оригинальность которого еще только предстояло осознать. Ныне библиография Борхеса на русском языке насчитывает несколько десятков разнообразных сборников, трехтомное (Рига, 1994) и четырехтомное (СПб., 2000-2001) Собрания сочинений, множество публикаций в периодике. "Канонический" Борхес переведен почти полностью, ждут своего часа лишь часть стихов и ранних эссе (а также две книги "Несобранного" и несколько сборников устных

выступлений и интервью). Хотя когда и они будут опубликованы по-русски, общую картину восприятия творчества великого аргентинца в России это не изменит.

А отношение к нему русских интеллектуалов было и остается почти восторженным. Уже недостаточно просто сказать, что он стал "модным" или "культовым" писателем. Словом "Борхес" можно назвать образ мышления, стиль обращения с фактами и цитирования источников. Интерес к нему огромен. Поэтому неудивительно, что именно его биографией издательство "Азбука" открыло новую серию "Curriculum vitae", посвященную жизнеописаниям зарубежных писателей ушедшего века.

Существует множество самых разнообразных книг о Борхесе, написанных самыми разными людьми. О нем писали и друзья, и враги, и близкие родственники, и случайные журналисты. Однако то, что за биографию Борхеса взялся именно Володя Тейтельбойм, кажется странным. Его книга о Пабло Неруде (изданная по-русски в 1988 году) была следствием преклонения чилийского писателя перед своим прославленным соотечественником, лауреатом Нобелевской премии, близким ему и по духу, и по политическим взглядам. Но коммунист до мозга костей, бывший секретарь компартии Чили Тейтельбойм и "независимый антикоммунист" (по собственному определению), консерватор Борхес... Это сочетание выглядит парадоксом.

С первых страниц удивляет то, что Тейтельбойм относится к своему герою довольно прохладно. Между строк часто сквозит ирония, двусмысленные похвалы сменяются строками, полными искренней (впрочем, искусно скрытой) неприязни. Более того, создается ощущение, что автор книги при каждом удобном случае стремится уйти от жизнеописания своего героя. Он заводит речь то о своих встречах с латиноамериканскими писателями, которых Борхес случайно упомянул в своих эссе, то о диктатуре Пиночета, то о книге Ленина "Материализм и эмпириокритицизм". Эту пестроту подчеркивает и структура книги, состоящая из двухсот пятидесяти трех маленьких, по две-три страницы, главок, в каждой из которых присутствует свой "микросюжет". Когда же Тейтельбойм все же возвращается к Борхесу, то ему не удается ни связно уследить за фактами его биографии (хроника жизни и творчества Борхеса в последнем томе его "петербургского" Собрания сочинений, составленная Борисом Дубиным, право, выглядит куда более насыщенной), ни проанализировать его литературный путь. Гораздо больше внимания он уделяет политическим взглядам и высказываниям Борхеса, его отношениям с женщинами и с матерью. Психоаналитический портрет Борхеса, нарисованный Тейтельбоймом, ярок и убедителен — но он заслоняет фигуру автора "Вымышленных историй", "Алефа" и "Книги Песка". Суждения же о литературном творчестве Борхеса получаются у биографа субъективными, бессвязными, а то и просто вторичными. Справедливости ради следует сказать, что иногда они не лишены меткости: "Борхес — мастер переупорядочивания и составления, чувствующий себя вправе делать любые изменения. Он с явным удовольствием предается искусству создавать расширенные и измененные версии. Он пишет основательные и обстоятельные предисловия почти ко всем своим книгам, незаметно тасуя свои новые идеи и прежние раздумья". Отсюда, заметим, идет и его страсть к разного рода энциклопедиям и антологиям.

Тейтельбом порицает Борхеса за узость мысли, за самоповторы, за жонглирование одними и теми же цитатами и упоминание одних и тех же значимых для него авторов. Вот характерный фрагмент: "Став священной коровой арген-

тинской литературы, он (Борхес. — *А. Б.*) чувствовал себя теперь статуей на городской площади. <...> Кто читал многочисленные и объемистые его интервью и беседы и видел видеозаписи разговоров с этим писателем, который уже ничего не писал рукой, а только говорил, стараясь превратить в произведение искусства свою иронию, автоиронию и даже экстравагантные выходки матери, тот не может не восхититься, если, конечно, он изначально благорасположен к Борхесу, ярким фейерверком его остроумия. Но другие, кого не заворожила ловкость рук фокусника, с неудовольствием замечают постоянное обращение к одним и тем же темам, будто слабо орошаемый мозг автора, лишенный к тому же нового жизненного опыта, окончательно замкнулся в архиве прошлого". Выше автор книги прямо аттестует своего героя как "знаменитого книжного червя".

Есть в книге и несомненно удачные места. Например, страницы посвященные последним годам, месяцам и дням жизни Борхеса. Старик понимает старика, несмотря на все политические и творческие расхождения. Неожиданно тепло отзывается Тейтельбойм о Марии Кодаме, жене Борхеса, женщине, глазами которой он видел мир в последние десять лет жизни. С негодованием — о церковниках, пытавшихся "присвоить" атеиста Борхеса после его смерти, об аргентинских журналистах, которые пытались устроить из его смерти шоу. К несомненным достоинствам следует отнести и то, как рассказывается история о неполучении Борхесом Нобелевской премии. Удачны и вкрапленные в повествование микроэссе о малоизвестных в России Роберто Арльте, Леопольдо Лугонесе, Рауле Гонсалесе Туньоне[1].

1. Кстати, именно при поддержке последнего в начале 1980 гг. несколько стихов и рассказов Борхеса были опубликованы в СССР.

Впрочем, к образу главного героя книги они почти ничего не добавляют.

В конце книги Тейтельбойм подводит итог своим размышлениям о Борхесе и объясняет, почему он так, а не иначе назвал книгу о нем. "Большинство аргентинцев не прочитали ни одной книги Борхеса. Но все знают, кто он такой. Одних он забавлял, у других вызывал негодование. Одни его обожествляли, другие ненавидели. Сам Борхес догадывался о своих двух лицах. Одно его лицо создается его произведениями, другое не связано с литературой. В этом двойственном образе улица различает прежде всего Борхеса-полемиста, мрачного соблазнителя и безжалостного насмешника". Если это и так, то к нам, русским читателям, Борхес повернут только одним своим лицом. Многие ли в России слышали его политические заявления, публичные лекции и телевизионные интервью? А книги его читали все, кто хоть в малой степени интересуется литературой. И были рады тому, что в них открывали.

Издана книга добросовестно, она содержит подборку фотографий (в основном, правда, неоднократно публиковавшихся), комментарии и даже указатель имен. Но не обошлось и без недочетов. Так, некоторые названия произведений Борхеса переведены не совсем корректно. К примеру, сборники стихотворений "Elogia de la sombra" (1969) и "La cifra" (1981) переведены как "Похвала темноте" и "Цифра". Если же мы обратимся к заглавным стихотворениям этих сборников, то увидим, что в первом из них идет речь о тьме, которая окружает слепца, а во втором повествуется не о "цифре", а о некоем тайном послании, полученном автором стихотворения. Поэтому более правильно, думается, переводить их так, как это делалось ранее: "Хвала тьме" и "Тайнопись". Вопреки устоявшимся традициям, переводчик по-свое-

му именует “Трактат о принципах человеческого знания” Дж. Беркли (в книге: “Трактат об основах человеческого познания”); несколько неожиданным выглядит в тексте и заглавие самой известной книги Де Куинси — “Исповедь одного англичанина — курильщика опия”, а роман Флобера “Бувар и Пекюше” назван “Бувар и Пекюш”. К слову замечу, что жанр “Сартора Резартуса” Карлейля вряд ли можно определить как “работа”, да и само его название корректнее передавать латиницей.

Еще один минус: не унифицированы названия некоторых журналов и произведений Борхеса. Так, журнал “Sur” (“Юг”), в котором он сотрудничал, передается и как “Юг”, и как “Сур”; один из учебников, написанных Борхесом в соавторстве, именуется то “Древнегерманские литературы”, то “Древние германские литературы”. Есть досадные неточности и в транскрибировании некоторых имен: В. Беньямин, Ж. Бодрийяр и Ж. Л. Бюффон в книге названы Бенджамином, Бодрильяром и Буффоном (кстати, афоризм последнего — не “Человек — это стиль”, но “Стиль — это человек”), а У. Цвингли превратился в неведомого Зунгли.

Не могу не указать еще на одну неточность, которая, скорее, на совести автора, а не его издателей. В конце книги Тейтельбойм помещает своеобразную автобиографию Борхеса, которая якобы будет опубликована в 2014 году в “Южноамериканской энциклопедии”. Так вот, вопреки уверениям автора книги, он приводит ее не “без изменений”, а выпустив довольно существенный фрагмент. Да и сама эта энциклопедия, согласно предсказанию Борхеса, должна выйти не в 2014, а в 2074 году.

Отрадно, что “Азбука” рискнула начать такую необходимую серию; еще отраднее, что первой в ней вышла книга именно про Борхеса. Хотелось бы надеяться, что это не последняя его биография на русском языке, что за ней последуют и другие — написанные людьми, более близкими ему как по стилю мышления, так и по духу.

Алексей Балакин

# *У книжной витрины*



с Константином Мильчиным

Сарамаго Ж. *Год смерти Рикардо Рейса.* Роман / Пер. с португ. А. Богдановского. — М.: Махаон, 2003. — 704 с. — (Современная классика). 10000 экз. (п)

Португальский поэт Фернандо Пессоа писал стихи не только от своего имени, но и от имени неких вымышленных персонажей. Каждый из его *гетеронимов* имел свою биографию и собственный поэтический голос. Рикардо Рейс, например, был врачом и сочинял горацианские оды. Спустя полвека эту игру продолжил нобелевский лауреат Жозе Сарамаго. После смерти Пессоа призрак поэта и выдуманный им герой встречаются и ведут беседы. Блестящий перевод Александра Богдановского.

Сейфферт Р. *Темная комната:* Роман / Пер. с англ. О. Качановой. — М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. — 445 с. — (Премия Букера: Избранное). 5000 экз. (п)

Дочь австралийца и немки Рейчел Сейфферт пишет о немецких проблемах. О том, как после войны немцам было тяжело осознать, что рассказы о преступлениях нацистов — правда, а не американская пропаганда. А также о том, как прошлое не дает им жить спокойно и сегодня. Обратите внимание на серию, в которой вышла книга: издательство "РОСМЭН" выпускает в ней романы, номинировавшиеся на английскую премию "Букер".

Фрай С. *Гиппопотам:* Роман / Пер. с англ. С. Ильина. — М.: Фантом Пресс, 2003. — 448 с. — (Зебра) 6000 экз. (п)

Гиппопотам — это журналист Тед Уоллис, старый пьянчуга и циник. Ему поручают расследовать скандал в благородном семействе: сынишка его школьного приятеля, мультимиллионера Майкла Логана, исцеляет любые болезни. В книге известного актера Стивена Фрая есть все атрибуты классического английского романа: эпистолярная форма, старинный замок где-то в восточных графствах и, конечно, английский юмор.

Бенаквиста Т. *Сага:* Роман / Пер. с франц. И. Найденкова. — Спб.: Амфора, 2003. — 446 с. 5000 экз. (п)

Крупный французский телеканал вызвал недовольство властей: он показывает только американские сериалы. А как же отечественный (французский) производитель? О'кей, сказали телебоссы, мы вам сейчас таких картинок наснимаем... И собрали команду из четырех сценаристов-неудачников, чтобы сделать самый-самый дешевый сериал в истории телевидения. Но в итоге именно этот проект приобрел у зрителей бешеную популярность. Ироническая история о том, как делают мыло. Перевод, увы, оставляет желать лучшего.

Пулман Ф. *Северное сияние:* Роман / Пер. с англ. В. Голышева и В. Бабкова. — М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. — 445 с. 20000 экз. (п)

Книги Филиппа Пулмана в Англии продаются не хуже романов Джоан Роллинг. Девочка Лира и ее личный даймон (некий дух, который рождается и живет вместе с

человеком) Пантелеймон покорили сердца как маленьких, так и больших англичан. События трилогии "Темные начала" ("Северное сияние" — первая часть) разворачиваются в альтернативной Европе, где рядом с первыми фотоаппаратами и дирижаблями уживаются боевые луки. Отличный перевод В. Голышева и В. Бабкова.

Жижек С. *Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие.* Пер. со словенск. — М.: Художественный журнал, прагматика культуры, 2003. — 184 с. (Архив XXI века). Тираж не указан (п)

Философ Славой Жижек не только самый известный в мире словенец. Он из тех редких левых философов, которых можно читать не только профессионалам. Социализм и христианство, Сталин как Авраам, а Бухарин как Исаак. Это уже вторая книга Жижека на русском (первая, "Добро пожаловать в пустыню реального", вышла в конце 2002 года).

Баллард Дж. *Суперканны*: Роман / Пер. с англ. Г. Крылова. М.: ЭКСМО; СПБ.: Домино, 2003. — 544 с. 4000 экз. (п)

На юге Франции, около города Канны, создана гигантская бизнес-резервация, где размещены штаб-квартиры крупнейших мировых концернов. Под защитой бдительных охранников здесь трудится элита мирового бизнеса. Рай на земле — ни болезней, ни преступлений. Но вдруг в парадизе происходит страшное убийство: чудак-доктор расстрелял десять человек. Уж не прогнило ли что в славном королевстве? Особо рекомендуется фанатам Уэльбека.

Абигнейл Ф. У. *Поймай меня, если сможешь*: Роман / Пер. с англ. — М.: Эт Сетера Паблишинг, 2003. — 248 с. Тираж не указан. (о)

Помните фильм с таким же названием, где играли Том Хэнкс и Леонардо Ди Каприо? В книге рассказывается реальная история жулика, сыгранного Ди Каприо. Гениального жулика, который с пятнадцати лет обманывал людей. В основном кассиров в банках: получал деньги по чекам с пустых счетов — ведь никто на деле эти счета не проверяет. А чтобы вызвать доверие, мошенник придумал наряжаться летчиком, потому что летчиков все уважают.

Озуф М. *Революционный праздник: 1789–1799* / Пер. с франц. Е. Ляминой. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — (Studia Historica). Тираж не указ. (п)

Великая французская революция, уничтожив старый строй, попыталась изменить и сам уклад французского общества. Покончить со старой верой. Наглядной демонстрацией нового должны были стать революционные праздники. Как эти праздники проводились и как со временем менялись — об этом рассказывается в исследовании французского историка Моны Озуф.

Карель П. *Восточный фронт.* В двух книгах / Пер. с нем. — М.: Изографус, ЭКСМО, 2003. Кн. 1 560 с. Кн. 2 432 с. 5000 экз. (п)

Вторая мировая война. Восточный фронт. Взгляд из Германии. Как немцы шли победоносным маршем по советским степям и лесам — в 1941—1942 годах, и как они потом, замерзая, ползли назад. Компиляция из многочисленных воспоминаний — и генералов, и простых солдат. Война, какой ее видели из окопов. Отдельно стоит отметить прекрасный подбор фотографий, в том числе и уникальные снимки из частных немецких коллекций.

## Аргентина

### Литературный дуэт Борхеса и Касареса

Крупнейшие аргентинские писатели XX века Хорхе Луис Борхес и Адольфо Бьой Касарес познакомились в 1932 году на светском рауте Виктории Окампо, будущей жены Касареса. "Прием был организован в честь одного именитого иностранца, - вспоминал много лет спустя Касарес. — Я увлекся беседой с Борхесом, и Виктория сделала нам замечание: нужно слушать гостя. Подслеповатый Борхес нечаянно опрокинул лампу, и это незначительное происшествие, должно быть, убедило Викторию в том, что ей не стоило нас прерывать, и посему мы продолжили общение". Общение не только продолжилось, но и стало началом плодотворного сотрудничества.

Среди совместных произведений Борхеса и Касареса наибольшей известностью пользуются детективные рассказы, многие из которых написаны под псевдонимом Онорий Бустос Домек. Однако ряд сочинений, разбросанных по архивам и частным коллекциям, до самого последнего времени так и оставался неизданным.

Исследовательницы Сара Луиса дель Каррил и Мерседес Рубио де Сокки собрали эти тексты и при содействии издательства "Эмесе" выпустили книгу "Музей". В нее вошли статьи, написанные для различных изданий, два киносценария и несколько переводов, опубликованных в журнале "Сур".

Самое интересное в сборнике — панегирик, описывающий достоинства кисломолочных продуктов. Это первое общее творение классиков, написанное по заказу крупной фирмы по производству молочных продуктов, принадлежавшей семье Касарес. За текстом в течение многих лет безуспешно охотились коллекционеры и библиофилы, но впервые он публикуется лишь теперь, в антологии "Музей".

Борхес и Касарес явно веселились, сочиняя эту блестящую шутку. Восхваляя на все лады достоинства йогуртов и рассуждая о благотворности полезных бактерий и заквасок, авторы стилизовали текст в духе "Естественной истории" Плиния, сдобрив его характерным для них юмором. Чего стоит, например, заявление о том, что йогурт дает человеку едва ли не бессмертие. В качестве доказательства Борхес и Касарес сослались на долгожителей, которыми якобы переполнена Болгария (где все питаются йогуртами): "Классическим примером может служить семья Петковых, состоящая из одиннадцати братьев, которым уже перевалило за сто лет, и их сестры Марии, дожившей пока до девяносто одного". Остается только гадать, над кем же потешались Борхес и Касарес: то ли над потенциальными потребителями йогуртов, то ли над заказавшими эту рекламу производителями?

В антологию также включены отзывы Борхеса и Касареса друг о друге. Борхес утверждал, что Касарес - его учитель; Касарес говорил, что сотрудничество с Борхесом чрезвычайно обогатило его творчески. "Произведения Бустоса Домека не похожи ни на то, что Бьой пишет без меня, ни на то, что я пишу без него, - заметил однажды Борхес. - Этот персонаж как бы существует, но только тогда, когда мы разговариваем".

## Великобритания

### Самое великое литературное начинание

"Я взялся за этот труд, будучи твердо убежден, что делаю богоугодное дело и выполняю свой долг. Надеюсь, что Бог даст мне силы довести его до конца". Так написал сэр Джеймс Марри, составитель знаменитого Оксфордского словаря английского языка, когда, наконец, почувствовал, что работа, которой он отдал более тридцати пяти лет жизни (с 1879-го по 1915-й), близится к завершению. К сожалению, ученый не дожил до публикации своего детища: он умер в 1915 году, добравшись только до буквы "T".

На остальные статьи потребовалось еще 13 лет, и лишь в 1928 году из печати вышел последний том. Первое издание Оксфордского словаря состояло из 12 томов общим объемом в 16 тысяч страниц и включало почти 415 тысяч статей, которые были проиллюстрированы 1 827 306 литературными примерами из произведений старых и новых английских авторов.

Разумеется, работа над словарем на этом не прекратилась. Мир не

стоял на месте, менялся и лексический состав языка. В 1933 году вышло первое приложение к Оксфордскому словарю, куда, наряду с прочим, были включены такие понятия, как радио, автомобиль, кино, психоанализ. Приложение бесплатно рассылалось подписчикам, которые в свое время не пожалели пятидесяти гиней на приобретение многотомного Оксфордского издания. Сорок лет спустя появилось еще одно приложение под редакцией Роберта Берчфилда — оно уже состояло из четырех томов и содержало еще 50 тысяч слов и выражений.

В 1989 году при университете Ватерлоо была создана электронная версия Оксфордского словаря, который за минувшие десятилетия так разросся, что в бумажном варианте занял бы не менее 40 томов.

Саймон Уинчестер, автор книги "Значение всего и вся. История Оксфордского словаря английского языка", рассказывает о создании этого уникального лексикографического труда и особенно подробно описывает подготовку первого издания и вклад добровольных сотрудников, чьи имена исчезли из более поздних редакций.

Об одном из них Саймон Уинчестер уже рассказывал в своей предыдущей книге "Профессор и сумасшедший. Рассказ об убийстве, безумии и создании Оксфордского словаря английского языка", которая после выхода в свет в 1998 году сразу стала бестселлером. Сюжет книги вкратце таков. Осознав, что своими силами им никогда не достигнуть намеченной цели, редакторы словаря обратились ко всем желающим — не только в Англии, но и в Канаде и США — с призывом помочь в сборе и обработке материала. На просьбу откликнулся некий человек по имени Уильям Честер Майнор, который стал регулярно присылать в Оксфордский университет конвертики с карточками, на которых аккуратным почерком были выписаны нужные литературные примеры, иллюстрирующие словарные статьи. Это продолжалось двадцать лет. Однажды профессор Марри решил повидать автора, чья работа отличалась редкостной точностью и дотошностью. Оказалось, что Уильям Честер Майнор обитал неподалеку от Оксфорда в тюремном приюте для душевнобольных, куда был заключен после того, как убил человека. Майнор страдал манией преследования.

Дело было так. Как-то поздним вечером, возвращаясь домой по темным лондонским улицам, Майнор услышал шаги за спиной. Недолго думая, он выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в прохожего. Как выяснилось, это был рабочий, шедший в ночную смену. Суд признал Майнора невменяемым и приговорил к пожизненному лечению. Работа над словарем стала для него искуплением вины и смыслом жизни. Майнор успел отыскать 12 тысяч цитат прежде, чем в приступе самобичевания покончил с собой.

Другим "неизвестным" помощником был американец по имени Фицэдуард Холл. В юности он много путешествовал по свету, изучая разные языки. Помимо французского, итальянского и греческого, Холл овладел хинди, санскритом, бенгальским и персидскими языками. Осев в Англии, он возглавил кафедру санскрита и английского права в Лондонском королевском колледже, но некоторое время спустя, разругавшись с коллегами, лишился всех почетных званий и приобрел прочную репутацию пьяницы и дебошира. После того как его оставила жена с детьми, Холл поселился на востоке Англии и стал затворником, посвятив работе над словарем оставшиеся двадцать лет жизни. Он совершенно бесплатно выискивал литературные примеры, вычитывал рукописи и редактировал словарные статьи.

Сотрудничество Фредерика Суитмана с редакцией словаря длилось рекордный срок — почти сорок три года. В 1898 году Суитман, основываясь на работах Пьера и Мари Кюри, написал определение слова "радий". Статья была отвергнута, поскольку редакция сочла ее излишне смелой, и вошла в приложение лишь в 1933 году.

Свой вклад в составление Оксфордского словаря внес и Джон Толкиен, который два года выполнял обязанности младшего редактора. Позднее он заметил, что "за это время получил больше знаний, чем в любые другие два года жизни".

Сведения о главном создателе Оксфордского словаря английского языка сэре Джеймсе Марри довольно скупы. Известно, что он родился в семье торговца мануфактурой, первые двадцать семь лет жизни провел в Шотландии, где самостоятельно изучил географию, геологию, астрономию, археологию и полдюжины языков. Почувствовав, что в тихой Шотландии он не найдет применения своим талантам, Марри отправился в Лондон, где

устроился банковским клерком. Одновременно он стал посещать разные научные общества и кружки. Широкий кругозор и способности самоучки вскоре были замечены. Марри пригласили преподавать в школе для мальчиков, а затем предложили возглавить редакцию по подготовке первого толкового словаря.

Стоит добавить, что, в отличие от некоторых своих добровольных помощников, Марри не был суровым аскетом. Он был отцом десяти детей, которым давал деньги на карманные расходы за расстановку карточек в алфавитном порядке. В 1943 году вышла биография Марри, написанная его третьим сыном Уилфридом, а в 1979 году — еще одна, принадлежащая перу его внучки Элизабет.

## Испания

### Фантазии на тему гарема

У среднестатистического европейца слово "гарем" обычно ассоциируется со знаменитыми сказками "Тысячи и одной ночи" — с прекрасными наложницами, залами, устланными мягкими коврами, атмосферой роскоши и истомы. Подобные представления прочно утвердились в массовом сознании благодаря мифу, который веками творили западноевропейские поэты и художники. Идиллическое видение Востока отчасти объяснялось недостатком достоверных знаний, которые восполнялись фантазиями. Запретное и недоступное становилось желанным и притягательным, будоражило творческое воображение.

Организаторы выставки "Фантазии на тему гарема и новые Шехерезады", состоявшейся в Барселонском центре современной культуры, поставили перед собой задачу сломать укоренившиеся в европейском сознании стереотипы, а также продемонстрировать сходство и различие мироощущений человека восточного и человека западного.

В первом разделе выставки посетители смогли познакомиться с манускриптами и книгами XVIII—XX веков, в том числе с разнообразными изданиями "Тысячи и одной ночи". На Западе сказка о жестоком правителе Шахрияре и мудрой дочери его визиря Шахерезаде, рассказывающей Шахрияру увлекательные сказки, стала известна благодаря вольному переводу на французский язык, сделанному Жаном Антуаном Галланом, и опубликованному между 1704 и 1717 годами. Этот перевод обратил взор европейцев к арабскому Востоку и оказал заметное влияние на творчество целого ряда писателей: Монтескье, Гауфа, Теннисона. По свидетельствам современников, одно из изданий Галлана хранилось в библиотеке у Пушкина. Необычайно высоко ценил сказки "Тысячи и одной ночи" Хорхе Луис Борхес, считавший, что "эту книгу читать не нужно, она запечатлена в нашей памяти".

Помимо переводов "Тысячи и одной ночи" на разные языки, на выставке демонстрировались путевые заметки и очерки европейских путешественников по Востоку, в том числе письма английской писательницы Мэри Монтегю, которой одной из первых, в 1764 году, удалось познакомиться с гаремом изнутри. Ее предшественником был некий англичанин Томас Даллам, который прибыл в Константинополь в 1599 году по приказу королевы Изабеллы Испанской, чтобы настроить орга́н, преподнесенный ею в подарок турецкому султану. Султан был так доволен работой мастера, что даже позволил тому приблизиться к своим наложницам.

Во втором разделе экспозиции "Виде́ния гарема" представлены восточные миниатюры и картины западноевропейских художников: Фортуни, Буше, Энгра, Делакруа. В цикле "Последний гарем" знаменитая "Одалиска в красных шароварах" Анри Матисса (1921) соседствует с фотографиями, иллюстрирующими улучшение положения женщины в Турции, произошедшее после официального запрета на гаре-

*Мария Фортуни. Одалиска. 1861 г.*

мы, введенного Ататюрком.

Реальный гарем — это изолированный микромир, войдя в который, девушки отрекаются от прежней жизни и получают новое имя. Их главная обязанность — выполнять супружеский и материнский долг. Организатор выставки Фатима Мернисси считает, что наложницы испытывали страх перед противоположным полом. Интересно, что ее бабушка, Лала Ясмина, попав в плен, была продана на невольничьем рынке в фесский гарем, где провела около пятнадцати лет. Сама Фатима, активистка женского движения, награжденная в Испании премией принца Астурийского, в 1984 году издала книгу "Марокко глазами женщины", а чуть позднее — "Политический гарем", где выдвинула довольно смелое утверждение: послание пророка Мухаммеда было извращено для оправдания порабощения женщины. Однако гарем существовал еще до появления ислама. Во дворце царя Ксеркса, правившего в V веке до н. э., женщинам были отведены десятки покоев, а у Хосрова I из династии Сасанидов в VI веке до н. э. гарем состоял из 1200 жен.

Италия

## Волосы как "чистый знак"

Дарующие силу волосы библейского Самсона, длинные пряди на висках Наполеона, грива футболиста Гуллита, змеи на голове мифологической Медузы Горгоны, пудреные парики

*Софи Лорен в парике*

французских королей, пышные волосы певицы Далиды... Прическа во все времена имела немаловажное значение с точки зрения канона красоты, рассказать о каковом применительно к сегодняшнему дню взялся миланский семиолог Массимо Бальдини в своем исследовании "Волосы: мода, соблазн, символика" (издательство "Пелити ассочьяти").

Здоровые пышные волосы чаще всего ассоциируются с силой и бодростью; впрочем, как пишет исследователь Фердинандо Догана, есть и противоположные суждения: лысина не лишена красоты, поскольку подчеркивает мужественность и высокие интеллектуальные способности ее обладателя. В давние эпохи длинные волосы обычно носили колдуны и чародеи - не случайно страшнейшим наказанием для них было обрить голову. В наши дни многие бреют голову добровольно, это стало модным, даже среди политиков. Прическа, отмечает Массимо Бальдини, — это своего рода "чистый знак", который несет в себе огромное количество информации. Так, аристократка XVIII века в высоком пудреном парике с буклями может сообщить о своей эпохе больше, нежели самое дотошное научное исследование. Грязные гребни панков или выбритые "под ноль" головы скинхедов играют роль своеобразных манифестов; сделав подобную прическу, молодые люди словно проходят обряд инициации. Итальянский семиолог сетует на то, что процесс глобализации не обошел стороной даже прически — главным законодателем моды в разных странах становится телевидение, в частности, телесериалы, которые навязывают публике собственные стандарты. Похоже, ушли в прошлое те времена, о которых Симона де Бовуар писала: "Новый костюм — это уже праздник. Косметика и новая прическа — это произведение искусства".

По материалам газет "Паис" [Испания], "Глоб энд мейл" [Канада], "Стампа-туттолибри" [Италия].

# Авторы номера

**Энтони Бёрджесс**
**Anthony Burgess**
[1917–1993]. Английский писатель, литературовед.

Автор романов *Право на ответ* [*The Right to an Answer*, 1960], *Заводной апельсин* [*A Clockwork Orange*, 1962; рус. перев. 1991], *Наполеоновская симфония* [*Napoleon Symphony*, 1974] и др., многих литературоведческих исследований – о Шекспире, Дж. Джойсе, Э. Хемингуэе. Кроме того, Э. Бёрджессом написан ряд музыкальных произведений, в т. ч. симфоний. В *ИЛ* был опубликован роман *Трепет намерения* [*Tremor of Intent*, 1991, № 12]. Публикуемый перевод выполнен по изданию *Any Old Iron* [London, Sydney, Auckland, Johannesburg, Hutchinson, 1989].

**Ян Лянь**
**Yang Lian**
[р. 1955]. Китайский поэт.

Автор поэтических сборников *Смерть в изгнании* [1990], *Маски и Крокодил* [1990], *Избранное. 1982–1997* [1998] и др.
Перевод с китайского выполнен по двуязычному изданию *Когда море утихает* [*Where the Sea Stands Still: New poems – Da hai tingci zhi chu: Xin shiji*. Newcastle, Bloodaxe Books, 1999].

**Мари Деплешен**
**Marie Desplechin**
Французская писательница.

Автор книг для детей и романов *Без меня* [*Sans moi*, 1998], *Драконы* [*Dragons*, 2003] и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Чересчур впечатлительные* [*Trop sensibles*. Éditions de l'Olivier, 1995].

**Павел Хюлле**
**Paweł Huelle**
[р. 1957].
Польский писатель, лауреат нескольких литературных премий.

Автор сборников рассказов *Первая любовь* [*Pierwsza miłość*, 1996], *Другие истории* [*Inne historie*, 1999]. В *ИЛ* [2000, № 5] были опубликованы его роман *Вайзер Давидек* [*Weiser Dawidek*] и рассказы из сборника *Рассказы на время переезда* [*Opowiadania na czas przeprowadzki*, 1994, № 11].
Публикуемая повесть печатается по изданию "*Mercedes-Benz*". *Z listów do Hrabala* [Kraków, Wydawnictwo Znak, 2002].

**Луиджи Малерба**
**Luigi Malerba**
[р. 1927]. Итальянский писатель.

Автор романов *Змея* [*Il serpente*, 1966; отмечен премией Кампьелло], *Протагонист* [*Il protagonista*, 1973], *Голубая планета* [*Il pianeta azzurro*, 1986], *Греческий огонь* [*Il fuoco greco*, 1991], *Летающие камни* [*Le pietre volanti*, 1992; премия Виареджо], *Маски* [*Le maschere*, 1995], повести *Сальто-мортале* [*Salto-mortale*, 1968; французская премия Медичи; рус. перев. в *ИЛ*, 1976, № 5], сборника рассказов *Серебряная голова* [*Testa d'argento*, 1988; премия Гринцане Кавур]. Вместе с Чезаре Дзаваттини Л. Малерба написал сценарий по повести Н. В. Гоголя *Шинель*. В *ИЛ* печатались роман *Итака навсегда* [*Itaca per sempre*, 1998, № 3], *Гранада-клуб* [*Il circolo di Granada*, 2003, № 8], рассказы *Мафиозо* и *Два миллиарда* [1980, № 4], *Серая девушка* [1984, № 8].
Публикуемые рассказы печатаются по рукописи.

**Говард Фаст**
**Govard Fast**
[1914–2003].
Американский писатель и общественный деятель. Лауреат Международной премии мира [1954].

Автор более 80 книг, в т. ч.: романов *Странное вчера* [*Strange Yesterday*, 1934]; *Место в городе* [*Place in the City*, 1937], *Рожденные свободой* [*Conceived in Liberty*, 1939], *Последняя граница* [*The Last Frontier*, 1941; рус. перев. 1948], *Гражданин Том Пейн* [*Citizen Tom Paine*, 1943], *Дорога свободы* [*Freedom Road*, 1944], *Спартак* [*Spartacus*, 1951], *Голый бог* [*The Naked God*, 1956], *Искупление* [*Redemption*,

1999], *Гринвич* [*Greenwich*, 2000] публицистической повести *Как я был Красным* [*Being Red*, 1990; рус. перев. 2001], а также пьес, сборников рассказов и стихотворений.
Публикуемый рассказ *Книгоноша* [*The Bookman*] печатается по рукописи.

**Инна Максимовна Бернштейн**
Переводчик с английского.

В ее переводе изданы романы *Моби Дик* [*Moby Dick*] Г. Мелвилла, *Смерть Артура* [*Le Morte D'Arthur*] Т. Мэлори, *Возвращение в Брайдсхед* [*Brideshead Revisited*] И. Во, *Черный принц* [*The Black Prince*] А. Мёрдок [*ИЛ*, 1974, № 8–11, совместно с А. Поливановой], *Костры амбиций* [*The Bonfire of the Vanities*] Тома Вулфа [*ИЛ*, 1991, № 10, 11, совместно с В. Бошняком], *Как все было* [*Talking it over*] Дж. Барнса [*ИЛ*, 2002, № 7], повесть *Десятый* [*The Tenth Man*] Грэма Грина [*ИЛ*, 1986, № 12], рассказы Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта и др.

**Мервин Пик**
Mervyn Peak
[1911–1968]. Английский писатель и художник.

Автор романов *Титус Гроанский* [*Titus Groan*, 1946; рус. перев. глав из романа в *ИЛ*, 2002, № 3], *Замок Горменгаст* [*Gormenghast*, 1950], *Одиночество Титуса* [*Titus Alone*, 1959], нескольких сборников стихов.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Selected Poems* [London, Faber & Faber, 1972].

**Олдос Хаксли**
Aldous Huxley
[1894–1963]. Английский писатель, философ, публицист. Литературную деятельность начинал как поэт, был литературным и театральным критиком.

Автор романов *Желтый Кром* [*Crome Yellow*, 1921; рус. перев. 1976], *Шутовской хоровод* [*Antic Hay*, 1923; рус. перев. 1936], *Контрапункт* [*Point Counter Point*, 1928; рус. перев. 1936], *О дивный новый мир* [*Brave New World*, 1932; рус. перев. в *ИЛ*, 1988, № 4], *Слепой в Газе* [*Eyeless in Gaza*, 1936], *Через много лет* [*After Many a Summer*, 1939; рус. перев. в *ИЛ*, 1993, № 4], *Остров* [*Island*, 1962], повести *Гений и богиня* [*The Genius and the Goddess*, 1955, рус. перев. в *ИЛ*, 1991, № 5], сборников рассказов и эссе.
Публикуемые эссе взяты из книг *Музыка в ночи* [*Music at Night*. London, Chatto & Windus, 1931] и *Старые и новые эссе* [*Essays New and Old*. New York, NY George H. Doran Co, 1927].

**Элина Михайловна Драйтова**
Переводчик с английского, немецкого и французского языков.

В ее переводе вышли исторические и историко-биографические сочинения: Э. Поньона *Повседневная жизнь Европы в 1000 году* [1999], Ж. Бенуа-Мешена *Юлиан Отступник* [ЖЗЛ; 2001], Р. Этьена *Юлий Цезарь* [ЖЗЛ, 2003] и др.

**Константин Аркадьевич Мильчин**
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор статей, обзоров, рецензий, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга назавтра* [Радио России].

## Переводчики

**Александр Иосифович Пинский**
[р. 1955]. Врач-педиатр.

В *ИЛ* публикуется впервые.

**Елизавета Ильинична Домбаян**
Преподаватель, переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе публиковались произведения Г. Грина, Г. Пинтера, Д. Г. Хуана, Дж. Янга, Д. Ноге, статьи по истории и культуре Великобритании и США. Автор учебников и учебных пособий по английскому языку. В *ИЛ* публикуется впервые.

**Илья Сергеевич Смирнов**
[р. 1948]. Переводчик и исследователь классической и современной литературы Китая, кандидат филологических наук.

Издал авторские сборники переводов *Из китайской лирики VIII—XIV веков* [1978], *Яшмовые ступени. Китайская поэзия эпохи Мин. XIV—XVII вв.* [1989], *Прозрачная тень. Поэзия эпохи Мин* [2000], *Небесный мост. Поэзия Гао Ци 1336—1374* [2000]. В *ИЛ* печатались его переводы из средневековой китайской поэзии [1986, № 10 и 1999, № 6], повести *Мимоза* Чжан Сянляна [1988, № 8], *Красная Азалия. Жизнь и любовь в Китае* Аньци Минь [1996, № 6] и др.

**Ирина Всеволодовна Радченко**
Переводчик с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Ф. Жюллиана, Ф. Саган, Ж. Шардона и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказы Ж. Жироду *На волоске* [1989, № 7] и А. Камю *Ренегат* [1993, № 3], фрагменты романа Л.-Ф. Селина *Guignol's Band, или Паяцы* [2001, № 3], романы Ж.-Ф. Туссена *Месье* [2001, № 3] и *Фотоаппарат* [2002, № 1], роман М. Уэльбека *Платформа* [2002, № 11], фрагменты книги Ж. Перека *Темная лавочка* [2003, № 12] и др.

**Ирина Евгеньевна Адельгейм**
Литературовед, переводчик с польского, автор работ о польской литературе.

В ее переводе печатались автобиография К. Кеслёвского *О себе* [*ИЛ*, 1998, № 11—12], стихотворения В. Шимборской [совместно с А. Хованским; *ИЛ*, 2003, № 5], сценарии К. Кеслёвского и К. Песевича *Рай. Ад. Чистилище*, воспоминания К. Янды, рассказы Г. Херлинга-Грудзинского, романы М. Гретковской, Ф. Байона.

**Фридэнга Михайловна Двин**
Переводчик с итальянского. Лауреат премии *ИЛ* [1985].

В ее переводе изданы романы *Татарская пустыня* Д. Буццати, *Исчез перед рассветом* Дж. Понтиджи, *Греческий огонь* и *Змея* Л. Малербы. В *ИЛ* напечатаны: книга *Делать фильм* Ф. Феллини [1981, № 9—11], сценарий Ф. Феллини и Т. Гуэрры *И плывет корабль* [1984, № 9], фрагменты книги *Тот кегельбан над Тибром* Микеланджело Антониони [1985, № 7, 8], сказки А. Моравиа [1990, № 4], повести *Собаки Иерусалима* Ф. Карпи и Л. Малербы [1994, № 4], *Джульетта* Ф. Феллини [1995, № 4], романы Л. Малербы *Итака навсегда* [1998, № 3] и *Гранада-клуб* [2003, № 8], и др.

**Мария Федоровна Лорие**
[1904—1992]. Переводчик с английского.

В ее переводах издавались произведения Синклера Льюиса, Ч. Диккенса, У. Теккерея, Дж. Голсуорси, И. Во, А. Мердок, Г. Филдинга, Э. Хемингуэя, Дж. Чивера, Б. Шоу, Р. Олдингтона и др.

**Максим Валерьевич Калинин**
[р. 1972]. Поэт, переводчик с английского. Лауреат премии журнала *Москва* по поэзии за 2002 г.

В его переводах изданы стихотворения Дилана Томаса [2001]. В *ИЛ* в его переводе публиковались произведения Д. Китса, У. Блейка, В. Набокова, Э. Моушена.

**Анастасия Николаевна Власова**
Переводчик с английского.

В ее переводах публиковались рассказы Т. Капоте, Б. Мальцберга, Р. П. Уоррена. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. П. Уоррена *Ежевичная зима* [2001, № 5], Гиш Чжэнь *Это я — ирландка?* [2002, № 5], эссе М. Бирбома [2002, № 11].

**Сергей Нещеретов (Сергей Евгеньевич Зенкевич)**
[р. 1972]. Поэт, переводчик, литературный критик.

Автор сборника стихов *Хронический имажинист* [1996]. Публиковал переводы с английского и французского, в т. ч. произведений С. Крейна, Саки [Г. Манро], Э. Паунда, англо-американских поэтов-имажистов, А. Азимова и др. Как переводчик участвовал в антологиях *Строфы века-2* [1998], *Семь веков французской поэзии* [1999], *Антология имажизма* [2001].

rinet

*Быстрый доступ*
*Надежная связь*
*Качественный сервис*
*Rinet*

Internet servis provider **www.rinet.ru**

**Услуги подключения к сети INTERNET**

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

**Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00**
**Телефоны:** (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
**Адрес:** Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
**E-mail:** info@rinet.ru

В формлении обложки использован фрагмент картины английского поэта и художника Мервина Пика [1911–1968] *Молчание* [1945].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.12.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2500.
Тираж 8 000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

# [ 2 ] 2004

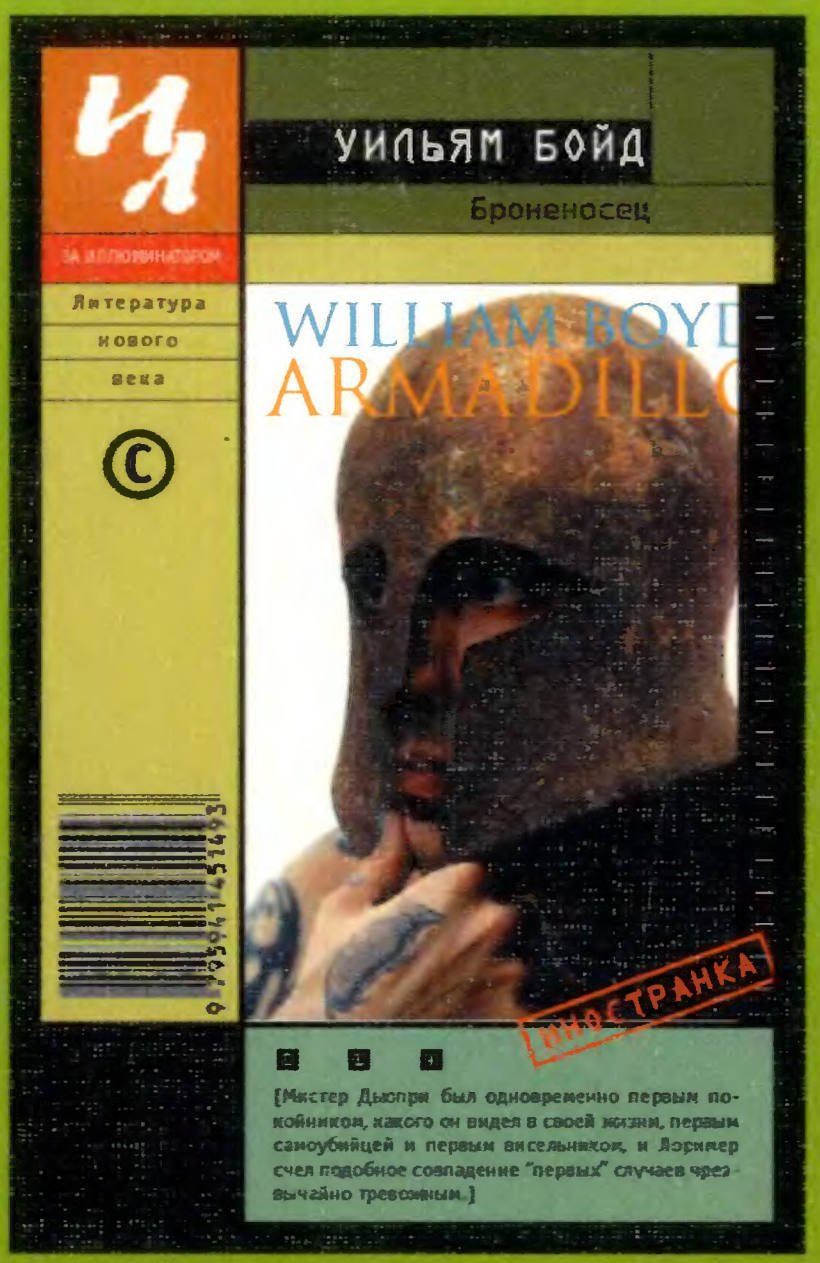
РОМАН МАНУЭЛЯ ПУИГА “КРАШЕНЫЕ ГУБКИ” / СТИХИ АЗИЗА ДЕРАМАНА И ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ “БИЕННАЛЕ-2003” / ПЬЕСА ЮКИО МИСИМЫ “ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО АОИ” / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ДОМИНИКА ДЕ ВИЛЬПЕНА “КРИК ГОРГУЛЬИ” / ЖАК ДЮПЕН В ГАЛЕРЕЕ “ИЛ”

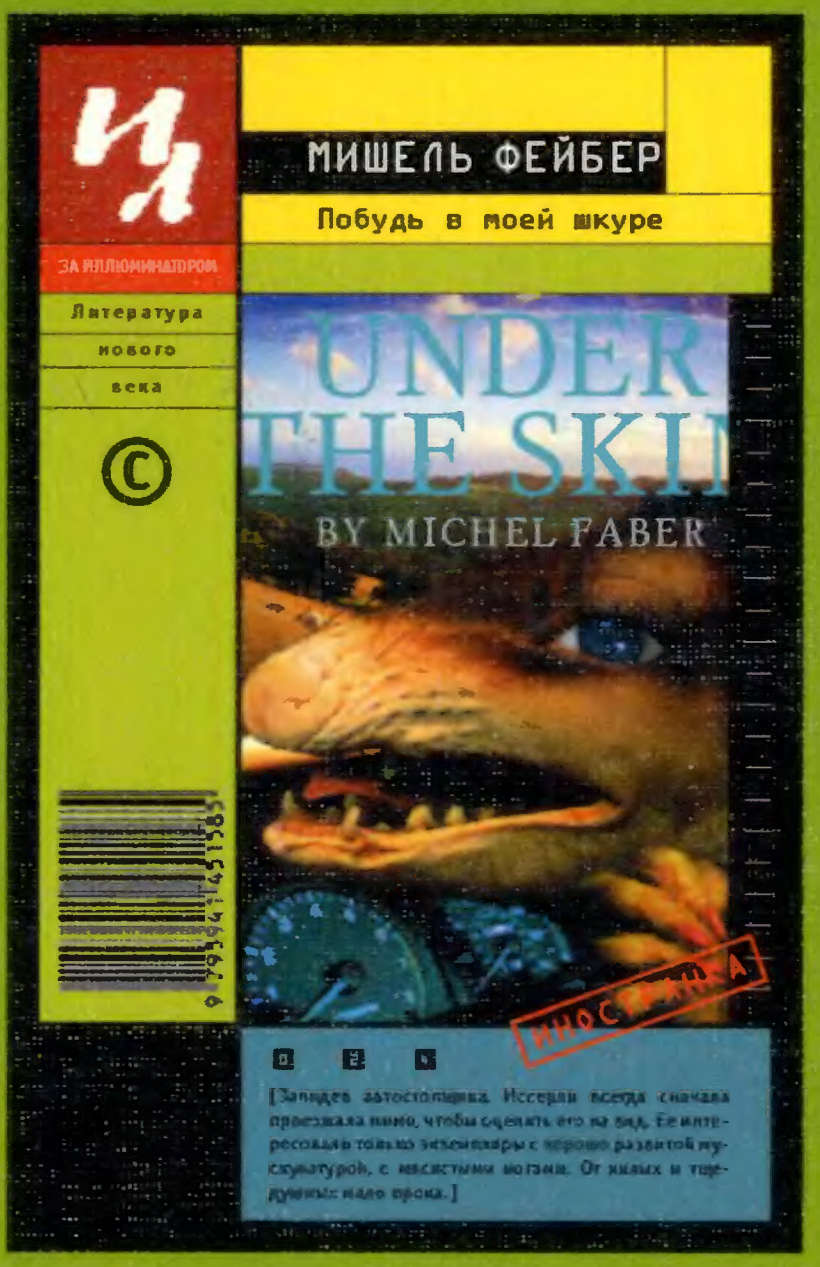
Новая серия издательства "Иностранка"

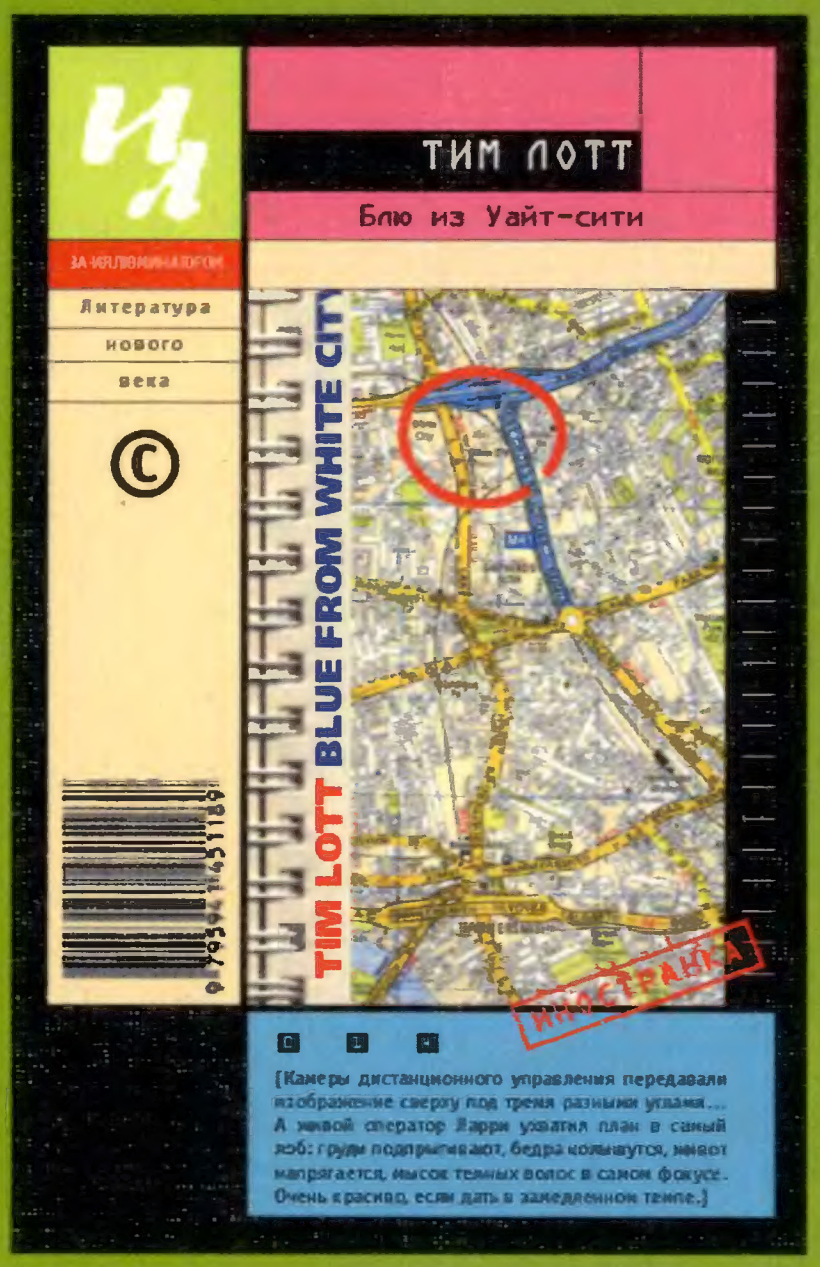
# "За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" НОВОГО ВЕКА

ИНДЕКС 70394






По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №1, 1-288